АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
АКАД. Б. Д. ГРЕКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1946

Г. Н. БИБИКОВ

ОПЫТ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 1609—1610 гг.

То, что европеизация русской армии, с таким блеском завершенная в ходе ожесточенной борьбы с турками и шведами в первую четверть XVIII в., началась значительно раньше петровских преобразований, представляет собою истину, давно уже высказанную и хорошо аргументированную исторической литературой. Делались также отдельные указания на связь одного из начальных моментов военной реформы с борьбой русского народа против польско-литовских интервентов в начале XVII в. [1] Однако указания эти носили беглый и совершенно случайный характер. Серьезно, по-настоящему, вопрос о военной реформе начала XVII в. в литературе поставлен не был. Между тем, пересматривая соответствующий документальный материал, мы сталкиваемся с целым рядом фактов, настойчиво подчеркивающих относительно широкое распространение элементов европеизации военного строя и вооружения в русских ополчениях начала XVII в. Это оправдывает настоящую попытку сгруппировать и проанализировать соответствующие указания источников.

На рубеже XVI и XVII вв. Московская Русь в основном стояла в стороне от тех крупнейших сдвигов в состоянии военного искусства, которые в Западной Европе были связаны с разложением феодализма и развитием буржуазии. Фр. Энгельс исчерпывающе объяснил социально-экономическую и политическую сущность этих сдвигов. «Между тем,— писал он,— общее крушение феодальной системы и рост городов привели к изменениям в составе армий... Феодальные армии перестали существовать, стали формироваться новые армии из многочисленных наемников, которым разложение феодализма дало свободу служить тому, кто будет им платить. Так возникло нечто подобное постоянным армиям...». [2] В этих армиях все большее значение приобретали боевые действия пехоты и артиллерии, а конница, отнюдь не стушевываясь еще в новых условиях, преобразовывалась в обученные тактические единицы. Стержневой линией в развитии новой тактики становится изыскание приемов, дающих возможность развертывать маневренные операции независимо от наличия постоянных крепостных сооружений или природных прикрытий.

---

[1] С. Платонов. Очерки по истории Смуты, М., 1937, стр. 306.

[2] Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I, М., 1940, стр. 130.

В средневековой армии только закованный в тяжелые доспехи и представляющий сам, вместе со своим конем, своеобразную подвижную крепость рыцарь чувствовал себя более или менее уверенно в открытом поле. Ополчение пехотинцев обладало очень незначительной устойчивостью. Оно постоянно нуждалось в наличии какого-то прикрытия, за которым можно было бы спрятаться в случае неудачи первого натиска. Это чрезвычайно сковывало развертывание военных сил, делало их неспособными к более или менее сложным и активным маневренным операциям. С конца XV в. особую устойчивость построениям европейской пехоты придает колонна хорошо вооруженных и обученных копейщиков. Во время боя солдаты выстраивались в мощный квадрат и встречали противника густой, грозной щетиной острых копий, насаженных на древки, длина которых доходила до пяти метров. Построенная даже в открытой местности колонна копейщиков представляла собой грозную силу, способную отразить вражескую атаку. Мало этого, колонна копейщиков сама использовалась в качестве живого прикрытия для стрелков-мушкетеров, укрывавшихся после разряжения мушкетов под колючками этого огромного искусственного ежа. Если в странах центральной Европы, имевшей чаще всего дело с иррегулярными войсками Турецкой империи, такого рода приемы более или менее законсервировались («венгерская бригада»), то на западе и севере дальнейшее развитие военной техники шло по линии непрерывного возрастания огневой мощи тактической единицы («испанская» и «нидерландская» бригады). Увеличение относительной численности мушкетеров разбивало построение копейщиков. Но то, что терялось при этом, компенсировалось, во-первых, введением и усовершенствованием строевого обучения и, во-вторых, осуществленным впервые нидерландцами систематическим применением особых, быстро возводимых самими солдатами укреплений — острожков. Дельбрюк пишет, что именно нидерландскому командованию удалось преодолеть естественную антипатию профессионалов ландскнехтов к тяжелым земляным и строительным работам и заставить их быстро перед самым неприятелем возводить укрепления. Использование этого приема ставило нидерландцев в чрезвычайно выгодные условия относительно противника. Оно уничтожало рабскую зависимость от случайных условий местности, избавляло армию от необходимости принимать сражение в невыгодных условиях, давало возможность сберегать резервы, организовывать подвоз продовольствия и блокировать вооруженные лагери. Во вторую половину XVI в. армия Нидерландов, наиболее развитой в буржуазном отношении страны тогдашней Европы, приобретает значение образца, которому стараются подражать военные руководители других европейских государств. [1]

[1] Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I, статьи «Армия», «Пехота», стр. 128—133, 162—165; Г. Дельбрюк. История военного искусства, т. IV, М., 1938, ч. 1 и 2; Е. Разин. История военного искусства, ч. 2, М., 1940, гл. III; там же, стр. 225.

В начале XVII в. Московская Русь, уровень социально-экономического развития которой не создавал еще условий для перехода к постоянным армиям, была в военно-техническом отношении отсталой страной. Автор «Нового летописца», рассказывая про поражение воеводы Ф. И. Шереметева от интервентов под Суздалем осенью 1609 г., дает такое объяснение неудаче русских: «что к Суждалю крепково места нет, где пешим людем укрепитися: все пришли поля».[1] Это указание ярко подчеркивает отсталость нашей тактики, сохранение в полной мере типичной для феодализма рабской зависимости от случайных обстоятельств места. Иностранные современники основательно замечают, что «русский солдат, по общему мнению, лучше защищается в крепости или городе, нежели сражается в открытом поле».[2] Знаменитый русский «дощаный обоз»,— «древним же званием Гуляй» («Гуляй-город»), представлявший портативное, передвигаемое на катках или полозьях укрепление из дощатых щитов, преследовал цель облегчить маневренные операции русской армии. Но с успехом применяемый против легкой татарской конницы, он оказывался слишком ненадежной защитой от тяжеловесных атак монументальной европейской кавалерии и пехоты.[3]

Систематическое и упорное наступление польских интервентов на Русскую землю в начале XVII в. застало ее, таким образом, неподготовленной в военно-техническом отношении. Польско-литовские паны били нас за нашу отсталость.[4] Но русский народ, истекавший кровью в борьбе с жестоким и сильным врагом, обнаруживал необыкновенный и самоотверженный героизм. Вместе с тем, уже тогда выявилась изумительная способность русского народа не падать духом в минуты страшной опасности, а извлекать для себя уроки из самих поражений, перестраиваться на ходу и бить врага его же оружием.

Первые опыты европеизации русских военных сил связаны с самым началом народной войны против интервентов. Наиболее выпукло выступают они во время развернутого контрнаступления, возглавленного кн. М. В. Скопиным-Шуйским против тушинцев в 1609 г., когда на стороне русских сражались вспомогательные отряды нанятых в Швеции ландскнехтов. Как известно, движение против интервентов, действовавших именем Лжедимитрия II, началось осенью и зимой 1608—1609 гг. и приобрело особенно мощный размах весной 1609 г. Главной ареной народной войны становятся районы Верхнего Поволжья и Заволжья во главе с такими городами, как Ярославль, Нижний-Новгород, Кострома, Вологда. Это был наиболее развитый в экономическом отношении край

---

[1] ПСРЛ, т. XIV, ч. 1, СПб., 1910, стр. 92.

[2] Дж. Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 70.

[3] Там же, стр. 69—70; РИБ, т. XIII, изд. 2, СПб., 1909, стб. 305—307; РИБ, т. I, стб. 156; ПСРЛ, т. XIV, ч. I, стр. 108; Гиршберг. Марина Мнишек. М., 1908, стр. 131—132; Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. II. СПб., 1859, стр. 65—66.

[4] И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 328.

тогдашней России, связанный посредством беломорского пути с Западной Европой, посредством Волги — с культурными центрами Востока и густо населенный предприимчивым населением. Известно также, что наиболее активная роль принадлежала здесь широким слоям сельского и посадского люда, «тяглым мужикам», как писали в то время в грамотах. При этом крестьяне и посадские местами выступали одновременно и против русских дворян, которые зачастую обнаруживали склонность к соглашению с интервентами, а в отдельных случаях не останавливались перед прямой изменой родине. [1]

Слабой стороной «мужицкой» войны являлась, однако, свойственная всем стихийно возникавшим народным движениям недостаточная организованность и распыленность действий. Кроме того, крестьяне значительно уступали интервентам в отношении военной техники. Боярское правительство В. Шуйского, хотя и поддерживало (впрочем, не везде) связи с повстанцами, но не собиралось и не умело, в силу своей классовой сущности, целиком на них опереться. Представляя интересы боярских верхов, это правительство, естественно, смотрело с большой опаской на всякое проявление народной активности.

Лишенный массовой опоры, крайне непопулярный царь Василий Шуйский принужден был искать военной помощи за рубежом. В феврале 1609 г. был заключен кабальный договор со Швецией, согласно которому, за уступку шведам Корелы (Кексгольма) с уездом, Карл IX направлял на помощь В. Шуйскому вспомогательное войско. В апреле отряды наемников уже начинают прибывать в Великой Новгород к воеводе М. В. Скопину-Шуйскому. Отряды эти представляли собой солдат-профессионалов разных национальностей. Здесь были не только финны, шведы и немцы, но и англичане, шотландцы и даже французы. Общее количество их превосходило 15½ тысяч. Главным предводителем был Яков Делагарди, молодой талантливый полководец, прошедший хорошую военную школу в Нидерландах под руководством знаменитого Морица Оранского. [2] В мае 1609 г. «немецких ратных людей кованая рать» (термином «немцы» наши источники объединяют всех европейцев неславянского происхождения), совместно с русскими, под общим командованием Скопина-Шуйского вышли из Новгорода. [3] Начинается героическая эпопея кровавых сражений и громких побед над прикрывавшимися именем Самозванца польско-литовскими интервентами и изменившими своему народу русскими «ворами».

Боевые приемы используемых Скопиным-Шуйским «немцев» вызывают пристальное внимание русских современников. И польские авторы принуждены были отметить ряд особенностей в тактике наемников,

[1] С. Платонов. Указ. соч., стр. 291—292, 296—305; Генкин. Ярославский край и разгром польской интервенции в начале XVII в. Ярославль, 1939, гл. III.

[2] Н. Костомаров. Смутное время Московского государства в начале XVII века — Соч., кн. 2, СПб., 1903, стр. 380—381; ААЭ, т. II, стр. 226.

[3] С. Платонов. Указ. соч., стр. 388.

которых они (очевидно, за темную расцветку металлических доспехов) называют «черными псами».[1] Сильное впечатление производило широко применяемое «немцами» построение копейщиков. В «Новом летописце» находим такое картинное описание немецкого боя. Под Торжком «Немцы ж пешие поидоша наперед, отыковся копьем, и иные (очевидно мушкетеры.— *Г. Б.*) сташа позади их». Копейщики побили две конные роты поляков. Третья польская рота сумела пробиться вперед, но затем также принуждена была отступить, причем копейщики сохранили свое построение и дождались, пока их выручили.[2] Польский автор (Мархоцкий) пишет про битву под Тверью: «Пало в этой битве несколько сот немцев, наших же погибло очень мало. Однако немецкая пехота, вооруженная копьями, осталась нетронутой на поле битвы».[3] Несмотря на обычное шляхетское хвастовство, здесь чувствуется определенное уважение к боевому приему противника, придававшему необычайную устойчивость его действиям.

В лице армии Делагарди правительство В. Шуйского получило квалифицированную грозную боевую силу. Но обладавшая прекрасными боевыми качествами, армия эта отличалась чрезвычайной неустойчивостью в моральном отношении. К наемникам Делагарди может быть с полным основанием применена следующая общая характеристика Фр. Энгельса: «образовался класс людей, который жил войной и для войны; и хотя тактика от этого, может быть, выигрывала, но зато характер людей, материал, из которого составлялись армии, точно так же как и их morale (моральные качества), от этого, конечно, пострадали. Центральная Европа была наводнена всевозможными condottieri (кондотьерами), для которых религиозные и политические распри служили предлогом к тому, чтобы грабить и опустошать всю страну».[4]

Грабительские наклонности наемных солдат выявились уже в начале похода. По словам современника Бреретона, шведские наемники вели себя в русской земле не лучше поляков. Они нападали на села и деревни, грабили, сжигали крестьянские дворы и издевались над жителями.[5] Грабежам и бесчинствам предавались они тем более беззастенчиво, что русское правительство не имело возможности полностью выплачивать следуемое им по соглашению жалованье. Кроме того, между русским и шведским командованием сразу же возникло коренное разногласие относительно плана военных действий, вызванное скрытыми до поры до времени интервенционистскими замыслами шведов. Командиры последних руководствовались инструкцией Карла IX «воспользоваться смутами России для территориального обогащения шведской короны». Делагарди уже тогда предписывалось ревностно стараться

[1] РИБ, т. XIII, стб. 1031.
[2] ПСРЛ, т. XIV, ч. I, стр. 90 (подчеркнуто мною.— *Г. Б.*).
[3] Гиршберг. Указ. соч., стр. 134 (подчеркнуто мною.— *Г. Б.*).
[4] Ф. Энгельс. Указ. соч., стр. 164.
[5] А. Козаченко. Разгром польской интервенции в начале XVII в. 1939, стр. 84.

об удержании за собой Новгорода, «приятно ли то русским или нет».[1] Поэтому Делагарди не стремился углубляться во внутренние области России. Между тем, Скопин-Шуйский, воевода не только храбрый, но и «рассмотрительный», прославивший себя «добрым благоприятелством ко всему народу Русскому», заботился о том, чтобы, не задерживаясь в пути, скорее итти к Москве. Отсюда целый ряд недоразумений, которые в июле 1609 г. под Тверью вылились, наконец, в острый конфликт. 13 июля 1609 г. Скопин-Шуйский овладел тверским острогом и наголову разбил тушинцев. По словам самого Тушинского вора, он «почти на плечах нашего (тушинского.— *Г. Б.*) войска вошел в Тверь и так рассеял оное, что едва иной в рубашке успел прибежать в лагерь». Брать штурмом оставшийся еще незахваченным тверской «город» (кремль) Скопин не считал нужным, так как «пожалел людей». Немцы же, мечтавшие взять тверской кремль на щит и, конечно, разграбить его, отказались повиноваться и повернули обратно к Новгороду. Часть их тогда уже ушла за границу, другие опять начали торговаться о разного рода условиях и возвратились к Скопину-Шуйскому лишь спустя значительный промежуток времени.[2]

Ненадежность наемников заставила русское командование обратить главное внимание на ополчения крестьян. Дальний царский родственник, молодой боярин князь М. В. Скопин-Шуйский[3] сумел оценить значение «мужицкого» движения. Связь с восставшими городами поддерживалась им и раньше, а с июля — августа 1609 г. русское народное ополчение окончательно становится главной его опорой в борьбе против тушинцев. В Калязин, куда после тверского инцидента передвинулся покинутый шведами Скопин-Шуйский, начали отовсюду прибывать отряды русских ратных людей. Основные силы были приведены из Ярославля Никитой Вышеславцевым. Наряду с ярославцами и их ближайшими соседями-костромичами, здесь были крестьяне из Галича, Вологды, Белоозера, Устюга, Устюжны-Железнопольской, Сольвычегодска. Подходили вятчане. Шли жители «Полунощной Северной страны» — с Двины, Ваги, Каргополя, Вычегды и от самого «Студеного моря». Еще раньше присоединились к Скопину новгородские крестьяне и ратные люди из Смоленска, Серпейска, Брянска. В Калязин прибывает также сильный отряд Гр. Валуева из Москвы.[4] По словам шведского

---

[1] Г. Форстен. Политика Швеции в Смутное время — ЖМНП, 1889, февраль, стр. 341, 344.

[2] Н. Костомаров. Указ. соч., стр. 386, 389—391; ПСРЛ, т. XIV, ч. 1, стр. 91; РИБ, т. XIII, стб. 118; С. Жолкевский. Записки о московской войне. СПб., 1871, Прилож., стр. 33—34.

[3] Биографические сведения о Скопине-Шуйском собраны в монографии В. С. Иконникова «Князь М. В. Скопин-Шуйский» («Древняя и Новая Россия», 1875, №№ 5, 6, 7).

[4] ААЭ, т. II, стр. 235 и 247; РИБ, т. XIII, стб. 1327; С. Жолкевский. Указ. соч., стр. 27 и 30; С. Белокуров. Разрядные записи за Смутное время, М., 1907, стр. 16; ПСРЛ, т. XIV, ч. 1, стр. 85—86, 91.

писателя XVII в. Видекинда, в это время люди ежедневно, целой массой стекались к Скопину-Шуйскому из Ярославля, Костромы и Поморья.[1] Русские ратники, поднимавшиеся на защиту своей родины, естественно, были чужды хищнических замашек западноевропейских кондотьеров. Моральный уровень ополченцев стоял на большой высоте. Их физическая сила, бесстрашие, дисциплинированность, чрезвычайная выносливость и неприхотливость в отношении бытовых удобств и пищи внушали страх иностранным грабителям.

Источники сообщают некоторые сведения о вооружении русских ополченцев и об употребляемых ими боевых приемах. Имеются интересные указания на успешные действия русских лыжников, на постройку засек — особых укреплений из поваленных деревьев, представлявших одну из национальных форм боевого прикрытия, употреблявшегося с наибольшим успехом в условиях оборонительной войны.[2] Что касается до собственно вооружения, то усиленно подчеркиваемые некоторыми историками данные о крайнем их убожестве[3] не дают правильного представления о состоянии ополчения в 1608—1609 гг. Конечно, вооружение массы ополченцев, особенно из пахотного крестьянства, не могло быть сколько-нибудь совершенным. Но, с другой стороны, чрезвычайно частое упоминание огнестрельного оружия в грамотах восставших против Лжедимитрия II городов наводит на мысль, что большие, развитые города делали ставку едва ли не на поголовное вооружение своих ратников «огненным боем». «Да и зелью расход велик: с пищалми людей много...,— пишут, например, ярославцы,— а не дать кому на драку зелья, ино от воров погинут».[4] Здесь же, в этом развитом центре городской культуры, в этом узле, стягивавшем экономические связи центральных областей России и Севера, осуществляются первые опыты введения европейского военного строя. Об этих опытах определенно говорят свидетельства русских и иностранных источников.

Первое свидетельство находим в отписке ярославцев к казанцам, доставленной в Казань 28 апреля 1611 г. Сообщая о своих приготовлениях к походу против интервентов, уже успевших к этому времени овладеть Москвой, ярославцы писали: «да пешим на долгие торчи сделаны две тысячи копей железных, а иные делают, потому, что преж сего в полкех от того конным была защита» (подчеркнуто мною.— *Г. Б.*).[5] Второе указание, относящееся уже не к одному Ярославлю, встречаем в тексте ответа польских и литовских послов московским послам в декабре 1615 г. Перечисляя факты вооруженного отпора русского народа интервентам, послы, между прочим, писали: «и Лепунова войско, которое

---

[1] Widekind. Historia belli Sveco-Moscovitici, 1672, p. 96.
[2] Генкин. Указ. соч., стр. 100, 105, 108.
[3] Там же, стр. 128.
[4] ААЭ, т. II, стр. 230.
[5] Там же, стр. 322 (датировку документа см. на стр. 318).

с Плещеевым к Москве пришло было, также побито, и у т ы х к о п е й п е х о т н ы х н е м е ц к о г о о б р а з ц а до кольконадцати сот на побоищу зостало».[1] Третье известие, приводимое несколько ниже, дает шведский историк Видекинд.

Железные копья «на долгих торчах» (т. е. длинных древках), или копья пехотные немецкого образца,— это те же «спицы железные, в них же немцы опасения имеют надежду»,[2] — обычное вооружение западноевропейского ландскнехта-копейщика. Оба отрывка говорят о достаточно широком распространении этого вида оружия в начале 1611 г. Однако они не дают нам ответа на вопрос — к какому хронологическому моменту следует отнести начало употребления длинных копий. Какой период имеет в виду ярославская отписка, сообщая, что копьями на «долгих торчах» успешно пользовались в полках «п р е ж с е г о»? Шведский историк XVII в. Видекинд уточняет и дополняет сведения о вооружении ополченцев. Сообщая о прибытии к Скопину-Шуйскому в Калязин летом 1609 г. ратных людей из Ярославля, Костромы и Поморья, он определяет северного ополченца как «justis armis instructum»,[3] т. е. «снабженного надлежащим оружием», или оружием, соответствующим назначению, типа регулярных войск. В другом месте, говоря о прибытии дополнительных подкреплений, Видекинд пишет: «Jaroslaviâ advenere 1500 justis armis, pedites lanceis longioribus, equites hastis ad morem Polonicum instructi». (Из Ярославля прибыло 1500 снабженных надлежащим оружием по обычаю поляков — пехотинцы более длинными копьями, а всадники пиками).[4] Это драгоценное указание, подтверждая сообщение ярославской отписки, в то же время позволяет отнести начало употребления копий «на долгих торчах» к моменту, предшествовавшему совместному пребыванию русских и шведов в Калязине или в Александровской слободе. Отряды уже подходили, снабженные надлежащим оружием.

К сожалению, и это указание оставляет открытым вопрос о самом первом моменте употребления европейского вооружения. Однако намек на следование обычаю поляков позволяет выставить гипотезу. Мы знаем, что северные города России, и в частности Ярославль, были захвачены польско-литовскими интервентами в октябре 1608 г. Уже в ноябре началась борьба против поляков. Но Ярославль находился под польской властью до 8 апреля 1609 г., после чего он сразу приобретает значение одного из основных центров организации борьбы против интервентов. В течение 6 месяцев в Ярославле постоянно находились польские войска (Тышкевича, Головича и др.). Ярославцам самим при-

---

[1] АЗР, т. IV, стр. 493 (Плещеев — коломенский воевода, возглавлявший передовые части ляпуновского ополчения в 1611 г.).

[2] РИБ, т. XIII, стб. 684.

[3] W i d e k i n d. Op. cit., p. 96.

[4] Ibid., p. 104.

ходилось поставлять людей в тушинский лагерь.[1] Тесное общение с поляками давало им возможность знакомиться с боевыми приемами, употребляемыми интервентами. Проверить же эти приемы ярославцы, очевидно, сумели уже во время героической обороны своего города от отрядов Будилы и Наумова в течение 23 дней в мае 1609 г., когда ситуация в Ярославле кратко, но точно определялась фразой: «а у нас с воры драка живет ежечас».[2]

Сообщение Видекинда подтверждает также косвенным образом ярославскую отписку об употреблении пехотинцев как прикрытия для конницы («преж сего в полкех от того конным была защита»; pedites в сочетании с equites). Оно говорит и о заимствовании польских кавалерийских (очевидно, гусарских) копий, об употреблении которых поляками в источниках встречается не мало данных. В отрывке из Видекинда очень любопытна также сравнительная степень для обозначения длины древка пехотного копья («более длинные копья»). Текст источника не вполне ясен, но как будто здесь подчеркивается не совсем обычная длина древка. Возможно, перед нами указание на какое-то усовершенствование, проведенное самими ярославцами. Ведь и в Западной Европе большое значение имели различные опыты с удлинением копья.

Таким образом, изучая истоки реформы 1609 г., мы сталкиваемся с наличием определенной инициативы самих повстанцев, в частности той их группы, которая была связана с развитым центром городской жизни начала XVII в.— Ярославлем.

Дальнейшие успехи европеизации русского военного строя в сильнейшей мере зависели, однако, от возможности организовать массовое обучение ратников, для чего требовалось иметь какой-то авторитетный центр. С августа 1609 г. таким центром и становится лагерь Скопина-Шуйского. Огромная историческая заслуга Скопина заключается в том, что он понял все положительное значение проявленной ярославцами инициативы и стал не только подлинным «вождем», но и «наставником» московского войска. Централизованное проведение военной реформы придает всему делу лучшую организацию и несравненно более широкие масштабы.

Для непосредственного руководства военными занятиями был привлечен шведский ратный маршалк Christernus Some (Крестер Сум, или Христошум наших памятников). Условия найма Some по-разному освещаются шведскими и русскими источниками. Согласно Видекинду, Some получил приказание от Делагарди итти для подкрепления Скопина. И Олаф Далин называет инициатором реформирования русской армии Делагарди. «Он (Делагарди.— *Г. Б.*) им (русским.— *Г. Б.*) представил, что надобно войско их обучить прежде, нежели что-либо с оным предпринять может, и в самом деле употребил к тому Христера

---

[1] Генкин. Указ. соч., стр. 70—71, 75—76, 78.

[2] ААЭ, т. II, стр. 230.

Соме».[1] Однако русский летописец и сохранившийся текст договора между Скопиным и Chr. Some от 21 августа 1609 г. доказывают, что инициатива Делагарди тут не при чем. «Христошум», возвратившийся к Скопину с «невеликими людьми»[2] (250 всадников и 720 пехоты),[3] поступил на русскую службу по особому соглашению, на особых условиях. В договоре говорилось, «что ему (Кр. Суму.— *Г. Б.*) со всеми людьми от меня (М. В. Шуйского.— *Г. Б.*) не отстать нигде, ни которыми делы», причем, уже по инициативе Скопина, Кр. Суму предлагалось снестись с Делагарди.[4] Кр. Сум, подобно Делагарди, был представителем наиболее совершенного в то время нидерландского военного искусства. О его занятиях с русскими ратниками в Калязине ценнейшие сведения дает Видекинд: «Huic nullus ferme praeteribat dues, quo non vel moschoviticum ibidem militem, justis quidem armis instructum, sed rudem adhuc imperitumque pugnandi, in itinere, in acie modo aequali legitimoque spatio ordinem servare, modo hastas rite obvertere, gladios vibrare, tela jacere ac deffectere, modo fossas ducere, ac sudes scienter figere, modo machinas admovere, ac vallum scandere, campestri exercitatione ad morem Belgicum docebat: Vel levibus velitationibus vicina castra lacessebat». (Ни одного почти дня не проходило у него (Some.— *Г. Б.*), чтобы он или там же (в Калязине.— *Г. Б.*) не обучал московского солдата, хотя и снабженного надлежащим оружием, но неотесанного и до сих пор неопытного в сражении, полевым упражнениям по бельгийскому обычаю, в марше, в строю, то на равном узаконенном расстоянии соблюдать ряд, то правильно копьями наводить, мечами размахивать, дротики метать и отражать, то рвы проводить и палисадины умело вколачивать, то придвигать машины и взбираться на вал, или же беспокоил легкими стычками соседний лагерь).[5] Таким образом, на первое место Видекинд ставит строевое обучение — искусство «на равном, узаконенном расстоянии соблюдать ряд», или, попросту, *держать равнение*. Это составляло важнейший элемент нидерландского военного искусства. «Особенно важно,— читаем в переписке оранских принцев,— чтобы люди научились разбирать, что такое шеренги и ряды, соблюдать интервалы, а также строиться и маршировать тесно сомкнутым строем. Для этого они должны научиться вздваивать как шеренги, так и ряды, поворачиваться направо и налево и заходить правым и левым плечом». Нидерландцы славились тем, что у них 2000 человек могли построиться в «полторы четверти часа» (в других армиях для построения 1000 человек требовался час).[6]

Применение длинного копья требовало также тщательной выучки.

---

[1] Widekind. Op. cit., p. 96; Олаф Далин. История шведского государства, ч. III, т. II, кн. 2. СПб., 1801, стр. 803.

[2] ПСРЛ, т. XIV, ч. 1, стр. 91.

[3] Widekind. Op. cit., p. 96.

[4] АИ, т. II, стр. 302—303.

[5] Widekind. Op. cit., p. 96.

[6] Г. Дельбрюк. Указ. соч., стр. 138—139.

Согласно авторитетным отзывам военных историков, нанесение действенного удара длинным копьем — дело очень трудное. Требуется удар верный, относительно медленный, наносимый при удобном случае, причем приходится преодолевать сильно мешающую, особенно при энергичном выпаде, вибрацию древка.[1] Что касается до мечей (вероятно, имеется в виду пехотный двуручный меч), метательных дротиков и осадных машин, то об их употреблении в данном случае мы не имеем других сведений.

Зато особенное значение приобретает освоение нидерландского приема сооружения укреплений-острожков. Дельбрюк пишет, что в армии Морица Оранского вслед за войском возили заготовленные палисадины. Каждый солдат перетаскивал 2—3 палисадины, что позволяло укрепляться очень быстро в непосредственной близости от неприятеля. При этом в Западной Европе приходилось преодолевать сильнейшую антипатию солдат к земляным и строительным работам. Ландскнехтов, производивших такие работы, осыпали насмешками, называли мужиками и землекопами.[2] В России, в условиях патриотического подъема и народной войны, как раз эта сторона дела не должна была вызвать затруднения. Ратники из «черных людей», настоящих «мужиков», привычные иметь дело с лопатой и топором и не гнушавшиеся черной работой, представляли собой в данном случае особенно благодарный материал, легко воспринимавший нидерландскую «хитрость». Предшествовавший боевой опыт крестьянской войны и первых столкновений с интервентами уже дал ополченцам известные навыки в сооружении укреплений. Отныне постройка острожков становится одним из главных боевых приемов армии Скопина-Шуйского.

Освоение именно этого приема вызывает особенно сильное негодование и страшное волнение в лагере польско-литовских интервентов. Наиболее интересные подробности дают здесь записки польского коронного гетмана, Станислава Жолкевского. «Под Москвой же, как я выше упомянул,— пишет он,— Скопин очень теснил наших построением укреплений, отрезывал им привоз съестных припасов, и в особенности тем, кои с Сапегою стояли под Троицею. Они несколько раз покушались под Калязиным монастырем и при Александровской слободе, но прикрываемый укреплениями Скопин отражал их, избегая сражения, и стеснял их сими укреплениями (grodkami — острожками?), которые были наподобие отдельных укреплений или замков, каковой хитрости москвитян научил Шум». И в другом месте Жолкевский упоминает о постройке острожков как об «успешном фортеле» Скопина-Шуйского.[3]

Сообщения Жолкевского подтверждают авторы дневника осады Смоленска:«Этот Скопин, где только ему приходится сражаться, везде

[1] Там же, стр. 19.
[2] Там же, стр. 142.
[3] С. Жолкевский. Указ. соч., стр. 36 и 44.

строит, как нидерландцы, крепости». [1] И пан Будило отмечает: «Далее он (Скопин.— *Г. Б.*) и самого Сапегу стеснил в лагере, устроив острожки недалеко от лагеря, и не давал выйти из него». [2] Согласные отзывы трех разных, достаточно авторитетных свидетелей устанавливают, что «нидерландская хитрость» была освоена ополченцами. Они хорошо освещают также стратегическое значение этого приема. Постройка острожков служит не обороне, а развертыванию наступательной операции. Скопин ведет наступление, теснит интервентов; быстро возводимые острожки «наподобие замков» служат опорными пунктами наступления.

Успешные боевые действия предводительствуемой Скопиным-Шуйским армии не были единственной причиной поражения Тушинского вора и его хозяев — польско-литовских интервентов. Однако им принадлежит здесь во всяком случае очень крупная роль. При этом, внимательно следя за ходом военных действий, мы убеждаемся в том, что основной силой, сокрушавшей мощь Сапеги, Рожинского, Зборовского и других панов, явились именно русские части, с присоединенным к ним небольшим отрядом Кр. Сума. Видекинд несколько раз говорит об основных силах Скопина-Шуйского из 18 000 московитов. Поляки определяли численность армии Скопина в 15 000 или 14 000 русских и 7 рот или 7 сотен «немцев». [3] Основная часть армии Делагарди, возвратившаяся после продолжительных переговоров к Скопину-Шуйскому, шла в арьергарде и в решающих сражениях не участвовала.

Не давая подробного обзора военных действий 1609—1610 гг., укажу лишь на отдельные эпизоды, особенно ярко выделяющие роль русских отрядов в наступлении Скопина-Шуйского. 18 августа 1609 г. было успешно отражено нападение Сапеги на Калязин. Хотя дневник Будилы называет воинов, непосредственно сражавшихся против Сапеги, «немцами», мы знаем, что у Скопина в это время иностранцев, кроме отряда Сума, не было совсем. А. Палицын и дневник Сапеги прямо называют победителей русскими или «Москвою» («русские же полцы гнаша литовских людей»). [4] Возможно, что употребление русскими западноевропейских военных приемов создавало у некоторых современников (Будило) ложное представление.

Город Переяславль был захвачен 1 сентября русскими воеводами (Головин и Валуев) и Сумом. [5] От Переяславля Скопин идет дальше, «мостяша пути трупом нечестивых даже и до слободы Александровские». [6] Видекинд пишет, что слобода была занята 200 шведов и боль-

---

[1] РИБ, т. I, стб. 494 (подчеркнуто мною.— *Г. Б.*).

[2] Там же, стб. 161; см. также стб. 164.

[3] Widekind. Op. cit., pp. 104, 108; РИБ, т. I, стб. 155; «Сын отечества» и «Северный архив», т. I, 1838, стр. 49.

[4] РИБ, т. I, стб. 158—160; т. XIII, стб. 1144—1146; Гиршберг. Указ. соч., стр. 137—138.

[5] ПСРЛ, т. XIV, ч. I, стр. 92; С. Белокуров. Указ. соч., стр. 17, 53.

[6] РИБ, т. XIII, стб. 1149.

шим количеством московитов.[1] Первый острог в слободе воздвигает русский, Григорий Валуев.[2] 29 октября под стенами Александровской слободы происходили ожесточенные бои с главными силами интервентов (Сапега, Рожинский). Это сражение описал Катырев-Ростовский: «Поляцы же жестоким поражением наступаху, москвичи же от них мужески защищахуся, смело и небоязненно ратовахуся с ними».[3] Швед Видекинд отмечает в этой битве героизм именно русских войск: «Nec minimam pugnae strenue initae laudem tunc Moschovitae retulere»[4] (немалую славу вписали себе московиты за бодро начатую битву). Да и Жолкевский, характеризуя приемы победителей, постоянно называет последних «москвитянами». Например, отмечая значение нидерландских острожков, он пишет, что в них москвитяне были совершенно безопасны.

Таким образом, приобретая первые навыки регулярного боя, русские сумели быстро разгромить поляков. Вместе с тем был сорван и план шведского командования — топтаться в окрестностях Новгорода, грабить русских крестьян и выжидать случая прибрать к своим рукам побольше русских земель. Создав с помощью служившего по особому договору Кр. Сума ударное ядро обученных русских воинов, Скопин осуществил свой план: «скоро, аки молния, супостатные полки обтече и вся овцехищные волки люто устраши».[5]

В январе 1610 г. Сапега покидает свой лагерь под Троицко-Сергиевским монастырем и бежит в Дмитров. В марте разваливается главный вражеский стан в селе Тушине. «Сей же убо воин и воевода князь Михайло Васильевич Шуйский пройде по градом против польских и литовских воров грозно: овых мечу предав, а иных в бегство обратив и таборы сих раскопа и искорени».[6]

Работы по европеизации военного строя не прекратились и после изгнания Тушинского вора. Они продолжаются и в Москве. Есть сведения, что в апреле 1610 г. царь и Скопин «делали у столицы примерное сражение», т. е. производили маневры.[7]

В задачу настоящего очерка не входит изучение всех последствий военной реформы 1609 г. В ходе изложения я уже отметил те факты, которые говорят об употреблении приемов западноевропейского боя и в 1610 и в 1611 гг. Однако внедрение их не могло в то время получить всеобщего и безусловного признания. В этом отношении характерны данные, сообщаемые Авр. Палицыным. Последний приводит исключительно интересный рассказ о своеобразном соперничестве представителей двух тактик, старой и новой, причем преимущество остается у него

[1] Widekind. Op. cit., p. 103.
[2] С. Белокуров. Указ. соч., стр. 17.
[3] РИБ, т. XIII, стб. 598.
[4] Widekind. Op. cit., p. 108.
[5] РИБ, т. XIII, стб. 118.
[6] Там же, стб. 1329.
[7] РИБ, т. I, стб. 579.

за старой тактикой. Он пишет, что присланный в Троицкий монастырь от Скопина-Шуйского воевода Давыд Жеребцов с 600 «мужей избранных воин», обученных «немецкой мудрости», очень пренебрежительно относился к старым, необученным защитникам монастыря, отсылая их от себя и не пуская на вылазки. Однако в схватке с врагами сам Давыд попадает в тяжелое положение и был выручен лишь этими неискусными «простаками», которые и «в простоте суще забыли бегати, но извыкли врагов славно гоняти».[1] Отрицательное отношение Палицына к гордому воеводе не может быть объяснено одним лишь недоброжелательством (впрочем, надо иметь в виду, что Жеребцов возбудил против себя монастырские власти, забрав в свое ведение продовольственные запасы). Возможно, что в известных условиях новые тактические приемы и не оправдывали себя.

На дальнейшем развитии военной реформы должна была гибельно отразиться трагическая смерть Скопина-Шуйского (23 апреля 1610 г.), этого «страшного юноши», «сокрушителя браней», несомненно выдающегося военного организатора и полководца.[2] Позднее обострение борьбы внутри господствующих верхов, временная победа интервентов и смуты в ляпуновском ополчении совершенно не создавали условий для закрепления того, что уже было приобретено в 1608—1610 гг. Таким образом, полной европеизации русской армии в начале XVII в. не произошло. Она и не могла произойти в то время, так как отсутствовали необходимые для этого социально-экономические и политические предпосылки. Социально-экономической предпосылкой создания новой армии является разложение феодализма. В России же этот процесс к тому времени еще не успел произойти. Экономика стояла на очень низком уровне. Буржуазная (городская) прослойка, особенно настойчиво выдвигавшая военную реформу, была еще слишком слаба. Боярство же, сохранившее, несмотря на все потрясения, значение господствующей общественной группы, очевидно, за немногими исключениями (Скопин-Шуйский), отрицательно относилось к нововведениям в военном деле. В XVII в., по словам В. И. Ленина, продолжает существовать самодержавие «с боярской Думой и боярской аристократией».[3]

Поэтому возможны были лишь частичные нововведения. При царях Михаиле, Алексее и Федоре Романовых старое в военном деле неуклонно ведет борьбу с новым. Последнее, без сомнения, все время усиливается, но только решительный подъем производительных сил страны, укрепление финансовой базы государства и, наконец, изживание боярско-аристократических элементов в управлении самодержавной монархией создали условия для окончательных успехов военной реформы при Петре I.

---

1 РИБ, т. XIII, стб. 1150—1155.

2 Материал о смерти Скопина-Шуйского сгруппирован в названной работе Иконникова — «Древняя и Новая Россия», 1875, № 7, стр. 217—231.

3 В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 18.

Т. К. КРЫЛОВА

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВСТУПЛЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ В ПОМЕРАНИЮ В 1711 г.

I

После разгрома шведской армии под Полтавой 27 июня 1709 г. находившийся в Польше шведский корпус под командой Крассова поспешил оставить польские земли и укрыться в шведской Померании, куда он был беспрепятственно пропущен прусским правительством.

Блестящая победа русских под Полтавой взволновала всю Европу. В Гааге удивлялись «от многих веков о несообразимой такой виктории». В Берлине пришли в ужас от «Полтавской катастрофы», по красноречивому выражению историка прусской внешней политики Дройзена. В Копенгагене искренно радовались. Однако никто из крупных государственных деятелей того времени не считал военную мощь Швеции окончательно сломленной.

В течение XVII в. в Западной Европе привыкли смотреть на Швецию как на влиятельного участника европейской международной жизни. На Рисвикском конгрессе в 1697 г. почетная роль посредника между великими державами (Францией, с одной стороны, и англо-голландской лигой — с другой) принадлежала шведскому представителю Лилиенрооту. В течение последующего десятилетия французские, английские, голландские, австрийские дипломаты пускали в ход все средства от лести до подкупа, чтобы побудить шведское правительство принять участие в борьбе за испанское наследство. В свое время канцлер Оксеншёрна проявлял склонность к этому, но молодой король Карл XII, увлеченный Северной войной, оставался глухим к настояниям послов всех европейских держав.

Когда Карл XII после победы над Данией и заключения Травендальского мира вернулся в Швецию, то в Гельсингборге его встретили представители Франции, Англии, Голландской республики и императора. Но тщетно уговаривали они молодого шведского паладина заключить мир с остальными своими противниками и отдать силы Швеции на общее дело. Вопросы большой европейской политики, казалось, совсем не интересовали юного короля.

В последующие годы, во время дипломатической подготовки войны за испанское наследство, когда складывался «великий союз» — могу-

щественная антифранцузская коалиция с Англией и Голландией во главе, Карл XII продолжал проводить ту же уклончивую политику. Он упорно отвергал как предложения Франции, с которой Швецию связывала старая дружба, правда, несколько поколебленная агрессивной политикой Людовика XIV, так и предложения новых английских друзей, которым Швеция была в значительной степени обязана своими первыми блестящими победами в Северной войне. Однако настояния европейских дипломатов не прекращались, а, наоборот, усиливались. К этому их побуждали и начавшаяся война за испанское наследство, и растущая военная слава Карла XII.

Эти настояния стали особенно упорными после того, как Карл XII, стремясь детронизовать Августа II, к которому шведский король питал личную непримиримую ненависть, занял в 1702 г. Варшаву. Английский посол в Швеции Робинзон (будущий епископ бристольский, полномочный представитель Англии на Утрехтском конгрессе) в суровое зимнее время отправляется из Стокгольма в польские равнины. Карл XII, как ревностный протестант, относился к Робинзону с особым уважением — не только как к представителю могущественной державы, но и как к духовной особе. Английский посол встретил короля недалеко от Люблина 5 марта 1703 г. Увидав Робинзона, Карл XII сошел с лошади, обнял его и затем разговаривал с ним около часа. Подготовлявший в это время свои первые победы над Францией, «великий союз» был заинтересован в том, чтобы Карл XII заключил сепаратный мир с Августом и отдал бы освободившуюся часть шведских войск на службу морским державам. По газетным сведениям, в Варшаве Робинзону оказывалось предпочтение перед французским послом. Но этим дело и ограничилось; шведский король снова отверг все мирные предложения.

Раболепное преклонение перед Карлом XII достигло своего апогея в 1706—1707 гг., когда шведский лагерь в Альтранштедте близ Лейпцига временно стал средоточием политической жизни Европы. Сюда спешили английские герцоги и французские маршалы, чтобы заручиться шведской поддержкой или, по крайней мере, обеспечить себе шведский нейтралитет. Здесь немецкие министры с трепетом ожидали решения судеб своей дряхлой империи. Здесь заключил Джон Черчилль герцог Мальборо англо-шведский оборонительный договор 1707 г. Вмешательство шведской армии, овеянной славой старых и новых побед, в дела Западной Европы, раздираемой внутренней борьбой, действительно могло иметь существенное значение. Если бы Карл XII двинулся из Альтранштедта на запад, то от него бы зависела будущность корон и государств. Но он повернул на восток, и результатом был Полтавский разгром, уничтожение шведской армии и бегство самого короля в сопровождении небольшой свиты в пределы Турции, где ему были указаны Бендеры в качестве местопребывания.

Однако настояния европейских дипломатов продолжались, правда,

с меньшею силою, и в Бендерах. Этому в сильной степени способствовали победы Стенбока над датчанами в Норвегии и двойное поражение «великого союза» в Испании. Стенбок, губернатор Сконена, создав из шведской молодежи небольшое, но боеспособное войско, весною 1710 г. разгромил и изгнал из Скандинавии высадившихся там датчан, рассчитывавших отнять Сконен у Швеции и уже занявших было несколько крепостей. Казалось, что шведская военная мощь возрождается. А в это время близившаяся было к концу война за испанское наследство вспыхнула с новою силой. Одержанная осенью 1710 г. двойная победа придала новые силы Франции и Испании, которые в 1709 г. были близки к тому, чтобы согласиться на заключение унизительного для себя мира.

В России хорошо понимали значение испанских событий. Знаменитый сподвижник Петра Меншиков писал русскому послу в Копенгагене Долгорукому: «О баталии ишпанской здесь те ж ведомости и уже многие были подлинные подтверждения, равные как в помянутом вашем письме написано. И то есть правда, что Франция ныне будет удалятца от неполезнова миру».[1] Правда, другой крупнейший дипломат петровского времени, Б. И. Куракин, находившийся в это время в самой гуще европейских событий, подметил и оборотную сторону медали — поражения в Испании усилили жажду мира в Англии. Правительство тори стало заметно склоняться к той точке зрения, что следует ускорить заключение мира с Францией.

На условном языке, применяемом иногда дипломатами во избежание трудностей, связанных с зашифровкой и расшифровкой писем, Куракин из Лондона сообщил Матвееву[2] что «земец, конечно, намерен искать случая девицу учинить с роскошником».[3] Под словом «девица» здесь подразумевается мир, а под «роскошником» — Людовик XIV, известный своим пристрастием к роскоши.[4]

В то же время в лондонских правящих кругах начинают расти опасения, как бы другие участники «великого союза» не заключили сепаратного мира с Францией. Наибольшие подозрения вызывали Португалия и Савойя, давно уже пренебрегавшие своими союзническими обязанностями. Итак, война за испанское наследство вступала в новую фазу своего развития, характеризующуюся в области военной известным усилением Франции и Испании, а в области дипломатической — начинающимся разбродом в лагере победителей. И последнее обстоятельство принесло Франции в дальнейшем больше выгод, чем ее военные успехи 1710 г.

---

[1] ЦГАДА, Датские дела, 1711 г., д. 3, л. 135, письмо А. Д. Меншикова В. Л. Долгорукому от 14/II 1711 г.

[2] Русский посол в Гааге.

[3] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 278, письмо Куракина от 26/XII 1710 г.

[4] На том же условном языке известного своей небрежностью канцлера Г. И. Головкина русские дипломаты за границей называли «красавцем».

В этих условиях естественны попытки европейских политиков превратить в орудие для достижения своих целей талантливого полководца, которого Полтавское поражение должно было сделать более сговорчивым. Карл XII неоднократно получал предложения отдать на иностранную службу корпус Крассова, находившийся в Померании.

Но и помимо этой заинтересованности в шведской силе, были еще соображения, которые заставляли желать сохранения сильной Швеции. Надежда на то, что Швеция не сломлена окончательно, что она сможет создать вторую армию и найти союзников в Турции и Польше, казалась тем более утешительной, что в Западной Европе многие были весьма обеспокоены чрезвычайно быстрым ростом военного и дипломатического могущества России. После Полтавской победы стотысячная русская армия подошла вплотную к границам империи, бывшей главным резервуаром, откуда черпали морские державы свои силы для борьбы с Францией. Значительную часть армии «великого союза» составляли немецкие войска, которые дрались с французскими или в качестве наемных, находившихся на службе у морских держав, или же в качестве союзных, тоже преимущественно за субсидии. Но если среди наемных войск «великого союза» немецкие солдаты выделялись своим количеством, то датские — своим качеством. После заключения Травендальского мира Дания была вынуждена отдать лучшую часть своей армии на англо-голландскую службу. Восстановление Северного союза осенью 1709 г., когда Август II и Фредерик IV возобновили войну против Швеции, угрожало большими осложнениями, так как теперь Дания и Саксония сами нуждались в своих войсках. Кроме того, расширение диапазона Северной войны, распространение ее на территорию шведских владений в империи неизбежно должно было вызвать вмешательство в северную борьбу Ганновера и Пруссии. Последней должна была, наконец, прискучить убогая роль государства, которое в одном месте ведет войну без политики, а в другом политику без войны.[1] Но такое развитие событий могло поставить «великий союз» перед военной катастрофой. И так уже некоторые из его членов в последние годы вели войну с Францией крайне вяло, хотя получали полагающиеся им субсидии. К тому же значительную часть имперских сил сковывала Венгрия. Даже и после кровавого усмирения венгерского восстания под предводительством Ракочи император Иосиф считал необходимым держать в Венгрии почти 50-тысячную немецкую армию. Допустить, чтобы из рядов союзной армии выбыли еще датские, прусские, саксонские и ганноверские войска, это означало поставить под удар все свои завоевания во Франции.

Руководящие державы «великого союза», Англия и Голландия пытались, но не смогли предотвратить восстановление Северного союза. Они были связаны войной за испанское наследство и не могли пойти на риск снова, как в 1700 г., послать свою эскадру в Зунд, чтобы

[1] J. H. Droysen. Geschichte der preussischen Politik, B. IV, Abt. I, S. 254.

бомбардировать Копенгаген и заставить датское правительство отказаться от выполнения своих северных планов. Помимо политических, были и важные экономические причины, мешавшие посылке англо-голландской эскадры в балтийские воды. Морские державы дорожили своей торговлей с Россией, а Петр еще «из обоза под Полтавой» отдал русскому послу в Голландии Матвееву распоряжение: заявить голландскому правительству, что если Данию будут насильственно удерживать от возобновления союза с Россией, то крайнее средство — разрыв торговых отношений — будет пущено в ход. И, наконец, между Англией и Голландией в 1709—1710 гг. уже не было того единства, которое существовало десять лет назад и которое необходимо для выполнения подобных рискованных планов. Исчезла объединяющая воля Вильгельма Оранского, а новые конфликты по вопросу о военных издержках, по поводу торговли в военное время усилили старые англо-голландские разногласия, которые временно отступили было на второй план перед общностью задач в области борьбы с Францией, чье быстро возраставшее в XVII в. политическое могущество вызывало тревогу в англо-голландских промышленных кругах.

Не будучи в силах помешать восстановлению Северного союза, морские державы и император постарались ограничить размах его деятельности. После длительных переговоров, происходивших в Гааге, 20/31 марта 1710 г. там же был подписан акт о северном нейтралитете,[1] в силу которого северные союзники обязывались не отзывать свои войска из армии «великого союза» и не атаковывать корпус Крассова, укрывшийся в Померании, а морские державы и император давали гарантию того, что корпус Крассова будет иммобилизован там, где он находится. Против нарушителя нейтралитета должны были выступить все остальные державы, признавшие соглашение. Акт о северном нейтралитете был признан стокгольмским сенатом, управлявшим страной в отсутствие Карла XII.

Историк прусской внешней политики Дройзен пытался утверждать, что заключением соглашения от 20/31 марта 1710 г. мы обязаны уму и проницательности прусских министров.[2] Но подробное документальное изучение вопроса показало, что руководящая роль в установлении северного нейтралитета принадлежала русской дипломатии, а влияние Пруссии на эти события было совсем незначительно. Русское правительство потребовало категорически, чтобы в ответ на сделанные Северным союзом уступки державы «великого союза» взяли на себя определенные письменные обязательства, а русские дипломаты сумели осуществить это требование, подготовив мартовское соглашение 1710 г. и связанную с ним конвенцию от 4 августа того же года. То значение, которое имела во всех этих событиях деятельность русских диплома-

[1] Подробнее об этом см. в моей статье «Полтавская победа и русская дипломатия», печатающейся в сборнике «Петр Великий», т. I.

[2] J. H. Droysen. Op. cit., B. IV, Abt, I, S. 342.

тов, с особою отчетливостью проявляется во время подготовки августовской конвенции 1710 г., предусматривающей создание оборонительного международного корпуса, который должен был быть направлен против нарушителя соглашения от 20/31 марта. Без этой санкции и самый акт о нейтралитете превратился бы в пустую бумажку, о которой подписавшие ее дипломаты забыли бы прежде, чем высохли чернила на их подписи. Во всей этой своей деятельности русская дипломатия неизменно пользовалась поддержкой голландского правительства.

Вопрос о том, какое значение имеет акт о северном нейтралитете в истории европейской дипломатии, еще не получил должного освещения. Один из новейших исследователей, Ченс (Chance), указывает, что это соглашение могло бы спасти для Швеции ее имперские владения, хотя главная его цель заключалась в том, чтобы оставить за морскими державами датские и немецкие войска.[1] Давать такую оценку — это значит смотреть на это важное соглашение глазами английских политиков того времени, которые одновременно и помнили об англо-шведском оборонительном договоре 1707 г., и были недовольны шведской политикой последних лет. Им были одинаково неприятны и отказы Карла XII предоставить в английское распоряжение шведские войска, и проявления шведского меркантилизма, пышным цветом расцветшего после первых побед в Северной войне. Поэтому Англия в своей внешней политике стремилась к установлению на севере Европы равновесия между Швецией и Россией. Об этом пресловутом равновесии, или «баланции», как этот принцип на французский лад называли русские дипломаты, Куракин иронически пишет в своих записках, что это не «баланция», а «склявита» всех перед Англией и Голландией.

В международной литературе замалчивается то обстоятельство, что соглашение о северном нейтралитете от 20/31 марта 1710 г. является результатом Полтавской победы и что оно означало установление нового политического равновесия в Европе, означало уничтожение Травендальского и Альтранштедтского договоров, связывавших Россию и ее союзников по рукам и ногам. Это соглашение открывает новую эпоху в истории международной дипломатии, когда становится невозможным решение важных европейских вопросов без влиятельного участия новой великой державы — России.

Участвовавшие в заключении соглашений о северном нейтралитете державы являлись в своем большинстве гарантами Травендальского и Альтранштедтского договоров. Политические деятели этих государств склонны были игнорировать то обстоятельство, что таким образом эти договоры потеряли свою силу. Сущность соглашения от 20/31 марта, по их мнению, заключалась в удачном разрешении вопроса о датско-саксонских войсках, о неприкосновенности имперской территории и прежде всего неприкосновенности шведской Померании, где находился

---

[1] J. F. Chance. England and Sweden in the time of William III and Anne — «English Historical Review». v. XVI, 1901, p. 690.

корпус Крассова. Ход исторических событий показал близорукость подобных воззрений. Большое будущее принадлежало тому, в чем видели только временную уступку, вызванную капризами военного счастья, а именно: признанию за Россией прав великой державы. Достигнутое же разрешение померанского вопроса скоро потеряло свою силу. Основанием для этого послужило поведение самого Карла XII.

Историко-литературная традиция изображает Карла XII блестящим полководцем, пренебрежительно относящимся ко всем и всяким дипломатическим ухищрениям, ревниво охраняющим независимость своих суждений и поступков. Таким-де был он от начала до конца, и самые тяжелые неудачи ничего не изменили в его облике. Таким изображает Карла XII и английский исследователь Ченс, который говорит о шведском короле, что он так же избегал дипломатов, как и женщин. Этими же качествами молодого паладина — отвращением к дипломатии и болезненным самолюбием (Карл не допускал даже и мысли, что кто-то может влиять на него) Ченс склонен объяснить отказ Карла XII признать соглашение о северном нейтралитете, которое могло бы спасти для Швеции ее имперские владения. [1]

Напомним мимоходом, что и своими первыми победами в Северной войне шведский король был в значительной степени обязан хорошей внешней политике, если не своей, то канцлера Оксеншёрны. Без помощи, оказанной шведам англо-голландским флотом, Карлу не удалось бы с такою легкостью высадить свой десант под стенами Копенгагена.

Что же касается Полтавской победы России, то она, несомненно, научила шведов осторожности. С гневным протестом против тех, кто под видом нейтралитета создал армию на пользу его врагам, Карл XII выступает только поздней осенью 1710 г., после того как Турция объявила войну России. Но это еще не все. Декларация, в которой шведский король отказывался признавать северный нейтралитет, была подписана им 30 ноября 1710 г., а объявлена во всеобщее сведение в Гааге только в марте 1711 г., т. е. буквально накануне открытия весенней военной кампании.

Вывод может быть только один: Карл XII отказывался признать соглашение от 20/31 марта, с помощью которого он мог бы сохранить свои имперские владения, не потому, что он считал подобные дипломатические компромиссы несовместимыми с честью воина, а потому, что у него был другой план — с помощью Турции вернуть себе господствующее положение на севере.

Многие из европейских политиков считали этот план осуществимым и ожидали, что весною 1711 г. несметные турецко-татарские полчища хлынут в русские и украинские пределы, а шведские войска вторгнутся в Польшу с севера, и этот двойной удар разрушит так быстро и необычайно возросшее политическое могущество России.

---

[1] Ibid., pp. 687, 689, 690, 691, 695, 697.

II

Уклончивая политика шведского короля по отношению к соглашению от 20/31 марта 1710 г. скоро возбудила подозрения русского правительства. В июле того же года Петр обращается к державам, подписавшим соглашение, с декларацией, в которой протестует против того, что имперские владения Швеции превращаются в плацдарм для подготовки нового наступления на Россию и ее союзников.

Русское правительство не скрывало своих намерений и открыто заявило в своей декларации от 29 июля 1710 г., что оно не допустит, чтобы в Германии с помощью немецких князей подготовлялся очередной шведский удар по Северному союзу. Документ этот по широте кругозора, ясности понимания международных противоречий, четкости требований и проявленному во всем этом чутью действительности принадлежит, наряду с Матвеевским наказом 1707 г., к числу классических документов петровской дипломатии. К более подробному ознакомлению с ним мы сейчас и перейдем. Разбираемый документ начинался ссылкой на декларацию Петра от 22 октября 1709 г., в которой царь обещал не вносить войны в Германию,— при условии, что «великий союз» даст гарантию «в севере воюющим союзникам», что они не будут атакованы шведами из их имперских владений и что в последних не будет сосредоточено большого количества шведских войск. Такая гарантия была обещана и дана с согласия шведского сената. Против нарушителя должен был выступить и «великий союз».

Теперь же со всех сторон получаются известия, что шведские войска в Бремене и Померании чрезвычайно усилены с помощью голштинского герцога и некоторых других имперских князей и готовятся к походу в Польшу или Саксонию, а Карл XII отказывается признать акт о нейтралитете. Кроме того, он задерживается в Бендерах только для того, чтобы с помощью татарских и турецких войск снова внести «развращение» в Польшу и империю к выгодам Франции. Поэтому Петр, в согласии с союзниками своими — королями польским и датским, уповая, что в том и король прусский «по должности оборонительного со оными союзу с ними согласоватися будет», требует от «великого союза» не только письменной, но действительной гарантии от нападения шведов на Саксонию, Данию и Польшу. В имперских шведских владениях не должно быть сосредоточено более шести-семи тысяч войска; остальных шведы должны отдать в наем «великому союзу» или распустить. Если же эти требования не будут выполнены, то «великий союз» не может принять за зло, если северные державы предупредят намерения шведов, вступят в их имперские владения и отзовут для борьбы со Швецией свои войска, находящиеся на службе у морских держав. [1]

[1] Датские дела, 1710 г., д. 3, лл. 149—156. На документе имеется пометка, что декларация отправлена Долгорукому 30/VII 1710 г.

Такая декларация была прислана и ганноверскому курфюрсту, будущему английскому королю Георгу I, с которым только что был заключен оборонительный союз при посредстве одного из виднейших дипломатов того времени, князя Б. И. Куракина.

Но нельзя было ограничиться посылкою одних деклараций. Следовало укрепить русское дипломатическое представительство за границей и прежде всего в Англии, являвшейся руководящей державой «великого союза». Поэтому одновременно с посылкою декларации Головкин писал Куракину о том, что если дела в Ганновере закончены, «то надлежит вам немедленно ехать в Англию, ибо нынешние конжюнктуры зело того требуют».[1]

В начале октября Куракин выехал из Ганновера в Лондон. По дороге он задерживается в Гааге, бывшей в то время крупнейшим дипломатическим центром Европы. Там разрешались обычно и все вопросы, касавшиеся общих интересов «великого» и Северного союзов. Русским представителем при голландской республике был А. А. Матвеев, с которым, по указанию посольской канцелярии, Куракину надлежало действовать сообща во время своего пребывания в Лондоне. В столицу Англии Куракин прибыл в конце октября и 6 ноября ст. ст. получил аудиенцию у королевы Анны. Русский посол «по учинении малого комплимента от его величества, нашего премилостивейшего государя, подал верющую».

Главная задача, стоявшая перед Куракиным, заключалась в том, чтобы домогаться от английского правительства осуществления конвенции от 4 августа 1710 г. о создании оборонительного корпуса. Но обстановка для этого была неблагоприятная: в лондонских правящих кругах, где утверждались тори, нарастало сочувствие к Швеции и увеличивались опасения по отношению к России, одержавшей за последние годы ряд крупных побед. Принцип же равновесия требовал поддержки того, кто в данный момент являлся потерпевшей, слабеющей в борьбе стороной. Кроме того, в своей традиционной политике на Балтике Англия привыкла опираться на Швецию против Дании, которую обычно поддерживала Голландия. На конвенцию от 4 августа в Лондоне склонны были смотреть как на проявление голландской политики или, скорее, голландской слабости в северном вопросе. Поэтому энергичная деятельность Куракина вначале была безрезультатной. Вскоре после своего приезда в столицу Великобритании он получил от Матвеева известие, что голландцы согласны немедленно выставить полагающуюся с них часть войск для оборонительного корпуса, если Англия последует их примеру. Куракин сразу же посетил Кинсбури, ведавшего в то время северными делами, и настоятельно потребовал от него немедленного выполнения августовской конвенции. Кинсбури вынужден был обещать, что вопрос этот в тот же день будет рассмотрен в Совете. Не довольствуясь этим, Куракин повидался с польским послом и полу-

[1] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 199.

чил от него обещание, что он со своей стороны будет говорить об этом со статс-секретарем Сент-Джоном.

В обещанный срок ответа от Кинсбури получено не было. Это побудило русского посла искать личного свидания с могущественным лидером тори, утверждавшимся у кормила правления английским государством. «Для чего принужден сей день,— писал Куракин Матвееву в письме от 21 ноября,— видеться с секретарием статским Сент Джоном, которому подлежит империя».[1] После продолжительного разговора Сент-Джон заявил, что войска для международного корпуса этою зимою, очевидно, посланы не будут, но что окончательно этот вопрос должен быть разрешен в Гааге. Находящемуся там английскому послу Тоунсенду уже послано распоряжение по приезде герцога Мальборо в Гаагу окончательно договориться по этому вопросу с остальными участниками. Куракин заметил, что никаких новых решений не требуется, что следует только выполнить прежде принятые и отдать войскам распоряжение итти в поход к месту сбора. При этом он сослался на пример голландского правительства. На это Сент-Джон возразил, что без необходимости голландские войска никуда двигаться не будут.

Однако, соблюдая дипломатические приличия, английские государственные деятели заверяли, что в случае нужды войска оборонительного корпуса будут немедленно отправлены в поход, и Англия примет в этом участие наряду с другими державами.[2] Сам Куракин считал главными причинами промедления нежелание союзников уменьшать количество своих войск в Брабанте и денежные затруднения, мешавшие найму новых войск.

Уклончивая позиция английского правительства повлияла на ход переговоров в Гааге, где Матвеев настоятельно требовал от голландского правительства и союзных министров[3] скорейшего выполнения августовской конвенции. Вслед за Англией и Голландия решила воздержаться от военного вмешательства в северные дела. Осенью 1710 г. морские державы предпочли выбрать путь дипломатического давления на Карла XII с целью заставить его признать гаагское соглашение от 20/31 марта 1710 г. В декабре Матвеев сообщил Куракину, что на-днях на собрании Голландских Штатов по предварительному соглашению с английскою королевою было принято решение написать еще раз Карлу XII «с требованием конечным о сходстве его к тому же нейтральству». Чтобы получить скорый ответ, будут действовать через английского и голландского послов в Константинополе, которые с этою целью отправят специального курьера в Бендеры.[4]

В оправдание своей тактики морские державы ссылались на то, что

---

[1] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 221—222.

[2] Там же, стр. 245.

[3] Имеются в виду министры держав, входивших в «великий союз».

[4] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 252, письмо Матвеева Куракину от 10/XII 1710 г. из Гааги.

один из северных союзников, а именно Дания, еще не присоединился официально к соглашению о северном нейтралитете.

Перелом в нашу пользу наступил, когда в Лондоне и Гааге узнали о том, что Турция объявила войну России. В политических кругах Европы многие были склонны видеть в этом событии осуществление только первой части обширного плана, заключавшегося в том, чтобы побудить Турцию к реваншу за Карловицкий мир. Ожидали, что за объявлением войны России последует объявление войны Австрии, а может быть и Венеции. В этом плане не было ничего фантастического для того времени; ведь еще совсем недавно обширнейшая Оттоманская империя, расположенная в трех частях света, была грозою всего христианского мира. Участие французского посла в Константинополе в разжигании русско-турецкой войны также указывало на наличие каких-то более сложных расчетов, потому что Франция не была непосредственно заинтересована в столкновении России с Турцией. Матвеев из Гааги писал в Лондон Куракину в письме от 5 января 1711 г.: «...Самая причина дел кажет — французскому двору в наших делех никакой важный интерес быть не видится. Токмо чтобы, нами начав, по тому примеру с великою способностию потом дойти и вмешать себя в дела цесарские и цесарства».[1] Венский двор жил в паническом страхе и лихорадочно требовал от своих союзников принятия мер предосторожности на случай возобновления австро-турецкой войны и одновременного вторжения шведских войск из Померании в империю. Ченс полагает, что именно тревожные донесения английского посла в Вене Пальма побудили Сент-Джона изменить отношение к августовской конвенции и согласиться на созыв международного оборонительного корпуса.

Но в таком случае, если уж речь зашла о влияниях на тогдашних водителей английского государственного корабля, нельзя игнорировать значение деятельности Куракина, к которому Сент-Джон относился с приязнью и уважением. Русский посол в Лондоне в данном случае действовал на свой страх и риск. Возможность возобновления русско-турецкой войны в его прежних инструкциях предусмотрена не была, новые указания очень запоздали, потому что в Лондоне и Петербурге узнали о константинопольских событиях почти одновременно — в конце декабря 1710 г. В поведении Куракина, предоставленного самому себе в этот трудный момент, еще раз проявился его большой государственный ум и дипломатическое мастерство. За свое короткое пребывание в Лондоне он успел завоевать авторитет у союзных министров, и теперь датский и польский послы в Лондоне действуют заодно о ним и по его плану.

Куракин удачно использует силу первого впечатления. Полученное в один и тот же день двойное известие о русско-турецкой войне и о поражении союзных войск в Испании вызвало серьезное замешательство в английских правительственных кругах. «Несчастливый день тот

[1] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 292.

получения почты и новин из Гишпании и от Порты,— писал Куракин Матвееву,— что воистину весь двор находил в великом смущении».[1]

Русский посол в Лондоне не терял времени. При встречах с видными сановниками — герцогами Кинсбури, Шресбури, Букингэмом он толкует о том, что начало этой новой войны равно угрожает интересам как Северного, так и «великого» союзов, и требует объединенных действий прежде всего против шведских войск в Померании, всегда готовых вторгнуться в империю.

Одновременно он сговаривается с датским послом Розенкранцем и польским де Лормом относительно единого плана действия. Посол Августа II, как представитель государства, подвергавшегося наибольшей опасности (свежа еще была память о вторжении шведов в Саксонию в 1706 г.), тут же на совещании написал мемориал для передачи его Кинсбури. Послы союзных северных держав условились в своей полуофициальной деятельности не ограничиваться указаниями на необходимость немедленного созыва нейтрального корпуса, «но больше внушать на учиненный алианс у Франции с Портой, с шведом и с венгры, чтоб, согласясь, высоким алиатам взять меры с его царским величеством и его алиаты, корно Крассова и другие шведские войска в империи дезармовать, а ежели не похотят,— атаковать, не ожидаючи их марша в Польшу или Саксонию».[2]

В последующие дни Куракин был неутомим. На официальных конференциях, при встречах на дворцовых приемах, во время визитов на дому он неустанно, но без излишней назойливости, излагает перед своими собеседниками свои взгляды на положение международных дел. Он говорил о том, что союз, заключенный между Францией, Турцией, Швецией и венграми, неизбежно повлечет за собою вторжение в империю шведских и союзных им азиатских войск. Он подчеркивал, что это вторжение поведет к невыгодному миру с Францией, к потере результатов войны за испанское наследство и что предупредить все это можно только одним способом, а именно: интернировать корпус Крассова и не оставить в империи никаких шведских войск, кроме гарнизонов.

Деятельность русского посла, несомненно, имела успех. Ведавший северными делами Кинсбури благосклонно выслушал Куракина и обещал доложить его соображения королеве. Что же касается Сент-Джона, то он обнаружил явное намерение поддержать предложение об интернировании корпуса Крассова и заявил, что без подобных мер все успехи, достигнутые союзниками в войне с Францией, будут обращены в ничто. Решение первого секретаря склонен был поддерживать и лорд Рочестер, дядя королевы. Обострение политической обстановки, по мнению английского двора, было настолько велико, что при дворе снова заговорили о заключении союза с Россией. Могущественный Сент-

[1] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 278, письмо Куракина Матвееву от 26/XII 1710 г.

[2] Там же, стр. 275; см. также стр. 275—279, 332.

Джон, от которого, по признанию Куракина, зависели все дела, в беседе с датским послом Розенкранцем, своим старым приятелем, сказал, что если турецкая война заденет интересы держав, воюющих против Франции, то это поведет к объединению «великого союза» с Северным.

В Гааге, где известие о русско-турецкой войне было получено несколько раньше, чем в Лондоне, оно произвело не менее сильное впечатление. В гаагских общественных кругах утверждали, что война объявлена не только Москве, но и цесарю, и Польше. Вследствие этого польский полномочный министр Вертерен настойчиво потребовал от ратпенсионария немедленной отправки в Силезию нейтрального корпуса, угрожая, что в противном случае Август II и Фредерик IV отзовут свои войска с союзной службы. Со своей стороны Матвеев усиленно содействовал польскому министру в его требованиях.

На последующее развитие гаагских переговоров, повидимому, благоприятно повлияло донесение о константинопольских событиях, присланное Генеральным Штатам голландским послом Кольерсом со специальным курьером. Вскоре после этого состоялась «генеральная конференция статских депутатов» и союзных министров, на которой каждый из присутствующих заявил, какое количество войск выделяется его страной для нейтрального корпуса и где эти войска сейчас находятся.

Разумеется, и в Лондоне и в Гааге раздавались голоса, предостерегавшие от вмешательства в северные дела и утверждавшие, что Турция не объявит войну цесарю, а шведский король не выступит против «великого союза». В Лондоне на такой точке зрения стоял Робинзон, бывший английский посол в Швеции и будущий полномочный представитель Англии на Утрехтском конгрессе. В Гааге таких же взглядов придерживался ганноверский министр Ботмар. Но виднейшим сторонником невмешательства в северные дела был Мальборо, находившийся в это время в Голландии.

Во время многочисленных конференций по вопросу о северном нейтралитете, происходивших в Гааге на рубеже 1710 и 1711 гг., противодействие Мальборо очень сильно давало себя чувствовать. Заново поднимались как будто уже решенные вопросы, например снова толковали о том, как понимать акт о северном нейтралитете и налагаемые им обязательства. Отрицалась необходимость спешной посылки войск для нейтрального корпуса со ссылками на то, что зимнее время неудобно для похода и что нельзя уменьшать число войск во Фландрии.

Матвеев, подстрекаемый известиями от русского посла в Берлине о том, что шведские войска в Померании готовятся к походу, усиленно хлопотал о немедленном сборе союзного корпуса, как его теперь стали называть. Возлагая надежды преимущественно на ратпенсионария, а не на императорских и английских министров, русский посол на специальной конференции[1] старался убедить главу голландского прави-

---

[1] Там же, стр. 284—286; см. также стр. 263—264. 267—269, 273—274, 289—293.

тельства в необходимости принять срочные меры. С обычным для него несколько тяжелым, но исполненным подлинного пафоса красноречием Матвеев говорил Гейнзиусу, что если силы Порты в союзе с шведскими войсками, навербованными из Бендер на французские и турецкие деньги, хлынут в Польшу, а с другой стороны туда же вторгнется корпус Крассова, то тогда будет поздно приниматься за созыв нейтрального корпуса; тогда уж и «великий союз» не сможет помочь северным союзникам, и они потерпят большой ущерб. Турция же, со своей стороны, одержав победу над «государством великороссийском», в союзе с венграми двинется на цесаря «и учиня конечное развращение делам союзничьим, принудит их совершенно такой Франции дозволить мир, какой она похочет».

Непосредственным результатом этого разговора было дипломатическое давление, оказанное голландским правительством на шведского посла в Гааге с целью прекратить дальнейшее увеличение шведских войск в Померании. Вопрос же о созыве нейтрального корпуса продолжал оставаться предметом обсуждения на бесчисленных конференциях. В Гааге ожидали ответа из Англии; «комиссар воинских дел» барон Латмар заявил Матвееву, что без согласия Англии голландцы своих войск послать не могут. Раздраженный этими проволочками, потерявший терпение Матвеев писал Куракину в Лондон: «По всем чаяниям и, повидимому, бесскрытно объявляю вам, мой государь, что я сие дело о походе трупов (т. е. войск.— *Т. К.*) нахожу весьма многотрудным и косным. И для того без всякого ласкания сего же дня с почтою до двора нашего доносил, чтобы, не много покладываяся на то нейтральство, без утраты времени свои принимали меры» [1].

Но на другой день после того, как отчаявшийся русский посол написал эти строки, голландское правительство, наконец, преодолело свои колебания и приняло определенное решение. 6 января 1711 г. состоялась генеральная конференция «статских депутатов» и союзных министров. После этого на собрании Штатов Голландских и Генеральных была принята резолюция следующего содержания: усматривая намерение шведского короля вторгнуться с татарами в Польшу и там соединиться с корпусом Крассова и для того чтобы предупредить это намерение, отдаем распоряжение своей части войск нейтрального корпуса быть в полной готовности к походу в конце февраля или начале марта, и если английские войска задержатся, то выступить самим [2]. Голландское правительство еще раз доказало свое дружеское отношение к России.

Однако значение этого важного решения было ослаблено дополнением к нему, принятым несколько недель спустя. Матвеев узнал об этом после своего возвращения из Амстердама, где он провел часть января 1711 г. Подобно французским дипломатам XVII в., Матвеев

---

[1] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 291.

[2] Там же, стр. 293, письмо Матвеева Куракину от 9/I 1711 г. из Гааги.

часто искал и находил опору в «большом городе». Но д'Аво[1] и другие его сотоварищи играли главным образом на политических противоречиях между Генеральными Штатами и Амстердамским магистратом; Матвеев же опирался на прочные экономические связи, существовавшие между Россией и крупным голландским купечеством. Русский посол и на этот раз нашел Амстердам весьма расположенным к России. Но в Гааге его ожидали неприятные вести, которые ему сообщил Герсдорф — министр Августа II. 27 января состоялась статская конференция в присутствии великобританских и цесарских послов, на которую был приглашен и Герсдорф. На этой конференции ему единодушно заявили, что «корпус нейтральства» будет собран в Силезии в начале марта, но что он не выступит против шведов, пока они первые не нарушат условий соглашения о северном нейтралитете.[2]

Достигнутый в Гааге успех Куракин попытался развить и закрепить в Лондоне; 21 января 1711 г. он подает особый мемориал лорду Кинсбури. Этот документ выгодно отличается от патетических, многословных и туманных мемориалов Матвеева, которому совершенно не удавалась эта отрасль дипломатической деятельности — составление мемориалов.[3]

Кроме того, куракинский мемориал от 21 января является как бы политическим credo тогдашней русской дипломатии,— здесь в сжатой и четкой форме изложено то, что неоднократно повторялось русскими дипломатами письменно и устно на конференциях и в полуофициальных беседах. Поэтому мы позволим себе привести подробно содержание этого документа.[4]

Он начинается заверениями в дружественных чувствах, питаемых царем к державам «великого союза», в силу чего царь отказался в свое время от преследования корпуса Крассова, укрывшегося в Померании после Полтавской победы. Царь удовлетворился письменной гарантией того, что этот корпус не предпримет никаких враждебных действий ни против кого из северных союзников и что он не будет увеличиваться в числе. Царь полагался на акт о нейтралитете, принятый в Гааге в марте 1710 г. и предусматривавший создание особого международного корпуса, который будет направлен против нарушителя нейтралитета.

---

[1] Известный французский дипломат конца XVII и начала XVIII в.

[2] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, письмо Матвеева Куракину от 30/I 1711 г.

[3] Умный, пылкий и чрезвычайно общительный Матвеев, обладавший даром красноречия и оставивший нам очень подробные, интересные и остроумные донесения, совершенно неузнаваем в своих мемориалах. Официальные формы дипломатического документа сковывали его мысль и волю, действовали на него таким же подавляющим образом, как действует на некоторых людей торжественная обстановка парадных приемов и балов. В противоположность этому зрелый государственный ум Куракина во всем блеске проявляется именно в мемориалах. Высказывания Куракина отличаются широтою, последовательностью и четкостью, причем смелость мысли выгодно сочетается со сдержанностью в форме ее проявления.

[4] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 317—320.

Теперь же Карл XII в согласии с Францией привлек через интриги Порту, «сказывают, и злоудовольственных венгров» [1] в союз против царя и короля польского. Шведский король намерен вторгнуться в Польшу во главе турецко-татарского войска, а в это время корпус Крассова вторгнется в Саксонию и перенесет огонь войны в сердце империи. Куракин подчеркивает далее, что эти намерения опасны не только для северных союзников, но и для «великого союза». Без сомнения, Карл XII, побуждаемый честолюбием и связанный интересами с Францией, будет действовать в ущерб «великому союзу». Все эти обстоятельства требуют того, чтобы «корпус нейтральства» был немедленно собран и с его помощью войска Крассова были бы обезоружены («дезармованы»).

Если прежде полагали, что этого нельзя сделать, пока шведы не нарушат нейтралитета, то сейчас можно считать «что нейтральство уже, почитай, нарушено». Во-первых, корпус Крассова усиленно готовится к походу; численность его с 10 000 человек, которых насчитывалось в нем год тому назад, доведена в настоящее время до 18 000. И, во-вторых, следует рассматривать как прямое нарушение нейтралитета манифест Лещинского, в котором он угрожает вступить в Польшу с войсками Крассова и соединиться там с турками и королем шведским, которые вторгнутся в Польшу с другой стороны.

Куракин заканчивает свой мемориал следующей настоятельной просьбой, обращенной к английскому правительству: ввиду того, что в Гааге вынесена резолюция о выступлении в поход «корпуса нейтральства» в конце февраля 1711 г., он, Куракин, просит повеления о том, чтобы 6 английских батальонов были своевременно присланы к месту сбора этого корпуса.

Ответ на этот мемориал [2] был дан через Кинсбури в общих выражениях. В нем напоминалось о том, что вопрос о северном нейтралитете «трактуется подробней» в Гааге через аккредитованных там министров заинтересованных держав. Обещалось, что английские батальоны будут готовы вместе с другими предназначенными для этого войсками. И многозначительно подчеркивалось, что действия Англии в этом вопросе будут строго согласованы с намерениями и действиями ее союзников.

Этот ответ показывает несостоятельность матвеевских надежд, выраженных им в письмах к Куракину, на то, что Англия первая пошлет свои войска для международного корпуса. Что же касается Куракина, то он недоверчиво относился к возможности осуществить августовскую конвенцию, [3] тем более что Мальборо при встрече с русским послом в Лондоне откровенно намекнул последнему, что при существующем

---

[1] Де-Лит, русский посол в Берлине, сообщил Куракину о намерении Порты вмешаться в венгерские дела. Куракин не упускает случая «о всем том наслушать» (т. е. рассказывать об этом другим), но сам относился к этому известию скептически («Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 321, письмо Куракина Матвееву от 23/I 1711 г.).

[2] Приведен в мемуарах Куракина полностью (там же, стр. 5—6).

[3] Там же, стр. 232—235, записки Б. И. Куракина о значении турецкой войны.

положении вещей «великий союз» не проявит беспокойства, если северные союзники сами вступят в Померанию и попытаются разгромить корпус Крассова собственными силами, но на большее рассчитывать не приходится. Турецкая война ослабила опасения великих держав по отношению к быстро возраставшей военной мощи царя, она несомненно ослабила их внимание к таким вопросам, как померанский вопрос или строительство русского флота на Балтике. Поэтому не следовало теперь опасаться агрессивных военных выступлений со стороны «великого союза» против северных союзников (главным образом Дании) на суше или на море — посылки англо-голландской эскадры в Зунд или нейтрального корпуса против датских войск, двинувшихся в Голштинию. Зато, по мнению Куракина, возросла другая опасность — сепаратного сговора между Швецией и Данией. К этому сама Дания обнаруживала склонность после начала русско-турецкой войны, к этому ее побуждали со всех сторон. На такой сговор, по слухам, согласен был пойти и Карл XII, который не питал к Фредерику IV непримиримой ненависти, как к другому союзнику России — Августу II. Инцидент с английским послом в Дании Путнеем, которого датские министры обвиняли в том, что он делал им предложения заключить сепаратный мир с Швецией, тогда как Путней утверждал, что он только отвечал на подобные предложения датских министров, показывает, насколько основательны были эти опасения Куракина.

Вначале продвижение датских войск в Голштинию к границам Померании вызвало дипломатическую бурю в Гааге. Датскому королю через его министра Алефельда были сделаны угрожающие предостережения. Было заявлено, что если датский король не откажется от своего намерения, то его объявят нарушителем северного нейтралитета и врагом империи.

Русское правительство не только не было заинтересовано в голштинском вопросе, но видело в нем помеху, обостряющую отношения между Северным и «великим союзом». Однако, если вы хотите иметь союзников, то надо брать их такими, какие они есть, а не какими бы вы хотели, чтобы они были. Дания была сильно разочарована своей неудачей в Сконене, сильно обеспокоена русско-турецкой войной. Она колебалась и проявляла склонность к заключению сепаратного мира с Швецией. Данию, по выражению Головина, надо было «влакомить в войну» и для этого нужно было поощрять и «голштинскую слабость» датского двора. Кроме того, и союзническая этика требовала, чтобы была оказана помощь оказавшемуся в затруднительном положении союзнику.

В эту критическую минуту союзники Дании единодушно ее поддержали. Русские послы в Гааге и Лондоне официально подтвердили, что все предпринятое против Дании будет рассматриваться царем как предпринятое лично против него. А так как нейтральный корпус к назначенному сроку (конец февраля) собран не был, то министры Северного союза с полным основанием могли требовать в Лондоне и Гааге, чтобы «великий союз», по крайней мере, не препятствовал другим бороться

против угрожающих шведских намерений. Но едва ли не самое сильное оружие было дано в руки северным союзникам самим Карлом XII.

Как раз в это время в Гааге шведским послом Палмквистом была оглашена на собрании министров, представлявших державы «великого союза», известная декларация Карла XII от 30 ноября 1710 г., содержавшая в себе резкий протест против акта о северном нейтралитете. В обращении к «великому союзу» шведский король кратко заявил, что он намерен своих неприятелей «везде искать». Тут же добавлялось, что он не намерен вмешиваться ни в какие «алиатские» дела, если только «алиаты» не будут нарушать шведские интересы[1]. Тогда, парируя удар ударом, министры Северного союза потребовали, чтобы на основании этой декларации шведского короля признали «за нарушителя нейтральства и неприятеля империи».

В этой дипломатической борьбе Б. И. Куракин проявил большее мастерство, чем опытный датский министр Розенкранц, который вместе с польским министром приехал 5 марта 1711 г. к Б. И. Куракину на дом для обсуждения создавшегося положения. Обдумав те доводы, которые следовало приводить для доказательства своей правоты (нами они уже изложены выше), министры занялись тактическим вопросом: с помощью каких мероприятий следует осуществлять свои намерения. Розенкранц предлагал устроить торжественную широкую конференцию. «Но я,— пишет Куракин в своих мемуарах,— тому противен и отговорил; но всякому порознь со всеми министрами говорить.... и с разною манерою». Розенкранцу надлежало говорить «властно», приводя все доводы, доказывающие необходимость и правомерность того пути, на который вступила Дания. Остальные же, в качестве министров союзных с Данией держав, должны были возражать против вынесенной в Гааге угрожающей резолюции.

На следующий день Куракин весьма удачно осуществил предложенный им прием. Во время конференции у Кинсбури, посвященной очередным вопросам о посредничестве морских держав в северных делах и о созыве нейтрального корпуса, Куракин кстати заводит речь о гаагских новостях. Он спокойно высказал свои доводы, подчеркнул высокомерие Карла XII и его нежелание считаться с решениями «великого союза» и закончил предложением проучить этого надменного государя и обезвредить его злые намерения, для чего лучшим способом было бы особым манифестом объявить его неприятелем и исключенным из империи подобно тому, как это было сделано по отношению к другим имперским князьям, присоединившимся к Франции[2]. На это Кинсбури ответил, что декларация Карла XII вызвала озлобление английского двора против ее автора. Но окончательное решение будет вынесено только после обсуждения этого вопроса с английскими союзниками, Голландией и цесарем.

[1] Копия этой декларации на латинском языке хранится в ЦГАДА, Голландские дела, 1711 г., д. 4, л. 494.

[2] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 15—16, мемуары Б. И. Куракина.

Остроумную характеристику английской северной политики мы находим в одном из писем В. Л. Долгорукого, русского посла в Копенгагене. Он возмущается английскими угрозами по адресу Дании и при этом иронически замечает что, конечно, прежде чем угрожать Карлу XII за его отказ соблюдать северный нейтралитет, английский двор будет предварительно списываться со всеми своими союзниками. «А нам,— пишет Долгорукий,— не списываясь и не согласясь ни с кем, грозят, опасаясь, чтобы мы не учинили ничего вредительного шведами. Естли б весь свет хотел Англии столько добра, сколько оне нам хотят, недолго оне жили б на свете» [1].

Итак, в течение целого года, прошедшего после заключения соглашения от 20/31 марта, русское правительство прилагало все усилия, чтобы обеспечить выполнение гаагских решений о северном нейтралитете. Одновременно русское правительство предупреждало участников соглашения относительно необходимости ввести в Померанию войска северных союзников, если другие мероприятия окажутся бесплодными.

Настояния русских дипломатов в Лондоне и Гааге по вопросу о создании международного корпуса сначала не встречали сочувственного отклика. Осенью 1711 г. английское правительство, а вслед за ним и Голландская республика склонны были по отношению к Карлу XII ограничиться мерами дипломатического давления.

Однако вспыхнувшая русско-турецкая война вызвала у европейских политиков подозрения, что существуют секретные франко-шведско-турецкие планы, опасные не только для северных союзников, но и для «великого союза». Поэтому в январе 1711 г., под влиянием усиленных русских настояний в Гааге, было принято решение созвать международный корпус в Силезии в конце февраля или в начале марта, но выступить против шведов он должен был только в том случае, если шведы первые нарушат нейтралитет.

III

Перенесемся теперь из Лондона и Гааги в посольскую походную канцелярию. В первую половину Северной войны Петр бо́льшую часть своего времени проводил в действующей армии, а его помощники по дипломатической части — сначала Ф. А. Головин, а затем Г. И. Головкин и П. П. Шафиров — неизменно сопровождали его в разъездах. Поэтому посольская канцелярия этого времени была походною в буквальном смысле слова. Известие о том, что Турция объявила нам войну, застало Головкина в Петербурге; отсюда 24 декабря 1710 г. он посылает Куракину в Лондон письмо с новыми инструкциями, вызванными изменением международной обстановки [2]. Это письмо отражает беспокойство, вызванное у русского правительства серьезною опасностью,

[1] Датские дела, 1711 г., д. 12, письмо В. Л. Долгорукого Б. И. Куракину от 13/III 1711 г. из Копенгагена.

[2] «Архив кн. Ф. А. Куракина», кн. 4, стр. 272.

нависшей над страной, вынужденной вступить в новую войну, не закончив прежней. В Петербурге опасались, что с началом новой военной кампании 1711 г. Россия подвергнется двойному удару — с юга и с севера. Деятельность русской дипломатии была направлена на то, чтобы предотвратить эту опасность. Куракину поручалось потребовать, чтобы английское правительство предупредило Швецию, что «корпус нейтральства» будет брошен против шведских войск в Померании при первой их попытке, воспользовавшись турецко-татарским вторжением с юга, самим вторгнуться с севера в Польшу или Саксонию. Наряду с этим русскому послу в Лондоне следовало продолжать настаивать на скорейшем сборе в Силезии международного корпуса, предусмотренного соглашениями о северном нейтралитете от 20/31 марта и 4 августа 1710 г.

Далее, Головкин писал Куракину о том, что ему надлежит «внушать» как английскому двору, так и аккредитованным при нем дипломатическим представителям иностранных государств, что русско-турецкая война, как «начатая по факциям французским и по внушению короля шведского», будет выгодна из западноевропейских держав только Франции. Заодно русскому послу поручалось разведать и обстоятельно сообщить, как отнеслись Англия и ее союзники к турецкой войне, приняли «в пользу-ль себя, или в противность».

Разумеется, все эти наставления могли попасть к Куракину только со значительным запозданием. При тогдашних средствах сообщения предоставление известной свободы действий русским дипломатам за границей было совершенно необходимо, и петровское правительство понимало эту необходимость. Как только был учрежден первый русский постоянный дипломатический пост в Гааге в 1699 г. и Россия начала принимать систематическое участие в дипломатической жизни Европы, сразу же выяснилось, что старая система мелочного руководства, когда каждый шаг и каждое слово дипломата определялись заранее в данном ему наказе, уже отжила свой век и должна быть отменена. Старые формы еще продолжали сохраняться некоторое время и после того, как они стали безжизненными и бессодержательными. Назначенному в Гаагу на пост дипломатического представителя Матвееву был вручен наказ, составленный по всем правилам дипломатического искусства XVII в., но его практическая деятельность определялась не этим наказом, а инструктивными письмами, посылавшимися ему Головиным. В одном из них мы встречаемся со следующим любопытным указанием: Матвееву предоставляется действовать «по тамошним обстоятельствам глядя и как тебя бог наставит». Перед нами своеобразная, сохраняющая налет религиозной идеологии XVII в. формулировка нового принципа дипломатической тактики. Мелочная регламентация сменяется предоставлением известной свободы деятельности; от послов требуется проявление собственной инициативы. В позднейших документах Петровского времени этот принцип получил дальнейшее развитие, а его формулировка приобрела светский характер. Этому способствовала слож-

ность международной обстановки на последнем этапе войны за испанское наследство и во время Утрехтского конгресса, когда происходила ломка европейских коалиций и образование новых. В инструкциях и наказах этого времени прямо указывается, что смена событий происходит настолько быстро и конъюнктура настолько неустойчива, что нельзя дать указаний вперед на сколько-нибудь длительный срок, и поэтому послу предоставляется действовать, «полагаясь на свое известное благоискусство». К этому времени из среды русских дипломатов уже выделилась целая плеяда талантливых, образованных и вместе с тем твердых, энергичных деятелей, способных самостоятельно решать трудные политические задачи. К их числу прежде всего принадлежали Б. И. Куракин, В. Л. Долгорукий, А. А. Матвеев.

Это они доказали своим поведением в трудных условиях внезапно вспыхнувшей русско-турецкой войны, предугадав в своей деятельности намерения русского правительства. Петр удостоил особой похвалы В. Л. Долгорукого, сумевшего добиться крупного успеха при датском дворе. Уступая его настояниям, Фредерик IV согласился предъявить императору и морским державам требование о том, чтобы корпус Крассова был немедленно ликвидирован — либо передан на службу «великому союзу», либо распущен; если же к середине марта 1711 г. это требование не будет выполнено, то царь и его союзники будут принуждены ввести в Померанию свои войска.

Узнав об этом из письма Долгорукого от 30 декабря 1710 г., Петр похвалил его и приказал Головкину послать Урбиху (русскому послу в Вене), Матвееву и Куракину распоряжение, чтобы они предъявили такое же требование правительствам, при которых они были аккредитованы [1]. Настаивая на предоставлении северным союзникам свободы действий в Померании, русские дипломаты должны были ссылаться и на то, что «великий союз» сам заинтересован в том, чтобы шведы не смогли вторгнуться в империю для содействия Франции и Турции. Но о принятии шведского корпуса в союзную службу домогаться не следовало, потому, что в таком случае «великий союз» в договоре о войсках взял бы на себя обязательство помогать Швеции.

Готовясь к весенней кампании 1711 года против Турции, русское правительство очень опасалось вторжения шведских войск из Померании в Саксонию или Польшу. В то время как русские представители в Гааге, Лондоне и Вене должны были обеспечить согласие великих держав на предоставление северным союзникам свободы действий в Померании, русские послы при польском и датском дворах были заняты выработкой соглашений о совместных действиях трех северных держав против корпуса Крассова. В письмах Головкина к В. Л. Долгорукому часто и подробно говорится о необходимости отвлечь датское правительство от популярной при датском дворе идеи возобновления войны в Сконене и сосредоточить его внимание на померанском вопросе.

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 31—33, письмо Головкина В. Л. Долгорукому от 15/II 1711 г.

Об этом Головкин писал Долгорукому зимою и весною 1711 г. последовательно из Петербурга, Москвы, а затем из порубежных городов с молдавской границы. Посольская канцелярия следовала за царем, оставившим свой северный «парадиз», чтобы стать во главе армии, которая должна была действовать против Турции. И только здесь, в небольшом городке Луцке, русское правительство узнало о том событии, которое около месяца назад взволновало европейский дипломатический мир, — об официальном отказе Карла XII признать Гаагские соглашения о северном нейтралитете.[1] Здесь русским двором была получена копия известной декларации шведского короля от 30 ноября 1710 г., которая в марте 1711 г. была оглашена шведским министром в Гааге. Документ этот был переслан в царскую ставку братом русского посла при венском дворе Урбиха.

Полученное известие произвело, разумеется, сильнейшее впечатление и послужило причиною, а также и поводом для того, чтобы русское правительство поставило категорически вопрос о Померании. Куракину в Англию и Матвееву в Голландию было немедленно послано распоряжение домогаться письменного ответа на свои прежние представления относительно сбора оборонительного корпуса в Силезии. Русские послы в Гааге и Лондоне должны были теперь решительно потребовать, чтобы этот корпус, «случась с войски его ц-го в-ва и союзников его, неприятеля до намеренных действ не допускали и упреждали. Ибо, когда дождутца того, что оные пойдут в намеренный поход, то уже не могут оное их впадение пресечь». Если же ответ на это требование замедлится, то Куракину и Матвееву поручалось заявить морским державам, чтобы «они не приняли того за противность, что ц-е в-во с союзники своими вступление в Померанию учинят и в том бы королевскому величеству дацкому, ни польскому, ни прусскому не запрещали по учиненному междо ими союзу. Ибо не царское в-во с своими союзники то нейтралство, но король свейской чрез ту свою деклерацию, которую нарочно швецкие министры у себя в тайне до весны и походу удержали, действительно уже нарушил».

По приказу царя, отданные Матвееву распоряжения были уточнены и дополнены в зашифрованном письме Головкина от 25 апреля 1711 г.[2] Матвееву снова и снова ставилось на вид, что следует домогаться не только посылки оборонительного корпуса, но и соединения его с войсками северных союзников, стоящими у померанских границ. Ему предписывалось всеми силами противодействовать намерениям «великого союза» занять нейтральную позицию в северных делах и после официального отказа Карла XII признать акт от 20/31 марта 1710 г. Головкин предостерегал Матвеева от переоценки событий и успокоенности. Недостаточно решительная деятельность Матвеева, который был любимцем и родственником канцлера, и так уже вызвала гнев царя.

---

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 48—50, письмо Головкина от 13/IV 1711 г. В. Л. Долгорукому.

[2] Там же, лл. 69—70.

Русским правительством были получены сведения, что оборонительный корпус не намерен выступать против шведов даже в том случае, если корпус Крассова двинется в Польшу, а не в империю. Поэтому, хотя этот корпус и отправился в поход, «однако же то учинено,— писал Головкин,— только для лица, ибо пришед туда намерены весма ничего против неприятеля чинить, но токмо хотят на то со стороны смотреть».

Ввиду всего этого Матвееву предписывалось с усиленной энергией, действуя сообща с союзными министрами, добиваться соединения международного корпуса с войсками северных союзников. Если же представители «великого союза» будут ссылаться на то, что они не могут выступить против шведов, пока те сами не двинутся в поход из Померании и тем не нарушат соглашения о северном нейтралитете, то Матвееву надлежало заявить, «что швецкий король уже тою декларациею то нейтральство и гарантию нарушил действительно и войскам своим дал указ против оной действовать. И ожидают оные токмо ведомости о походе турецком, а когда оной учинится, того ж часу пойдут в Польшу... и тако будет ц-е в-во один им нарочно в дискрецию и со обоих стран в нападение неприятельское».

Но если и эти доводы не возымеют своего действия, «то им изволь безскрытно, протестуя, объявить», писал Головкин Матвееву, что в таком случае у русского правительства не останется сомнений в недоброжелательном отношении к нему морских держав. Тогда станет ясно, что и соглашение о северном нейтралитете было заключено только для защиты шведских интересов. Если бы царь не был связан этим соглашением, на которое он пошел в угоду державам «великого союза», то он мог бы своевременно и без труда уничтожить корпус Крассова. Теперь же шведский король, ссылаясь на то, что он имеет в Померании большое войско, готовое в любую минуту атаковать царя, побудил султана объявить войну России. В силу всего этого русское правительство вправе ожидать, что великие державы выполнят взятые на себя по акту о северном нейтралитете обязательства. Если же этого не произойдет, то северные союзники будут вынуждены сами принять меры для обеспечения своей безопасности, не считаясь больше ни с чьими интересами. Здесь Матвееву следовало дать понять голландскому правительству и союзным министрам, что Франция тоже ищет дружбы царя,[1] «однако ж явно того, не изволь обьявлять», добавляет Головкин.

Через несколько дней, 29 апреля 1711 г., Петр подписал две грамоты одного и того же содержания, адресованные английской королеве и Генеральным Штатам.[2] Ввиду недавней смерти императора Иосифа и наступившего затем в империи междуцарствия, в Вену грамота послана не была. Но барону Урбиху было поручено подать мемориал такого же содержания чинам империи. Грамота Петра от 29 апреля коренным образом отличается от тех парадных малосодержатель-

[1] В царской ставке в это время находился чрезвычайный французский посол де-Балюз.

[2] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 82, 94—100.

ных документов, которыми обычно обменивались между собой венценосные особы. Это деловой документ, глубокий по содержанию, сжатый по форме и страстный по тону. Он представляет как бы экстракт и в то же время дальнейшее развитие тех деклараций по вопросу о северном нейтралитете, с которыми в 1710 и 1711 гг. обращалось русское правительство к участникам соглашения от 20/31 марта. Но отдельные разрозненные доводы здесь сведены воедино, систематизированы, дополнены и поэтому необычайно выигрывают в своей убедительности. Подобно многим петровским дипломатическим документам, эта грамота отличается глубиной и широтою суждений; она обнаруживает прекрасное знание международной обстановки и тонкое понимание побудительных стимулов, могущих вызвать стремление к определенным действиям как у отдельных лиц, так и у правительств. Но главною, отличительною чертою этого документа следует признать его исключительную правдивость. Мы обнаруживаем в нем те же намерения и встречаем в нем те же аргументы, которые приводятся в шифрованной переписке Головкина с русскими послами при иностранных дворах. Бесстрашно и во-время сказанная правда представляет в руках великих дипломатов оружие несравненно более могущественное, чем самая хитрая и тонкая интрига.

Ознакомимся теперь подробнее с содержанием грамоты от 29 апреля. Она начинается ссылкой на декларацию Карла XII от 30 ноября 1710 г. В этой заменяющей введение ссылке отмечаются два момента: во-первых, то, что шведский король явно пренебрег соглашением, заключенным великими державами «и к его пользе»; во-вторых, то, что шведская декларация так долго содержалась в тайне с целью выиграть время и провести необходимые военные приготовления. Эти замечания должны были задеть самолюбие великих держав и возбудить их недоверие по отношению к другим тайным планам заносчивого шведского короля, которые могут быть направлены не только против России, но и против «великого союза».

Далее составители грамоты обращаются к истории возникновения акта от 20/31 марта 1710 г. и излагают причины, побудившие русское правительство к его признанию. Они придерживаются официальной версии, присущей русским дипломатическим документам того времени, согласно которой Россия присоединялась к акту о северном нейтралитете «токмо с единого почитания и приятства к высоким союзникам», чтобы не помешать войне «великого союза» с Францией, пренебрегши своими интересами и не обезопасив себя во-время со стороны грозного неприятеля. В грамоте указывалось, что, поступая таким образом, царь и его союзники уступали домогательствам морских держав и цесаря «о содержании покоя в Германии» и полагались на их обнадеживания в том, что и король шведский «то ж учинить свято обещал».

Далее подчеркивается значение конвенции от 4 августа. «Сверх того вы объявили и постановили корпус войска ко обеспечению той гарантии сочинить и на шленской границе поставить с таким указом,

дабы оный тотчас против того, кто оное нейтральство нарушит, действовал». В силу всего этого северные союзники вопреки собственным интересам ничего не предприняли своевременно против корпуса Крассова, хотя свободно могли бы это сделать, тем более что шведы фактически неоднократно нарушали соглашение вербовкою новых солдат в немецких провинциях и доставкой в Померанию транспортов из Швеции. Против этих шведских мероприятий северные союзники неоднократно протестовали и требовали от «великого союза» посылки нейтрального корпуса, но безуспешно.

Покончив с этой исторической справкой, документ обращается к современным ему событиям и прежде всего останавливается на выяснении причинной связи, существующей между отказом Карла XII признать акт о северном нейтралитете и русско-турецкой войной. Мы позволим себе подробней остановиться на разборе этого места, потому что интересный вопрос о мотивах, побудивших шведского короля отвергнуть соглашение, которое могло спасти для него его немецкие владения, еще не нашел должного освещения в литературе. Известный английский исследователь Ченс склонен объяснять этот поступок короля-полководца, с одной стороны, его врожденным предубеждением против дипломатов и дипломатии, а с другой — его гордым характером, который не могли сломить никакие неудачи; гордость его была так велика, что король не допускал даже и мысли, что кто-то может руководить им или влиять на него.

Разбираемый нами документ предлагает другое объяснение событий, менее романтическое, но более близкое к истине. В нем говорится, что Карл XII «на силу своих нынешних союзников, наследных неприятелей християнского имени, турков и татар полагаясь, то нейтральство весма отверг и действительно нарушил». Шведскому королю тем легче было разжечь русско-турецкую войну, что он при этом обещал султану одновременно напасть на нас со стороны Померании и, таким образом, поставить нас в опасное положение государства, атакованного с двух сторон.

Вот этот-то авантюристический план, скажем от себя, а не пресловутая гордость шведского паладина, побудил его отвергнуть соглашение о северном нейтралитете. Действительно, как бы ни был горд и заносчив Карл XII, но он дал волю своему гневу только после того, как Турция объявила войну России; только тогда, возбужденный успехом, он подписывает известную декларацию от 30 ноября 1710 г., в которой бросает вызов почти всей Европе. Затем его министры, нимало не опасаясь королевского гнева, а может быть и не имея оснований его опасаться, задерживают объявление этой декларации до марта 1711 г., т. е. до начала весенней военной кампании. Для полноты картины следует отметить, что Голландская республика и ее союзники в течение целого года неустанно требовали от Карла XII письменного заявления о своем присоединении к северному нейтралитету.

Но стремясь избежать одних влияний, шведский король подпадает

под другие, несравненно худшие, под влияние поляков, сторонников Лещинского, изгнанных Польшей после шведского разгрома под Полтавой. Они и были главными вдохновителями и главными исполнителями в Константинополе этого авантюристического плана, принятого шведским королем вопреки воле шведского сената.

В заключительной части грамоты изложены требования царя: «Того ради изобрели мы запотребно» предложить, чтобы письменные гарантии северного нейтралитета были выполнены и чтобы оборонительный корпус был немедленно отправлен в поход под верховным командованием Августа. Это необходимо сделать, не дожидаясь выступления шведов из Померании, ибо акт о нейтралитете уже нарушен, поскольку шведский король отказался признать его. Если же оборонительный корпус не будет послан или будет послан «токмо для лица там стоять и на сию игру смотреть», а от военных действий против шведов воздержится, то северные союзники будут вынуждены принять меры, которые сочтут необходимыми, не считаясь более ни с чьими интересами.

Итак, мы видим, что, готовясь к войне против Турции, русское правительство помнит об угрозе, нависшей над северными союзниками со стороны Померании. Петр предупреждает своих союзников, что не следует полагаться на одни дипломатические соглашения о северном нейтралитете и что надо иметь наготове собственные войска для своевременного предотвращения грозящей из Померании опасности.

Известие об официальном отказе Карла XII соблюдать северный нейтралитет застает Петра на турецкой границе. Отказ Карла XII, нарушивший соглашение от 20/31 марта 1710 г., поставил участников этого соглашения перед альтернативой: или направить против нарушителя международный корпус, чего и требовал Петр в своей грамоте от 29 апреля 1711 г., или признать, что Гаагские соглашения 1710 г. о северном нейтралитете обращены в ничто. Но в последнем случае и северные союзники получали право отозвать свои войска, находившиеся на службе у «великого союза», и свободно действовать в имперских владениях Швеции. Указанием на это и заканчивается только что разобранная нами грамота Петра.

VI

Весна 1711 г., вопреки ожиданиям, оказалась для северных союзников весною больших надежд. И на Ближнем Востоке — на Балканах, и в Западной Европе обстоятельства складывались благоприятно для России и ее друзей. Еще в начале года в Албании и Черногории вспыхнуло большое восстание против Турции, которое успешно развивалось; число восставших исчислялось в 20—30 тысяч.[1] Молдавия и Валахия глухо волновались, обнаруживая стремление принять сторону России в грядущей борьбе, и русские агенты вели успешные перегово-

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, л. 140, выписка из письма папского нунция в Константинополе от 8/I 1711 г.

ры с молдавским и валашским господарями, пользуясь связями, налаженными П. А. Толстым.

В Западной Европе международные отношения запутывались все более и более. Смерть императора Иосифа I, умершего 17 апреля 1711 г., имела большое значение не только для империи, но и для всего «великого союза». Ближайшим претендентом на императорский трон становился брат покойного Карл, которого за несколько лет перед этим державы «великого союза» заранее признали испанским королем. В течение нескольких военных кампаний он командовал союзными войсками в Испании, где успел уже возбудить всеобщее негодование против себя жестокой расправой с семьями испанцев, принявших сторону его соперника Филиппа V. Разумеется, морские державы, пролившие море крови, чтобы не допустить соединения французской и испанской корон на голове одного государя, вовсе не были расположены содействовать восстановлению чудовищной монархии Карла V. Поэтому естественно было ожидать пересмотра прежде заключенных между участниками «великого союза» соглашений, что не могло пройти гладко при наличии тех разногласий, которые в это время существовали внутри этого обширного объединения. Положение осложнялось еще более тем обстоятельством, что сам будущий Карл VI был увлечен реакционной идеей восстановления феодальной испано-германской монархии, в чем его поддерживали оскудевшее немецкое дворянство и часть знати, жаждавшие расширения арены феодальной эксплоатации.

Для Северного союза все эти события имели то важное значение, что близившаяся было к концу война за испанское наследство снова обещала затянуться. Кроме того, на время междуцарствия и выборов нового императора блюстителем императорского трона был назначен союзник Петра Август II, и силы империи временно оказались в его распоряжении.

В царской ставке, находившейся с половины апреля 1711 г. в Яворове, внимательно следили за всем происходившим и прекрасно понимали значение этих важных событий для увеличения международного удельного веса России. Следует отметить, что Петра не увлекала блестящая, но обманчивая и опасная перспектива стать посредником между борющимися великими европейскими державами, хотя для этого как раз представлялся удобный случай. В это время к русскому двору прибыл чрезвычайный французский посол де-Балюз с предложениями от имени Людовика XIV относительно русского посредничества между Францией и ее противниками и французского посредничества в русско-шведских отношениях. Но эти перспективы занимали лишь второстепенное место в русских дипломатических замыслах. Главное внимание русского правительства было сосредоточено на составлении плана двойного одновременного удара по врагу — на Балканах и в Померании. Наступало время летней кампании, и следовало ожидать, что враги России и Польши попытаются осуществить свои угрозы и нанесут двойной удар с юга и с севера. Петр решил на этот раз придержи-

ваться наступательной тактики. Сам он во главе основных русских военных сил намерен был вступить в молдавские и валашские степи и с помощью православного и славянского населения Балканского полуострова нанести султанской Турции сокрушительный удар. Петр рассчитывал убедить Августа II в необходимости действовать наступательно и по отношению к Померании, не дожидаясь того момента, когда находившиеся там шведские войска будут усилены армией Стенбока, а затем хлынут неудержимым потоком в Польшу или Саксонию. Предполагалось, что Август возглавит русско-польско-саксонские войска, которые будут двинуты в Померанию.

Но какие же силы могли выставить северные союзники для осуществления померанской операции? Русская армия была занята борьбой с главным врагом. Лучшие датские войска и значительная часть саксонских находились на службе у морских держав. «Корпус нейтральства» еще не был собран; из четырех английских батальонов наготове был только один. Кроме того, командование корпусом еще не было назначено, и план его действий не был решен даже в принципе. Следовало ожидать, что в лучшем случае этот разнокалиберный и неполный по составу корпус будет употреблен для защиты империи от шведского нападения, но в Польшу он, конечно, двинут не будет.

Для выполнения померанской операции предполагалось мобилизовать все силы северных союзников: послать не только Баура, но даже Меншикова,[1] который был оставлен Петром в Петербурге с частью войск для защиты этого важного русского форпоста, а также отозвать датские и саксонские войска, находившиеся на службе у «великого союза». Осуществление последнего мероприятия было связано с длительной дипломатической процедурой — надо было сначала заручиться согласием датского и саксонского дворов, а затем, и это было самым трудным, договориться с морскими державами в Гааге об отпуске войск. В случае несогласия «великого союза» отпустить датско-саксонские войска, предлагалось отозвать их силою.

Основания для предъявления этих требований «алиатскому собранию» в Гааге усматривались в следующих обстоятельствах: в отказе Карла XII признать соглашения о северном нейтралитете; в замедлении со сбором международного корпуса и в несправедливом решении морских держав и императора открыть военные действия против шведов только в случае вторжения их в империю, решении, которым инициатива передавалась шведам, а Польша, Россия и Дания оставлялись без помощи в тяжелую минуту.

Наконец, в качестве одного из решительных доводов должна была послужить ссылка на то опасное положение, в котором оказались Россия и ее союзники после того, как Карл XII и его польские клевреты

[1] В своем письме от 28 июня 1711 г. к В. Л. Долгорукому Меншиков сообщает, что в начале июля он двинется с войском в Польшу для предупреждения шведского вторжения туда из Померании (Датские дела, 1711 г., д. 3, л. 151).

побудили Турцию к объявлению войны, обещая одновременно нанести северным союзникам другой удар из Померании.

Всего предполагалось отозвать около 20 000 войска; из них 12 000 было датских войск (едва ли не лучшие войска в армии «великого союза») и 8000 — саксонских. На содержание их требовалось, примерно, 48 000 ефимков ежемесячно — сумма весьма значительная для того времени; из них 40 000 ефимков тратилось на содержание датских войск. Взять на себя эти военные издержки Дания не могла, и союзники должны были бы щедрой рукой оказать ей помощь. Но военные расходы России и так были очень велики, а «веселый курфюрст» Август II сам постоянно нуждался в средствах. Поэтому было решено начать переговоры с французским двором относительно выплаты субсидий Дании в случае отзыва войск со службы у морских держав. Сделать это было тем легче, что секретарь французского посольства в Копенгагене уже неоднократно делал подобные предложения русскому послу В. Л. Долгорукому.

Осуществление этого плана было начато еще до Ярославского совещания. В инструктивном письме Головкина от 18 мая 1711 г. Долгорукому поручается уговаривать датского короля и его министров, чтобы датские войска были взяты со службы у морских держав и направлены против шведов.

В этом же письме Головкин рекомендует Долгорукому воспользоваться теми предложениями, которые ему прежде от имени французского короля делали французские дипломаты в Копенгагене. «Того ради изволите,— писал Головкин,— видевшися секретно с секретарем французским, обретающимся в Копенгагене, говорить ему, что он для облегчения войны своему королю ныне при таком способном случае — отзыве помянутых дацких войск от галанцов у короля дацкого старался и писал бы ко двору своему о том, требуя указу, чтоб обещая велели на содержание оных денежную от короля его некоторую плату».

Петр предполагал договориться по вопросу об отзыве войск с Августом II во время личной встречи с ними в Ярославле в апреле 1711 г. Это свидание двух союзников было обусловлено заранее; во время него должна была итти речь о совместных действиях против общих неприятелей; после него царь намерен был немедленно отравиться к главной армии, которая собиралась у турецких границ, на Днестре у Бреславля.

Петр прибыл в Яворов, неподалеку от Ярославля, 15 апреля ст. ст. для соглашения с польскими гетманами и сенаторами, съехавшимися сюда навстречу королю, относительно предстоявшей военной кампании. Здесь намерен был Петр, как этого требовали дипломатические обычаи, подождать известия о приближении Августа II, которого ожидали из Саксонии, чтобы одновременно с ним прибыть в Ярославль. Но, очевидно, имперские перемены задержали Августа, он приехал к месту совещания только в конце мая. Русская посольская канцелярия воспользовалась неожиданным досугом для уточнения своих померанских планов, но для военных действий против Турции эта задержка имела

резко отрицательное значение. Часть армии под начальством Шереметева пришлось отправить в авангарде. Отсутствие Петра в подготовительный период военной кампании, которая должна была проводиться в очень трудных продовольственных условиях, имело самые плачевные результаты. К тому же в главной армии отсутствовал и Меншиков, чей организаторский талант не раз выручал в тяжелую минуту.[1]

Месяц спустя канцлер следующим кратким письмом[2] извещал русского посла в Копенгагене о начале Ярославского совещания: «Мой государь князь Василий Лукич! Известую вашей милости вкратце, что его царское величество изволил притти сюда в Ярославль сего мая 22-го, которого дня сюда ж и его королевское величество польской из Саксонии прибыл. Такожде и знатнейшие польские сенатори все съехались. А что меж их величествы и чинами Речи Посполитой при сем свидании о настоящих делах[3] и войских против неприятелей действах определено будет, о том я буду к вашей милости писать впредь обстоятельно. Слуга ваш Гаврило Головкин».

Забегая несколько вперед, следует отметить, что, одновременно с Ярославским совещанием двух государей, там же в Ярославле происходил «сенатус консилиум» Речи Посполитой, на котором было решено объявить Турции войну и дать России два корпуса вспомогательных войск: один из них должен был действовать против турок, другой — в Померании.[4] Но эти решения так и остались на бумаге.

Август II согласился разделить планы Петра и отозвать свои войска, находившиеся на службе у морских держав, но только при условии, что Дания тоже отзовет свои войска. Это чрезвычайно затрудняло выполнение самого плана, так как Август в договоре о войсках оговорил право отзыва, а датское правительство этого не сделало. Кроме того, Дания, как государство легко уязвимое со стороны моря, была особенно заинтересована в сохранении добрых отношений с Англией и Голландией.

Помимо этого Август II потребовал, чтобы ему была выплачена субсидия в 100 000 рублей и подтвержден секретный пункт договора, заключенного в Торуни 20 октября 1709 г., о том, что Лифляндия передается Августу, как курфюрсту, в наследственное владение.

Все эти пункты вошли в договор, подписанный 29 мая (9 июня) в Ярославле с русской стороны канцлером Головкиным, а со стороны польско-саксонской графами Флемингом и Вертереном.[5]

В этом же договоре был намечен и способ, с помощью которого предполагали достигнуть поставленной цели — отзыва датско-саксонских войск. Было решено потребовать от «алиатского собрания» в

---

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 52, 61, 102, 108, письма Г. И. Головкина к В. Л. Долгорукому от 13 и 25 апреля и от 15 и 18 мая 1711 г.

[2] Там же, л. 109.

[3] Подчеркнуто мною.— *Т. К.*

[4] Датские дела, 1711 г., д. 3, л. 114, письмо Головкина от 30/V 1711 г.

[5] ПСЗ, т. IV, № 2363.

Гааге немедленного выполнения предъявленного требования относительно объединения международного корпуса с войсками северных союзников для совместных действий против шведского короля ввиду его отказа соблюдать северный нейтралитет. Если же «великий союз» не согласится выполнить это требование, то датский и польский короли одновременно отзывают свои войска со службы у морских держав и направляют их в Померанию. В крайнем случае Дании предоставлялось право отозвать только половину своих войск. Принятые решения предполагалось сохранять в строгой тайне. Выполнение их в Гааге было поручено Августом II графу Вертерену. Вести переговоры с датским правительством относительно присоединения к ярославским решениям должен был В. Л. Долгорукий.

Но вскоре русские дипломаты еще раз убедились в том, что не может оставаться тайным известное саксонскому двору. Находившийся там Витворт[1] сумел разузнать обо всем и осведомить Лондон и Гаагу. Голландские руководители узнали о Ярославском совещании от императорского министра Гараха, получившего в свою очередь эти сведения в Саксонии от Витворта[2].

30 мая 1711 г.— знаменательный день в истории петровской дипломатии. В этот день окрыленный надеждами на новые русские успехи Головкин подписал три наказа вновь назначенным русским послам: де-Литу — в Лондон, Волкову — в Париж и Шлейницу — в Ганновер[3]. Ярославское совещание должно было повлечь за собою поворот в русской внешней политике в сторону Франции.

Этот поворот осуществлялся осторожно, потому что еще было не известно, понадобится ли та помощь, которую хотели получить от Франции, и согласится ли французское правительство эту помощь оказать. Но нельзя было и пренебречь теми попытками к сближению, которые предпринимались Людовиком XIV, так как поведение «великого союза» начинало вызывать у русского правительства раздражение и злобу.

---

[1] Первый постоянный английский посол в России, куда он прибыл в 1705 г., был вызван в Англию на время в 1710 г.

[2] Голландские дела, 1711 г., д. 4, лл. 61—64, письмо Матвеева Головкину от 3/VII 1711 г.

[3] Уверенность Головкина в близкой победе над турками (эту уверенность разделял и поддерживал вице-канцлер Шафиров) с особою отчетливостью проявилась в наказе де-Литу и в инструктивном письме В. Л. Долгорукому, подписанном канцлером того же 30 мая. В начале 1711 г. русское правительство искало посредничества морских держав для заключения мира с Турцией и Швецией. С последней согласны были помириться на следующих условиях: Карельский перешеек, южный берег Финского залива и Эстония с Ревелем остаются за Россией. Де-Литу поручалось домогаться от английского правительства ответа на эти предложения. При этом ему рекомендовалось от имени царя заявить, что если англичане не поддержат этих требований сейчас, «пока дела ц. в. еще в баланце состоят», то после победы над турками царь уже не будет довольствоваться этими требованиями. В письме к Долгорукому говорится прямо: «И понеже милостию божиею уповаем, делам нашим в турской войне доброго сукцессу...»

Волков направлялся в Париж временно — до приезда туда Куракина, который для этого отзывался из Англии и которому предполагали предоставить полномочия для заключения союзного договора с Францией. В глазах Европы это новое назначение князя Куракина, имевшего уже репутацию очень умного и опытного дипломата, было доказательством франко-русского сближения. Куракину было приказано как можно скорее (оставив свои экипажи и багаж в Голландии) ехать налегке в царскую ставку за получением инструкций, а оттуда — к французскому двору.

Официальная цель поездки Волкова состояла в том, чтобы поблагодарить Людовика XIV за посылку королевского посла Балюза к русскому двору. Волков должен был также сообщить королю о миссии Куракина и выразить от имени царя доверие дружественным заверениям, переданным через Балюза. Но одновременно ему надлежало заявить, что царь имеет основания быть недовольным поведением французских министров при иностранных дворах. Эти министры обычно действуют в пользу Швеции, и поэтому царь желал бы, чтобы им был дан королевский указ об изменении их поведения. В таком же пристрастии обвиняли при русском дворе и Балюза, который, по выражению наказа, «больши ищет интересу Швецкого и Лещинского, нежели государя своего».

В действительности же главная цель данного Волкову дипломатического поручения заключалась в том, чтобы получить от французского двора субсидии на содержание датских и саксонских войск, отзываемых с англо-голландской службы. Волковский наказ содержит подробные указания по этому вопросу, подкрепленные цифровыми выкладками. Русское правительство имело также в виду воспользоваться французской помощью для прекращения русско-турецкой войны. Волкову поручалось — «усмотря склонность их, предлагать», чтобы французский король выступил посредником между Россией и Турцией.

По мнению руководителей русской дипломатии, Людовик XIV мог принять на себя посредничество из двояких соображений, а именно для того, чтобы либо превратить русско-турецкую войну в другую (очевидно, австро-турецкую.— *Т. К.*), либо вовсе погасить пламя войны на Ближнем Востоке. В наказе Волкову эти соображения сформулированы следующим образом: «не допуская более того огня до расширения, отвратить на другую сторону или хотя токмо прекратить».

Из последних слов явствует, что сами русские министры предпочли бы первый исход, чтобы обезопасить себя со стороны Турции. Здесь действовало также и озлобление против Австрии, которая отказывала России в союзе против Турции, хотя сама получила от России большую помощь в своей последней войне с султаном.

Что же касается посредничества России между Францией и «великим союзом», то следует сказать, что к этому предложению Петр относился отрицательно, не считая возможным истощать силы России на осуществление этой задачи. Только в крайнем случае, если француз-

ские министры будут на этом усиленно настаивать, Волкову разрешалось, и то только в устной форме, заявить, что после заключения мира с Турцией царь мог бы «и ему королю також и Филиппу в Гишпании желаемой и з добрым прибытком мир исходатайствовать».

Составители наказа, разумеется, не могли упустить случая возбудить в французских правящих сферах недоброжелательное чувство по отношению к Швеции. В наказе мы встречаем и напоминание о том, как надменный шведский король отверг французское посредничество для мирных переговоров с Россией, и утверждение, что Франция не может ждать от Швеции никаких выгод для себя впредь. Для доказательства ссылались на поведение Карла XII в Саксонии: «понеже швед при последнем вступлении в Саксонии явно показал, что и при таком благовремянстве и силе своей ничего к интересу его, короля французского, не учинил, но наипаче к неприятелем его склонность явил» [1].

Русское правительство не было склонно ни подчеркивать свои отношения с Францией, ни скрывать их. В наказ де-Литу [2] был включен особый пункт, посвященный этому вопросу. Если бы новому русскому послу в Лондоне стали говорить о подозрениях, которые вызывают при английском дворе корреспонденция русского двора с французским и взаимный обмен послами, то на это де-Лит должен был дать полный достоинства ответ. Передадим его собственными словами наказа: «Каждой государь волен своих министров для осмотрения интересом при всех нейтральных дворех держать и своей пользы искать, а особливо егда никому никаким союзом не обязан». Однако английскому двору не следует сомневаться в добрых намерениях царя. Царь неоднократно предлагал Англии и ее союзникам свою дружбу, но не получал на это никакого ответа; царь готов и сейчас заключить с Англией и Голландией, или только с одной Англией, союзный договор.

Ответ Петра имеет принципиальное значение. Независимость и самостоятельность русской внешней политики — вот те принципы, которые здесь провозглашаются. В поведении Петра нельзя усмотреть пристрастия ни к Англии, ни к Франции; он питал справедливое пристрастие только к одной стране — России. И петровская дипломатия, превратившаяся после Полтавской битвы в важный фактор международной европейской жизни, не имела ни английской, ни французской ориентации. У нее было свое собственное направление; она была русской дипломатией.

Искусно используя англо-французские противоречия, Петр готов был весною 1711 г. заключить союз с любою из борющихся европейских группировок, хотя союз с морскими державами был для него более желателен и выгоден в силу экономических соображений. При сближении с Францией рассчитывали получить денежные субсидии; вступая же в переговоры с Англией, имели в виду торговые выгоды и английские вспомогательные войска, но подлинно английские, а не сборные.

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 166—173, наказ Григорию Волкову.

[2] Там же, лл. 149—154.

Что же касается вопроса о международном корпусе, то его считали уже устаревшим и рассматривали как обузу и помеху, отвлекающую русских дипломатов от их подлинных задач. Такую оценку, только с различными оттенками, мы встречаем и в наказе де-Литу[1], и в наказе Шлейницу, и в инструктивном письме Долгорукому.[2] Де-Литу предписывалось вовсе не поднимать этого вопроса, а если он будет поднят английским правительством, то заявить в ответ прямо, что теперь уже поздно и что время для организации сборного корпуса уже упущено. В инструкциях же Долгорукому и Шлейницу говорится, чтобы в Гааге и Ганновере только делать вид, что мы домогаемся посылки корпуса, на самом же деле всеми силами стремиться к осуществлению решений ярославского совещания. Следует отметить, что положение русского представителя в Ганновере было очень затруднительным в силу исконной враждебности этого княжества к Дании, а также из-за того, что и Ганновер и Дания рассчитывали отобрать в свою пользу Бремен и Верден у ослабевшей Швеции.

Такое отношение к вопросу о международном корпусе делает честь руководителям русской дипломатии и доказывает еще раз их проницательность. Весною 1711 г., после отказа морских держав и Австрии направить международный корпус против нарушителя северного нейтралитета — Карла XII, вопрос о созыве этого корпуса превратился в помеху нашим планам. Усиленная деятельность, развернутая в Гааге летом 1711 г. вокруг этого вопроса, имела своей целью лишить русских дипломатов основания и возможности осуществить ярославские решения. Да и не только державы «великого союза», но и наши нерешительные союзники, уклоняясь от выполнения наших требований, ссылались на свои попытки найти новое и якобы для всех выгодное решение вопроса о «корпусе нейтральства».

Нерешительность наших союзников, увеличившаяся с момента объявления Турцией войны России, была хорошо известна Петру и вызывала у него сильное негодование. После отказа Карла XII признать северный нейтралитет Дания и Саксония решили было отозвать свои войска со службы у морских держав, но эти решения так и не были выполнены. Вся весна прошла в колебаниях, и эта колеблющаяся позиция союзных нам министров повлияла и на поведение Матвеева.

На ярославском совещании Август II, правда, согласился отозвать свои войска, но при том условии, если Дания тоже отзовет по крайней мере половину своих. Инструктивное письмо Головкина от 30 мая дает нам представление о том, насколько трудно было преодолеть колебания датского двора. Для этого нужно было устранить денежные затруднения, связанные с отзывом войск, ослабить страх перед возможным возмездием со стороны морских держав, увлечь блестящими перспективами новых завоеваний, наконец, просто подкупить датских минист-

[1] Датские дела, 1711 г., д. 3, лл. 156—158.
[2] Там же, лл. 110—112.

ров. Долгорукому поручалось объявить Фредерику IV, что половину расходов на содержание отозванного корпуса Россия берет на себя, что царь обязуется после окончания войны с Турцией помочь Дании своими войсками для завоевания Сконена и Норвегии и обещает содействовать оставлению за Данией большей части Бремена и Висмара.

Чтобы успокоить датский двор, сильно опасавшийся повторения событий 1700 г., когда англо-голландская эскадра бомбардировала Копенгаген, Головкин писал Долгорукому: «калигатов бояться нечего, потому что они сами зело забавны и не посмеют северных союзных раздразнить, видя такую их силу».

Отсюда мы видим, что свои надежды на удачное разрешение померанского вопроса русский канцлер связывал с наличием определенных международных противоречий, препятствовавших великим державам вмешаться в северные дела. Что же касается русско-турецкого вопроса, то здесь видное место в планах и расчетах русского правительства занимали те внутренние противоречия, которые раздирали Турецкую империю. В том же письме от 30 мая Головкин писал: «И надеемся за помощию вышняго, что, при вступлении войск его царского величества в те краи, доброжелательные тамо нам многие по вспоможению и общим действам против неприятеля приступят».

На первых порах эти надежды как будто блестяще оправдывались. Едва только Шереметев с конницей и частью конной пехоты переправился через Днестр, как к нему присоединился валашский господарь Кантемир с десятитысячным войском. Счастливо начатая, по выражению Головкина, кампания продолжала успешно развертываться и дальше. В своем письме к Долгорукому от 30 июля 1711 г., написанном «из обозу от реки Прута», канцлер сообщает о том, что неделю тому назад царь вместе с гвардией прибыл к Пруту. Далее, в письме с восторгом рассказывается о поездке царя в Яссы, находящиеся в двух милях от лагеря, и о торжественной встрече, устроенной царю Кантемиром и боярами. Во время пребывания Петра в господарском замке туда прибыл посол из Молдавии граф Кантакузин «со объявлением верности всего народа и войска мултянского» [1].

Но, наряду с этим, лошади русской кавалерии падали от бескормицы, армия голодала, а турки, вопреки нашим стратегическим расчетам, опередили нас и первыми переправились через Дунай. И это несоответствие между дипломатическими успехами и военными просчетами превратило счастливо начатую кампанию в тяжелое Прутское поражение.

V

Гаагские дипломатические круги всегда чутко реагировали на попытки франко-русского сближения. В свое время голландское правительство было обеспокоено приездом Балюза в Москву, и неоднократно ратпенсионарий Гейнзиус запрашивал Матвеева о причинах длительной

[1] Там же, лл. 146, 164—165.

задержки французского посла в России. Вторичный приезд Балюза и пребывание его в царской ставке в то время, когда отношения между царем и морскими державами так обострились, вызвал серьезную тревогу и в Гааге и в Вене.

Голландский посол в Австрии Рехтерен доносил своему правительству, что венский двор имеет верные сведения о том, что Франция через Ракочи «и чрез иные еще непокорные бунтовщиков головы» все силы прилагает к тому, чтобы примирить царя с Портой и обратить турецкое оружие против Австрии[1]. Опасения и подозрения австрийских правящих кругов увеличивались донесениями австрийского посла в России Вильчека о том, что царь очень любезен с Ракочи, Берчени и другими венграми.

В Вене рассказывали, что французские министры и Ракочи со своими сподвижниками составили следующий план передела Средней Европы: Польша передается Станиславу Лещинскому, Чехия — королю Августу, Венгрия — царю, а остальные австрийские провинции отойдут к Турции. Впрочем, трезвый голландец склонен был скептически относиться к этому плану и отметил в своем донесении, что опасаться этого не должно, но должно остерегаться.

Сомнения Рехтерена имели свои основания. Венский двор упорно отказывался вывести из усмиренной Венгрии немецкие войска, чтобы направить их против Франции, на чем настаивали морские державы. Поэтому в Вене были до известной степени заинтересованы в том, чтобы муссировать подобные слухи и представлять венгерскую опасность в преувеличенном виде.

Ратпенсионарий Гейнзиус в мае и июне 1711 г. неустанно предостерегал Матвеева от французских происков, противопоставляя блестящим, но обманчивым французским обещаниям действительные услуги, оказанные России голландцами во время Северной войны. Эта же цель — воспрепятствовать франко-русскому сближению преследуется голландским правительством и в его ответе на грамоту Петра от 29 апреля. Ответ этот и по тону и по содержанию правильно отражает ту осторожную и благоразумную доброжелательность, с которою голландские руководители относились к царю и России.

6 июня 1711 г. агент Розембом вручил русскому послу в Гааге грамоту Генеральных Штатов, написанную по-голландски, и русский перевод с нее. В ответной грамоте Генеральные Штаты прежде всего изъявляли благодарность царю за его обещания не чинить им препятствий в войне с Францией. Со своей стороны, они обещали дружбу и поддержку, подобно тому как это делалось и прежде, когда они, Генеральные Штаты, в Северной войне «себя в совершенном бесстрастии содержали».

Переходя затем к основному вопросу о гарантии северного нейтра-

[1] Голландские дела, 1711 г., д. 4, лл. 86 сл., 98 сл., копии донесений голландского посла Рехтерена.

литета, голландское правительство высказывает сожаление о том, что соблюдение этого нейтралитета участниками Северной войны не было осуществлено с должной полнотой и безукоризненностью. «То нейтральство везде не инако токмо под некоторым расположением принято было», а шведский король и вовсе отказался от его соблюдения. Однако Штаты и впредь будут домогаться у Карла XII, чтобы он соблаговолил подтвердить то признание акта от 20 марта 1710 г., которое в свое время было сделано шведским сенатом.

Что же касается голландского правительства, указывалось далее в грамоте, то оно выполняет все обязательства, налагаемые на него соглашением о северном нейтралитете. Батальоны, которые должна выставить Голландия для международного корпуса, были готовы еще зимой и сейчас направлены в Силезию, где назначен сбор. Но вопрос об управлении этим корпусом и о его действиях, в силу того, что корпус по своему составу является международным, может быть разрешен только с общего согласия [1].

Письмо Головкина, написанное в Ярославле 30 мая и уведомлявшее о состоявшемся между Петром и Августом II соглашении, было получено Матвеевым в середине июня. Сам он в это время был занят утомительными, отнимавшими много времени и приносившими мало пользы переговорами о созыве, обмундировании и вооружении международного корпуса. Вокруг этого вопроса летом 1711 г. в гаагских дипломатических кругах был поднят большой шум и развернута усиленная деятельность, которая должна была прикрыть полную бездеятельность самого корпуса. Он обсуждался на многочисленных конференциях с участием Гейнзиуса и Евгения Савойского. После получения письма Головкина Матвеев значительно охладел к этому вопросу, хотя, разумеется, продолжал принимать участие в его обсуждении. Зато теперь усиленный интерес к организации международного корпуса стали проявлять Евгений Савойский и находившийся в это время в Голландии прусский король Фридрих I, что вызвало даже некоторые подозрения у Матвеева. Это чрезвычайное внимание к северным делам было, очевидно, вызвано решениями Ярославского совещания и начавшимся продвижением датских войск к Мекленбургу и Померании. В июне из Гамбурга в Гаагу дошли вести, что датский король с сильным войском осадили Висмар. Голштинский резидент Петекум (пишет Матвеев в своем письме от 15 июня) беседовал об этом с Гейнзиусом, но Штаты не намерены вмешиваться в это дело.

Со своей стороны шведский посол в Гааге Пальмквист начал усиленно домогаться сохранения тишины в империи. Ссылаясь на постановления Вестфальского, Травендальского и Альтранштедтского договоров, Пальмквист протестовал против продвижения войск северных союзников к Померании, требуя, чтобы «корпус нейтральства» был по-

[1] Голландские дела, 1711 г., д. 4, лл. 9—10, перевод с грамоты Штатов Генеральных, которая была вручена Матвееву агентом Розембомом 6/VI 1711 г.

слан против северных союзников. Вместе с датским и польским министрами Матвеев противодействует этим настояниям Пальмквиста, но сам серьезно опасается очередного имперского съезда в Ратисбоне, потому что среди немецких князей шведские жалобы и требования могли встретить сочувственное отношение.

Голландское правительство было поставлено перед необходимостью определить свое отношение к этим событиям. 20 июня «держана была у Статов Генеральных здесь великая конференция», пишет А. А. Матвеев в своем письме к Головкину от 22 июня 1711 г. На этой конференции Гейнзиус объявил, что «корпус нейтральства» должен собраться в Силезии к 20 июля. Затем он заявил, «что по непрестанным ведомостям сюда отовсюды» Штаты уведомлены, что датский король намерен вторгнуться в Померанию и что в этой операции предполагается участие и саксонских ратей. При этом он выразил надежду на то, что ввиду скорого созыва корпуса северные союзники воздержатся от отдельных выступлений. Приглашенные на эту конференцию датский и польский министры объявили, что они никаких уведомлений по этому вопросу от своих правительств не имеют; о всех же здесь сделанных заявлениях они донесут своим государям и будут ждать ответа.

Далее в зашифрованной части письма Матвеев пишет: «Здесь хотя оной порядок вышеозначенной конференции за лицо учинен, но то по всем секретным ведомостям ведомо есть, что высокие союзники желательно то увидят, чтобы наши, дацкие и саксонские войска в сию тягость вступили и тем они, союзники, от бремени нейтральства своего себя весьма освободили».[1]

О конференции Матвеев узнал от самого Гейнзиуса. Во время этого примечательного разговора ратпенсионарий предупредил Матвеева, что Штатам известно о Ярославском соглашении между царем и Августом относительно совместного вторжения в Померанию и что датский двор к этому готов. При этом Гейнзиус выражал недовольство Данией, как страной, всегда готовой «учинить развращение» в империи, что сейчас весьма невыгодно для «высоких союзников». Однако несколько позже в разговорах с Матвеевым и польским послом ратпенсионарий с «некоторым удовольствием» говорил о походе датских войск в Померанию, заявляя, что в таком случае союзники «свободны будут от своего нейтральства» и пошлют международный корпус на Рейн.

Благосклонное отношение голландского правительства и его союзников (если не всех, то некоторых) к померанским планам северных союзников было, несомненно, связано со следующим расчетом: померанская операция будет осуществлена наличными силами Дании и Саксонии без отзыва войск, находящихся на службе у морских держав. В таком случае Голландия и другие участники соглашения о северном нейтралитете могли, по их мнению, считать себя свободными от обяза-

[1] Голландские дела, 1711 г., д. 4, лл. 33—35, письмо Матвеева Г. И. Головкину от 22/VI 1711 г.; см. также лл. 38, 47, 49, 50.

тельств, которые на них налагал акт от 20 марта 1710 г., и, следовательно, могли направить против Франции международный корпус[1] или, по крайней мере, распустить его и избавить себя от лишних хлопот. Кроме того (и это соображение едва ли не было решающим), не было оснований опасаться, чтобы померанская операция могла протекать успешно, так как она предпринималась незначительными силами и в неблагоприятных условиях, когда лучшие датские и саксонские войска находились на службе у морских держав, а русская армия была занята тяжелой войной с Турцией. Следовательно, Пруссия и Ганновер, особо заинтересованные в померанском вопросе, могли не беспокоиться о том, что он будет разрешен без них и с ущербом для них.

Такое разрешение померанского вопроса не противоречило бы интересам «великого союза», потому что оно освобождало от опасений, что датские и часть немецких войск будут отозваны, избавляло от лишних хлопот с международным корпусом и в то же время не угрожало усилением России и Северного союза.

Промедление, которое допустил Август II с выполнением решений Ярославского совещания, внушило гаагским руководителям уверенность, что вопрос об отзыве войск не будет поставлен вовсе. Поэтому, когда Герсдорф в конце июня именем своего короля потребовал от Гейнзиуса объединения международного корпуса с саксонскими войсками, угрожая отзывом своих полков из Фландрии, то это требование было расценено как дипломатический запрос. И ратпенсионарий спокойно ответил польскому послу, что его король может отозвать свои войска, но Дания и Пруссия этого не сделают, потому что им не на что содержать своих солдат и офицеров[2].

В Саксонии действительно не спешили с выполнением ярославских решений, и граф Вертерен прибыл в Гаагу только в начале июля 1711 г. Перед отъездом он получил от своего короля следующие указания: потребовать от голландского правительства и представителей союзных с ним держав, чтобы нейтральный корпус соединился с войсками северных союзников под командою Августа II и вошел вместе с ними в Померанию для уничтожения находившегося там шведского корпуса; если же державы «великого союза» на это не согласятся, то польско-саксонским министрам в Гааге предоставлялось право отозвать саксонские войска, находившиеся на службе у морских держав. При этом предполагалось, что подобные же инструкции будут даны также и датскому министру в Гааге и что отзыв саксонских и датских войск произойдет одновременно[3].

Вскоре после своего приезда в Гаагу Вертерен был принят Гейнзиу-

---

[1] Из «секретов статских» Матвеев уведомился, что таковы подлинные намерения Штатов (там же, л. 49).

[2] Там же, лл. 28 и 49, письма Матвеева от 19 и 29 июня 1711 г.

[3] Там же, л. 148, письменное сообщение Вертерена и Герсдорфа, сделанное ими Матвееву 23/VII 1711 г.

сом и Евгением Савойским[1]. Оба они, как будто сговорившись предварительно, заявили, что без действительного нарушения северного нейтралитета шведским королем они не могут вступать с ним в войну, однако они согласны вместе со своими союзниками рассмотреть сделанные Вертереном предложения. Этот спокойный ответ был дан в надежде на то, что подобные переговоры, как это уже неоднократно было доказано на опыте, потребуют много времени, решение вопроса затянется до осени, а там и самый вопрос потеряет остроту, так как удобное для военных действий время будет упущено. Таким образом, без особых хлопот, гаагским руководителям удалось бы осуществить свою программу в северном вопросе, которая, как мы видели, сводилась к следующим двум основным пунктам: 1) в связи с вступлением северных союзников в Померанию передвинуть международный корпус к Рейну; 2) по акту о северном нейтралитете действовать оборонительно, а не наступательно.

Однако и голландский ратпенсионарий, и австрийский фельдмаршал, оба эти крупнейшие государственные деятели тогдашней Европы не могли закрывать глаза на то, что дело может получить иной оборот, если северным союзникам удастся отозвать свои войска с англо-голландской службы. Тогда позиции «великого союза» во Фландрии были бы значительно ослаблены, а возможность завоевания северными союзниками шведской Померании стала бы вполне реальной, особенно если бы русской армии удалось разбить турок на Дунае. А первые серьезные успехи союзников Петра в Померании должны были вызвать смятение в Берлине и Ганновере, что могло привести к новому ослаблению сил «великого союза». Прусский король и ганноверский курфюрст, воспользовавшись прецедентом, могли потребовать обратно свои войска, чтобы принять активное участие в Северной войне.

Несомненно одно, что и Гейнзиус, и Евгений Савойский были гораздо больше обеспокоены предложениями Вертерена, чем они это желали показать. Матвеев, имевший с ратпенсионарием очередную конференцию в первых числах июля, вынес из нее впечатление, что глава голландского правительства «не в малом смущении есть о позыве саксонских и датских трупов из своей службы». Замешательство гаагских руководителей было настолько велико, что они решили даже вызвать в Гаагу Мальборо, находившегося при армии во Фландрии[2]. Но Мальборо отказался оставить войска во время кампании.

Может быть, под влиянием его советов, а возможно, что и вследствие проявленной северными союзниками настойчивости, но в это время происходит быстрый и коренной перелом в тактике «великого союза». Метод замалчивания и оттяжек сменяется методом устрашения. Вокруг сделанных Вертереном предложений в Гааге разыгралась подлинная дипломатическая буря. Отношение к северным союзникам в гааг-

---

[1] Голландские дела, 1711 г., д. 4, л. 61, письмо Матвеева Головкину от 3/VII 1711 г.

[2] Там же, лл. 62, 65.

ских дипломатических кругах резко ухудшилось. Если во время первых встреч с Вертереном Евгений Савойский предупреждал его, что в случае отзыва датских и саксонских войск «великий союз» будет вынужден заключить мир с Францией, то теперь северных союзников прямо обвиняют в пособничестве Франции.

Хорошо осведомленный Матвеев сообщал Головкину в своем письме от июля 1711 г.: «Здесь по приезде его, графове, и по тех острых учиненных от него предложениях и по совершенной ведомости к Статам и союзничьим министрам о отзыве трупов их и дацких, внутреннею злобою почали отрыгать на нас и в благоприятство Швеции склонятца».[1]

Главным виновником этих событий считали Августа II, который якобы сблизился с Францией и побудил к этому и русский двор. Кроме того, Августа обвиняли также и в том, что он самовольно отсрочил выборы нового императора. Опасения, что Россия сближается с Францией, поддерживались и внезапным отзывом Куракина из Лондона для отправки его во Францию «с тайными комиссии».[2]

По отношению к Августу II в Гааге считали необходимым соблюдать дипломатические приличия, но что касается Дании, то по ее адресу были допущены прямые угрозы. Барон Латмар, «статский депутат чужестранных дел», в беседе с датским министром Алефельдом прямо заявил, что «высокие союзники и Статы за великого себе неприятеля короля дацкого приняв, не отпустят тех войск из службы своей. Но обязаны будут при такой им учиненной тяжкой досаде послать флот на Балтийское море и понудятся по всей возможности этот мир с Францией заключить».[3]

Враждебное отношение морских держав к отзыву датских и саксонских войск произвело сильнейшее впечатление на союзников России, особенно на датский двор, который и так медлил с присылкою соответствующих распоряжений своему министру в Гааге.

По приезде в Голландию Вертерен обнаружил, что Алефельд не получил еще от Фредерика IV разрешения и полномочий для отзыва датских войск в том случае, если «великий союз» откажется послать международный корпус в Померанию. Это обстоятельство замедлило ход переговоров об отзыве войск, так как Вертерен вынужден был, в силу данных ему инструкций, запрашивать своего короля, следует ли ему отзывать саксонские войска со службы у морских держав, если датские отозваны не будут. Ответ был получен отрицательный.

Специальные курьеры были посланы и Алефельдом ко двору, откуда затем последовали двойственные, половинчатые распоряжения, отражавшие колеблющуюся политику датского правительства в этом вопросе. Сначала Алефельду рекомендовалось попугать высоких союзников от-

[1] Там же, л. 77, письмо Матвеева Головкину от 6/VII 1711 г.

[2] Там же, л. 78.

[3] Там же, л. 106, письмо Матвеева от 17/VIII 1711 г. Матвеев передает эту беседу со слов Алефельда.

зывом датских войск. В результате этой попытки, как мы видели, напуганным оказался сам датский посол. Затем датский двор присылает новые указания: вместо отзыва датских войск потребовать, чтобы пехота международного корпуса была передана северным союзникам, а кавалерия соединена с войсками «великого союза», причем датский король предлагал даже передать дополнительно часть датской конницы морским державам. Этот запутанный и трудный для выполнения план действий был по существу отказом от выполнения решений Ярославского совещания [1].

Тем временем, пока датское правительство металось от одного решения к другому, Вертерен приступил к переговорам с голландским правительством и союзными министрами. Вопрос об отзыве саксонских войск обсуждался на конференциях, проходивших в бурной обстановке. Август II проявил не больше твердости, чем Фредерик IV. Сперва он начал уменьшать количество отзываемых войск до нескольких батальонов, а затем согласился вовсе отказаться от своего требования при условии, что ему будет уплачено 150 000 руб. «Веселый король», который не раз тратил предназначенные для военных расходов русские субсидии на устройство придворных празднеств, оставался верен себе [2].

Тщетно пытался Матвеев объединить разрозненные дипломатические действия своих союзников и побудить их одновременно предъявить «великому союзу» единодушное требование об отзыве датско-саксонских войск со службы у морских держав. В своих донесениях Головкину русский представитель справедливо характеризует тактику своих союзников, как гибельную для общих интересов Северного союза, хотя, может быть, и не совсем справедливо считает виновником этого польских министров, а датского посла Алефельда осыпает похвалами.

Голландские же дипломаты с присущим им искусством воспользовались разногласиями среди северных союзников, чтобы изолировать своего главного соперника Августа II, с которым собственно и велись переговоры. Датские же претензии были отвергнуты с порога со ссылкой на договор, по которому Дания обязалась оставить свои войска на службе у морских держав до конца войны с Францией. [3]

На первой конференции, созванной 5 июля для обсуждения предложений Вертерена, где присутствовали депутаты Генеральных Штатов, Евгений Савойский, цесарские министры и польские послы, представители «великого союза» разразились градом упреков по адресу северных союзников, предъявляющих требования, выгодные для Франции. После того как пыл негодования несколько охладел, Вертерену было заявлено, что его король может рассчитывать на следующие уступки: державы «великого союза» не будут препятствовать вступлению войск Северного союза в Померанию и согласны также оставить в распоряжении

[1] Голландские дела, 1711 г., д. 4, лл. 136—144, письмо Матвеева Головкину от 24/VII 1711 г.

[2] Там же, лл. 105, 119, 137.

[3] Там же, лл. 199 сл.

Августа II те 3000 рекрутов, которые он должен был поставить для пополнения саксонских войск, находившихся во Фландрии.[1]

Все старания Вертерена добиться дальнейших уступок ни к чему не привели. Голландское правительство соглашалось дать важные дипломатические гарантии, но было непреклонно там, где шла речь о войсках, находившихся во Фландрии. Некоторые из членов голландского правительства обнаружили было склонность пойти на уступки в вопросе о международном корпусе, но в Англии решительно возражали против объединения хотя бы части войск этого корпуса с войсками Северного союза. Наряду с этим в Гааге старались направить дипломатическую деятельность Северного союза в другую сторону: рекомендовали искать военной помощи у Пруссии и Ганновера.

Наиболее полно точка зрения голландского правительства изложена в особом коммюнике, составленном в середине июля 1711 г.[2] В нем указывалось, что, имея на плечах тяжелую войну с Францией, Штаты не могут вступить в новую войну с Швецией. Отзыв же датских и саксонских полков повлечет за собою заключение невыгодного для морских держав мира с Францией. Поэтому морские державы просят не отзывать войска и обещают свое содействие, которое будет выражаться в следующем: 1) никто из участников соглашения о северном нейтралитете не будет вмешиваться в дела северных союзников; 2) 3000 рекрутов, которых должен был выставить Август II для фландрских войск, останутся в его распоряжении, и плата за них будет вноситься морскими державами; 3) если северные союзники вступят в Померанию, то участники акта о нейтралитете попрежнему обязуются не допускать шведского нападения ни на Саксонию, ни на Шлезвиг, ни на Ютландию, потому что Карл XII отрекся от нейтралитета; 4) обещают свое посредничество в северных делах. В заключение еще раз подчеркивалось, что морские державы обещают всяческое содействие северным союзникам, если только войска останутся попрежнему у них на службе, и указывалось, что «тем видом высокие северные союзники свободнее найдут способ до привлечения к себе некоторых иных держав, например короля прусского и дом люнебургский».

Эти решения были подтверждены с некоторым изменением на конференции, состоявшейся 3/14 августа 1711 г.[3], на которой присутствовали статские депутаты и польско-саксонские министры. Матвеев был недоволен этими решениями, но не счел возможным настаивать на большем. Саксонские министры и так старались распространить в гаагских кругах мнение, что в отзыве войск виновником является Россия.

В своем же кругу Вертерен старался переложить ответственность за промедление и неуспех в переговорах на Данию, что он и сделал весь-

---

[1] Там же, лл. 62 и 82.

[2] Там же, лл. 148 сл.

[3] Там же, л. 205, протокол конференции. Вместо пункта о 3000 рекрутов был внесен пункт об отзыве трех батальонов саксонских войск из Фландрии.

ма эффектно. В присутствии Матвеева и А. Головкина[1] Вертерен объявил Алефельду, что если бы датский двор прислал распоряжение об отзыве своих войск, то он, Вертерен, отозвал бы свои немедленно, «несмотря ни на каких высоких союзников и Статов Голландских предложения».[2]

Это завление Вертерена было сделано если не безответственно, то во всяком случае с присущим дипломатам Августа II легкомыслием. В действительности отзыв датско-саксонских войск из Фландрии без согласия морских держав был сопряжен с очень большими трудностями. Командовавший этими войсками герцог Вюртембергский считал эту затею вообще неосуществимой и указывал на грозившую в подобном случае опасность попасть между двух огней: на отделившиеся датско-саксонские войска могли напасть французы и полностью их уничтожить. Предвидел герцог Вюртембергский и другие опасности и препятствия. Он запрашивал датского и саксонских министров в Гааге, как поступать, если союзные генералы будут удерживать датские и саксонские войска? Как переправиться через две большие реки и пройти города, через которые их не будут пропускать без голландских паспортов? Откуда взять деньги для продовольствия войск по дороге?[3]

Возможно, что та легкость, с которой граф Вертерен давал свое обещание, объясняется его уверенностью в том, что Дания не решится на такой шаг, как отзыв своих войск из Фландрии без согласия морских держав. Этому препятствовали причины экономические, дипломатические и военные. Англия и Голландия должны были датскому королю 300 000 ефимков за наем войск, и этот долг приковывал Фредерика IV к колеснице его дебиторов: в случае разрыва отношений между Данией и морскими державами уплата этого долга стала бы весьма сомнительной. Дипломатические традиции также мешали Дании пойти на разрыв с Голландией; в своей исконной борьбе с Швецией Дания обычно пользовалась поддержкой Голландской республики.

Но самою важною была причина военная — датское правительство не хотело вновь увидеть под стенами Копенгагена англо-голландскую эскадру, а эта опасность снова приобрела реальность в 1711 г. В июле этого года Матвеев проведал «из секретов здешних», что Англия и Штаты намерены послать в Зунд эскадру в 50 кораблей для принуждения Дании к заключению мира со Швецией, если датские и саксонские войска будут отозваны со службы у морских держав.

Из того же источника Матвеев осведомился, что польско-саксонским министрам было сделано на выгодных условиях предложение от имени морских держав, «чтобы при нападении нынешнем на Померанию некоторая умеренность оказана была. И оное дело не с таким жаром по прежним намерениям происходило. И что за то королю польскому

[1] Сын канцлера Г. И. Головкина был в это время русским послом в Берлине.

[2] Голландские дела, 1711 г., д. 4, л. 170, письмо Матвеева.

[3] Там же, л. 144, письмо герц. Вюртембергского, русская копия.

некоторые прибыльные кондиции сулены были». При этом указывалось, что если северные державы потерпят неудачу в Померании, то сами будут тому виною. Если же военное счастье окажется на их стороне, то морские державы «яко нейтралы, гаранты цесарства, принуждены будут для соблюдения покоя в цесарстве... принять свои меры и употребить свой корпус нейтральный к тому концу...»[1].

Итак, морские державы наотрез отказались выполнить требование Саксонии и Дании относительно отзыва войск. Решиться же на этот шаг вопреки англо-голландской воле не посмели ни государи, ни министры, ни генералы союзных с Россией стран. Если польско-саксонские и датские дипломаты, повинуясь профессиональной привычке, еще пытались лавировать между Сциллой и Харибдой — между гневом царя и озлоблением морских держав — и делали вид, что они считают возможным выполнить это намерение, то генералы прямо заявили о его невыполнимости.

Предпринятая Вертереном попытка заручиться поддержкой Пруссии в предстоявшей померанской операции[2] окончилась неуспешно. Прусские министры произвели на Вертерена впечатление людей, сочувствующих Швеции. Окончательный ответ прусского короля был таков: северным союзникам предоставляется свободный проход через прусские земли и право приобретать провиант за деньги. Пруссия, которая вела на западе войну без политики, а на востоке политику без войны, предпочитала пока выжидать и извлекать из северной борьбы ту единственную пользу, которую оттуда можно было извлечь без риска,— наживаться на военных поставках.

* * *

Подведем теперь итог той напряженной дипломатической деятельности, которая была развернута русским правительством вокруг вопроса о Померании в 1709—1711 гг.

Значение гаагских решений от 3/14 августа 1711 г. было очень велико. Это была крупная дипломатическая победа, имевшая большое значение для дальнейшего хода Северной войны, причем Петр и его союзники ничем не нарушили тех международных соглашений, в которых они принимали участие.

Ченс полагает, что решения от 3/14 августа 1711 г. и связанное с ними вступление русских и союзных войск в Померанию обратили в ничто соглашение о северном нейтралитете,[3] но с этим мнением никак нельзя согласиться. Решающий удар соглашению от 20/31 марта был нанесен Карлом XII, отказавшимся от его соблюдения. По смыслу этого соглашения против шведского короля, как нарушителя северного нейтралитета, должен был быть двинут международный корпус. Но морские

---

[1] Там же, лл. 152, 163, 209, письмо Матвеева от 27/VII 1711 г.

[2] Там же, лл. 63, 79, 108.

[3] J. F. Chance. Op. cit., p. 698.

державы медлили и вели двойственную политику, а именно: с одной стороны, принимались меры для сбора международного корпуса в Силезии, куда была уже отправлена часть войск; с другой — командование корпусом не было назначено, и выступление корпуса откладывалось до того момента, когда корпус Крассова начнет военные действия; тем самым инициатива предоставлялась шведам.

Тогда северные союзники, которым в это время угрожала опасность быть атакованными с двух сторон — из Турции и из Померании, потребовали, чтобы или международный корпус немедленно выступил против шведов, или были бы отпущены датско-саксонские войска, находившиеся на службе у морских держав. О предъявлении этих требований Петр I договорился с Августом II во время Ярославского совещания, происходившего в мае 1711 г. Требования эти обсуждались затем в Гааге летом того же года, в результате чего и пришли к новым решениям от 3/14 августа 1711 г., представляющим собою продолжение Гаагских соглашений 1710 г. о северном нейтралитете.

Основной смысл акта от 20/31 марта 1710 г. и связанной с ним августовской конвенции того же года заключался в том, что «великий союз» удерживал за собой датско-саксонские войска и ограничивал зону военных действий северных союзников, обязавшихся не вносить огонь Северной войны в имперские владения Швеции. Взамен этого северным союзникам была гарантирована безопасность от корпуса Крассова. Но «великий союз» не смог сдержать своего обещания вследствие отказа Карла XII признать северный нейтралитет. Поэтому прежнее соглашение было заменено новым, по которому датско-саксонские войска оставались на службе «великого союза», но северным союзникам предоставлялась свобода действий в Померании. Англия согласилась признать новые решения только под сильным давлением Голландской республики.

Теперь Россия и ее союзники получили возможность без нарушения международных соглашений вступить в шведскую Померанию, что и было выполнено немедленно. Одеру на этот раз суждено было стать рекою шведской судьбы. Как ни велики были трудности и разочарования, которые принесла для России померанская операция, затянувшаяся на несколько лет, однако в результате ее была уничтожена вторая шведская армия, созданная Стенбоком. Достигнутое на поле Полтавского боя было закреплено в Померании и Голштинии.

К. В. СИВКОВ

ПОДПОЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII в.

I

Настроения широких слоев населения России в последней трети XVIII в., их отношение к происходившим событиям, к политике правительства, к его отдельным представителям не могли найти выражения в тогдашней легальной печати. Газеты, журналы, книги — все это было в руках дворянства, отчасти в руках буржуазии и разночинцев, и отражало идеологию этих социальных слоев. Кроме того, тогдашние цензурные условия делали, разумеется, невозможным появление в печати того, что было выражением подлинных народных настроений.

Как правильно указывает Г. Гуковский, «одна только печатная литература не может дать исчерпывающего материала для суждения о «состоянии умов» различных классов при Екатерине II. Лишь с трудом попадали в нее отзвуки подлинных настроений тех или иных социальных групп или даже общественного мировоззрения того или иного писателя, если он не был настроен совершенно официально».[1]

Для широких народных масс оставался один путь выражения их настроений и чаяний — путь подпольной, нелегальной письменной и устной литературы.

Социальные верхи того времени тоже прибегали к этой форме выявления своего отношения к современным событиям и деятелям, поскольку по цензурным и иным условиям они не всегда могли или умели использовать легальное печатное слово. Но подпольная литература — по преимуществу область творчества социальных низов.

Подпольная литература XVIII века вообще и последней трети его в частности (принадлежащая и социальным верхам и социальным низам) не только мало изучена, но и мало выявлена, и лишь в самое последнее время появилось несколько работ, посвященных этой теме в области, так сказать, художественного творчества (см. названную статью в № 9—10 «Литературного наследства»). Не меньшее значение, чем подпольные басни, песни и пр., имели такие виды подпольной литературы, как подложные указы, манифесты, «подметные письма» и пр. Все они обозначались тогда термином «пасквиль», несмотря на то, что, ко-

---

[1] Подпольная поэзия 1770—1800-х годов — «Литературное наследство», № 9—10, 1933, стр. 10.

нечно, была большая разница между подметными письмами и подложными указами.[1]

В последней трети XVIII в. различные виды подпольной политической литературы, так называемые «пасквили», получили значительное распространение, и правительство Екатерины II постоянно боролось с ними. Случаев обнаружения авторов этих пасквилей было мало, но их содержание, их социально-политическая направленность, их стиль, язык, а также и внешнее оформление (в тех случаях, когда их подлинники дошли до нас) не оставляют сомнения в том, что этих авторов надо искать главным образом в социальных низах: среди грамотных крестьян, солдат, низшего духовенства, мелких служащих, мелкого купечества. В этой же социальной среде пасквили получали по преимуществу свое распространение. Что было причиной появления и широкого распространения многочисленной политической подпольной литературы в последней трети XVIII в.?[2]

Переворот 28 июня 1762 г., неудачно составленный манифест 28 июня, оправдывавший переворот, смерть Петра III в Ропше и новый манифест, пытавшийся объяснить эту смерть как результат болезни, роль в перевороте и смерти Петра III и последующее возвышение братьев Орловых и ряда других лиц — все это вызывало (и не могло не вызывать) многочисленные и разнообразные толки. Несомненно возбуждающим толки образом должен был подействовать изданный 18 июля 1762 г. указ «Об удержании судей и чиновников от лихоимства».[3] В нем пространно и красочно описывалось царившее в империи лихоимство и говорилось, что «едва есть ли малое самое место правительства, в котором бы божественное сие действие, суд, без заражения сей язвы отправлялося: ищет ли кто места, платит; защищается ли кто от клеветы, обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами». Судьи превращают место суда «в торжище», «нищего делают богатым, а богатого нищим». Не прошло бесследно и указание императрицы на высокие цели, которые она ставила перед собой после переворота. «Не снискания высокого имени обладательницы Российской,— говорилось в указе,— не приобретение сокровищ, которыми паче всех земных нам можно обогатиться, не властолюбие и не иная какая корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание нас понудили принять сие бремя правительства.... все труды и попечения подъемлем для славы и обогащения народа нашего».

---

[1] Пасквиль — нем. Pasquill, из итал. яз., сочинение клеветнического характера; происходит от имени римского башмачника Pasquino XVI в., славившегося своим остроумием. Его именем была названа статуя, на которой было принято вывешивать злободневные сатирические стихи.

[2] Говоря дальше о подпольной политической литературе, я в одном случае делаю исключение, введя в свой обзор дело о «песне, сложенной в народе», сохранившейся в документах Тайной экспедиции.

[3] ПСЗ, т. XVI, № 11616.

В дальнейшем такое же влияние на массы должны были оказать и другие печатные выступления правительства Екатерины II. Сюда прежде всего относятся многочисленные манифесты и указы о крестьянах, о суде, управлении, о наказании разных категорий преступников и пр.[1] Наконец, часто имели обратное действие указы, воспрещавшие рассуждения и толки «по делам, до правительства относящимся», как говорится в одном указе 1763 г. За 34 года своего царствования Екатерина издала по всем этим и подобным им вопросам большое количество документов, в которых она поучала своих подданных в духе модных тогда политических идей умеренного направления. Не меньшее влияние на массы должны были оказать такие правительственные мероприятия, как секуляризация церковных имений, созыв «уложенной комиссии» 1767 г., губернская реформа 1775 г., жалованные грамоты дворянству и городам и пр., а также различные крупные факты из области внешней политики, так как активная внешняя политика Екатерины II требовала большого напряжения народных сил. За 34 года екатерининского царствования положение народных масс неуклонно ухудшалось, что нашло свое выражение прежде всего в многочисленных крестьянских выступлениях и особенно в восстании 1773—74 гг. под предводительством Пугачева, а также в выступлениях представителей других классов, выступлениях, зафиксированных в многочисленных политических процессах того времени. Вполне понятно, как создавалась та атмосфера, в которой возникала и распространялась в те годы подпольная литература в виде пасквилей — подметных писем, подложных указов и т. п. произведений самого разнообразного содержания, которые, начиная с 1762 г., то и дело появлялись в разных местах.

Осенью 1762 г. в Казанскую губернскую канцелярию была принесена крестьянином Азобаевым копия с манифеста, якобы изданного 7 июля этого года, о восшествии на престол Екатерины.[2] В нем были «пасквильные речи» о том, чтобы крестьяне, принадлежавшие императрице и отданные в прежние годы архиереям и монастырям и приписанные к заводам, не работали на заводах и были попрежнему ясачными. Выяснилось, что этот манифест писал дьячок села Красная Горка Казанского уезда Кузьмин. Он признался, что сочинил его умышленно, находясь под караулом в Казанской духовной консистории вместе с содержавшимся там заводским крестьянином графа Шувалова Куликовым. Азобаев при этом показывал, что заводские крестьяне Шувалова списали копии с этого мнимого манифеста и, разъезжая с ни-

---

[1] Указы и манифесты о необоснованных слухах читались по воскресным и праздничным дням в церквах — ПСЗ, т. XVI, № 11730; т. XVIII, № 12966.

[2] С. Соловьев. История России, кн. 5, стб. 1381—1382 (среди документов Тайной экспедиции я не нашел никаких следов или отголосков этого дела); 1762 г. ноября 14.— О разгласительном в Казанской губернии о заводских и прочих крестьянах фальшиво сочиненном манифесте, «Указы имп. Екатерины Алексеевны... с 28 июня 1762 по 1763 г. Печатаны в Москве при сенате 1763 г., а вторым тиснением при имп. Ак. Наук 1776 г.», стр. 152—155. См. также ПСЗ, т. XVI, № 11710.

ми по заводским поселкам, «возмущают и берут подписки не работать на заводах, а желающих работать бьют, разоряют и выгоняют из домов». Повидимому в связи с этим, 19 июля, в присутствии императрицы, в Сенате читали жалобу генерал-майора Тевкелева на возмутившихся крестьян в Казанской и Оренбургской губерниях» [1]

Таким образом, в данном случае мы знаем, какие именно последствия имел этот подложный манифест и на какую, примерно, территорию распространилось его действие, но есть много свидетельств того, что слухи и толки самого разнообразного содержания, источник которых установить невозможно, продолжали распространяться и в 1763 и в последующие годы. Поэтому для борьбы с ними было решено опубликовать особый манифест. 2 июня 1763 г. Екатерина запрашивала генерал-прокурора А. И. Глебова: «Александр Иванович! Манифест о молчанье будут ли публиковать барабанным боем или так разошлете?» [2] На следующий день она вновь писала Глебову: «С нетерпением ожидаю поправленного вами манифеста, за что весьма благодарна». [3] Согласно постановлению Сената, манифест был опубликован с барабанным боем, велено было разослать его во все присутственные места и напечатать в газетах как русских, так и немецких. Это был манифест о «воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам, до правительства относящимся». [4]

Не прошло, однако, и пяти месяцев, как появился подложный указ Сенату, помеченный 30 октября 1763 г. В конце этого и в начале следующего года он получил большое распространение и в Москве и в Петербурге среди мелких служащих Сената, Коллегии о коммерции, среди рядового состава гвардии. Главнокомандующий в Москве граф П. Салтыков писал Екатерине, что «ложное сие сочинение здесь, в Москве, почти во всех домах публично было и за истинное принималось», и потому добраться до его автора невозможно. [5] Этот указ об утеснении народа имел явно антидворянский характер. В нем говорилось, что «весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные права и в том много чинят Российскому государству недобро». Прежние цари награждали вотчинами и деньгами, но «они в том забыли, что воистину дворянство было в первом классе, а ныне дворянство вознеслось, что в послушании быть не хотят». Затем автор, указав на общее тяжелое положение народа, снова повторяет, что причина всех бедствий — поведение дворянства и что оно ответит за это. Он писал: «А ныне правду всю изринули да и из России вон выгнали, да и слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матерей осиротели. Или оным дво-

[1] С. Соловьев, Указ. соч., кн. 5, стб. 1362.
[2] «Сб. РИО», т. VII, стр. 295.
[3] «Сб. РИО», т. VII, стр. 296.
[4] ПСЗ, т. XVI, № 11843.
[5] ЦГАДА, ф. Гос. архива (в дальн. цит. ГА), разр. VII, д. 2147, л. 17.

рянам не умирать, или же перед богом на суде не быть? Такой же им и суд будет; ею же меру мерите, возмерится и вам».[1]

Правительство Екатерины не сочло возможным замалчивать факт появления этого подложного указа. Наоборот, как в этом, так и во многих других подобных случаях оно признало необходимым 16 марта 1764 г. опубликовать особый указ Сенату «о пасквиле, выданном под именем именного указа», в котором воспроизводилось содержание «пасквиля» и давалось распоряжение публично сжечь его, что и было исполнено 17 марта палачом при барабанном бое на Сенатской площади в Петербурге. Назвавшему сочинителя пасквиля была обещана награда в 100 рублей.[2] В тот же день, т. е. 17 марта 1764 г., императрица приказала Сенату обнародовать ее решение о том, чтобы публикуемые в народ указы считались действительными только тогда, когда они будут печатные. В нем говорилось, что «простой народ по уездам, а особливо ныне с некоторого времени по монастырским волостям, нередко обманываем бывал списками ложных от имени ее имп. величества и от Сената указов».[3]

Мы не знаем, к сожалению, сколько именно появилось таких списков указа 30 октября, но из текста указа видно, что их к середине марта 1764 г. было несколько, а через 3 месяца появился еще один, который до нас не дошел. В июне 1764 г. Екатерина отправилась в Прибалтику, и в самый день ее отъезда из Петербурга близ церкви Введения, на Петербургской стороне, перед воротами двора сенатского копииста Антонова, было найдено «подметное письмо». Во время следствия над Мировичем Н. И. Панин переслал его генерал-поручику Веймарну, предлагая выяснить, нет ли какой-либо связи между этим письмом и замыслом Мировича.[4]

Это письмо по общему своему тону близко к подложному указу 1763 г., но оно указывает конкретных виновников бедствий народа и средства избавления от них (эта часть письма и привела, очевидно, Панина к предположению о связи письма с замыслом Мировича). Вот что в нем говорилось: «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правлением, хотят российскую землю раззорить и привесть в крайную нужду, однако сколько потерпят, а Россию не раззорят. Токмо не будет ли им самим раззорения, а уже время наступает к бунту. Первого графа Захара Чернышева в застенок и бить кнутом без всякого милосердия, потом четвертовать и голову отрубить. Второго Алексея Разумовского таким же образом. Третьего Григория Орлова, и потом неповадно будет другим преступать прежних царей права и законы, а государыню выслать в свою землю. А надлежит цар-

---

[1] Там же, л. 2. «Указ» перепечатывался несколько раз (см. сб. РИО, т. VII, стр. 322; С. Соловьев. Указ. соч., кн. 5, стб. 1478—1479; Н. Дубровин. Пугачев и его сообщники, т. I, СПб., 1884, стр. 316—317).

[2] ПСЗ, т. XVI, № 12089.

[3] ПСЗ, т. XVI, № 12090.

[4] ГА, разр. VI, д. 400, ч. 2, л. 324 об.

ским престолом утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича, и вся наша Россия с великим усердием и верою желает присягать, а их бестиев самих надлежит раззорить, многих военных людей и всякого звания вечно раззорили и заставили они себя ругать и бранить, а уже от российского войска крайная служба воспоследует».

Письмо написано было привычной писарской рукой, без всяких знаков препинания. На обороте письма другим почерком написано: «Сие письмо писал мужик с похмелю, одно ухо оленье, а другое тюленье. Самая правда, что написано в сей бумаге».[1] Эта приписка позволяет думать, что письмо уже побывало в чьих-то руках после того, как вышло из-под пера неизвестного автора.

По поводу этого «подметного письма» Мировичу во время следствия был поставлен специальный вопрос: «Предъявленное тебе сочинение не твоим ли приказанием или наставлением писано и разбросывано?», а затем следователь призывал его откровенно показать, «чьей руки оное писано и кому ты таких же рассеянных сочинениев списать и разбрасывать препоручил». Мирович ответил, что предъявленное ему сочинение не написано ни им самим, ни кем-либо по его приказанию; никому он не поручал и разбрасывать подобные сочинения.[2]

В том же 1764 г. в Москве власти обнаружили песню, «сложенную, как гласили официальные документы, в народе».[3] Эта небольшая по размеру и очень примитивная по содержанию песня была сложена, видимо, еще до вступления на престол Екатерины II. Темой ее была связь мужа Екатерины Петра Федоровича с Елизаветой Воронцовой (из текста не ясно, имел ли автор в виду великого князя, наследника Елизаветы, или уже императора Петра III); говорилось о том, как он гуляет с ней в саду, а Екатерина забыта.[4] Никаких намеков на положение государства и народа в песне не было; все сводилось к чисто личным отношениям Петра, Екатерины и Воронцовой. По делу об этой песне, производившемуся в Тайной экспедиции, последовала такая резолюция: императрице угодно, чтобы «сия песня забвению предана была, но, однако же, бесприметным образом, дабы никто не мог почувствовать, что сие запрещение происходит от вышней власти».[5] Как московские власти справились с этим заданием, из документов не видно. Другое поручение — найти автора песни — московский губернатор граф Салтыков считал совершенно невыполнимым.

В Петербурге в 1764 г. подметное письмо из Москвы было найдено на фрейлинской поварне. В деле по поводу этого письма, к сожалению, нет его текста и никаких указаний на его содержание (кроме ука-

[1] ГА, разр. VI, д. 400, ч. 2, л. 326.

[2] Там же, л. 41 об.

[3] ГА, разр. VII, д. 2164.

[4] В ней говорилось, как «сердечный друг гуляет в зеленом саду, в полусадничке, не с князьями, не с боярами, не с дворцовыми генералами, а с любимой своей фрейлиной Лизаветой Воронцовой» (л. 12).

[5] ГА, разр. VII, д. 2046, ч. I, л. 61.

зания в заголовке дела: «о грозящих беспорядках»), но факт подбрасывания его на поварню может служить доказательством, что оно было направлено дворцовой прислуге, а не фрейлинам.[1] Но, с другой стороны, то, что оно было на немецком языке и подписано какими-то иероглифами, может указывать и на другого адресата. Автор письма остался неизвестным.

Подметные письма, или пасквили, не раз появлялись и в последующие годы, и правительство неоднократно повторяло указы против распространителей ложных слухов и сочинителей пасквилей. 3 мая 1766 г. Сенат призывал не иметь веры «к разглашателям слухов, будто указом велено отписывать на ее имп. величество помещичьих крестьян за наложение тяжких на них оброков».[2] Указ был вызван тем, что в марте этого года в Главную дворцовую канцелярию поступила челобитная от нескольких крестьян, в которой было написано, что якобы по изданному в 1766 г. указу определено «за тягчайшими от помещиков оброками, коих платить крестьяне не в состоянии, отписывать на е. и. в». Отыскали сочинителя челобитной, и он показал, что указа не видел, «а в челобитную внес с одной наслышки». За это он был жестоко наказан.[3]

Через год, в 1767 г. последовал новый указ «о сожжении в Ярославле пасквильного письма и об учинении держателю оного наказания плетьми».[4] В указе говорилось, что у присланного в Ярославскую провинциальную канцелярию помещиком Ф. Майковым его дворового человека А. Крылова для ссылки его на поселение в Нерчинск («за невоздержанное его житие и за пьянство») было взято «пасквильное письмо», сходное с тем, о котором говорилось в указе 16 марта 1764 г. Крылов на допросе показал, что списал пасквиль с письма, принесенного сыном дьячка из села Щокотова Ф. Тимофеевым. Но Тимофеев это отрицал, и Ярославская провинциальная канцелярия сочла его объяснения, «за малолетством и слабым сложением», удовлетворительным. Сенат предписал поступить с этим письмом так же, как поступили с аналогичным письмом в 1764 г., а Крылова публично наказать плетьми и сослать в Нерчинск.[5]

Доказательством того, что эти меры правительства не достигали цели, служат московские события 1771 г. и несколько указов

---

[1] ГА, разр. VII, д. 2133.

[2] ПСЗ, т. XVII, № 12633.

[3] Ср. Д. Мордовцев. Самозванцы и понизовая вольница, т. I. СПб., 1867, стр. 119; С. Соловьев. Указ. соч., кн. 6, стб. 293.

[4] ПСЗ, т. XVIII, № 12890.

[5] Появление «пасквильного письма» в Ярославской провинции в 1767 г. нельзя не сопоставить с тем состоянием, в котором Ярославль находился в течение нескольких лет. После путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина II отправила в Ярославль капитана лейб-гвардии Преображенского полка Бахметьева для «умиротворения купцов» этого города. В собственноручно написанном ею проекте указа Бахметьеву говорилось, что он должен ехать в Ярославль «для восстановления в сем расстроенном городе паки мира, тишины и порядка, которого много лет чрез разные непорядки, ссоры и ябеды сей город лишился...» (Сб. РИО», т. X, стр. 219).

1771—1774 гг. 21 сентября 1771 г. главнокомандующий в Москве граф П. С. Салтыков писал Екатерине: «Нельзя быть без начальника, ибо не только в Москве, но по уезду несколько тех злодеев, нарядясь в солдатский мундир, ходят по дворцовым и экономическим вотчинам, показывая указы якобы из губернской канцелярии посланы, и велят попам перед народом читать, старост и выборных принуждают подписываться в том, что как скоро услышат в Москве набат или пушечную стрельбу, то бы все в Москву бежали с дубинами и рогатинами».[1] Как бы в ответ на это, указ 24 сентября 1771 г. призывал не иметь веры к «ложным разглашениям мятежников, удалившихся из Москвы от законного их преследования» (после убийства архиепископа Амвросия).[2] Тем не менее «разглашения» не прекращались. 22 ноября 1771 г. Екатерина, давая наставления московскому главнокомандующему князю М. Н. Волконскому относительно предстоявшей ему деятельности по Тайной экспедиции, писала ему, чтобы он придерживался ее указаний: «не пропускать врак без исследований, но не давать вракам и вралям большего уважения, нежели по разбору и существу вещь сама собой заслуживает. Но как ныне на Москве вранья было без конца и без счету, того для если вы усмотрите, что сии врали не унимаются, прикажите враля-другого, по исследовании, что́ врали, высечь плетьми публично через полицию, сказав в сентенции, что то делается для воздержания вралей от вранья. Я чаю, сие довольно будет, чтобы необузданных унять надолго во всем городе...»[3] 25 января 1772 г. она вновь писала Волконскому из Петербурга: «Здесь слышно, что на Москве опять разные враки есть. Пожалуй, не пропустите оных мимо ушей, так, как я уже к вам писала, но прикажите по исследовании от человека до человека, кто от кого слышал, добраться до выдумщика, и того уже по мере его вины велите наказать публично. Ей-ей в том нужда в теперешнем вашем положении. Заставьте себя почитать и бояться и по делам давайте заплату, уймите буянство».[4]

«Врали», однако, не унимались, и указ 5 апреля 1772 г. еще раз подтверждал указы, воспрещающие «ложные разглашения», причем тут имелись в виду «несбыточные слухи как о нынешних военных, так и о политических делах».[5] Указ 19 октября 1773 г. повторил указ 1764 г. о

---

[1] В письме императрице от 19 сентября Салтыков отмечал большую роль в сентябрьских событиях 1771 г. в Москве (в дни восстания в связи с чумой) мелкочиновничьих элементов. Он писал: «Кажется, все утихло, однако на сие надежду полагать не можно: народ пьяный, раскольщики, подьячие, холопы господские... Между пойманными злодеями множество подьячих, почти из всех коллегий, и их солдаты...» (С. Соловьев. Москва в 1770—1771 гг. — «Русская старина», 1876, октябрь, стр. 203—204; см. также его же. История России, кн. 6, стб. 1044).

[2] ПСЗ, т. XIX, № 13659.

[3] «Осмнадцатый век», кн. 1, стр. 90.

[4] Там же, стр. 94.

[5] ПСЗ, т. XIX, № 13782.

действительности только печатных указов.[1] Указ 11 января 1774 г. говорил о сожигании подметных писем в силу публикованных прежде указов.[2] Этот указ был вызван тем, что «неизвестный человек, приняв на себя таковую дерзость, что во дворце... осмелился оставить письмо, не подписавши имени своего...». Сенат приказал: через палача от Тайной при Сенате экспедиции сжечь это письмо, что и было исполнено 11 января.

Таким образом, как видим, «подпольная литература» получила значительное распространение, и правительство постоянно вело с ней борьбу. Содержание ее было разнообразно. Если в одних пасквилях шла речь только о тяжелом положении заводских крестьян и в них содержался призыв (выражаясь более поздним языком) к забастовке, или они были наполнены нападками на дворянство, то в других говорилось о конкретных виновниках бедствий и указывался путь к избавлению от них в виде новой смены на престоле. Но ни в одном из них мы не видим осознанности того, что основная причина тяжелого положения широких народных масс коренится в феодально-крепостническом строе тогдашней России, и не встречаем призывов к борьбе с этим строем.

Борьбу с отдельными проявлениями феодально-крепостнического режима, например с злоупотреблениями чиновников и судей, социальные низы пытались вести и несколько иными средствами. Не имея опять-таки возможности выступить в печати, но и не используя анонимных письменных пасквилей, они прибегали к «доношениям» в разные правительственные учреждения. Так, в самом начале царствования Екатерины II канцелярист Михайлов подавал разные доношения на злоупотребления. За это в сенатской конторе он был высечен и отослан в Олонец, что, однако, видимо, не отбило у него охоты писать такие доношения. Екатерина распорядилась найти его, предполагая, что он приехал в Петербург и «пророчит, как она писала, я думаю, скрытно здесь», и сослать туда, «где он своими дерзкими словами глупости не мог наделать».[3]

II

Особенно был богат пасквилями 1775 год. Очевидно, события 1774—1775 гг., повысившие настроение широких масс, были одной из главных причин этого обстоятельства.

На Девичьем поле, в Москве, 29 августа был найден солдатом кон-

[1] Там же, № 14047. 13 декабря 1773 г. московский главнокомандующий писал Екатерине в ответ на ее распоряжение от 7 декабря о «возобновлении и публиковании от Сената указа о неболтании лишнего», что такой указ уже был опубликован, по его предложению, от Сената в июле 1773 г. «Осмнадцатый век», кн. I, стр. 31).

[2] ПСЗ. т. XIX, № 14100.

[3] Письмо к ген.-прокурору Глебову, сентябрь 1763 г. («Сб. РИО», т. VII, стр. 320). Нельзя не отметить, что последнее «доношение» Михайлова, послужившее поводом к этому письму Екатерины, было принесено отставным солдатом.

верт с надписью: «Высоко превосходительному господину генерал-аншеву и генерал-атъютанту сенатору князю Михайле Никитичу его сиятельству Волконскому покорнейший репорт». Неумело сделанный конверт был запечатан красной сургучной печатью с неясным отпечатком короны.[1] В конверте было письмо, написанное явно малограмотным человеком. И стиль и содержание письма показывают, что автором его был, видимо, какой-нибудь канцелярист. В письме говорилось, что Москва только избавилась от многих напастей, а ныне «злейший еще огонь разгорается и великой заговор вооружают благородных до 320 человек, кромея протчих чинов всякого звания. И ныне еще умножается единственно ето от неправосудия Сената и протчих кальлегиев и судебных мест, взятков и протчих притеснений». «Оной же заговор,— писал неизвестный автор дальше,— весьма страшной». И в Петербурге о нем известно, в него входят многие из гвардии. Если князь Волконский упустит время объявить об этом правительству, то сделает «великое погубление всему отечеству». В этом заговоре пять знатных персон, но автору письма они неизвестны; однако он знает, что «собрания получают от них наставления через сенатских секретарей Кастрицкова и Цезырева; многих бедных они награждают деньгами». Имя свое автор письма «за многолюдным заговором» не осмеливается назвать, но после оно станет известно.

Следствие об этом письме велось совсем не в том направлении, в каком следовало бы его вести; вместо того, чтобы отыскать и допросить сенатских секретарей Кастрицкого и Цезырева, о которых говорилось в письме, и заняться исследованием сургучной печати, Тайная экспедиция не раз допрашивала солдата, нашедшего письмо, других солдат и его ближайшее начальство (из команды, к которой он принадлежал), входила в большие подробности относительно того, когда он принес письмо в казарму, показывал ли его кому-нибудь и т. п. В деле имеется записка Екатерины (копия), неизвестно кому адресованная и показывающая, что она подозревала тут мистификацию. Она писала: «Покажи еще Архарову (обер-полицеймейстеру.— *К. С.*), не Мамонова ли чудеса, и посмотрите, нету ли где руки похожую».[2] Действительно, содержание письма наводит на мысль о мистификации; автор, видимо, хотел запугать Волконского и правительство призраком какого-то заговора, что могло показаться правдоподобным в обстановке 1775 г. Но в

[1] ГА, разр. VII, д. 2433, л. 1.

[2] Там же, л. 5. Повидимому, Екатерина имела здесь в виду бригадира Федора Дмитриева-Мамонова, о котором она писала кн. М. Н. Волконскому 31 октября 1773 г., что он обратился к ней с челобитной, в которой жалуется на запрещение московским Сенатом напечатать в университете «то приветствие к публике, которым он приглашал оную к себе в дом для смотрения прописанных в том приветствии редкостей». Екатерина просила кн. Волконского сообщить, «подлинно ли он (т. е. Дмитриев-Мамонов.— *К. С.*) имеет в своем доме, что в приветствии его написано, и для тех ли только непристойностей, кои и я в помянутом приветствии нашла, запретили вы оное печатать или еще какие другие причины к тому имели». («Осмнадцатый век», кн. 1, стр. 125—126).

делах Тайной экспедиции нет даже намеков на существование в то время какого-либо подобия заговора среди «благородных». Весь стиль этого письма — жалоба на неправосудие, взятки и притеснения, упоминание сенатских секретарей, орфография, почерк — все это, вопреки предположениям Екатерины, говорит за то, что автора письма следовало бы искать среди канцелярских служащих столицы.

Другое подметное письмо, адресованное князю Г. А. Потемкину в 1775 г., было найдено в Москве дворовым человеком подмосковной вотчины князя Бековича-Черкасского, с. Болдина (Московского уезда), Щелкуновым на Никитской ул. против дома графа Орлова у Никитского монастыря.[1] К сожалению, в деле нет ни письма, ни конверта; из документов видно только, что письмо было доставлено через два дня в дом П. С. Потемкина за Калужскими воротами, но о содержании его ничего неизвестно. Тайная экспедиция подозревала, что автора этого письма надо искать среди дворовых Орлова, и подвергла их многочисленным допросам, придираясь к мелким противоречиям в показаниях Щелкунова и других дворовых людей, но по самому существу дела так ничего и не выяснила. Характерно решение по этому делу (за подписями князей Волконского и Вяземского) в той его части, где говорится о дальнейшей судьбе письма. Там было сказано, что по силе указа 1774 г. следовало бы конверт с пасквильным письмом сжечь на том месте, где оно было найдено, «но как таковое публичное сожжение могло бы подать случай к разным пустым толкам и разговорам», то признавалось более целесообразным оставить его в Тайной экспедиции. Однако, как уже сказано, в данном деле его нет; не удалось его обнаружить и в других делах этого фонда.

Еще два пасквильных письма, которыми занималась в 1775 г. Тайная экспедиция, были написаны «неопределенным церковником» Козельского уезда, Иваном Смирновым,[2] в связи с пугачевским движением, но от имени Петра II, который, однако, именовался в тексте Петром Федоровичем. Содержание их очень сумбурно и позволяет сомневаться в нормальном состоянии умственных способностей Смирнова. Так, он писал: «Господа правосудцы говорят, якобы Петр Федорович умер, а умер мой... (слово пропущено.— *К. С.*), и ему жилы колесом тянули, а нынеча Петр Федорович в живе — не уверяйтеся, будто Пугачева показнили, а Пугачев Емеля жив и стоит со мною в Ростове и бьет быков». Смирнов был приговорен к торговой казни. Хотя содержание его писем, как уже сказано, и вызывает сомнение относительно нормальности его психики, тем не менее нельзя не признать факт их написания симптоматичным. История пугачевского движения показывает чрезвычайную распространенность этого вида агитации и протеста широких народных масс; отсюда многочисленные манифесты, указы, письма и т. п. в районе, непосредственно захваченном движе-

---

[1] ГА, разр. VII, д. 2614.

[2] ГА, разр. VII, д. 2047, кн. 1, л. 243 и д. 2423

нием. Письма Смирнова, наряду с подметными письмами, найденными в Москве в 1775 г., указывают на довольно широкую распространенность этого вида подпольной литературы в то время.

Несколько особняком стоит процесс 1775 г. о надворном советнике, бывшем дediловском воеводе, Гр. Рогове, «писавшем безумные манифесты».[1] По своему социальному происхождению, служебному положению, личному, семейному быту Рогов ближе стоял к социальным низам, чем верхам, хотя и был дедиловским воеводой в чине надворного советника; с другой стороны, требования, выставленные в сочиненном им манифесте, отражали интересы духовенства и дворянства и только в одном пункте — о невзимании «излишних поборов» — интересы социальных низов. В деле есть указания на его якобы помешательство — помешанным старались его представить жена и домохозяин, таким считали его Шешковский и князь Вяземский. Первые это делали, очевидно, из желания выгородить его и смягчить угрожавшее ему наказание, вторые — из стремления чиновников Тайной экспедиции уменьшить значимость того или иного выступления против существовавшего строя, дискредитировать всякое выступление и показать, что оно в сущности не имеет под собой серьезной почвы. Но в то же время надо признать, что в поступках Рогова были странности, вызывавшиеся, вероятно, его запоем. Свои «безумные манифесты» он начал писать «в кабачишке на Варварской улице (в Москве), наверху, под крышкою, один», а заканчивать пришел в синодальную подьяческую, где, вынув из-за пазухи бумагу, подсел, не спрашивая разрешения, к подьяческому столу и стал писать. Здесь он был задержан, а затем, по распоряжению Вяземского, привезен Шешковским в Тайную экспедицию. При допросах он никак не мог объяснить, зачем он собственно пришел в синодальную подьяческую, но его показания (имеются в деле и собственноручные, и составленные в Тайной экспедиции и им подписанные) не обнаруживают в нем помешательства, хотя в первом допросе, вопреки очевидности, он говорил, что писал к матушке-государыне челобитную, чтобы его отставить (он уже несколько лет был в отставке), а в другом показании говорил, что «всегда молил за государыню бога и хотел только подать письмо, что ни пить, ни есть с домашними нечево».[2] На указание Шешковского, что он писал указ, а не челобитную, Рогов отвечал: «а сохрани меня бог, ведь я помешан, мне ни пить, ни есть нечего» (последнее подтверждали и свидетели, допрашивавшиеся по этому делу). На ряд других вопросов он ничего не отвечал, а говорил только, ходя и крестясь: «господи, помилуй». На другой день, 19 мая (Шешковский начал допрос в 5 часов утра) Рогов опять говорил, что голова у него помешана, да и рука дрожит, но подпись на л. 14 сделана твердым почерком. Потом он стал отговариваться запамятованием, просил дать ему опомниться. Не подействовало на него и явное запугива-

[1] ГА, разр. VII, д. 2440.
[2] Там же, лл. 35—35 об.

ние Вяземского, лично принимавшего участие в допросах Рогова или подслушивавшего у дверей (по его собственным словам), как его допрашивал Шешковский. Когда Вяземский, по его словам «для страху», сказал: «прикажите подать батожья», то Рогов стал на колени и сказал: «я истинно не знаю, што делал, дайте мне опомниться». В конце концов Шешковский пришел к заключению, что Рогова нельзя считать безумным, но что, с другой стороны, едва ли он в состоянии «располагать порядочно свои мысли и намерения»; признавая его человеком «развращенным» (очевидно, в политическом смысле), он в то же время делал такой вывод: «дальнейших же его замыслов по слабости духа его быть не уповаю».

Как сам Рогов рассказывал во время следствия, он был сыном сторожа ростовского Борисоглебского монастыря, в 1737 г. «за небытие у присяги» был записан в солдаты, в Преображенский полк; служил там писарем, потом был произведен в унтер-офицеры и сержанты, а из сержантов, так как ростом не мал, взят в лейб-компанию и пожалован в писари; при Петре III с прочими отставлен асессором; при вступлении на престол Екатерины II был во дворце и после, по именному указу, пожалован в надворные советники и определен в Масальск воеводой, откуда сменен Сенатом в 1772 г., но за что, он не указал.[1] Потом он, видимо, сильно бедствовал и добивался хоть какого-нибудь места. Вяземский в докладе Екатерине писал, что Рогов — тот самый, который «нынешнею весною, пришед, во дворце перед фрунтом становился, вынув шпагу, на колени».[2] У Рогова был слуга Гр. Игнатьев — единственная повидимому «крепостная душа», которой он владел; слуга ходил вместе с ним по трактирам и на выпрошенные или заработанные деньги иногда угощал своего барина чаркой вина. Семья Рогова состояла из жены, двух дочерей, лет по 20, и двух сыновей. Хозяин дома, где жил Рогов, и его жильцы показывали, что с февраля никто в гости к Рогову не приходил, к дочерям же его «таскались какой-то масальской купец и чей-то слуга, молодой малой, и купец-де тут и ночевывал, напоследок же дочери стали ездить гулять и со двора»; один сын Рогова, отставной прапорщик, пьянствовал с гостями сестры, о другом никаких сведений в документах нет. Шешковский, производивший обыск на квартире Рогова, в рапорте потом писал о его семье, что они «живут под кровлею в сущей нищете». Сын Рогова говорил, что был бы рад служить императрице, если бы его взяли на службу.[3]

Что же представляли собою бумаги, которые сочинял Рогов? Это были манифест, написанный от имени Павла, и присяжный лист. Первому документу он старался придать торжественный вид: он был напи-

---

[1] Там же, лл. 25—25 об.; на лл. 74—75 имеются копии присланных из Сената надписей, которые Рогов делал в 1772 г. на доношениях масальской ратуши в качестве масальского воеводы. Они сумбурны, несуразны и послужили, видимо, для Сената поводом для отстранения Рогова от должности.

[2] Там же, л. 17.

[3] Там же, лл. 33—33 об.

сан на бумаге с золотой каймой и разрисовкой красного цвета (все это не было вполне оформлено). В манифесте или указе, сочиненном Роговым,[1] говорилось, что Павел, вступая на престол «после покойные прелюбезнейшей нашей матушки», обязуется свято блюсти интересы православной кафолической церкви; подданные, «любезные сыны», должны за отечество свое стоять и государя своего и его здоровье оберегать и сохранять, а он обязуется «излишних поборов по своим прихотям не желать» и «за оных моих любезных также бога молити». За то, что по молитвам синода заключен с Портою вечный мир, Павел повелевает вернуть церкви вотчины, а дворянству, находящемуся в своих деревнях, разрешает попрежнему курить вино. Заклейменные в губерниях, провинциях и приписных городах казаны, «а служащим, верно в нашей службе находящимся, по выписям за руками господ губернаторов и воевод из деревень по пропорции ее указной — отпустить и на заставах обретающимся пропускать и о том благодарить бога, а с вина сложить, вино по полтора рубли; об этом учинять торжественную присягу во всем государстве».

Вот и вся скромная программа, которая выдвигалась Роговым. С одной стороны, она отражает интересы духовенства и смыкается в известном смысле с выступлением Арсения Мациевича; с другой — выдвигает одно узкое требование — восстановление права винокурения.[2] Единственное, несколько более широкое требование, касавшееся интересов не только этих двух классов, сводилось к неопределенному обязательству «излишних поборов по своим прихотям не желать». В противоположность пасквилям и подметным письмам, тут ничего не говорилось о неправосудии, взяточничестве и разных злоупотреблениях чиновников, засилии «больших господ» и т. п.

Следователи пытались выяснить, не было ли у Рогова сообщников, что он хотел делать с написанными им бумагами (для нас это наиболее существенный вопрос), а затем ставили целый ряд мелочных вопросов: где он сидел в кабаке, когда там писал, не видел ли кто, что он писал, или не показывал ли он сам кому-либо написанного им (один чиновник был специально послан обследовать кабак, указанный Роговым). Никаких сообщников у Рогова следствие не открыло, знакомства же его оказались очень ограниченными: выяснилось, что он бывал у офицера гвардии московского батальона Степана Иванова и у отставного капитана Григория Жединского, который жил у отставного капитана гвардии князя Меншикова. Рогов показывал, что был знаком с ними потому, что они служили вместе с ним в гвардии. Тайная экспедиция, однако, почему-то не нашла нужным их найти и допросить. Относительно связей с духовенством Рогов показал, что был только в двух

[1] Копия на лл. 7—9.

[2] Откупа были введены манифестом 1 августа 1765 г. и с 1767 г. установлены повсеместно (ПСЗ, т. XVII, № 12444). По «Уставу о вине» 1781 г., право винокурения оставлено за дворянством; клеймение кубов («казанов») и поведерные деньги были отменены (ПСЗ, т. XXI, № 15231).

московских монастырях — Даниловском и Девичьем, но что знакомых монахов в Москве у него нет.

Во время обыска, произведенного у Рогова Шешковским, был найден лист бумаги большого формата с девятью рядами цифр. Рогов признал свое авторство, но утверждал, что ни с кем переписки с помощью цифр не вел. «Тут значут слова,— говорил он,— но какие, того он не может ни разобрать, ни пересказать, потому что он в беспамятстве». Жена Рогова показала, что ее муж «по бешенству своему много раз писывал», еще будучи в Масальске, но что именно, она не знает, так как написанного им он никогда ей не читал.

Я остановился несколько подробно на выяснении того состояния, в каком находился Рогов в дни написания им «безумных манифестов» и во время следствия, чтобы показать, что все им написанное и сказанное не было бредом сумасшедшего, потому что в противном случае не имело бы смысла останавливаться на сочиненных им манифестах. Из показаний Рогова ясно видно, что он хорошо помнил, когда и где бывал, кого видел и пр.; написанные им самим показания вполне разумны и в то же время грамотны. Но мотивы его поведения в самом главном и для нас важном — почему и для чего он стал сочинять свои манифесты и присяжный лист — путанны и остались невыясненными; вполне возможно, что он при этом симулировал помешательство и отговаривался запамятованием, понимая, что если бы он признался в своих истинных намерениях и целях, то это усугубило бы его вину. Поэтому процесс Рогова представляет известный интерес и значение как выражение настроений, свойственных той социальной среде, к которой он принадлежал, т. е. среде, занимавшей промежуточное положение между социальными низами и верхами.

Как уже сказано, следствие не обнаружило никаких соучастников Рогова. Отрицательные результаты дало также посещение кабаков «Замошной» и «Под пушку» канцеляристом Тайной экспедиции Шумовым с целью «подслушать бесприметным образом между приходящими питухами, нет ли между ими какого вранья о известном пасквиле».

Несмотря на все это, несмотря на мнения Шешковского и Вяземского, что ожидать от Рогова «прямого зла» нельзя, Екатерина сурово расправилась и с самим Роговым и с его семьей. Через несколько месяцев после казни Пугачева дело Рогова, за которым она внимательно следила, не на шутку, очевидно, испугало ее. В ответ на одно из донесений Вяземского она писала ему из Братовщины,[1] что показаниям Рогова верить нельзя, требовала, чтобы он угрозами старался выведать у Рогова, «сам ли он или иной кто затейник», но что «буде более не откроется чего, то Рогова запереть надобно в Шлисельбурх», а его дочерей, «непотребных девок», сослать в Сибирь: «тамо нужны женщины». Затем она раскрывала причины такого жестокого приговора отно-

[1] ГА, разр. VII, д. 2440, лл. 43—44, копия.

сительно Рогова: «примечанья достойно,— писала она,— что сей уже второй писарь бывшей лейб-компании, которой пойман в ровной плутне», [1] и дальше: «весь же склад пугачевской и безумне тут менее, нежели разврат». Досталось и жене Рогова. «Рогова жена,— писала Екатерина,— едва ли не колотовка». В соответствии с этим и был сформулирован приговор о Рогове: [2] лишить Рогова всех чинов и сослать в Шлиссельбургскую крепость (срок заключения в приговоре не указан), содержать его там под крепким караулом, никуда не выпуская и не допуская никого к нему, на пропитание выдавать по 8 копеек в день. Его жену и детей решено было сослать в Сибирь. Хотя и не было доказано их соучастие в его поступках, но «как из оного ж (следствия) довольно уже видно, что он и прежде таковые мерзкие пасквили сочинял», и может быть, показывал им свои бумаги или читал, а сын его и дочери, «по повальному секретному обыску от полиции» в их квартире, «оглашены они самыми непотребными и развращенными людьми», к тому же и пропитания они не имеют, то «дабы по развращенной и нетерпимой в столичном городе всех их жизни праздно не шатались», было указано жену Рогова определить в Сибири в богадельню, сыновей — в тамошний гарнизон в службу, а дочерей — к воздержанию от обыкновенного в них непотребства и чтоб они без пропитания не были, велеть губернатору выдать там замуж».

В конце 1775 г. в Москве появилось еще одно подметное письмо, бывшее, несомненно, отголоском только что пережитых страной событий. 24 декабря 1775 г. Екатерина писала московскому обер-полицеймейстеру Н. П. Архарову из Царского Села, что за несколько дней до ее отъезда из Москвы ей было доставлено подброшенное кем-то письмо, в котором говорилось, что «барские люди на Москве и в других городах положили отложиться от послушания своих господ 6 числа декабря», но, надеясь на милость императрицы, отложили осуществление этого намерения до 1 января. Об авторе этого письма ничего не известно [3] (в делах Тайной экспедиции я не нашел никаких указаний на это письмо и какие-либо розыски по поводу него).

III

Подпольная литература, получившая распространение в 1762—1775 гг., продолжала появляться и в последующие годы, так как социальные низы, выразителем настроений которых она была по преимуществу, попрежнему не имели легальных возможностей для выявления своих настроений. Но, повидимому, количество пасквилей в это время уменьшилось. Во всяком случае, и в делах Тайной экспедиции, и в литературе сведений о пасквилях, подложных манифестах и указах за

[1] Кого она при этом имела в виду, говоря, что Рогов второй, из документов не видно.

[2] ГА, разр. VII, д. 2440, лл. 76—91 об.

[3] «Русский архив», 1864 (изд. 1), стр. 428.

время после 1775 г. гораздо меньше, чем за 1762—1775 гг. Но содержание их в общем остается прежним.

В 1776 г. пасквиль был принесен обер-секретарю Шешковскому. Он был написан на каком-то ломаном польском языке и представлял сумбурный набор слов.[1]

В сентябре 1782 г. в д. Черниша, Черниговского наместничества, был задержан человек, назвавшийся канцеляристом Василием Петуховым, а потом показавший себя беглым крестьянином генерал-поручика Салтыкова Иосифом Брянцевым.[2] Он проезжал по разным селениям с копией подложного, им самим составленного указа, объявляя о съезде в Чернигове представителей, от каждого селения по три человека, к открытию наместничества. О том же говорилось в указе, который за неисполнение этого распоряжения грозил атаманам и войтам штрафом и жестоким наказанием. Объявителю указа, канцеляристу В. Петухову, указ предписывал давать от селения до селения по одной подводе «в самой скорости», чем Брянцев, как выяснилось, и пользовался.[3] Остается совершенно неясным, как и в других случаях по таким же делам, с какой целью Брянцев сочинил этот указ, кроме его явного желания даром переезжать от одного селения до другого. Следствие установило, что Брянцеву было 27 лет и что в бегах он находился с 1778 г. О последствиях разъездов Брянцева и оглашения сочиненного им указа в документах Тайной экспедиции по этому делу никаких сведений нет.

В 1783 г. у дворового помещицы Ланской, в Осташковском уезде, был найден подложный манифест, помеченный 1 ноября этого года. «Разглашателем» его оказался сын дьячка. В манифесте говорилось, что императрица, по своему «единодушному искреннему желанию» и «по неотступному прошению верных наших подданных и отечество свое любящих сынов» освобождает дворовых и крестьян, как тех, которые «находятся в подданстве», так и беглых, если они в течение 2½ лет подадут челобитные, «и вотчинникам или помещикам до них дела нет и не вступаться»; при этом имеющие свыше 500 рублей могут записываться в купечество, не имеющие достатка — в мещанство или другой «чин» по своему желанию. Тут же объявлялось, что если кто пожелает переселиться в Кадомский уезд или в Царицынскую губернию, то это не воспрещается (непонятно, почему сделано такое ограничение относительно возможных мест переселения и, в частности, поче-

---

[1] ГА, разр. VII, д. 2443.

[2] Там же, д. 2594.

[3] Указ об учреждении Черниговского наместничества последовала 16 сентября 1781 г. (ПСЗ, т. XXI, № 15229). Он предписывал малороссийскому ген.-губернатору гр. Румянцеву-Задунайскому открыть наместничество в декабре 1781 г. Но в указе 5 апреля 1782 г. Сенат объявлял всем присутственным местам, наместническим и губернским правлениям и предписывал им уведомить подчиненные им учреждения, что Черниговское наместническое правление торжественно открыто 19 января 1782 г., а Новгород-Северское 27 января (ПСЗ, т. XXI, № 15378).

му указана никогда не существовавшая Царицынская губерния,— в 1780 г. был образован Царицынский уезд); если кто в течение указанного срока «просить не будет, то тем не дозволяется». [1]

Возможно, что следствием этого «манифеста» было издание указа 2 мая 1783 г. «о признании действительными только таких указов и манифестов, кои публикуются от наместнических правлений печатными листами». [2] Сенат опубликовал этот указ «в пресечение всякой новизны, узаконению противной», чтобы «никаким под именем манифестов и указов государевых письменным спискам, яко пасквилям, многократными указами запрещенным, никто не верил».

В том же 1783 г., в сентябре, найдена была копия с подложного указа в Тобольске у писца Тобольского наместнического правления, солдата Петра Нечаева. [3] Это был рескрипт на имя князя Потемкина от 3 июля 1783 г., в котором говорилось, будто крымские татары желают перейти «в веру греческого исповедания» и что для этого уже посланы от синода чины разного звания, а затем сообщалось о разных милостях со специальным указанием об их осуществлении тобольскому и пермскому генерал-губернатору Кашкину. [4] Милости были таковы: 1) Объявлялось прощение лишенным чинам из штаб- и обер-офицеров, если они осуждены не по криминальным и убийственным делам; они назначались в судьи в Крымское наместничество. 2) Те, которые не имеют у себя на лицах знаков, унтер-офицеры, рядовые и разного звания люди, если захотят переселиться в крымские степи, получат 50 рублей на проезд и столько же по прибытии на место на постройку, с возвратом этих денег в 10 лет. 3) Если окажутся у помещиков и государственных крестьян тунеядцы и бродяги, то и таких отсылать туда на тех же основаниях «со определенными к ним комисарами». 4) Купечество, цеховые и мещане тоже могут отыскать подобных людей, составить списки на тунеядцев, «выключить из платежа тех мест, в коих они находились», и отослать их всех «с награждениями штаб, обер и ундер офицерам вперед по полевому окладу за полгода жалованье, на рассмотрение к тому учрежденной комиссии в г. Переволочну». [5]

Из документов не видно, каково было происхождение этого подложного рескрипта. [6] Следствие приняло версию о том, что он был найден

---

[1] В. И. Семевский. Крестьяне в царствование имп. Екатерины II, т. I, изд. 2, СПб., 1903, стр. 452.

[2] ПСЗ, т. XXI, № 15718.

[3] ГА, разр. VII, д. 2623.

[4] Напомним, что Крым был присоединен к России манифестом 8 апреля 1783 г.

[5] ГА, разр. VII, д. 2623, лл. 3—4.

[6] В 1783 г. было дано 2 указа на имя Потемкина, которые могли послужить материалом для сочинения подложного указа: 1) Указ от 30 марта «Об учреждении судов в заселенных местах Екатеринославской губернии греками, армянами и католиками, и о штате чинов для отправления пограничных дел». Этим указом, между прочим, разрешалось в селениях греческих, армянских и римского закона иметь «греческий и римского закона суды», а также армянский магистрат. 2) Указ от

на берегу реки одним солдатом — это был разжалованный из подпоручиков в солдаты сын премьер-майора артиллерии; он дал его списать знакомому сержанту, и потом этот рескрипт прошел через много рук: его переписывали три солдата, два кописта, протоколист и еще один копиист. Такова была та среда, которая была особенно заинтересована содержанием рескрипта и к которой, очевидно, адресовал его неизвестный сочинитель. Исход следствия по отношению ко всем этим людям неизвестен.

Так как толки и распространение всевозможных слухов не прекращались, то 27 мая 1788 г. был дан указ петербургскому губернатору «о запрещении на бирже, в клубах и трактирах говорить о делах политических».[1] Указ подтверждал прежние указы, запрещавшие «говорить о делах политических, о распоряжениях военных и умножать неосновательные и неприличные толки, под штрафом, за преступление сего установленным».

В 1789 г. пасквиль был найден на крыльце Военной коллегии. Неизвестный автор приглашал императрицу притти в Семионовскую церковь. Из документов дела об этом пасквиле видно, что «в великую субботу ходил поутру г-н Шешковский в эту церковь», ходил около нее «для примечания писателя, но в церкви и около похожего на бродягу не видал». После этого к Летнему дворцу на Фонтанке был послан служитель Тайной экспедиции, который видел человека в весьма худом одеянии. Шешковский намеревался наведаться к священнику, о котором упоминалось в пасквиле. Чем закончилось расследование, неизвестно, но характерно то, что Тайная экспедиция считала вероятным автором пасквиля человека из социальных низов, «бродягу», по выражению документов.[2] Характерно и то, что пасквиль был брошен на крыльцо Военной коллегии: очевидно, автор адресовал его канцелярским служащим этой коллегии или ее посетителям, т. е. солдатам, младшему командному составу и пр., так как офицеры и генералы едва ли часто лично бывали здесь, а когда приезжали сюда, то едва ли обращали внимание на бумажки, которые валялись на крыльце.

---

28 июля (дата подложного указа — 3 июля, конечно, произвольна) «О принятии крымских жителей и прочих татарских народов в российское подданство». Этим указом было обещано соблюдение «неприкосновенно целости их природной веры», а также велено было на военную службу их «без собственной доброй воли и желания не брать и не принуждать...» (ПСЗ, т. XXI, № 15700 и 15798). Третий указ 1783 г. на имя Потемкина «О принимании в военную службу татарских мурз и чиновных людей и о награждении их чинами не выше премиер-майора» (т а м ж е, № 15861) датирован 1 ноября и потому, очевидно, не мог быть использован при сочинении подложного указа, который был найден в Тобольске в сентябре 1783 г.

[1] ПСЗ, т. XXI, № 16673. Намек на распространение какого-то «пасквиля» в начале 1788 г. есть в «Записках» М. Гарновского. В его записях за конец января 1788 г. читаем: «Подносимая при сем копия носится из рук в руки по городу, хотя в ней и ничего нет похожего на правду». («Русская старина», 1876, апрель, стр. 700).

[2] ГА, разр. VII, д. 2739, лл. 1—5.

В 1794 г. были обнаружены два пасквиля. В мае пасквиль был брошен в петербургском банке. Судя по содержанию, слогу и почерку, он был написан, повидимому, каким-то чиновником. После краткого обращения к императрице неизвестный автор иронически писал, что ее «чада» плачут и рыдают, видя, что она окружена недостойными министрами, каждый из которых думает не об исполнении ее святой воли, а о наполнении своих карманов. Она верит им, что бы они ей ни сказали, так как они не позволяют ей ни слышать, ни видеть ничего такого, что им нежелательно. «Из всех,— по словам автора,— достоин примечания Петр Турчанинов», но, добавляет он, «от бусурмана чего более ожидать?» Он обманывает не только ремесленников и художников, но и свою братию — генералов, обманывает императрицу и самого бога. [1]

Во всех министрах, продолжает автор, «сверкают лесть и обман, суровость и грубость»; поэтому, как могут быть хороши «мелкотравчатые верноподданные», если они не видят хорошего примера в окружающих императрицу лицах? Превознося самое императрицу («что пред тобою Александры и Дарии, Цицероны и Аристиды!»), автор пасквиля писал, что ее премудрость была бы еще блистательнее, если бы ее окружали достойные министры. Сколько, спрашивал он, у нее Румянцевых и Суворовых, которые «потрясли Оттоманскую Порту» так, что «чаша весов турок поднялась, а россов опустилась?, и отвечает: «Они только двое и есть и будут прямыми героями и истинными сынами отечества».

Обращаясь к императрице с просьбой о заступничестве и помощи, автор пасквиля переходил к другой теме. «Во всем дороговизна,— писал он,— хлеб, мясо и прочее дорого, к квартерам приступу нет», так как бо́льшую их часть занимают трактиры и «непотребные женщины»; нет улицы (в столице), на которой не было бы 3—4 трактиров, а «непотребные женщины» живут почти в каждом доме. И те и другие платят дорого, «а тебе, служащий,— восклицал он,— где таких денег возьмет?» Квартиры так дороги, что «хоть на улице живи».

В дальнейшем автор пасквиля поднимал ряд общих принципиальных вопросов и, казалось бы, мог дойти до понимания истинной причины того «ада кромешного» и «муки вечной», от которых он просил императрицу избавить его, но он опять сбивался на более узкую тему о дурных министрах как источнике всех зол. Так, он писал, что сама императрица сказала в своих законах (чего никакой другой государь не говорил), что «не народ де для нас живет, но мы для народа», но

---

[1] Петр Иванович Турчанинов, как делец, был рекомендован кн. Потемкину, который взял его к себе в секретари; перешел потом на службу к императрице, был кабинет-секретарем, в 1793 г. стал директором строительной конторы и императорских дворцов и садов и, наконец, сделался кабинет-министром. Вышел в отставку еще до смерти Екатерины II и жил с доходов весьма значительных имений. (Гельбиг. Русские избранники и случайные люди в XVIII веке — «Русская старина», 1887, март, стр. 548—549).

сейчас же спрашивал: «неужели все миллионы, которые тебе покорены, не стоют Самойлова, Попова, Храповицкого, Турчанинова-собаки?»,[1] и опять обрушивался на последнего, говоря, что у него «никакой человек не может году ужиться, ибо он бешен, неистов, ведет себя не по чину своему, но хуже и во сто раз хуже мужика, бранится скотски, дерется бесчеловечно, обманывает бога и государя». Заканчивал он этот выпад таким выводом: «ныне за пословицу пошло: не говори правды, не теряй дружбы».

Затем еще одна общая тема. Императрица, любя науки и художества, учредила академии, корпусы, училища; в партикулярные училища, например в Петропавловское, отдают детей за счет Кабинета, но из девяти учившихся там двое посланы в Англию, а остальные, по окончании ученья, «определены к местам копиистами». Но неужели же, спрашивал автор, нельзя было найти на эти должности других, не платя за обучение 2225 рублей? Для чего было их учить «всем возможным знаниям», чтобы они стали копиистами? Впрочем, писал он, не они одни страдают, «но и бо́льшая часть ученых претерпевает с ними равную участь», и, явно имея в виду самого себя, говорил, что вместо этого следовало подумать «о прочих безместных, которые бы к таковым должностям весьма способны были». Императрица хочет, чтобы народ был просвещен, «но враги отечества не допущают таковыми быть». «Зачем,— спрашивал он дальше,— Гаврило Романович[2] перестал сочинять, зачем Эмин[3] не пишет?», и отвечал: «ободрения нет». И снова известный уже припев о министрах: «не иметь им никогда более лучшего царствия, как ныне».

В заключение автор протестовал против отъезда императрицы в Царское Село, так как на это ежегодно тратится 3 миллиона рублей, и заканчивал угрозой, что этим летом «собрались в Царском Селе быть мало-помалу 50 человек для истукания Турчанинова», так как вся контора строения им недовольна, а также «прочих, недостойных лицезрения» императрицы. Заканчивал он патетическим возгласом: «не мы, но наши слезы сие говорят».[4]

Тайная экспедиция подозревала, что автором этого пасквиля является канцелярист Козлов, но из последующей небольшой переписки, имеющейся в деле, не видно, чтобы автор был найден. Однако подозрения Тайной экспедиции вполне вероятны. А если это так, то, значит, среди канцеляристов петербургских учреждений в конце XVIII в. были люди, умевшие облечь свой протест в хорошую литературную форму, люди, уже близкие к пониманию истинной причины бедствий

[1] Самойлов — очевидно, генерал-прокурор, преемник кн. А. А. Вяземского; В. С. Попов — правитель дел у кн. Потемкина, потом один из секретарей императрицы; А. В. Храповицкий — один из секретарей императрицы; о Турчанинове — см. выше.

[2] Очевидно, Державин.

[3] Известный в конце XVIII в. переводчик, беллетрист и публицист.

[4] ГА, разр. VII, д. 2845, лл. 1—3 об.

отечества (как тогда обычно выражались), а тем самым и их личных бедствий, но не способные еще понять, что все дело не в дурных министрах, а во всем режиме, в целом взятом. Вера в то, что императрица хочет добра народу, но ее окружение мешает осуществлению хороших намерений, не была изжита в сознании таких людей, как канцелярист Козлов, вполне вероятный автор пасквиля, подброшенного в петербургском банке.

Другого рода был пасквиль, найденный в июне того же года в Тихвинском монастыре (Новгородской губернии),[1] в церкви, за образом. В деле Тайной экспедиции об этом пасквиле имеются только две его копии, подлинника нет, и потому отсутствуют такие важные показатели для определения автора пасквиля, как его внешний вид, почерк и орфография. Конечно, в нашем распоряжении самый главный показатель — содержание пасквиля, а также его стиль, но без названных дополнительных данных эти показатели теряют часть своей силы.

Автор этого пасквиля, как и авторы пасквилей 60-х годов, все свое негодование направлял на судей и дворян. Более широкое понимание причин тогдашнего состояния России ему, очевидно, было недоступно. Он писал, что «будет великое трясение Московскому всероссийскому государству на неправедных судей», которые не слушают проповедей и поучений, «сделались разбойниками, душегубцами, поели все государство»; они извели все воинство не только кровью, но и голодом (и в богадельнях и во всех командах); кому надо богу молиться, тот не молится, он называется судьей, а в действительности хуже разбойника; в нашем государстве ничем другим нельзя «сократить недобрых дворян», кроме как надеть на них волосяную свиту и заставить носить воду на все монастыри; такое наказание будет для них лучше, чем наказать их кнутом или прогнать сквозь строй. «Одни есть люди,— писал дальше автор,— и другие не скоты», все являются детьми одного отца. По комедиям ездить и обижать во всех местах людей легко, а в церковь ходить тяжело. Возвращаясь вновь к неправедным судьям, автор писал, что неизвестно, каков будет «праведный суд»,— так ли станут судить, как здесь, когда всякий судья старается положить побольше себе в карман; чем больше судей, тем меньше толку, всякий судья идет к хлебу готовому, «как свинья к корму». Надо отрешить судей от судов, лишить их чинов и судить всякого человека духовным судом, «как зерцало гласит», и на виноватого надевать на голое тело волосяную свиту, «а крестьян на государя» (очевидно, отписать).[2] Вот в чем автор видел разрешение крестьянского вопроса.

Правительство, поскольку это был 1794 г., нервно реагировало на появление пасквиля в Тихвинском монастыре. Генерал-прокурор Самойлов на докладе об этом наложил резолюцию: «пасквиль публично сжечь». И. д. новгородского и тверского генерал-губернатора Архарову

---

[1] ГА, разр. VII, д. 2833.
[2] Там же, лл. 4—4 об.

было предписано произвести следствие и найти автора пасквиля. 20 июля Архаров в донесении из Новгорода, явно желая показать, что на подведомственной ему территории все обстоит благополучно, писал, что никто из тихвинских граждан, среди которых никогда не было «никакой наклонности к подобным ругательным сочинениям», не мог бы быть автором пасквиля; к тому же они почти все старообрядцы и потому не могут негодовать на непосещение церкви;[1] пасквиль больше нападал на чиновников и дворянство, чем на духовенство, а именно у первых, т. е. чиновников, старообрядцы искали покровительства. Архаров приходил к выводу, что автора пасквиля надо искать вне города,[2] но где именно, в каких слоях населения, не указывал. Мне кажется, прав Мих. Гернет, высказывающий предположение, что автор пасквиля принадлежал к духовному сословию.[3] И все содержание пасквиля и его стиль делают это предположение вполне вероятным: автором пасквиля мог быть какой-либо монах Тихвинского монастыря.

Согласно предписанию генерал-прокурора Самойлова, пасквиль был сожжен публично на площади в Тихвине. Как видно из названного донесения Архарова, правительство интересовалось отношением населения Тихвина к акту сожжения пасквиля. Благодаря этому мы имеем единственный в своем роде документ — рапорт чиновника Иванова, посланного Архаровым в Тихвин с предписанием «особенно заметить при этом случае движение в народе». Вот как Иванов описал настроение жителей Тихвина при сожжении пасквиля. Одна часть народа, по его словам, «быв свидетельницей столь поразительного зрелища и щитая себе то за нещастие, не могла воздержать себя от слез», но другая, негодуя на сочинителя, готова была не только помочь отысканию его, но выражала намерение своими руками наказать его, если бы только это было ей позволено; однако бо́льшая часть высказывала только крайнее удивление и недоверие к предположению, чтобы сочинитель мог быть из жителей города, и утверждала, что сочинителя надо искать в самом монастыре. Мих. Гернет прав, выражая сомнение, что чиновник Иванов, посланный Архаровым, правильно понял и описал настроение свидетелей этого аутодафе; ясно его стремление, с одной стороны, подчеркнуть благонадежность большинства жителей Тихвина, а с другой — прямо указать, что виновника всего этого инцидента надо искать в среде духовенства. Но, с другой стороны, надо обратить внимание на начало его характеристики настроения толпы, окружавшей место своеобразной казни: среди нее были сочувствовавшие автору и

---

[1] П. И. Челищев (вместе с Радищевым он учился в Пажеском корпусе и потом за границей), автор «Путешествия по северу России в 1791 г.» (СПб., 1886), писал о Тихвинском уезде: «Весь почти уезд ослеплен расколом»; то же он отмечает и относительно города Тихвина (стр. 263).

[2] ГА, разр. VII, д. 2833, л. 15 об.

[3] М. Гернет. Из истории карательной политики царизма второй половины XVIII века — «Советская юстиция», 1939, № 17—18, стр. 22—26.

его сочинению (из следственного дела не видно, был ли прочитан пасквиль перед его сожжением или только было как-то охарактеризовано его содержание — может быть, как раз чиновником Ивановым); значит, и факт появления пасквиля и его содержание (в той или иной передаче) были созвучны настроению хотя бы некоторой части населения Тихвина.

Таковы пасквили и подметные письма, отражавшие настроения социальных низов населения России в екатерининское царствование (как уже сказано, под социальными низами в данном случае я подразумеваю грамотных крестьян, мелких чиновников, мещан, низшее духовенство). Как мы видели, содержание этих документов очень разнообразно, но основной темой, проходящей в сущности через все документы, является тяжелое положение народных масс, в частности и особенности крестьян, вследствие угнетения их со стороны дворянства. Частными темами этих документов были неправосудие судей, лихоимство чиновников, чрезмерные поборы, отобрание земельных владений у церкви, порочное поведение дворянства. Часть пасквилей и подметных писем была составлена очень обще, в других назывались конкретные виновники народных бедствий из ближайшего окружения императрицы, но никто из авторов этих документов не дошел до понимания основной причины бедствий, заключавшейся в тогдашнем феодально-крепостническом строе; поэтому никто из авторов не понял и того, что только борьба против этого строя в целом может привести к уничтожению народных бедствий. Мысли подобного рода были в то время уделом лишь немногих представителей социальных верхов.

Как мы видели, наибольшее количество пасквилей и подметных писем, появившихся в екатерининское царствование, приходится на первые 14 лет этого царствования, а за 1776—1781 гг. нам вообще не известно ни одного документа подобного рода. Чем объяснить это явление? Возможно, что не все они еще нам известны, но ведь и манифестов и указов, направленных против пасквилей и подметных писем, после 1775 г. было издано мало; значит, действительно этих документов за последние 20 лет царствования Екатерины II появилось меньше, чем за первые 14. В чем же причина этого явления? Вероятно, поражение, понесенное крестьянством в восстании 1773—1774 гг., и наступившая после этого депрессия ослабили веру в действенную силу всякого рода выдуманных манифестов и указов. С другой стороны, губернская реформа 1775 г., усилившая роль и значение дворянства в местной жизни, показала теперь воочию широким народным массам, какую силу представляют в государстве «благородные». С каждым годом усиливалась диктатура дворянства, и бороться с ней теперь подметными письмами было явно безнадежным делом. Но это, конечно, совсем не означало, что социальные низы прекратили после 1775 г. борьбу за улучшение своего положения; борьба продолжалась, но методы ее ведения изменились.

IV

Хотя социальные верхи имели возможность выявлять свои настроения в легальной форме — в периодической печати, книгах, брошюрах, в организации кружков и обществ, тем не менее и они прибегали к сочинению пасквилей и распространению их как в своей среде, так и в других социальных слоях. [1]

Несомненно, что уже названные выше указы 1764—1765 гг. имели в виду появление и распространение пасквилей и среди социальных верхов. Имеются и прямые указания на значительную роль пасквилей в этой среде. Однако за изучаемый период их известно немного.

В ноябре 1764 г. московский губернатор граф Салтыков сообщал императрице, что «развращенные здесь на Москве между молодыми людьми своевольство и наглость до такой степени возрастли», что некоторые из них, забыв долг и честь, стали тайно распространять по городу ругательные сочинения, а именно «каталоги» на французском и русском языках, в которых более 300 человек, как знатных, так и незнатных фамилий, в том числе дамы и девицы, невзирая на чины и достоинства, «наичувствительнейшими и язвительнейшими выражениями обесчестены и обижены». [2] Он писал, что узнал об этом от «маскарадного содержателя» итальянца Сантини и его товарища француза — купца Румкина, который видел такой каталог у унтер-офицера Конной гвардии Потемкина. [3] Тот переписывал этот каталог и заставил Румкина «списать несколько номеров». Румкин читал их Сантини и другим лицам, а потом сжег. Так как таких каталогов было обнаружено много, то Салтыков считал, что, очевидно, много людей, кроме Потемкина, их переписывают и распространяют. Салтыков предлагал по доставлении к нему такого каталога сжечь его через палача. На л. 1 в этом деле имеется черновой проект указа Екатерины московским департаментам Сената, предписывавшего собрать пасквили, именуемые каталогами, публично сжечь их на площади и объявить, что если впредь найдутся такие пасквилянты, то они без всякого помилования будут «преданы закону». [4]

---

[1] О подпольной литературе в области разных видов поэзии см. названную уже ст. Г. Гуковского и В. Орлова «Подпольная поэзия 1770—1800 годов» в № 9—10 «Литературного наследства» (1933 г.), стр. 5—98.

[2] ГА, разр. XVI, д. 563, лл. 2—3. Письмо в несколько иной редакции напечатано в т. VII «Сб. РИО», стр. 392—393.

[3] Повидимому, это был Михаил Потемкин, служивший в Конной гвардии в 1768 г. и в 1767 г. произведенный из вахмистров в корнеты. («Сб. РИО», т. VII, стр. 292, прим. 2).

[4] Текст этого указа в несколько измененной редакции напечатан в ПСЗ, т. XVII, № 12313. Первоначальным автором этих «каталогов», как говорит редакция т. VII «Сб. РИО» (прим. на стр. 395), ссылаясь на «Записки» Порошина, был граф А. С. Строганов, который сам в покоях в. кн. Павла Петровича, 18 ноября 1764 г., «рассказывал по большой части о каталогах своего сочинения и говорил, что после многие под именем его выходили и весьма оскорбительные». («С. Порошина записки, служащие к истории е. и. в. Павла Петровича», СПб., 1844, стр. 146).

Каталог, о котором Салтыков писал императрице, был особого рода сатирическим произведением, где в бледной, политически мало заостренной форме осмеивались некоторые высокопоставленные лица. Этой сатире была придана форма каталога книг, действительно существующих или вымышленных, авторами которых были выставлены известные лица, причем заглавие книги соответствовало какому-нибудь качеству этих лиц или событию в их жизни. В очень лойяльной форме были затронуты императрица и вел. князь Павел Петрович, а именно: «Увенчанная добродетель, соч. г-жи...»; «Искусство и средство нравиться, соч. ее сына». Ряд представителей знатных фамилий был выставлен под их собственными именами: «Энциклопедия, соч. г. Панина»; «Торжество Вакха, соч. г. Бутурлина» (фельдмаршала); «История прошедшего времени, соч. г. Шувалова»; «Затмение, соч. кн. Дашковой» (намек на немилость к ней императрицы); «Никогда обо всем не подумаешь, соч. гр. Девьера» (намек на поручение относительно Кронштадта, принятое им от Петра III). Такого же тона была ирония и по адресу других лиц, и потому нельзя не признать, что реакция на появление этого каталога со стороны Салтыкова и Екатерины мало оправдывалась его содержанием. [1]

Через год, т. е. в 1765 г., в Тайной экспедиции рассматривалось дело «О заключении в крепость на 2 недели переводчика при кабинете Эмина за пасквиль». [2] Федор Александрович Эмин (1735—1770) был талантливым писателем-публицистом, романистом и сатириком: издававшийся им около полугода (с июля 1769 г.) сатирический журнал «Адская почта, или переписка хромоногого бога с кривым» является одним из лучших сатирических журналов конца 60-х годов XVIII в., с определенной социально-политической окраской. [3] Руководящую роль вместе с Н. И. Новиковым он играл в издании журнала «Смесь» и сотрудничал в «Трутне» Новикова. [4]

Из документов указанного дела Тайной экспедиции не видно, что представлял этот пасквиль Эмина, так как в письме А. Олсуфьева, статс-секретаря Екатерины II, к князю А. А. Вяземскому сказано было только следующее: «Обретающегося при кабинете переводчика Эмина за его продерзость в составлении некоторого пасквильного сочинения е. и. в., вместо заслуженного им по состоянию вины его и строгости

[1] «Русский архив», 1871, № 12; С. Соловьев. История России, кн. 6, стб. 269—270.

[2] ГА, разр. VII, д. 2175 и 2043 (1765 г.), л. 34.

[3] Биографию Ф. А. Эмина см. в «Русском биографическом словаре», том «Шапов-Юшневский», стр. 228—230; М. Лонгинов. Русские писатели XVIII в.: Ф. А. и Н. Ф. Эмины — «Русская старина», 1873, май, стр. 616—621; Словарь митр. Евгения, ч. 1, стр. 213—218; «Опыт исторического словаря о русских писателях». Собрал Н. Новиков. В книге: «Материалы для истории русской литературы», изд. П. А. Ефремова, СПб., 1867, стр. 1—128, см. стр. 123—125.

[4] В. П. Семенников. Русские сатирические журналы 1769—1774 гг., СПб., 1914, стр. 19, 27—37. См. также А. Лященко. Публицистический элемент в романах Эмина, СПб., 1898.

законов наказания, из высочайшего и бесприкладного милосердия своего повелеть мне соизволила отослать к вашему сиятельству, с тем, чтобы вы приказали посадить его в крепости здешней в тюрьму на две недели... А по прошествии того двухнедельного в тюрьме содержания прислать оного Эмина обратно ко мне». Повидимому, это был «Сон, виденный в 1765 г.», сатирический рассказ с подписью Ф. Эмин.[1] Как пишет автор предисловия к этому рассказу Л. Майков, «по содержанию сатиры и в особенности по резкости ее намеков видно, что она не могла найти себе места в тогдашней печати». В сатире осмеивались Академия Наук, Академия художеств и Шляхетский кадетский корпус. Президент Академии Наук граф К. Г. Разумовский изображен как медведь, способный только вытаскивать мед из чужих ульев.

В 1771 г., в год «моровой язвы», пасквильное письмо получил архимандрит Великолуцкого монастыря Флавиан.[2] Как выяснило следствие, он получил его через своего служителя в то время, когда у него были гости. Письмо, адресованное на имя Флавиана, было написано полууставом с явной целью скрыть подлинный почерк автора (см. л. 29). Служитель Флавиана показал, что письмо подал ему капрал Вятского пехотного полка, а тот говорил, что получил его от какой-то боярыни, проезжавшей мимо монастыря и просившей передать письмо (оно было в конверте) архимандриту. Автор письма обращался к «любезнейшим согражданам» и писал: «Вы знаете, под каким несносным игом более десяти лет мучитеся, обременены разными поборами и истощены все безвременною войною. Велелепие церквей упало, законы божественные и естественные упали и расторгнуты. Владычествуют вами предатели отечества, преисполненные гордостию и гнусные царя и принца убийцы Орловы». Они расточают богатства государства, «утопая в прелюбодеяниях». Верных, преданных отечеству людей, долго служивших, изгоняют. В своих интересах начали войну с Турцией и начинают другую;[3] у неприятелей, у варваров ищут себе убежища, с турками находятся в согласии, Москву и другие провинции обобрали и предали моровой язве и распространили заразу по всей России. Затем автор вновь обращался к вопросу о положении церкви: православие упадает; защитите,— восклицал он,— церковь божию и отечество, ничего не боясь. Бог их покарает, «уже полки гвардии и другие воины невинных спасти готовы». Надо собраться туда, где издревле находятся святые мощи,— они-то и дадут вождя благоразумного и благонадежного.

Естественно было бы предположить, что автор происходил из духовной среды и обращал свой призыв к духовенству. Это был как бы запоздалый отголосок реакции духовенства на секуляризацию церков-

---

[1] «Сон, виденный в 1765 году. Сатира на Сухопутный шляхетский корпус и на Академии наук и художеств». С предисловием Л. Н. Майкова — «Русский архив» 1873, т. II, стр. 1910—1928.

[2] ГА, разр. VII, д. 2338.

[3] Автор, очевидно, имел в виду военные операции в Польше.

ных имуществ. «Моровая язва», видимо, послужила толчком к этому выступлению. Однако материалы следствия показывают, что подозрение падало на отставного полковника Яновского, знакомого архимандрита Флавиана и как раз находившегося у него в гостях в момент передачи письма Флавиану его служителем. Следствие установило, что Яновский подавал много жалоб на новгородского губернатора Сиверса и его чиновников. За невыполнение питейного откупа он сидел в тюрьме. Однако доказать авторство Яновского Тайная экспедиция не могла, и автор остался необнаруженным.

Через 7 лет после этого Тайная экспедиция вела следствие по делу поручика А. Ф. Мневского и капитана И. В. Иванова. Мневский обвинялся в сочинении речи, якобы произнесенной в Сенате наследником Павлом, а также в ложном доносе на Иванова как сочинителя пасквиля, т. е. именно этой речи.[1] Для нас не важно, какова была роль Мневского и Иванова в сочинении этой речи (каждый из них при допросах старался уменьшить свою роль и увеличить роль другого), но важен самый факт сочинения этой речи представителем дворянства, а затем выяснившийся на следствии факт ее широкого распространения среди дворянских, мелкобуржуазных и разночинских кругов. К сожалению, как почти всегда бывало при следствиях по таким делам, остался совершенно невыясненным вопрос о цели сочинения этой речи. Речь, сочиненная Мневским (повидимому, именно он был ее автором), не отличалась ни глубиной, ни широтой содержания, но совершенно определенно выражала недовольство дворянства тогдашним состоянием правосудия.[2] Написана она была витиевато; в ней говорилось о благости бога, который «ободряет Россию при самом ее несщастии», «дает премудрое правительство», «посылает острый меч» для борьбы с преступниками. Но Павел, ознакомившись с деятельностью Сената, видит, что сенаторы плохо «помнят долг своего звания», нарушили клятву, «не щадя бедных, притесненных злоухищрением ненасытных, кровожаждающих людей», отличаются ненасытной жадностью. Павел призывал сенаторов исправиться, в противном случае грозил им гневом божьим и карой, уже от него, Павла, исходящей. «Да возьмем и мы со оными меч», говорил он.

Мневский, отрицая свое авторство в сочинении этой речи, показывал, что речь стала распространяться в народе в 1777 г.; это подтверждал отец Мневского, который говорил, что просил сына достать список с этой речи, к чему будто бы и свелась его роль в этом деле. К этому они добавляли, что одновременно с распространением речи ходили слухи, что будто бы уже есть «реестр новопожалованных»,— очевидно, в этом нашло свое отражение ожидание дворянством перемен и улучшения своего положения.

Относительно распространения этой речи следствие установило та-

[1] ГА, разр. VII, д. 2517, и ф. Канц. тайных дел, д. 379.
[2] ГА, разр. VII, д. 2517, лл. 6—6 об.

кие факты. Мневский передал список с речи отставному придворному гоф-фурьеру Моисею Ушакову, соседу по имению Мневского; от Ушакова список попал в руки канцеляристов Переяславской провинциальной канцелярии. Кроме того, из рапорта прокурора Орловской провинциальной канцелярии князю Вяземскому от 18 апреля 1778 г. (с приложением 3 экземпляров речи) видно, что список речи был найден у находившегося под арестом секретаря Коробова,[1] а тверской губернатор доносил Вяземскому (приложив 2 экземпляра речи), что она имела распространение в Тверской губернии и была обнаружена у двух купцов, двух мещан, у отставного сержанта гвардии, двух поручиков, у протоколиста, регистратора и канцеляриста.

Кто такие были Мневский и Иванов? Материалы следствия сохранили о них такие сведения. Оба принадлежали к дворянским, видимо провинциальным, небогатым семьям. Мневскому было 25 лет, Иванову — 27. Мневский был «несколько обучен по-немецки», с 1766 г. служил рейтаром, а потом капралом в лейб-гвардии Конном полку; в 1769 г. из гвардии был выпущен корнетом в Ингерманландский карабинерный полк. В 1770 г. Мневский участвовал в сражении под Хотином и в том же году был отставлен по болезни от службы в чине поручика, после чего жил в деревнях своих родителей. В 1774 г. при поездке в Инсарскую деревню был сильно избит восставшими крестьянами, а его жена убита; затем он был захвачен пугачевцами, но вскоре бежал от них, был ординарцем при графе П. И. Панине и принимал участие в поимке пугачевцев. Иванов деревень не имел. В 1769 г. он поступил солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк, был произведен в капралы, а в 1771 г.— в сержанты, выпущен из гвардии армейским поручиком и служил в Тобольском пехотном полку. В 1773 г. был отставлен от службы капитаном и поступил в полицию.

Итак, непродолжительная служба в гвардии, переход в армию, отставка — вот их недолгий служебный путь, продолжением которого для одного была жизнь в деревнях родителей, а для другого, не имевшего никаких источников существования,— служба в полиции. Все это, вместе взятое, создавало, очевидно, недовольство существующим строем и вызывало живой интерес к указанной вымышленной речи наследника Павла. Но так как авторство их доказано не было, то отделались они легко: были посажены на три дня на хлеб и воду, а Иванову, кроме того, было предписано «удаляться от нетерпимых вралей». Но мягкий приговор в отношении Мневского и Иванова мог иметь и другие основания: правительство Екатерины вообще избегало ссор с дворянами и обычно карало их за одинаковые проступки меньше, чем представителей других классов; к тому же Мневский был активным участником в подавлении восстания Пугачева, а Иванов служил в полиции. Наконец, ведь речь Павла не заключала в себе каких-либо больших принципиальных вопросов и содержала выпады только против Сената,

[1] ГА, разр. VII, л. 53.

состоявшего из представителей дворянских верхов. Углублять рознь между двумя слоями одного и того же класса было не в интересах дворянского правительства Екатерины II, а суровый приговор по делу Мневского и Иванова мог бы, конечно, привести именно к этому.

Дело Мневского и Иванова интересно также в том отношении, что в нем есть определенные указания на распространение подложной речи Павла среди купечества и мелкого провинциального чиновничества; здесь она нашла, очевидно, большой отклик, так как эти слои населения с деятельностью судебных учреждений, и Сената в частности, постоянно сталкивались, немало от них терпели и с их недостатками были хорошо знакомы. Вполне возможно, что именно эту речь имела в виду Екатерина, когда 1 ноября 1777 г. писала московскому главнокомандующему князю М. Н. Волконскому: «Письмо ваше от 26-го октября мною получено, и спешу вам ответствовать, что пропущенный слух, о котором вы мне уведомляете, есть сущая плевел. Речь же, с которою таскаются на Москве, есть самой глупой пасквиль. Старайтесь чрез обер-полицмейстера узнать фабрику и фабриканта таких дерзостей, дабы возмездие по мере преступления учинить можно было». [1]

В 1785 г. в Москве и Петербурге появились два пасквиля — один на многих столичных дам, другой — на иностранных министров. О них мы узнаем из записки Екатерины от 28 марта 1785 г., адресованной, повидимому, кому-либо из ее секретарей. [2] Екатерина писала, чтобы посылаемые в пакете два пасквиля были отправлены петербургскому губернатору для сожжения через палача и чтобы петербургский и московский губернаторы объявили 1000 рублей награды тому, кто откроет сочинителя или сочинительницу, с тем чтобы посадить их на два года в смирительный дом.

В другой записке, адресованной петербургскому губернатору П. П. Коновницыну, императрица писала, что посылает пакет с двумя пасквилями «на многих здешних иностранных с ругательствами и подлыми описаниями, картинами и толкованиями» и поручает ему приказать от Управы благочиния сжечь через палача, с объявлением награды в 1000 рублей за обнаружение сочинителя или сочинительницы (это же повеление было получено московским главнокомандующим Брюсом, который предложил Управе благочиния оповестить жителей во всех частях, а квартальным надзирателям везде в домах, где есть господа, самим им этот указ предъявить). [3]

К сожалению, пасквилей, на которые ссылается императрица, в деле

---

[1] «Осмнадцатый век», кн. 1, стр. 169.

[2] ГА, разр. X, д. 192, л. 1.

[3] «Русский архив», 1877, № 11, стр. 333. Гельбиг говорит, что когда в половине 1780-х годов появились карикатуры и пасквили на многих придворных особ, преимущественно же на кн. Потемкина, то в составлении их подозревали жену П. И. Турчанинова, одну из придворных дам при Екатерине II, известную остроумной и любезной беседой, и гр. Дивову («Русские избранники и случайные люди в XVIII в.» — «Русская старина», 1887, март, стр. 548—549).

нет; нет также в нем других указаний на их содержание, кроме того, которое имеется в записке императрицы. Но то, что они были направлены против столичных дам и иностранных министров, дает основание считать, что автора или авторов их следует искать среди социальных верхов, которым и столичные дамы и иностранные министры были знакомы. Там же, очевидно, надо было бы искать автора неизвестной, к сожалению, сатиры на князя А. А. Вяземского, о котором М. Чарновский писал правителю канцелярии князя Г. А. Потемкина для передачи ему: «Подношу при сем сочиненную на князя Ал-ра Ал-ча [Вяземского] сатиру неизвестным сочинителем». [1]

Совершенно особого рода два пасквиля появились в Петербурге в 1789 и в 1793 гг. Появление первого было связано с падением курса ассигнационного рубля (как известно, к концу екатерининского царствования ассигнационный рубль стоил 68 копеек, а в 1789 г. он расценивался в 91.75 копейки). [2] Это привело подпоручика морского батальона Афанасия Львова к мысли сделать на двух ассигнациях пасквильные надписи. [3] На одной он написал: «Объявителю сей фальшивой ассигнации платит ассигнационный банк 100 ударов ходячею по спине монетною палкою», а на другой выразил свое отношение к указанному факту в грубом ругательном стиле. Надпись на второй ассигнации гласила: «Объявителю сей фальшивой ассигнации всяк благоразумно поступит, есть ли плюнет ему 25 раз в рожу ходячими изо рта мокротами». К сожалению, производства по этому делу в делах Тайной экспедиции не оказалось, и факт этот известен только из списка содержавшихся с 1762 г. в разных местах заключения и сосланных на поселение, в работу и пр. В этих списках мы имеем только регистрацию различных фактов, привлекших внимание Тайной экспедиции, с кратким изложением сущности факта, но без выяснения мотивов проступка и личности совершивших его и без указания на мотивировку того или иного приговора (Львов значится в числе сосланных). Поэтому приходится ограничиться приведенными данными по этому, несомненно интересному, делу. Падение курса ассигнационного рубля к концу XVIII в. затрагивало интересы всего населения России и вызывало серьезное недовольство, выразителем которого явился подпоручик Львов.

Пасквиль, появившийся в 1793 г., стоял в связи с событиями французской революции. Авторами его были переводчики Коллегии иностранных дел Иван Кузьмич Стрелевский и Иван Николаевич Буйди, довольно типичные разночинцы конца XVIII в., близкие к социальным верхам. [4]

---

[1] «Русская старина», 1876, январь, стр. 22.

[2] Блиох. Финансы России, т. I, стр. 62.

[3] ГА, разр. VII, д. 2047, кн. 1, № 46, Списки по Тайной экспедиции с 1762 г. о содержащихся в разных крепостях, монастырях и пр., л. 262.

[4] ГА, разр. VII, д. 2804. Это дело кратко изложено Мих. Гернетом в статье: «Политический сыск в России в годы французской революции» — «Советская юстиция», 1939, № 15—16, стр. 30—31.

На допросе в Тайной экспедиции 23 апреля 1793 г. Стрелевский показал,[1] что он происходит «из малороссийского шляхетства», родом из г. Глухова; его отец был войсковым канцеляристом. Оставшись рано сиротой, Стрелевский уехал в Киев, где с помощью родственников обучался российскому, латинскому и немецкому языкам; потом он поступил в число казенных учеников Севской семинарии, где «продолжал на латинском языке философический класс и изучение немецкого языка». Узнав, что коллежский советник и кавалер Московского архива Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Каменский писал в Севск к тамошним учителям, что в Москве открылось ученое общество и набирает из всех училищ студентов «для довершения своих наук в Московском университете», Стрелевский уехал в Москву и, будучи на иждивении Дружеского ученого общества, продолжал в университете изучение латинского, немецкого и французского языков, «риторики, поэзии и разных частей философии». По окончании курса этих наук он, узнав, что его отец был воспитан и вырос в доме отца графа А. А. Безбородко, попросил у его матери рекомендательное письмо к нему, приехал с ним в Петербург и явился к графу; тот определил его в 1785 г. актуариусом в Коллегию иностранных дел. Занимаясь тут переводами с латинского, немецкого и французского языков, Стрелевский прослужил около двух лет без жалованья и потому задолжал до 400 рублей. В 1789 г. он был пожалован за исправность в переводческий чин и направлен по указу императрицы «для исправления по немецкой экспедиции секретных дел» во время последней войны со Швецией; после этого он продолжал заниматься переводами («за прочими высматривать переводы») и получал жалованья 297 рублей; под штрафом никогда не был.

Около двух недель назад, по его словам, он разговорился с актуариусом И. Н. Буйди «о французских революциях», рассуждая при этом, что можно было бы подать императрице записку «о принятии предосторожностей против замыслов, могущих быть от французов», и «что от такой бумаги может быть от милосердия е. в. благость». Но Буйди сказал, что «сие вменится в дерзновение» и что лучше сочинить письмо, «для произведения на сей же конец действия», как будто от одного француза к другому, причем он сам брался сочинить это письмо и убеждал Стрелевского передать его графу П. А. Зубову; он уверял Стрелевского, что «конечно, воспоследует за сие к поправке состояния нашего монаршая милость». Три дня назад, как он говорил, Буйди, действительно, написал такое письмо, переписал его набело и убедил его, Стрелевского, передать письмо Зубову, сказав, что будто бы оно найдено у Семионовского моста.

В тот же день дал свои показания Буйди.[2] Он признался, что писал указанное Стрелевским письмо и отдал его последнему для вручения

[1] ГА, разр. VII, д. 2804, лл. 2—4.

[2] Там же, лл. 5—8 об.

императрице через Зубова. О том, как у него возникла мысль о таком письме, Буйди показал следующее. Он был в приятельских отношениях со Стрелевским, часто разговаривал с ним «о нынешних Франции обстоятельствах» и о той опасности, которая в связи с этим может грозить императрице. По его словам, Стрелевский предложил ему уведомить об этом императрицу запискою или письмом, изложив на словах проект такой записки. Буйди согласился на это как в надежде на награду, так и по следующим соображениям. Бывая в немецких трактирах, где он обедал, и в кофейном доме, что на Морской ул., он слышал от бывавших там французов разговоры о притеснениях, которые будто бы чинятся им здесь, причем они употребляли «разные тяжкие выражения, называя Россию варварской землею», «что русские находятся под тяжким игом самовластного тиранства» и что, мол, находящимся здесь вольным людям, т. е. французам, «очень о сем болезненно»; наконец, показывал Буйди, они будто бы говорили, что «было бы очень хорошо, если бы Национальный конвент подумал о способе избавления Франции от такого врага, т. е. от императрицы, а людей русских от тиранства». Чтобы отвести от себя подозрения относительно какой-либо связи с посетителями трактиров и кофейного дома, Буйди уверял Тайную экспедицию, что, когда он приближался к французам, которые вели такие разговоры, они, видя, что он понимает их язык, отворачивались от него и уходили в другую комнату; впрочем, оправдывался Буйди, он никого из них не знает и не знает также, кому могло бы быть дано поручение «произвести в действие какое злоумышление».[1]

В написанном им письме, показывал дальше Буйди, имеются разные значки и отдельные литеры; это сделано им единственно для придания письму большей важности и для того, чтобы привлечь больше внимания к его предупреждению об опасности, угрожающей императрице, «в надежде, что за таковое показание, происходящее от усердия к монархине, канет на меня капля богатых е. и. в. щедрот и оросит

[1] Планы Буйди и Стрелевского добиться «поправки состояния» подачей императрице сочиненного ими письма, несомненно, были в связи с теми толками и слухами, которые циркулировали в тогдашнем обществе относительно готовящегося отравления императрицы. А. М. Тургенев, очевидно, имея в виду как раз то время, писал об этом в своих «Записках» следующее: «В обществе и даже в народе была тогда молва, что якобинцы и франкмасоны, соединясь, умыслили отравить государыню ядом, не надеясь и предполагая совершенную невозможность истребить повелительницу Севера каким-либо оружием. Справедлива ли была молва эта или нарочито агентами разглашенная (характерное замечание, показывающее, что в тогдашних общественных кругах считали вполне возможной тактику запугивания императрицы со стороны Тайной экспедиции,— тактику, хорошо известную позднее по деятельности III Отделения и Департамента полиции в отношении преемников Екатерины II.— *К. С.*), но как бы то ни было, молва не в одном Петербурге существовала, она распространилась по всей России и в самых отдаленнейших местах от столицы, в беседах, в торгах, словом — во всех собраниях передавали ее друг другу, и не шопотом — вслух, с присовокуплением выражений, свойственных образованию и степени понятия того круга людей, который рассуждал о злоумышлении якобинцев и масонов», («Русская старина», 1887, январь, стр. 88).

сухость скудости моей»; живет он на одно жалованье в 200 руб., не имеет в Петербурге никаких родственников или благодетелей, и, следовательно, «нет у него ниоткуда ни помощи, ни подпоры».

Интересна биография Буйди. Согласно его показаниям, его отец происходил из г. Арты, на Адриатическом море, и был сыном примата (сам Иван Буйди родился в Петербурге). Из страха перед турками, которые убили его деда, отец Буйди покинул родину, переехал в Константинополь, где служил при российских резидентах Вешнякове и Неплюеве драгоманом 14 лет и «за некоторые усердные открытия» врагами России был выдан туркам, дважды судим и приговорен к смерти, но спасен от нее заступничеством первого драгомана Порты Каламаха и резидента Неплюева. Потом он служил в Коллегии иностранных дел шесть лет и был уволен с чином секретаря в 1758 г. В 1771 г. он получил награду в 4000 рублей и пенсию в 500 рублей в год (он умер в 1789 г.). В 1782 г. И. Буйди поехал с отцом в Вену, где частным образом обучался греческому, латинскому, итальянскому, французскому и немецкому языкам, а также разным наукам в университете, а именно: логике, метафизике и нравственной науке, правам естественному, римскому, криминальному, феодальному, всеобщему и народному. У профессора Зоннерфельса он слушал политические науки; его аттестаты, подтверждающие все это, имеются в Коллегии иностранных дел. В январе 1790 г. он был принят на службу в Коллегию иностранных дел актуариусом с жалованьем в 200 рублей в год. Мать И. Буйди была дочерью мачтового мастера ведомства Адмиралтейств-коллегии; она умерла в 1777 г.

Через несколько дней после первого допроса Стрелевский дал дополнительные показания.[1] По его словам, месяца два назад он слышал в Коллегии иностранных дел от многих служителей,— но от кого именно, сказать не может потому, что если их станут спрашивать, то они отопрутся, и он окажется в положении ложного доносителя,— будто бы императрице написано из чужих краев, что из Франции в Россию послана партия злодеев для покушения на ее жизнь. Говорили об этом настолько уверенно, что усомниться в этом он не мог, зная, что «французские изверги ничего за свято не почитают». Вследствие этого, «по искренности и усердию к особе е. в.», он решил представить свой проект ее охраны. Он считает, что должны быть приняты предосторожности в отношении подаваемых ей кушаний: их должен готовить один мундкох, который обязан находиться с начала приготовления их и до конца. Тот же порядок надо установить в отношении подаваемых императрице напитков. Наконец, так как императрица летом повсюду гуляет в Царском Селе, то не только не следует пускать туда ненадежных людей, но надо предварительно, перед ее выходом на прогулку, осматривать на известном расстоянии, нет ли где в кустах или между деревьев каких-либо злоумышленных людей с оружием.

[1] ГА, разр. VII, д. 2804, лл. 9—10 об.

Чтобы отвести от себя всякие подозрения, Стрелевский уверял, что, кроме указанного письма, никогда никому ничего не подавал и нигде не подкидывал; среди служителей дворца не имеет не только приятелей, но и знакомых; с Грибовским[1] никогда не был знаком и узнал о нем лишь тогда, когда пришел подавать письмо графу Зубову, так как камер-лакей препроводил его к нему, и тот доложил о нем Зубову. В заключение он сделал одно важное и интересное признание относительно связей с московским масонством. Он показал, что в масонскую ложу при университете был принят профессором Чеботаревым «с обыкновенными обрядами» и был не больше трех раз «в ученическом классе», а потом, «увидев бесполезность и помешательство в учении, от оной (ложи?— *К. С.*) отстал». «Какие же,— говорил он,— происходили замыслы и намерения в ложах Новикова, Шварца и Чеботарева, то он, по чистой совести, должен сказать, что не знал и не знает». К сожалению, Тайная экспедиция совсем не заинтересовалась этими связями Стрелевского, и документы дела о нем и Буйди не содержат никаких данных по этому вопросу.

Буйди в письме от 27 апреля на имя генерал-прокурора,[2] раскаиваясь во всем, старался всю вину свалить на Стрелевского, просил о скорейшем решении по их делу и обещал отыскать французов, о которых говорил в первом показании, и представить их по начальству. В заключении он особенно настаивал на том, что сочиненное им письмо не пасквиль, так как сущность пасквиля есть «дух ругательства и насмешки»; в пасквиле не называют прямо того, кого ругают, а только описывают его; по его мнению, в его письме нет всех этих признаков пасквиля.[3]

В мае 1793 г. генерал-прокурор Самойлов заготовил проект приговора по делу Стрелевского и Буйди, который был утвержден императрицей.[4] В этом приговоре было сказано, что за составление записки «с важными выражениями», Стрелевский и Буйди, как доносчики, не имеющие на свой извет ни малейшего доказательства, а также за обман, выразившийся в подаче безымянного письма, подлежат тяжкому наказанию, но так как не открылось их злого умысла против императрицы и выяснилось, что все это они затеяли, так сказать, по глупости, то приговор предписывал, «исключа из Коллегии иностранных дел», определить их к делам в новоприобретенные губернии по усмотрению генерал-губернатора Кречетникова: Стрелевского в Минскую, а Буйди — в Бреславскую, «не определяя Стрелевского в народные училища».

---

[1] Один из секретарей императрицы.

[2] ГА, разр. VII, д. 2804, лл. 11—13 об.

[3] Имеющаяся в письме Буйди просьба прислать в «темницу» (Буйди и Стрелевский содержались в Петербургской крепости) постель, так как теперь он спит на голых досках, позволяет заглянуть немного в условия содержания узников Тайной экспедиции.

[4] ГА, разр. VII, д. 2804, лл. 15—18.

Однако отправление их из Петербурга было задержано, так как велено было выяснить, не имеют ли они какого-нибудь касательства к делу писателя Кречетова, но так как следствие по делу Кречетова уже подходило к концу, то вскоре же было выяснено, что они оказались «нисколько в оном участвующими не замечены», и потому в июле они были посланы в назначенные им места, получив жалованье по 5 мая и по 50 рублей серебром на выезд.

Письмо, сочиненное Стрелевским и Буйди, имеется в деле на латинском языке (это, так сказать, самый подлинник) и в переводе на русский язык, сделанном Стрелевским после ареста.[1] Оно озаглавлено так: «Dulce est mori pro patria», т. е. «за отечество умереть приятно» (перевод Стрелевского). Письмо было написано будто бы одним французом другому. Этот вымышленный автор писал: «Надобно помышлять об вольности, потому что, потерявши мы вольность отечества, ничего более не можем надеяться. Есть нам величайшая неприятельница, обладательница варварского и сурового народа. Есть ли бы она не была на свете, о когда б она не родилась!» Дальше говорилось о каком-то Е. Л.: «Есть ли он доволен будет 10 000 червонных, то поговори с ним, каким образом и когда хочет произвести в действие конец свой и в каком именно кушанье». Затем автор, называя какого-то Л. Ч., говорил, что у него надо спросить, какой напиток она (т. е. императрица.— *К. С.*) предпочитает, и настаивал, что «надобно при всем том ее истребить, дабы и прочие европейские государи имели больший страх». Упомянув потом еще о каком-то Ч. Л., автор поручал сказать ему, чтобы он скрылся в Царском Селе в ближайшей роще, имея при себе ружье или пистолет нового изобретения, «не делающий никакого звука». В заключение автор письма говорил, что «лучше умереть, нежели видать погибшею вольность отечества, потому что сие есть вечно, а мы временны».

Дело Стрелевского и Буйди, как и многие другие дела Тайной экспедиции, привлекло внимание императрицы. Об этом говорят две собственноручные ее записки, имеющиеся среди документов.[2] Но в то же время они показывают, что и в этом деле ее мало интересовала идейная настроенность Стрелевского и Буйди и ее источники, а внимание ее было обращено на различные второстепенные вопросы. Вот что говорилось в первой записке:[3] «вчерашний вечер часу в 10-м пришел к графу П. А. Зубову переводчик коллегии иностранных дел и принес ему латинское письмо, говоря, что оного нашел у Семеновского мосту в сумерки. Сей человек учился в университет Московской, лет 22-х. Граф П. А. приказал ему самому переводить паруски то латинское

---

[1] ГА, разр. VII, д. 2804, лл. 39—42.

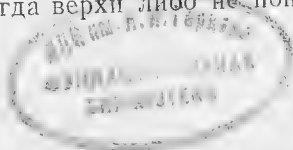
[2] Там же, лл. 44—45.

[3] Она без подписи, но почерк не допускает сомнений, что автор — императрица. Сохраняю орфографию подлинника с обычными для передачи документов XVIII в. отступлениями от оригинала.

письмо, чево он и зделал тотчас». В другой записке (адресованной, повидимому, генерал-прокурору Самойлову) императрица писала: «Я подозреваю, не сам ли переводчик сочинитель сего письма. Прикажите его допросить, для чего он не понес по команде, но пошел к графу Зубову суда в Таврический дворец, будто ето ближе, нежели вицеканцлеру либо к графу Безбородку. Бумага латинского письма надо сличить с коллежской и есть ли здесь той фабрики. Также о поведении и обращение сего человека наведаетеся. Невероятно, чтоб латинское письмо и подобного содержание могло наитися у Семеновского моста. Прошу приметить крючки в письме, сими масонскими крючками заразил Шварц Московской университет везь».

Как видим, только в конце второй записки императрица делает намек на связь письма Стрелевского с московским масонством, но дальше этого намека мысль ее, очевидно, не пошла. Поэтому и Тайная экспедиция никакого расследования в этом направлении не произвела. Не заинтересовали императрицу и Тайную экспедицию истинные причины выступления Стрелевского и Буйди. А между тем в их выступлении интересны два момента: мотивы их выступления и идейная настроенность, нашедшая свое отражение в содержании сочиненного ими письма. Оба они жаловались на свое тяжелое материальное положение, и желание улучшить его, стремление добиться от императрицы «милости» и «благости» побудили их сочинить указанное выше письмо. Разумеется, все это было очень наивно; версия об опасности, якобы угрожавшей императрице со стороны «французских извергов», была шита белыми нитками, и провести дельцов Тайной экспедиции таким маневром было, конечно, нельзя. Но мотивы выступления Стрелевского и Буйди были типичны для 90-х годов XVIII в. В целом ряде процессов этого времени совершенно определенно выявляется факт тяжелого материального положения разночинцев (особенно в Петербурге и в Москве). Часто раздавались жалобы на трудность найти службу, на низкую ее оплату, а сплошь и рядом служили и совсем без жалованья; указывали также на все растущую дороговизну жизни, на падение ценности ассигнационного рубля (вспомним дело подпоручика Львова). Все это создавало и поддерживало оппозиционные настроения в кругах мелких дворян, купцов и разночинцев, ставило перед ними вопросы о причинах тяжелых условий жизни и способах их устранения.

Другой момент в этом деле, который надо подчеркнуть, заключается в идеологии авторов письма. Для нас ясно (как это было ясно и для Тайной экспедиции), что все написанное в нем — не подслушанные разговоры каких-то французов, а то, о чем думали и говорили чиновники Коллегии иностранных дел: о Французской революции, о вольности, о тиранстве, о необходимости беречь первую и бороться со вторым. Среди них, очевидно, царила атмосфера, которая создала Радищева и других революционеров того времени. Таким образом, и в этом деле мы видим доказательство того положения, что Радищев был не один. Екатерина II и правящие тогда верхи либо не понимали этой



широты революционной настроенности современников Радищева, либо делали вид, что не понимают ее. Во всяком случае следствие по делу Стрелевского и Буйди велось в узких ведомственных рамках и не вскрыло того, что в нем было наиболее интересного. В частности, не вскрыло оно внутренних связей между выступлением Стрелевского и Буйди и процессом Кречетова, с одной стороны, и между этим процессом и масонством — с другой. А это и нас лишает возможности установить эти связи, так как в литературе и документах, относящихся к тому времени, нет ничего, что могло бы помочь в разъяснении этих связей.

Итак мы видим, что так называемых «пасквилей», исходивших от социальных верхов и им адресованных, Тайной экспедицией было обнаружено не много. Объясняется это, надо полагать, тем, что социальные верхи имели много легальных возможностей выявлять свои настроения и отношение к тем или другим фактам окружавшей их действительности и лицам, а потому у них было меньше необходимости и желания прибегать к «подпольной литературе». Содержание рассмотренных выше пасквилей разнообразно. Автор одного из них очень энергично выступал в пользу церкви, призывая «любезнейших сограждан» защитить ее. Он связывал угнетенное положение церкви с общим неустройством русской жизни, с тем «несносным злом», под каким все мучаются более 10 лет, указывая далее конкретно на тягость поборов и войны, на ниспровержение божественных и естественных законов. Однако источник всех бед он видел не во всей системе феодально-крепостнического строя, а в отрицательном влиянии Орловых. Таким образом, автор и этого пасквиля не сумел подняться до понимания того, что исключительная роль Орловых в жизни тогдашней России была следствием всего социально-экономического и политического строя дворянской монархии. Угрожая им божьей карой, автор письма говорил, что «полки гвардии и другие воины невинных спасти готовы»; другими словами, он грозил дворцовым переворотом: в результате одного дворцового переворота Орловы пришли к власти, другой переворот лишит их этой власти. Таким образом, не к народу, не к массам апеллирует он, а к военной силе, которая не раз в течение XVIII в. выступала в роли создателя и ликвидатора правительств дворянской монархии.

Автор другого пасквиля избрал предметом своих нападок Сенат, как высшее судебное учреждение, и не ставил вопроса о государственном строе в целом. Сенаторы плохи, жадны, притесняют бедных; они должны исправиться, и тогда, как, очевидно, думал автор, все придет в порядок.

Еще, конечно, уже по своему содержанию выступление подпоручика Львова, автора «пасквильных» надписей на ассигнациях.

Наиболее интересной была записка Стрелевского и Буйди. При всей невыясненности их личной политической настроенности она, несомненно, очень показательна для 90-х годов XVIII в.—для характеристики настроений, присущих тогдашним разночинцам, которых она прямо сближает с окружением Радищева и Новикова. Особенно надо под-

черкнуть, что она была написана в 1793 г., т. е. тогда, когда Радищев уже был в ссылке, а Новиков — в Шлиссельбурге. Толки о «самовластном тиранстве», о «вольности отечества» и т. п. в кругах разночинцев не прекратились после того жестокого приговора, который был вынесен Радищеву и Новикову. Французская революция продолжала интересовать их и влиять на них; как показывал Буйди, он часто разговаривал со Стрелевским «о нынешних Франции обстоятельствах».

Как показывают данные дел о пасквилях последней трети XVIII в., пасквили получили тогда значительное распространение среди разночинцев, среднего дворянства, купечества. Исключительное значение пасквили получили в социальных низах, которые выдвинули большое число и авторов пасквилей и их распространителей; вследствие этого большие территории — целые губернии оказывались местами распространения и воздействия на массы населения того или иного пасквиля. Это явление, конечно, того же порядка, что и большая распространенность так называемых «прелестных писем» Разина или манифестов, указов и т. п. Пугачева. Недаром многие из таких пасквилей были тоже подложными правительственными актами и потому только условно могут быть названы пасквилями в соответствии с официальной их тогдашней квалификацией.

В. Д. ВЕЙС

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ФОГТСТВА В ГЕРМАНИИ X—XII вв.

Институт средневекового фогтства тесно связан с переплетением светского и церковного землевладения и с взаимоотношениями светской власти и церкви. Эволюция фогтства есть результат эволюции этих сложных взаимоотношений. Два факта можно считать исходными пунктами процесса их развития в XI—XII вв.: сохранение за дарителями известных прав на объекты их дарений в пользу церкви и наличие у мирян частновладельческих прав на церковные земли и учреждения (в особенности — на монастыри).

Церковное землевладение складывалось как из крупных дотаций основателей или влиятельных покровителей церквей и монастырей, так и из большого количества мелких дарений вкладчиков весьма различного социального положения, в том числе и собственников-крестьян. При сохранении и теми и другими некоторых прав на подаренные объекты (правда, в разной мере и на разные сроки) возникала большая пестрота владельческих прав на территории складывавшейся церковной вотчины. Но если мелкие дарители сравнительно быстро утрачивали эти права, то основатели монастырей и церквей нередко сохраняли их за собою надолго, иногда производя размежевание своих прав с правами церковного собственника.

Наряду с церковными учреждениями, которые заново основывались светскими землевладельцами, существовали и такие, которые были основаны еще в период Меровингов и Каролингов и находились в зависимости от церковных же инстанций — епископств. Но и господство епископов в эпоху феодализации епископата превратилось в частную власть, а канонически зависимые от них церкви и монастыри — в объект их собственности. Совокупность этих фактов подала повод к возникновению в западноевропейской историографии второй половины XIX — начала XX в. целой теории «частной церкви», разработанной в трудах Фиккера, Штутца, Эмбар де-ля-Тура, Лёнинга, Хейслера и др. Согласно этой теории, с начала X в. и приходские церкви, и церковные корпорации (монастыри, капитулы) становятся собственностью мирян или епископов. А так как епископат, с одной стороны, феодализируется, а с другой — попадает в Германии с середины X в. в тесную зависимость от королевской власти, то, с точки зрения сторонников

этой теории, и епископская церковь в Германии является лишь одной из разновидностей светской (т. е. имперской) частной церкви.

Эта теория упрощает пестроту и сложность взаимоотношений между светским и церковным землевладением в Германии X — XII вв.; она не дает, в частности, удовлетворительного объяснения тому процессу внедрения первого в пределы последнего, которое можно было бы назвать процессом «внутренней секуляризации церковного землевладения». Попытка объяснить и институт фогтства в свете теории частной церкви, особенно решительно произведенная Ваасом,[1] представляется столь же мало удовлетворительной. Выводя фогтство из мунта, как частной власти, Ваас рассматривает фогта как владельца частной церкви, который большей частью происходил из рода ее основателя. Мы надеемся показать, что институт частной церкви не дает нам полного объяснения сущности фогтства, что знак равенства между обоими институтами поставлен Ваасом неправильно: оба института чрезвычайно близки один к другому, но не совпадают полностью.

Это обстоятельство не было чуждо сознанию современников; не следует забывать, что церковь, требуя с XI в. отмены светской власти над нею, никогда в течение интересующего нас времени, даже во время «крестового похода» против фогтства в начале XII в., не требовала уничтожения фогтства: речь шла исключительно об ограничении прав фогта, о передаче его прав настоятелю церкви, об устранении того, что представлялось церкви превышением полномочий фогта. Следует, очевидно, предположить, что отношения между фогтами и церковью не ограничивались односторонней эксплоатацией, а были с какой-то стороны выгодны и даже необходимы церкви. Нашей ближайшей задачей как раз и явится выяснение, на основании некоторого количества источников и литературы и в определенных хронологических рамках, конкретного содержания прав и обязанностей фогтов, сущности этого института и его места в социальном и государственном строе средневековой империи. Но нам представляется целесообразным начать с формулировки некоторых общих положений, которые подлежат в дальнейшем проверке на использованном материале источников.

I

Большинство авторов, работавших над проблемой церковного фогтства до появления книги Вааса, исходило исключительно из представления о фогте как о должностном лице иммунитета.[2] Вряд ли есть необходимость останавливаться на критике этих представлений, хотя отзвуки их чувствуются в некоторых работах, изданных уже после появ-

---

[1] A. Waas. Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit, BB. I—II, Berlin, 1919—1923.

[2] См. вступительную главу в работе А. Вааса (стр. 1, 3 сл.), дающую историю вопроса с достаточно полным обзором литературы.

ления труда Вааса.[1] Линии развития фогтства и иммунитета,— как ни спорно представляется традиционное, несколько одностороннее понимание этого последнего,— явственно расходятся, даже если принять их первоначальную связь. Даже в тех случаях, когда имеется иммунитетная грамота, права фогта практически выводятся из другого источника. На деле мы неоднократно встречаемся при фиксировании прав фогта в XI—XII вв. с фактом собирания сведений через выбранных для этой цели лиц из числа держателей церкви[2] без всякой ссылки на королевские привилегии; этот способ прямо объявляется обычным, нормальным.[3] Мало того, фогт Прюмского аббатства решительно отвергает предложение обратиться к установлениям франкских королей: «Любое перо может написать что угодно»,— заявляет он; «он вовсе не должен из-за этого лишаться своих прав».[4] Интересно, что рассказ этот сохранился в императорском постановлении и относится к имперскому аббатству; но мы напрасно стали бы ожидать, что император выступит с требованием уважения к установлениям своих предшественников: никаких возражений отнюдь не последовало, и требование фогта о выяснении его прав через опрос отобранных для этой цели лиц из церковной familia было принято, с единственной оговоркой, что лишь половину из них должен отобрать фогт, тогда как отбор другой половины принадлежит аббату. Права фогта не могут быть, следовательно, выведены из какого бы то ни было пожалования извне, будь то пожалование со стороны короля, выдающего иммунитетную грамоту, или со стороны церкви, создающей институт фогтства по собственному желанию и в произвольной форме.[5] Права фогта выводятся, таким

---

[1] Так, Телленбах, правильно критикуя в этом вопросе Вааса, предлагает вместо его теории собственное сложное построение, сводящееся к утверждению о превращении фогта из должностного лица церкви в должностное лицо ее владельца (G. Tellenbach. Die bischöflichen passanischen Eigenklöster und ihre Vogteien — «Historische Studien», veröffentlicht von E. Eberling, Brl., 1928, SS. 126—127).

[2] «Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussregierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien», herausgegeben von Heinrich Beyer, Coblenz, 1860 (в дальнейшем цит. MR UB), т. I, № 345, стр. 401—402 (подложная грамота Генриха III аббатству св. Максимина), № 406, стр. 463—465 (1103 г., Генрих IV, аббатство Прюм), № 483, стр. 538 (1135 г., аббатство св. Максимина), т. II, № 37, стр. 22 (1095 г., аббатство Эхтернах); L. Leclère. Pièces justificatives, t. I, p. 120 (1065 г., аббатство св. Трудона).

[3] «ut debito ordine...», MR UB, т. I, № 483, стр. 538—540, 1135 г.; так граф Конрад Люксембургский определяет свои права в качестве фогта аббатства св. Максимина. Последний подлинный императорский диплом, посвященный, между прочим, правам фогта этого аббатства, издан всего за 19 лет до этого (MR UB, т. I, № 434, стр. 495—497, 1/VII 1116 г.).

[4] «...dicens quod penna cuiuslibet quelibet notare posset, non ideo suum jus ammitere deberet...» (MR UB, т. I, № 406, стр. 463—465, около 1103 г., постановление Генриха IV о правах фогтов аббатства Прюм).

[5] Мало того, современникам не представлялось даже возможным оспаривать правовые основания действий фогтов. Эхтернахский схоласт Теодорих (XII в.) жаловался по поводу разорения, причиненного в прежнее время фогтами аббатству: «et non invenitur... iudex vel episcopus, qui vel seculari vel ecclesiastico jure

образом, из каких-то внутренних, неизменно присущих строю средневековой церкви элементов.

Точно так же приходится отказаться от мысли об узурпации как источнике прав фогта; именно так предпочитали трактовать вопрос многочисленные подложные и подлинные документы первой половины XII в., посвященные определению прав фогта. Если принять их высказывания за чистую монету, то нельзя не поставить вопрос: почему же фогтство, несмотря на решительную борьбу, которую церковь как будто провозглашает этому институту, растет и процветает? Предлагается поверить, что та самая церковь, которая сумела не только одержать серьезную победу в политической борьбе с империей, но даже была близка к решительному преодолению светских частновладельческих прав на нее, не в силах была сбросить с себя тяжкое бремя фогтства. Но как же объяснить тогда, что реформированные монастыри конца XI — первой половины XII в., провозгласив принцип освобождения от светской власти и libertas в духе Клюни-Хиршау, получив право избрания фогта, пользуются им лишь для того, чтобы немедленно вручить наследственное фогтство во владение могущественному феодальному роду?[1] Почему епископ, получив — формально или на деле — право распоряжаться фогтством, по меньшей мере до середины XII в. не использует это право для отмены фогтства? Не приходится ссылаться на необходимость «защиты» церкви: неужели архиепископ Кельнский нуждается в защите со стороны своего министериала?[2] Мало убедительна и ссылка на канонический принцип «ecclesia non sitit sanguinem», на необходимость, в связи с этим, светского судьи для разрешения дел, связанных с возможностью смертной казни. Во-первых, история церкви знает достаточно ярких примеров, когда этот принцип легко обходился,

ea discutiat» (цит. по C. Wampach. Gründung der Gründherrschaft Echternach im Frühmittelalter, 1929, S. 264, № 8). Заметим, что здесь речь идет не о сопротивлении фогту,— такие попытки можно констатировать без труда,— а именно о неоспоримости прав как с точки зрения светского, так и с точки зрения церковного закона.

[1] Из бесконечного множества примеров сошлемся на аббатство Мури, где после отказа наследников основателя от фогтства, это последнее вручается последовательно представителям трех светских феодальных фамилий, причем в конце концов, по просьбе аббатства, его вновь принимает тот самый граф Верихер, который прежде отказывался от него (см. «Quellen zur schweiz. Geschichte», Basel, 1877 ff. III, «Acta Murensia», № 1167 и вступительные замечания, там же, т. III, ч. 3, стр. 34—35; в дальн. цит. QSG). Мало того, уже давно историками Хиршауской реформы было указано, что как раз реформированные монастыри, наиболее последовательно боровшиеся с институтом частной церкви, оказались самой легкой добычей для фогтов, что и было неоднократно санкционировано римским престолом.

[2] Принадлежность кельнского фогта к сословию министериалов явствует из свода прав кельнского министериалитета (F. Frensdorff. Das Recht und die Dienstmannen des Erzbischofs von Köln — «Mitteilungen an dem Städtischen Archiv von Köln», Heft 2, 1883, Латинская редакция, сер. XII в.), о котором еще будет итти речь ниже. Министериалами были с начала XII в. и фогты Гильдесгеймского епископа (O. Müller. Die Entstehung der Landshoheit der Bischöfe von Hildesheim, Diss.— Freib., 1908, SS, 13 ff.), как и фогты ряда других епископских церквей.

едва лишь он оказывался сколько-нибудь стеснительным: ведь и святая инквизиция ссылалась на этот принцип. Далее, в XII в. в ряде — если не в большинстве — немецких епископств фогтство оказалось в руках министериалов; но ведь и они не могли отправлять первоначально высшей юрисдикции. Наконец, с XII в. мы видим, что епископство и имперские аббаты отправляют не только высшую, но и так называемую «кровавую» юрисдикцию (Blutgerichtsbarkeit); [1] но и это повлекло за собой лишь тенденцию к устранению соответствующей части обязанностей фогта, а отнюдь не к устранению фогтства. Но и раньше (см. об этом ниже) существовали фогты, не обладавшие высшей юрисдикцией.

Остается только признать, что церковь вовсе не стремилась к устранению фогтства. Уже Ваас указал на пример гальберштадтского епископа Рудольфа, берущего под свою защиту фогта, запрещая отнимать у него то, что принадлежит ему по праву. [2] Как увидим ниже, этот пример не мог оставаться единичным. [3]. Однако можно прибавить к нему еще один, в основном аналогичный. В середине XII в. монастырь Банц вынужден был защищаться от частновладельческих притязаний на него со стороны Бамбергского епископства. Монастырь обращается к испытанному средству: составляются подложные грамоты, восстанавливающие власть над монастырем светского основателя и приписывающие ему установление фогтства, наследственного в роде основателя. Очевидно, подобная перспектива была выгодна монастырю даже в большей степени, чем не противоречащее церковной теории подчинение епископу. [4]

Очевидно, следует признать, что фогты, права которых определяются какими-то внутренними особенностями строя средневековой церкви, оказываются нужными и даже необходимыми для этой последней. Нельзя согласиться с отождествлением институтов частной церкви и фогтства. Но именно в этом отождествлении новейшая история права и государственного строя средневековья видит объяснение фогтства. В чем же заключается сущность церковного фогтства?

Для ответа на этот вопрос следует прежде всего бросить беглый взгляд на организацию церковного землевладения в интересующий нас период. Известно, что земельные богатства церкви складывались постепенно, из дотации при основании, а также из дарений и приобретений разного рода. Если при дотации вновь основываемой церкви

[1] K. Lamprecht. Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Leipzig, 1886, S. 12, 1134 г.

[2] «...ne vel advocato, quod sui juris est, postmodum subtrahatur» (A. Waas. Op. cit., B. I, S. 9). Добавим еще один пример из того же епископства: грамота епископа Бурхарда монастырю Ильзенбург: «...de concesso vel instituto (sc. advocato) nichil abbas subtrahat aut imminuat» («Ilsenb. Urkundenbuch», № 7, S. 9, 1087 г.).

[3] Пример аналогичной защиты прав фогта герцогом приводит H. Starflinger. Die Entwicklung der Domvogtei in den altbayerischen Bistümern, S. 58, № 7, (середина XII в.).

[4] См. работу H. Hirsch. Die echten und unechten Urkunden der Abtei Banz, особ. стр. 29.

речь шла обычно о каком-то относительно цельном, территориально едином комплексе земель,[1] если при покупках и обменах открывались известные возможности для достижения той же цели,[2] то дарения церкви, являвшиеся наиболее важным источником увеличения ее земельных владений, не могли не приводить, и в действительности приводили, к крайней разбросанности владений отдельных церквей, к чрезвычайной чересполосице.[3] Постепенный переход от отработочной формы земельной ренты к форме ренты продуктами, от преобладания барской запашки к преобладанию оброчных чиншевых держаний должен был привести к тому, что практически бо́льшая часть владений отдельной церкви,— кроме территориально замкнутого округа вокруг монастыря или центра диоцеза, занятого барской запашкой и держаниями причта,— все в большей степени представляется в виде совокупности некоторых прав по отношению к отдельным участкам земли и их держателям, разбросанным по значительной территории. Как размер и характер этих участков, так и степень зависимости их держателей от церкви, величина их повинностей, их собственные права и права церкви по отношению к ним были весьма различны. Следует иметь также в виду отсутствие фиксации этих прав в интересующий нас период. Отсюда ясна вся та исключительная сложность отношений, которую повлекло

---

[1] Из нашего материала сошлемся на пример аббатства Мури; здесь можно легко проследить, как к первоначальному, территориально замкнутому комплексу земель вокруг Мури (то, что впоследствии связывается с дарением графини Иты, см. опись владений QSG, т. III, ч. 2) добавляются, в результате дарения и иных приобретений, чересполосные владения, разбросанные по значительной территории (см. карту владений аббатства, приложенную к «Acta Murensia»).

[2] См., например, проявление подобной тенденции в договоре об обмене десятинами между епископом Бриксена и патриархом Аквилеи («Acta Tirolensia» — «Urkundliche Quellen zur Geschichte Tirols», т. I, стр. 183); о той же тенденции говорят и условия последующей ответственности дарителя: он обязан возместить ущерб в том же графстве в ординарном размере; если же получаемые в возмещение владения лежат в другом графстве, то тогда размер их увеличивается вдвое.

[3] Речь идет здесь не только о наиболее элементарном пути создания чересполосицы, когда церковь получает мелкие дарения, лежащие в разных местах. Часто мы встречаемся и с другим явлением, имеющим для нас сейчас большое значение. Мы нередко сталкиваемся в источниках с исключением из даримого комплекса земель укрепленных пунктов и держаний министериалов. Следует предположить, что это не только создавало чересполосицу, но и сохраняло за дарителем полное фактическое господство над всей подаренной территорией (см. QSG, т. III, ч. I, стр. 21: монастырю в Шаффхаузене дарятся земли, расположенные «circa munitionem, que dicitur S., excepta eadem munitione»). Вновь основывая около 1112 г. аббатство Лаах, пфальцграф Зигфрид заявляет: «Quod primum quidem utpote juvenis neglexi postmodum vero penitentia ductus, quod neglexeram devotissime corrigere studui». В чем же заключалась его negligentia? «Itaque castellum ecclesie vicinum quieti fratrum prospiciens destraxi et bona ad ipsum prius pertinentia fratribus ibi Deo et b. Marie famulantibus tradidi». (MR UB, т. I, № 425, стр. 487—488). Условия дарения Шаффхаузенскому монастырю, 1092 г.: дарится «quicquid proprietatis habere Videor... hoc est terris, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumve decursibus, cultis et incultis, mancipiis, exceptis militaris vite personis». (QSC, т. III, ч. 1, стр. 31—34).

за собой постепенное развитие феодальной ренты, с одной стороны, и внешний рост церковного землевладения — с другой.[1] Эта сложность еще увеличится, если вспомнить, во-первых, о дроблении первоначального манса в результате роста сельского населения и других внутренних процессов, происходивших в системе земельных держаний и землепользования,[2] а во-вторых, о следствиях развития частной церкви в направлении дробления права собственности на церковь и ее доходы. Усложнение этих отношений означало усложнение всей системы управления и организации вотчинного хозяйства.

Феодальная эксплоатация крестьянства имеет своей основой факт личной внеэкономической зависимости крестьянина в самых различных ее формах, от крепости земле с полным лишением личной свободы до вечно наследственной аренды, до эмфитевзиса, с ничтожными ограничениями личной свободы в форме чинша. Это ее правовая основа. Практически феодальная эксплоатация предполагала постоянное принуждение зависимого населения к несению своих повинностей, ибо именно степень сопротивления крестьянства (или, другими словами, степень п р и н у ж д е н и я его феодалами) определяла уровень феодальной эксплоатации, уровень феодальных повинностей. С вышеуказанным усложнением отношений между церковной вотчиной и ее зависимым населением эта основная организационная задача класса феодальных землевладельцев усложнялась, в свою очередь, и разрешение ее приобретало тем самым все большее значение.[3]

Какими же собственными силами располагали церковные вотчины для разрешения этой задачи в данных условиях? Мы можем с уверенностью сказать, что вплоть до XII в. они, в особенности монастыри и аббатства, этими силами не располагали. Военные держания, которые позволяли им выполнять свои обязанности по отношению к империи

---

[1] Влияние последнего фактора ярко формулирует Прюмский экс-аббат Цезарий в своих примечаниях к описи владений аббатства: «Et notandum est quod possessiones Prumiensis ecclesie jacet in diversis provinciis, longe lateque et idcirco nemini mirum videatur, quod de singulis possessionibus feodismentio in hoc libro non fit» (MR UB, т. I, № 135, стр. 201). О том же говорит и Эбергардт Фульдский, заявляющий, что в случае какого-нибудь спора невозможно будет установить. что именно принадлежит Фульдскому аббатству и что — соседним церквам (D r o n k e. Traditiones Fuldenses, p. 139; цит. по H. H i r s c h. Указ. соч., стр. 22).

[2] E. P e r r i n. Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine, Paris, 1935, pp. 631 ss. Ср. очень интересное замечание составителя «Acta Murensia» (QSG, т. III, ч. 3, стр. 65) о причинах дробления манса. Дробление манса и связанное с ним разложение старой villa привело к нарушению известного равновесия, существовавшего между величиной барской запашки и размером отработок, как главной формы повинностей. В этом, очевидно, одна из причин необычайной сложности и многообразия повинностей феодального крестьянства в интересующий нас период.

[3] Интересно отметить, какую роль играл в глазах современников самый сбор чинша с держателей, чьи владения находились в отдалении от центрального барского двора: в зависимости от места уплаты чинша, размер его уменьшается на солидный процент — с 30 до 25 солидов (QSG, т. III, ч. 3. стр. 79).

(поскольку речь идет об имперской церкви), не были многочисленны; при том мы знаем, что церковь охотно освобождалась от этой чрезвычайно тягостной для нее повинности, даже ценой уступки значительной части своих владений. Но и там, где они имелись, эти держания не могли обеспечить церкви даже ее внешнюю безопасность, не говоря уже о задачах внутренних: помощь держателя военного бенефиция ограничивалась определенными случаями, причем «частные войны» прямо исключались; подобный держатель никак не был заинтересован в том, что происходило за пределами отданной ему в бенефиций территории, а думать о возможностях принуждения по отношению к нему со стороны церкви не приходится. Наконец, его помощь стоила церкви слишком дорого, чтобы пользоваться ею так часто, как это могло понадобиться по внутренним потребностям вотчины.[1] Поэтому не приходится удивляться, если мы находим в источниках свидетельства странного бессилия самых могущественных церковных организаций, вынужденных слишком часто полагаться на силу отлучения и молитвы.[2] Но очевидно, что если этих средств было недостаточно для охраны внешней безопасности, то тем более трудно было рассчитывать на них в тех целях, для которых они отнюдь и не предназначались даже по своей организации в повседневном быте вотчины, базировавшемся на постоянном принуждении крестьянства.[3]

В ком же могла церковь найти эту силу, столь необходимую для всего ее существования? Если дарители сохраняли права на подарен-

---

[1] Ср. хотя бы чрезвычайно большой размер минимального бенефиция за военную службу в Страсбургском епископстве: 10 гуф. (F. Kiener. Studien zur Verfassung des Territoriums der Bischöfe von Strassburg, Leipzig, 1912). Огромные расходы, требовавшиеся для содержания воина в походе, ясны из «Constitutio de expeditione Romane» («Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum», т. I, стр. 661—663, в дальн. цит. MG) — даже со всеми оговорками, вытекающими из специального назначения документа.

[2] «Bernoldi Chronicon» ad a. 1098 (MG Scriptores, т. V, стр. 465—466); столкновение богатого Шаффхаузенского монастыря с графом Адельбертом. Последний выстроил укрепление близ владений монастыря и стал предъявлять претензии на эти владения, «quaprоpter monachi cum crucibus et reliquiis et letaniis suppliciter ad eadem munitionem processerunt...», но печальный исход подобных методов борьбы с насилием ясен сам собой. Следует предположить, что эти методы были единственно доступными монастырю; когда через 20 лет он подвергся нападению Конрада, будущего герцога, то настоятель поспешил сдаться на полную милость напавшего, даже не попытавшись оказать сопротивление, «cognoscens, videns etiam, inermes et inbelles contra armatos et belliosos diu stare non posse», как сообщал он впоследствии римскому папе. (QSG, т. III, ч. I, № 57, стр. 93—94, 1120 г.). Конечно, это лишь взятый наудачу пример из истории отдельного монастыря, однако достаточно типичный. Так, в аббатстве св. Максимина — если доверять данным подложной грамоты — фогты получили в бенефиций 1 100 et amplius mansos за несение военной повинности за аббатство (MR UB, т. I, № 345, стр. 401—403).

[3] Фактическую слабость вотчинника по отношению к чиншевым держаниям в условиях уменьшения надела и роста чересполосицы констатирует Перрэн (E. Perrin. Op. cit., p. 651); не следует забывать, что предметом исследования Перрэна является именно церковная вотчина.

ную церкви землю, то в еще большей степени это относится к дотации церкви при ее основании. Совершенно справедливо теоретики церкви сделали из анализа прав основателя церкви вывод, что эту дотацию следует рассматривать не только как «доходное капиталовложение».[1] И теоретически и практически переданные церкви при дотации земли не теряли связи с остальными владениями основателя; они продолжали оставаться в пределах его вотчины, продолжали быть частью комплекса его владений. Мы неоднократно встречаем в источниках изучаемого нами периода прямые указания на неразграниченность владения основателя и церкви, на смешение, существующее между ними.[2] С полным правом можем мы распространить эти выводы и на дарения; достаточно сопоставить уже указанное сохранение прав дарителя с вышеприведенными оговорками при дарении, расселяющими среди подаренных земель министериалов и держателей дарителя,— и полученная нами картина по существу ничем не будет отличаться от положения, создаваемого дотацией при основании. Можно предположить, что и при дарении объект его не порывал связи с вотчиной дарителя, оставаясь в ее пределах.[3]

Ясно, что не могло быть лучшего орудия для выполнения тех задач, которые стояли перед церковной вотчиной и в особенности усложнились в обстановке перехода от отработочной формы феодальной земельной ренты к форме ренты продуктами, чем светский землевладелец, выступающий здесь в роли дарителя и основателя. В глазах не только зависимых держателей, но и церкви он сохранял в какой-то мере права,

[1] U. Stutz. Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechtes, 1895, S. 43; H. Hirsch. Op. cit., p. 47; R. Schröder. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 1919—1922, S. 535 (в применении к имперской церкви).

[2] QSG, т. III, ч. 3, стр. 32: аббат Хиршау Вильгельм и настоятель монастыря в Шаффхаузене обращаются к графу Вернхеру, владельцу Мури: «ut pro salute anime sue dimmitteret locum liberum ac rusticos et ministros suos separaret a cella. Nam quod modo est cella, adhuc erat vicus». Договор между настоятелем Шаффхаузенского монастыря и графом Адельбертом, фогтом монастыря: «Frequenter enim facte sunt contentiones et dissenssiones inter prelati monasterii et homines predictorum comitum pro quibusdam mancipiis, que vel de prediis illorum in possessiones monasterii migraverunt, vel de allodiis monasterii in illorum predia transierunt» (QSG, т. III, ч. I, № 33, стр. 57; ок. 1100—1105 гг.). Не приходится удивляться поэтому, если основатель аббатства, даря свои владения короне, включает в их число часть владений аббатства, а на выяснение прав аббатства требуется несколько десятков лет (MR UB, т. I, № 496, стр. 551—552, 1138 г.; Конрад III восстанавливает права аббатства Лаах на земли в Бендорфе).

[3] См. дарение графа Эбергарда аббатству Рейхенау (QSG, т. III, ч. I, № 4, стр. 8—10, 1056 г.): «Ad haec molendinum superaddidi, set et de hoc et de decimis supradictis servitium fratribus adhuc non statuimus, quod tamen dum, Deo volente, votum meo perfecero, statuere et confirmare non cesso. Desidero enim haec plenius in proximo augere, ut fratribus eiusdem monasterii in memoriam mei, sive me vivente sive post vitam, plenum exinde possint habere servitium». Таким образом, не только дарение остается в руках дарителя, но даже размер идущих с подаренной земли повинностей произвольно будет определяться дарителем.

свойственные собственнику. Его владения лежат рядом и среди владений церкви; в его распоряжении находится весь тот аппарат внеэкономического принуждения, который до сих пор, до передачи объекта дарения церкви, обеспечивал ему власть над даримой территорией и сидевшими на ней держателями. Можно предположить, что он прямо был заинтересован в «нормальной» эксплоатации зависимого населения не только потому, что он, очевидно, получал отсюда какие-то материальные выгоды (в форме прямого вознаграждения, части чинша и т. п.), но и потому, что это было ему необходимо, принимая во внимание факт расселения его собственных держателей рядом и среди переданных церкви. Вряд ли снижение уровня эксплоатации этих последних или удачные попытки их уклониться от исполнения феодальных повинностей могли бы остаться без влияния на собственных его держателей.

Можно сказать, что создание подобных отношений было прямо необходимо церкви [1] и выгодно светским землевладельцам. В этом причины того, что институт светских вотчинников, действующих на территории церкви ее именем, существовал в интересующий нас период во всех звеньях церковного землевладения. Этих светских носителей феодальной власти на территории церковных вотчин источники называют фогтами.

Таково основное положение, обосновать которое материалом источников является задачей последующего изложения.

Для этого мы попытаемся дать анализ сведений о правах и обязанностях фогта, о сфере его деятельности, о его суде, о получаемом им вознаграждении, о назначении и смещении фогтов. Мы надеемся показать, что основным содержанием власти фогта было осуществление внеэкономического принуждения по отношению к держателям церкви; в фогте, с нашей точки зрения, персонифицировался принудительный характер феодального вотчинного господства.

Само собой понятно, что не всякий даритель, как и не всякий собственник, был в состоянии осуществить эту власть. Мелкий даритель — крестьянин, нередко сам вступавший в отношение зависимости от церкви, вряд ли мог сохранить за собой фогтские права, хотя теоретически не исключена возможность того, что подаренный участок или его часть и здесь не отделялись от остальных владений дарителя, и этот последний лишь обязывался отдавать церкви весь доход или часть его с подаренной земли — тогда эти отношения принципиально ничем, кроме величины объекта их применения, не отличаются от отношений фогта к церкви; но во всяком случае следует предположить, что имелись и такие дарения, когда связь дарителя с об'ектом дарения полностью прерывалась. Точно так же и далеко не всякий собственник, будь то епископ, аббат или император, мог сам исполнять обязанности фогта. Но это уже вопрос силы, а не права. До XII в. фогтом назывался

[1] См. мотивировку в дарении, цитированном в предыдущем примечании.

только тот, кто мог реально обеспечивать выполнение обязанностей фогта. Если таковым оказывался основатель церкви или вообще ее владелец, то в таком случае право на владение частной церковью совпадало с фогтством. В противном случае фогтство и собственность на частную церковь находились в различных руках, и здесь опять-таки было вопросом силы, какие реальные отношения складывались между собственником и фогтом.[1] Бесспорно, тут могли быть и действительное подчинение, и полная самостоятельность. Но во всяком случае фогтство не может быть ни выведено из права частной церкви, ни объяснено им, ни отождествлено с ним. Точно так же вопросом силы было и сохранение фогтства над объектом дарения;[2] сильный оставлял фогтство за собой, слабый выбирал другого фогта или просто отказывался от всяких прав на подаренную землю: с точки зрения интересов церковной вотчины он сам нуждался в фогте.[3]

Отсюда нам станут понятны все те конкретные различия, с которыми мы столкнемся, анализируя институт фогтства. В зависимости от конкретных условий, источники по-разному будут обрисовывать нам реальное содержание понятия фогтства.

К этому нужно добавить еще два обстоятельства. Во-первых, термины «фогт», «фогтство» имели в средние века чрезвычайно широкий смысл. Защитник вообще, опекун, покровитель, представитель в суде—все эти значения могут встретиться нам в источниках. Попытки подвести какую-то общую базу под все это разнообразие вряд ли приведут к разъяснению вопроса: оказавшийся, по мнению Вааса, общий для всех этих значений германский «мунт», к сожалению, столь же разнообразен по своим проявлениям и столь же неясен по своему смыслу, как и термин «advocatus», для объяснения которого он привлекается. Но мы не ставим своей задачей ни исследование этимологии, ни создание типологических обобщений. Нас интересует прежде всего институт церков-

---

[1] С полным правом можем мы применить здесь рассуждение, которым Штутц объяснял отношения между владельцем частной церкви и епископом, чьи права охранялись церковными постановлениями: «Не приходится сомневаться в том, кто должен был пользоваться бо́льшим влиянием на причт частной церкви — епископ, который пытался воздействовать на него издалека духовными внушениями или угрозой церковных наказаний, либо же землевладелец, который раздавал духовенству хлеб, а в случае необходимости приучал его к послушанию плеткой» (U. Stutz. Op. cit., SS. 19—20). Но при таком реалистическом подходе к действительным отношениям, какой фикцией должно представляться «верховное фогтство» владельца частной церкви, в котором он и сам не отдавал себе отчета.

[2] Интересно отметить, что автор «De advocatus Altahensibus» (см. ниже стр. 113, прим. 3), желая выяснить историю фогтов аббатства, обращается, наряду с привилегиями, именно к записям земельных дарений: «Perspectis hinc inde privilegiis ecclesie et antiquis donationibus prediorum» (Cep. Scriptores в «Monumenta Germaniae Historica» (MG SS), B. XVII, S. 373). Следовательно, связь фогтства с дарением церкви была ясна современникам.

[3] Совершенно аналогичные отношения могли быть созданы между дарителем и церковью и без упоминания термина «фогт». Ср. приведенное выше дарение аббатству Рейхенау.

ного фогтства в своем обычном, реальном, безусловно основном проявлении; нас интересует средневековая вотчина, феодальная деревня; только соответствующими значениями термина мы и будем заниматься.

Во-вторых, следует указать на некоторые особенности источников данного вопроса. В течение ряда столетий мы не находим записей, которые показывали бы нам сколько-нибудь точно права и обязанности фогтов; данные капитуляриев и иммунитетных дипломов могут быть использованы лишь с очень большими оговорками. Следует, очевидно, предположить, по аналогии, скажем, с вотчинным правом, что в соответствующей фиксации не было настойчивой необходимости. Записи прав и обязанностей фогта появляются в XI в., с тем чтобы в XII в. сделаться едва ли не самым распространенным типом документа.[1] Но это было уже время, когда церковь,— а именно ей мы обязаны подавляющим большинством дошедших до нас документов,— постепенно начинала переходить к решительной борьбе с фогтством. Отсюда, как это убедительно показал Ваас, подход к документам, трактующим фогтство, в особенности с начала XII в., требует величайшей осторожности.[2] Следует напомнить также, что интерполяция и полная фальсификация грамот приняли в XII в. невиданный размах, и именно условия фогтства подделывались в первую очередь.[3] Поэтому не приходится удивляться, если наши доказательства нередко будут итти не прямым путем; в частности, умолчания и запрещения грамот нам придется широко использовать для реконструкции действительной картины.

Наконец, следует объяснить избранные для работы хронологические рамки. Мы начинаем, в основном, со второй половины X в. Бесспорно, более ранняя история фогтства должна представлять большой интерес; отсутствие ее изложения следует считать огромным пробелом. Однако по ряду причин внимательное рассмотрение ее на основании источников оказалось невозможным.[4]

---

[1] H. Hirsch. Op. cit., p. 57. Ср. его же. Hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter («Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte», Prag, 1922, S. 3). Постановление о фогте вытесняет около начала XII в. иммунитетную грамоту.

[2] A. Waas. Op. cit., т. 1, вступительная статья.

[3] Ваас считает, что ни в один период немецкой истории фальсификация документов не принимала таких широких размеров, как в первые десятилетия XII в. (там же, т. II, стр. 32; ср. также т. I, стр. 7). Достаточно напомнить хотя бы о фальсификаторской деятельности рейхенаусского монаха, охватившей целую сеть немецких монастырей в начале XII в. Эти выводы Вааса покоятся на результатах исследовательской работы таких авторитетов в области критики источников, как Бресслау, Зиккель, Лехнер, Допш, Хирш, Бракман.

[4] Единственно сохранившаяся от средних веков история фогтства отдельного аббатства — Нижнего Алтаиха под названием «De advocatis Altahensibus» опубликована Яффе в т. XVII серии Scriptores в «Monumenta Germaniae Historica». Автор этого единственного, к сожалению, очень краткого нарративного источника по истории фогтства, составленного в XIII в., отказывается определить время возникновения института: «non plene potuimus invenire, quis primum vel quos huic ecclesie constituerit advocatos» (MG SS, t. XVII, p. 373); традиция, сохранившая имена фогтов аббатства, начинается именно с X в.

Но если terminus a quo определяется в значительной степени привходящими обстоятельствами, то этого нельзя сказать о terminus ad quem. Середина XII в.— правление Фридриха Барбароссы — во многих отношениях переломный этап в истории средневековой Германии. Переход к денежной форме феодальной земельной ренты, развитие товарно-денежных отношений, рост городов как следствие отделения ремесла от сельского хозяйства — эти определяющие явления в экономической базе средневекового общества впервые достаточно ясно дали себя знать именно в этот период. На этой основе меняется структура средневековой вотчины, изменяются формы государственной организации (образование территорий), меняется и характер церковного фогтства. В дальнейшем мы попытаемся показать, как из основной формы существования принудительной власти вотчинника фогтство превращается в одно из многих сеньериальных прав, как происходит и чем обусловлен процесс освобождения церковного землевладения от светского фогтства, в каком отношении стоит фогтство к процессу территориализации. Сейчас мы ограничиваемся лишь констатированием того факта, что этот переход от старого фогтства к новому начинается, по нашему мнению, как раз в XII в., и во второй его половине достигает полного развития, с тем чтобы в основном завершиться в следующем, XIII в.

II

Прежде всего следует обратиться к вопросу о сфере деятельности фогта. Феодальная власть вотчинника складывалась из двух основных элементов: из власти над землей, основным средством производства в феодальную эпоху, и из господства над людьми — вотчинными держателями. Это и есть то разграничение, которое формальное частное право проводит между вещноправовой и личноправовой сторонами единой власти вотчинника. Понятно, что разграничение это могло существовать только в теории; лишь с этой оговоркой мы сможем им воспользоваться, исключительно в целях большей систематичности изложения.

Источники совершенно недвусмысленно указывают нам сферу деятельности фогта в области вещного права. «Когда какая-нибудь земля передается церкви, фогт должен ее принять под свое покровительство и защищать от всякого человека» [1]— такова первая из «многих причин», вызвавших, по мнению составителя «Истории Алтаихских фогтов», необходимость в фогтстве. Фогтство распространяется на землю, находящуюся в держании; [2] в более общих выражениях речь идет о владениях церкви вообще, [1] о доходах с них. [2] В подлинных и

---

[1] «Cum enim aliquod predium ecclesie deligatur, illum in suum debet patrocinium suscipere advocatus, et ab omne homine defendere...» («De advocatis Altahensibus», MG SS, t. XVII, p. 373).

[2] «...de advocatia Ditlichoven que super rura tributaria in curtim Illnau pertinet... (QSG, т. III, ч. 1, № 63, стр. 107—108, 1124 г.); ср. E. Perrin. Op. cit., p. 213, п. 3, где уплата вознаграждения фогту связана с землей, находящейся в чиншевом держании и резко отграниченной от alodio (конец X в., Вормсская гау).

подложных грамотах, в частных и королевских дипломах и папских буллах основная обязанность фогта определяется как защита церковного имущества.[3] По рассказу биографа трирского архиепископа Альберона, фогт этого архиепископа так и понимал разграничение обязанностей между ним и главой диоцеза: «Он говорил, что епископу надлежит служить мессу, рукополагать клириков и освящать церкви, к его же (фогта) правам относится: управлять землями, распоряжаться всем в епископстве и руководить военной силой».[4] В этой части деятельности фогта следует видеть объяснение чрезвычайно частого его упоминания в документах, касающихся всяких форм передачи имущества. «Никакой обмен или отчуждение церковных имуществ не могут быть действительными, если согласие братии и законная передача аббатом, утвержденная фогтом, не будут подтверждены свидетелями», заявляет аббат Стабло, кассируя не отвечающие этим требованиям договоры.[5] Участие фогта в дарении, обмене, продаже или пожалова-

[1] Грамота Генриха Льва: «Advocatus autem curie et redituum ac mancipiorum nostrorum eos (рансгофенских уставных каноников.— *В. В.*) vice nostra cum mancipiis et possessionibus suis defendere et tueri debet...» («UB des Landes ob der Enns», t. II, № 191, p. 286, цит. по G. Tellenbach. Op. cit., p. 127, n. 104). Дарение графа Намюрского, 1121 г.: «...advocationem vero totius possessionis et familie nobis retinuimus», цит. по Ficker. Über das Eigentum des Reichskirchenguts — Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der wiener Academie, Bd. 72, 1872, S. 65; MR UB, t. I, № 255, pp. 311—313; «Signum Regeneri rerum s. Marie advocati. Signum Sigefridi comitis et rerum s. Maximini advocati», MR UB, t. I, № 386, p. 443, a. 1092: «cum advocato... ipsius boni Gerlach».

[2] Дарение графини Клементин церкви св. Петра, 1129 г.: устанавливается наследственное фогтство «hac lege ut fratres... cum suis redditibus et familia ab omni iniuria tulatur». (MR UB, t. I, № 465-b, pp. 524—525; Ibidem, № 512, p. 568). Ср. предыдущее примечание, грамота Генриха Льва. Свод прав министериалов архиепископа Кельнского, сер. XII в. (F. Frensdorff. Op. cit., cap. 4): фогт остается в Кельне во время отсутствия архиепископа «ut reditus curtium episcopalium colligat et conservet».

[3] Подложная грамота Генриха II аббатству св. Максимина: жалуется право свободного выбора фогта «ut res monasterii melius defendere et adinuare ualeat» (MR UB, t. I, № 300, pp. 349—351). Архиепископ Майнцский жалует братии монастыря Равенгирсбург право «bonis suis advocatum... eligere» (MR UB, t. I, № 374, pp. 431—432, a. 1074). Фогт избирается братией с условием: «si bona ecclesiae viriliter tueri et familiam eius clementer et humane tractare voluerit». (1112 г., L. Leclère, Op. cit., p. 23, n. 2). По договору с епископом Минденским, возобновленному в 1071—1080 гг., его фогт, герцог Саксонский, обязывался быть «fidelissimus tutor et defensor... in omnibus quidem rebus et bonis....» (B. Frie. Entwicklung der Landeshoheit der Mindener Bischöfe, Heft 18, Neue Folge von Münst, Münster, 1909).

[4] «Ad episcopum autem dicebat pertinere missas et ordinationes clericorum et consecrationes ecclesiarum celebrare, sui vero juris dicebat esse terram regere omniaque in episcopatu disponere et militiam tenere» («Gesta Alberonis», MG SS, t. VIII, p. 250). Ср. отзвук аналогичной мысли о разделении функций между аббатом и фогтом в QSG, т. III, ч. 3, стр. 39.

[5] «Nulla commutatio aut alienatio rerum ecclesiasticarum rata esset, nisi quam consensus fratrum et legitima abbatis donatio cum advocati adstipulatione dato testamento confirmaret...» (W. Günther. Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus. t. I, № 105, p. 213, a. 1132).

нии в лен церковного имущества объявляется необходимым для законности и прочности сделки.[1] Впоследствии на участие фогта при совершении сделки ссылаются с целью защиты от всевозможных претензий.[2] Устанавливается специальный взнос фогту за совершенный обмен или продажу:[3] в случае споров и столкновений именно фогт выясняет вопрос о принадлежности спорного участка.[4]

Обычно сделка производится настоятелем церкви «in presentione advocati», «coram advocato» или «per manu» фогта.[5] Однако возможны различные, нередко чрезвычайно показательные отклонения от этой обычной формулировки. Так, замену фогта или его действия, с разрешения или по приказанию настоятеля,[6] действием «с утверждения», «с одобрения», «властью» фогта[7] следует, очевидно, рассматривать уже как некоторое усиление роли фогта в заключении сделки. Но

---

[1] Дотация монастыря Шпрингирсбах архиепископом Трирским 1107 г.: «Ut autem traditio... secundum leges seculares et ecclesiasticas rata semper esset et inconvulsa... tradidit eandem cellam... per manum sepedicti palatini comitis...» (MR UB, t. I, № 415, pp. 475—477). Грамота архиепископа Майнцского Генриха, 1143 г.: Que traditio ut... rata et inconvulsa permaneat... per manum comitis Simsonis advocati... corroboravimus... (Ph. Jaffé. Bibliotheca rerum germanicarum, t. III. «Monumenta Moguntina», Berlin, 1866, «Acta Moguntina», № 24, pp. 27—28).

Возможно, что на бо́льшую силу произведенного фогтом акта указывает косвенно и ст. 21 свода вотчинного права епископа Бурхарда Вормсского («MG Constitutiones», t. I, pp. 640 sq.): «...neque cum advocato neque sine advocato... dare non liceat».

[2] QSG, т. III, ч. 3, стр. 94: «Nos... mutuavimus illud cum servis sancti Leodogarii. Unde nemo perturbetur, nec aliquam contradictionem excogitet, quia legaliter et justa factum est ita, ut advocatus illius ecclesie, comes Wernherus, huc illorum traderit et contra noster advocatus Adelbertus istud illuc tribueret». Ср. MR UB, t. I, № 462, p. 521, a. 1128.

[3] Опись владений и аббатства Горз в Вормской гау (конец X в.): «Si quis vendiderit aut cambiaverit jugerum de terra que dicitur Zimsta, dabit inde ad curtem XII den. et advocato sex. (цит. по E. Perrin. Op. cit., p. 213, n. 3). «Siautem facienda erit commutatio aliqua aut prediorum aut mancipiorum solidus detur advocato». (L. Schücking. Das Gericht des westfälichen Kirchenvogts 900—1200—«Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertums-Kunde», 55, I, 1897, S. 10).

[4] О подобных действиях фогта рассказывает нам, например, жизнеописание Беннона Оснабрюкского («Vita Bennonis», MG SS. t. XII; 1090—1110) клирика Норберта (см. A. Dopsch. Freie Marken in Deutschland, 1933, S. 57). Фогт участвует в определении границ отдельных владений аббатства. («Codex Laureshamensis», herausgegeben von K. Glöckner, Darmstadt, 1929, I, Chronik 134, pp. 407—408).

[5] Эта форма настолько обычна, что примеры представляются нам излишними (ср. свод аналогичных формул у K. Lamprecht. Указ. соч., т. I, ч. 2, стр. 1071, прим. 1 и 2). Несколько более полное, чем обыкновенно, описание самого акта дарения и обратного получения в пользование, происходящего с участием фогта, дает грамота архиепископа Адельберга Майнцского от 7 июля 1128 г. («Acta Moguntina», № 13, pp. 14—16).

[6] «Acta Tirolensia», t. I, № 121; фогт производит дарение «iussu peticioneque eiusdem ecclesie antistis».

[7] Обмен архиепископа Трирского с графом Вальрамом, 1052 г.: «...dedimus cum legitima advocati nostri astipulatione (MR UB, t. I, № 338, p. 393—394). Подтвер-

особенно интересны случаи самостоятельных действий фогта в отношении владений церкви. Эту самостоятельность, пожалуй, можно усмотреть уже в действии фогта не по поручению, а лишь с согласия настоятеля.[1] Однако самостоятельность фогта приобретает и более ясные очертания: мы видим, что он может действовать и без какого бы то ни было участия настоятеля. Фогт Бриксенской церкви Арнульф принимает дарение от некоего Генриха и дает ему в обмен другую землю; в руки фогта передается инвеститура на подаренные 5 мансов; в случае какого-либо ущерба, даритель обязуется возместить его фогту — и никакого упоминания о епископе мы во всей этой обширной записи не находим.[2]

Заключая договор об обмене между Шаффхаузенским монастырем и Бамбергским епископством, их фогты оговаривают участие в нем своих наследников, но отнюдь не разрешение или согласие церкви, от имени которой действуют;[3] подтверждая через 72 года этот акт, епископ Бамбергский также называет в качестве его участников только фогтов.[4]

Очевидно, фогт пользовался какими-то правами на распоряжение владениями церкви, независимо от поручения настоятеля. К этому заключению можно притти не только на основании постоянно встречающихся в источниках запрещений самовольно распоряжаться церковным имуществом, адресованных фогту,[5] хотя ясно, что подобные

ждение дарений, сделанных монастырю св. Марии, производится per auctoritatem prefati episcopi et advocati... («Urkunden zur Schweizer Geschichte», t. X, pp. 7—8; a. 1131). Имущество возвращается наследникам per consensum advocati (MR UB, t. I, № 483, pp. 538—540). См. также K. Lamprecht. Указ. соч. т. I, ч. 2, стр. 1073, прим. 5, 6 и 8; ср. там же, стр. 1074, прим. I.

[1] QSG, т. III, ч. I, № 9, стр. 23, 1083 г.: «...Comes Burchardus... monasterii sancti: Salvatoris advocatus... viro T... cum consensu domini Sigefridi abbatis predium... contradidit».

[2] «Acta Tirolensia», t. I, № 163 (1050—ок. 1065): «Heinrich... predium... in manus advocati Arnolfi... tradidit». Обмен: «...aliud predium de manu sepe calkulati advocati in concambiationem receperunt». Инвеститура: «...vestituram in manus prescripti advocati... tradidit». Условие: «Si quemquam predia... aecclesiae Brixinensi sive advocato prefato subtrahere aut irrita facere delectet... advocato restituat». Ср. анал. записи ibid., № 179 b, 275 b; QSG, т. III, ч. I, № 16, стр. 35—36, 27 декабря 1093 г., дарение принимает фогт; MR UB, t. I, № 471, стр. 529, 1131 г.: обмен между аббатством Герсфельд и церковью св. Серватия, причем от имени последней действует только фогт.

[3] QSG, т. III, ч. 1, № 3, стр. 6, 1050 г.: «Comes Eberhardus quosdam agros... ad episcopium Babinbergense pertinentes, a Bertholdo Carintorum duce, qui advocatus super easdem res fuerat, justo concambio mutaverit ac scripto cyrographo in testimonium inter ambarum heredes perpetuo firmaverit».

[4] Там же, № 62, стр. 106, 11 ноября 1122 г.

[5] Императорский диплом см., например, QSG, т. III, ч. 1, № 39, стр. 79—82, 4 сентября 1111 г., St. 3074 (подлинность сомнительна); папская грамота см., например, MUB, t. I, № 266, p. 336—337, a. 1105; архиепископская грамота см., например, QSG, т. III, ч. 1, № 60, стр. 100—102, 1122 г. Ср. A. Baas, Указ. соч., т. I, стр. 60. Трудно согласиться с отнесением Ваасом грамоты архиепископа Трирского Эбергарда

запрещения вряд ли имели смысл, если бы им не противостояла достаточно прочная практика; уже частота этих запрещений подтверждает правильность такого предположения. Но у нас имеются и прямые на то указания. Около 1083 г. графиня Рихильда продала аббату св. Губерта в Шевиньи свой аллод. Несмотря на то, что аллод этот был символическим актом передан епископу Льежскому, аббату и фогту, инвеституру на него аббат, после уплаты денег, получил уже из рук фогта.[1] В аббатстве Мури около 1060 г. церковь получила от фогта «все земли, которые аббат Рагинбольд купил или приобрел, а также те, которые составились в результате дарений других лиц»;[2] следовательно, всеми ими распоряжался именно фогт. Сам аббат и братия отдавали в его распоряжение владения церкви, когда коммендировали их фогту.[3]

Наконец, вопреки всяким запрещениям,[4] фогты бесспорно пользовались de jure или de facto правом отдавать земли церкви в бенефиций. Пример Герсфельдского аббатства заставляет нас думать, что здесь речь идет не об узурпации.[5] К тому же не следует забывать, что запрет фогту раздавать церковные земли в бенефиций отнюдь не был безусловным. Нередко грамоты лишь ограничивают действия фогта согласием настоятеля и братии или «общим благом» церкви. Как известно, формулированные точно таким же образом аналогичные запрещения, адресованные епископом и аббатом,[6] отнюдь не помешали широкой раздаче церковных земель в бенефиций.

(MR UB, t. I, № 355, pp. 412—413) к числу направленных на ограничение права фогта распоряжаться имуществом церкви.

[1] MG SS, t. VIII, Chronica Sancti Huberti, p. 64.

[2] QSG, т. III, ч. 3, стр. 27: «...Manifestata et collata ac confirmata et data sunt a Wernhario comite super altare sancti Martini omnia predia, que dominus Reginboldus huc emit aut acquisivit sive que ex aliorum donationibus collata sunt...»

[3] Ibid., p. 35: «...elegerunt sibi esse advocatum... Liutolfum... hi commendaveruntque illi locum et omnia ad illum pertinentia». Ср. A. Baas. Указ. соч., т. I, стр. 71; там же и другие примеры.

[4] Запрещение под предлогом использования прав фогта отдавать в бенефиции владения церкви см., например, в грамоте римского папы монастырю Прюфенинг от 22 октября 1136 г., приведенной у Бракманна. (A. Brackmann. Kurie und Salzburger Kirchenprovinz, Berlin, 1912, S. 61, Anm. 2).

[5] После смерти фогта Герсфельдского аббатства Генриха Распе возник спор между аббатом и наследником Генриха: кому должны принадлежать его владения? В 1082 г. император Генрих IV вынес постановление: аббат должен отдать брату умершего «omnia illa beneficia que ab ipso comite Heinrico alii inbeneficiati possederunt». Ясно, что здесь не может быть речи о бенефициях из собственных владений Генриха: тогда подобный спор был бы невозможен. С удивлением приходится констатировать, что Телленбах (указ. соч., стр. 133, см. также сочувственно цитирующего ее E. F. Otto. Die Entwicklung der deutschen Kirchenvogtei im X Jh., Berlin, 1933, S. 6) не обнаружила у фогта наличия права на отчуждение церковных имуществ. Очевидно, автор был здесь слишком связан необходимостью доказать мысль об отсутствии у фогта основных прав владельца частной церкви. То же самое произошло с ним и в вопросе о праве фогта участвовать в смещении настоятеля церкви.

[6] Приведем в качестве одного лишь примера грамоту архиепископа Трирского от

Итак, в сфере вещного права фогт имел значительную власть над земельными владениями церковной вотчины. Принимая обычно участие в том акте, который передавал церкви права на землю, фогт тем самым как бы брал ее под свое покровительство,[1] получал власть над нею. Связь его с ней была весьма прочна, ибо в дальнейшем он не только обязывался защищать ее, но даже нес материальную ответственность за возможный ущерб.[2] При тех специфических формах феодальной земельной собственности раннего средневековья, которые современники называли «possessio», «proprietas», «investitura»[3] и которые далеки от наших, выработанных под сильным влиянием римского права понятий владения, собственности или держания, нам не пред-

22 мая 1122 г.: «...ne vel abbasvel advocatus aliquid prenominati cenobii predium abalienando cuiquam presumat dare, vendere aut in beneficium concedere (QSG, т. III, ч. 1, № 60, стр. 100—102).

[1] По делам, связанным с церковным владением, судебный поединок должен был проводиться фогтами («MG Constitutiones», t. I, p. 29, Capitulare Veronense de duello judiciali, a. 967, cap. 1 et 2). Несколько примеров защиты владений из нашего материала источников: граф Эбергард Нелленбургский, задумав постройку монастыря в Шаффхаузене, взял для нее камни и песок с земли, принадлежавшей Бамбергскому епископству; это вызвало вмешательство его фогта, герцога Бертольда; только убедившись, что нарушение не было злостным, он согласился на обмен. Жалобу на нарушение границ владений монастыря приносит императору монастырский фогт (диплом Генриха V монастырю Эйнзидельн 10 марта 1114 г.). (H. Wopfner. Urkunden zur deutschen Agrargeschichte, 1928, № 77, SS. 114—115). Очевидно, поэтому и восстановленное имущество возвращается узурпатором in manum императора, аббата и фогта (хотя, как правило, в императорских грамотах фогт не участвует). См. также MR UB, т. I, № 403, pp. 459—460, диплом Генриха Прюмскому аббатству 3 августа 1101 г.

[2] Постановление Генриха IV о правах фогтов Прюмского аббатства (ca 1103): «Ubicumque res ecclesie agri videlicet ac vinee sive decimationes. terra culta et inculta. infra advocatiam suam invase fuerint. aut iuri ecclesie retineat. aut de suo restituat» (MR UB, t. I, № 406, pp. 403—405). Дарение аббатству св. Максимина: в случае предъявления впоследствии каких-либо претензий, дарительница обязуется возместить ущерб, или же,— заявляет аббат,— «advocatus noster. quia hec omnia gessimus eius consilio et instinctu. si negligens exactor exstiterit prefate tradicionis vel retribucionis, ne advocatie negligentia feriuntur. detrimentum monasterii de suo componat» (MR UB, t. I, № 273, pp. 328—329, a. 996).

Обмен между фогтом Фрейзингенской церкви и епископом Регенсбургским: «si quis hoc concambium disrumpere et interdicere voluerit, ipse advocatus Udalschalk vel alius advocatus in loco ipsius positus legaliter et potestative stabiliat» (H. Starflinger. Op. cit., p. 16, n. 2).

[3] На несоответствие терминов proprietas, hereditas и т. д., в нашем их понимании, реальным правам церкви на свои владения указывал уже Фиккер; см. также M. Stimming. Das deutsche Königsgut in IX und XII Jahrhundert — «Historische Studien», hrsg. von E. Eberling, Heft 149, Berlin, 1927, SS. 9 ff. Любопытные данные по этому чрезвычайно существенному вопросу можно извлечь и из использованного нами бриксенского картулярия; однако сейчас мы не имеем возможности останавливаться на этом. Следует лишь отметить, что понимание proprietas как верховной собственности и possessio как владения не подтверждается нашими источниками. Немецкий термин «Gewere», которым пытаются передать в особенности понятие «investitura», остается, к сожалению, не менее смутным и неопределенным, чем латинский термин, объяснению которого он должен был послужить.

ставляется необходимым подвести отношения фогта к земельным владениям церкви под одно из этих понятий. Нам важно установить, что по существу, по своим реальным проявлениям власть фогта над церковной землей имела все характерные признаки власти ее господина, ее собственника. Дальше было уже вопросом силы, какие отношения сложатся между фогтом и церковью. Фогт мог оказаться сильнее, и тогда он становился подлинным собственником церкви. Он мог оказаться слабее — и превратиться в должностное лицо, в агента церкви (так чаще всего было в епископствах). Наконец, не исключена была и третья возможность: раздел власти и владений; в XII в. можно встретить и эту своеобразную форму. Во всяком случае здесь мы должны руководствоваться указанием Фиккера, сделанным им еще в то время, когда наука, не задумываясь, предпочитала выяснение реальных отношений, как бы сложны они ни были, верности отвлеченным юридическим схемам, какими бы логичными и привлекательными ни представлялись они изощренному уму юриста. Средневековым взглядам, указывал Фиккер,[1] отнюдь не могло противоречить даже полное отсутствие четко выраженного понятия собственности (в данном случае — на церковь); важно установить, имели ли место обычно связанные с этим понятием повинности. Пользуясь этим методом, Фиккер дал блестящий анализ отношениям, существовавшим между епископствами и королевской властью в Германии. Ссылаясь на авторитет Фиккера, мы можем с полной уверенностью настаивать на наличии всех основных признаков отношений собственности между фогтом и церковными владениями (но не церковью), хотя и решительно возражаем против выведения этих отношений из понимаемого абстрактно-юридически права частной церкви.

В дальнейшем нам придется еще вспоминать об этом указании Фиккера, в особенности когда мы перейдем к рассмотрению повинностей, которыми церковь и ее держатели обязывались фогту.

Принимая владения церкви «в свои руки», защищая их, распоряжаясь ими, неся за их сохранность материальную ответственность, фогт, таким образом, отправлял едва ли не всю полноту власти над ними. В условиях чересполосного смешения владений церкви и личных владений фогта[2] не приходится удивляться, если четкое различение между ними не всегда можно установить не только практически, но и теоретически. «Кажется, что аббатство — не дар короля или империи, а скорее собственная рабыня его фогтов», жалуется составитель под-

[1] Ficker. Op. cit., p. 106.

[2] Примеры см. выше — стр. 110, прим. 2. О подобном смешении должно, очевидно, свидетельствовать и подчеркивание в подложной булле Льва IX (Jaffé, L. 4252), епископу Тульскому того обстоятельства, что бенефиций фогта отделен от земель, доходы с которых идут на содержание причта: «...beneficium divisium a prebenda fratrum...» (цит. по E. Perrin. Op. cit., p. 281, n. 2).

ложной грамоты аббатства св. Максимина Трирского.[1] Вслед за ним ряд исследователей фогтства объявил злейшим преступлением фогтства обычай фогтов рассматривать владения церкви как часть собственных владений.[2] Следует ли, однако, видеть в этом только отрицательные стороны? Весь смысл фогтства для церкви в том и заключался, чтобы фогт осуществлял внешнюю защиту ее владений и, главное, внутреннее управление ими так, как если бы это были его собственные владения; только тогда институт фогтства мог принести церкви ожидаемые ею плоды. По существу, только к XII в. церковь начинает борьбу против подобной тенденции фогтов, постепенно высвобождая из-под его власти отдельные части своей территории.

III

Обратимся к тем элементам деятельности фогта, которые мы условились называть личноправовыми. На какие слои населения церковных владений распространяется власть фогта? Какой характер имеет эта власть? Таковы те вопросы, на которые нам предстоит сейчас ответить.

В той же мере, в какой источники, определяя сферу деятельности фогта в области вещного права, говорят почти исключительно о владениях церкви, о ее землях и имуществе, но не о самой церкви и наиболее драгоценном ее содержимом — реликвиях, точно так же, определяя обязанности фогта в области права личного, они редко включают в формулу причт церкви. В подложной грамоте аббатства св. Максимина мы видим эту формулу в ее обычном виде: «...освобождаем... familiam...[3] от тягот и притеснений, кои испытывала она от фогтов».[4] Фогт церкви называется «фогтом епископа и familiae».[5]

---

[1] MR UB, t. I, № 345, pp. 401—402: «...ita potius in servitutem advocatorum est omnimodis redacta. ut non quasi regalis sive regis dotis eadem abbatia. sed ut propria magis eorundem advocatorum esse videatur ancilla».

[2] Так, среди многих других: L. Leclère. Op. cit., p. 10; Barth. Das bischöfliche Beamtentum im Mittelalter vornehmlich in der Diocese Halberstadt, Hildesheim, Magdeburg und Merseburg, Diss.— Gött., 1901, S. 16; Ch. Pergameni. L'avouerie ecclésiastique en Lotharingie. Abus et remèdes («Ann. de la soc. d'arch. de Bruxelles, t. 20, 1906); L'avouerie ecclésiastique belge des origines à la période bourguigonne. Gand, 1907, p. 400.

[3] О содержании понятия «familia», которому мы затрудняемся найти в русском языке адэкватное выражение, см. интересную, но несколько поверхностную работу: Berlière. Les origines de la congregatio de Bursfeld, R. Bénédict, 1899, особ. стр. 3.

[4] MR UB, t. I, № 214, p. 273; «familiam... a miseriis et oppressionibus quas ab advocatis patiebantur, absolveremus». Ср. MR UB, t. I, № 345, pp. 401—403, подложная грамота нач. XII в. аббатству св. Максимина: аббат жалуется императору «de multis oppressionibus quas familia S. Maximini patitur ab advocatis». Th. J. Lacomblet. Niederrheinisches Urkundenbuch, B. I, S. 365; 1149 г. (цит. по K. Lamprecht). Op. cit., p. 1120, n. 1. Codex Laureshamensis, Chronik 134b, pp. 403—404; аббат Ансельм освобождает от притеснений фогтов familiam cum rebus ecclesie; ср. ibid., Chr. 134, p. 408: «Familiam... ecclesie... manutenere et defendere».

[5] «Acta Tirolensia», t. I, p. 446: «Advocatus episcopi et familiae». Ср. выше, стр. 115, прим. 1, грамоту графа Намюрского.

В другой подложной грамоте аббатства св. Максимина составитель объясняет нам, в каких кругах населения вотчины следует искать права фогта: при выяснении их опросом выделенных для того лиц ставится цель узнать, «каким законам или правам... подчинялись слуги или familia этой церкви»; [1] следовательно, именно на них и распространяется власть фогтов. [2] В более общих выражениях нередко говорится о «крестьянах», «землевладельцах» как о тех слоях вотчинного населения, которые больше всего страдают от притеснений со стороны фогта. [3]

Не всякий житель церковной территории,— даже независимо от тех ограничений, которым со второй половины XI в. систематически подвергалась власть фогта,— подлежал этой власти. [4] Яснее всего это выступает в той области, где социальные, сословные различия подвергались наиболее тщательной фиксации,— в области судебной. Фогт вершит суд прежде всего над зависимыми держателями монастыря, над familia; об этом недвусмысленно свидетельствуют иммунитетные дипломы. [5] В особенности часто именно такое словоупотребление, когда

---

[1] «...quibus legibus vll juri... servientes aut familia loci illius subiaceret» (MR UB, t. I, № 345, pp. 401—402).

[2] Фогту уплачивается специальный взнос при совершении обмена, объектом которого являются mancipia (L. Schücking. Op. cit., p. 10). О деятельности фогта, показывающей нам его власть над несвободным населением вотчины, см. следующую главу. На возможность для фогта распоряжаться правовым статусом familiae указывает косвенно свод вотчинного права епископа Бурхарда Вормсского. («MG Constitutiones», t. I, pp. 640 sq).

[3] Так, например, у Теодерика, схоласта Эхтернахского аббатства: «pauperes cultores» (цит. по C. Wampach. Op. cit., p. 264, n. 3. Ср. ниже, стр. 123, прим. 1).

[4] Ср. ниже, стр. 124, прим. 2.

[5] Один из многочисленных примеров: MG DD, I, № 11, p. 98, привилегия Оттона I Гамбургско-Бременской церкви от 30 июня 937 г.: «concedimus... ut nullus iudex publicus vel quaelibet iudiciaria potestas aliquam sibi vindicet potestatem in supradictorum hominibus monasteriorum litis videlicet et colonis... nisi advocatus archiepiscopi». Еще выразительнее и яснее диплом Оттона I Трирской церкви от 27 января 947 г.: «ut advocatum s. Treverice ecclesie aut in privatis aut publicis negotiis iusticiam de familia reddat vel exigat». (MR UB, t. I, № 185, p. 247). Этому вопросу посвящен ряд страниц второй главы у Зелигера (G. Seeliger. Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelalter, 1903), дающего достаточно большой материал королевских и императорских дипломов. Едва ли не наиболее полную сводку материала грамот о подсудности фогту населения вотчины (впрочем, для ограниченной области) находим у Ратгена (G. Rathgen. Untersuchungen über die eigenkirchenrechtl. Elemente der Kloster- und Stiftsvogtei vornemlich nach thüring. Urkunden bis zum Beginn des 13 Jh., 1928, SS. 81 ff.). Автор приходит (в основном) к тем же, что и мы, выводам. К выводу о наличии неограниченной юрисдикции фогта над несвободными приходит на локальном материале Прюмского аббатства и Вольтман (H. Wohltmann. Die Entstehung und Entwicklung der Landshoheit des Abtes von Prüm, Leipzig, 1910, S. 376). Распространение юрисдикции фогта на familia церкви отрицает из известных нам авторов только Леклэр (L. Leclère. Op. cit., p. 39), явно введенный в заблуждение теми ограничениями позднего времени (с конца XI в.), которые имели целью вытеснение фогта из области низшей юрисдикции.

используется термин familia в собирательном смысле;[1] встречаемся мы, однако, и с другими терминами, так или иначе относящими подсудных фогту лиц к зависимому населению вотчины.[2] Постановление Генриха IV о правах прюмских фогтов прямо ставит подсудность фогту в зависимость от личной несвободы; фогт судит «тех, кто приравнен по своему праву к пастухам, и тех, кто платит подушный чинш».[3] В отношении чиншевиков не менее ясно видим мы эту зависимость в подложной грамоте аббатства св. Максимина, составленной от имени Оттона II; в ней идет речь об освобождении от подчинения фогту некоего юноши — цензуала аббатства; так как родители, подарившие его аббатству на чиншевом праве,— свободные люди и потомки свободных, то очевидно, что только его зависимость от аббатства как цензуала могла создать подчинение фогту.[4]

Таким образом, можно сказать, что личная зависимость означала подсудность фогту. Но данные источников позволяют нам поставить этот вопрос и с другой стороны: подчинение фогту означало известную личную зависимость. Только такой вывод можно сделать из грамоты XI в., ставящей условием особо привилегированного положения, чтобы занимающее его лицо «не платило бы подушного чинша и не было бы обязано повинностями суду какого-либо фогта».[5] Богатый, свободный

---

[1] Чтобы не ограничиваться документами, вышедшими из королевской канцелярии, укажем на одну из подложных грамот аббатства св. Максимина Трирского (MR UB, t. I, № 214, p. 273): «..quicquid advocatus in familia... placitando adquisierit...» Папскую привилегию, подтверждающую судебные права фогта над familia Герсфельдского аббатства, см. «Acta Moguntina», p. 12, a. 1126.

[2] Так, в подтверждении Генрихом V привилегий аббатства св. Максимина (MR UB, t. I, № 434, pp. 495—497, a. 1116) речь идет о rustici; в Льежской грамоте 1072 г. (L. Leclère. Op. cit., p. 35, n. 1) фогт получает судебные сборы de luit... et de burinei; Генрих IV в грамоте аббатству Хиршау жалует фогту «consuetudinariam justitiam et legem, quam ceteri advocati in aliis liberis monasteriis habent super... sensuales...» («Wirtembergisches Urkundenbuch», hrsg. von dem Staatarchiv in Stuttgardt, B. I, № 233, SS. 276—280). Рабыня с детьми дарятся аббатству св. Максимина на чиншевом праве, с тем чтобы «sub mundiburdio et defensione sint advocati st. Maximini sicut ceteri homines de Everlinge». (MR UB, t. II, № 34, pp. 18—19, a. 1000).

[3] «Quisquis huiusmodi iuris est ut ad bubulcum iure possit constringi et qui censum de capite suo persolvit... ad curtim propriam constringat». (MR UB, t. I, № 406, pp. 463—465, ca 1103).

[4] MR UB, t. I, № 216, p. 275; о подложности см. ibid., t. II, p. 623, № 246.

[5] «...legem legitimorum servientium, qui neque censum capitis solvunt neque placitum alicuius advocati servant» (Th. J. Lacomblet. Op. cit., t. I, p. 157, a. 1020; цит. по H. Aubin. Die Entstehung der Landeshoheit nach niederrheinischen Quellen. Studien über Grafschaft, Immunität und Vogtei — «Historische Studien», Heft 143, Berlin, 1920, S. 96, Anm. 313). Ср. E. Perrin. Op. cit., pp. 151—152, особ. стр. 151, прим. 3. Нам кажется, что здесь речь идет скорее о тенденции, чем о действительном изъятии чиншевиков из подчинения фогту; возможно, что в материале Перрэна под «относящимися к алтарю» подразумевается лишь наиболее привилегированная часть чиншевиков, чья личная свобода фактически не подвергалась никаким ограничениям. То же самое следует усмотреть и в передаче некоей Удой себя и своих потомков аббатству св. Максимина; дарительница, устанавливая ежегодный чинш в 1 денарий, заявляет: «ut libera... ab omnia alio advocato permaneamus censu tali

человек, «знатный», свободен от подчинения фогту и может сохранить это свободное состояние своих владений и тогда, когда передает их церкви.[1] Точно так же освобождаются от власти фогта клирики с их имуществом.[2] Подчинение фогту ставится в один ряд с отношениями servitutis,[3] точно так же, как отсутствие подчинения фогту означает «свободу».[4]

Итак, отношения вотчинного населения к фогту — это отношения зависимых держателей к своему господину; сущность этих отношений, по меньшей мере в основных чертах, аналогична отношениям между вотчинником и зависимым крестьянством.[5] Держатели находятся во власти фогта;[6] эта власть еще усиливается в результате того, что держатель церковной земли в то же время может держать землю и от фогта;[7] это оказывалось возможным в условиях того смешения владений церкви и фогта, о которых мы говорили выше.[8] Власть фогта над

---

soluto... preter ipsum altare...» (MR UB, t. I, № 379, p. 437, ca 1084); очевидно, и здесь речь идет о чинше pro recognitione.

[1] Опись владений церкви св. Кастора в Кардене, ок. 1100 г.: «in dickeseit. habet quosdam mansus. ab advocato liberos... hanc autem possessionem tradidit ecclesie Sibodo nobilis homo liberam ab omni debito advocati» (MR UB, t. I, № 400, pp. 455—457). Ясно, что подобных освобожденных от фогта владений, подлежавших, очевидно, непосредственной власти аббата и его слуг и принадлежавших если не к барской запашке, то к тем землям, доходы с которых шли непосредственно на нужды братии, могло быть лишь немного; в частности, в цитируемой описи это единственный случай. В целом это явление принадлежит концу изучаемого нами периода и должно рассматриваться как свидетельство начавшегося преодоления фогтства в старом его понимании.

[2] Ср. грамоту герцога Лотарингии Матвея I аббатству Ремирмон (1151—1152): «clerici et ecclesiales et res eorum a duce et ab advocatis et a venatoribus non inquietabuntur sed in nobili libertate, ut dignum est, in pace remanebunt». (E. Perrin. Op. cit., p. 155, n. 2).

[3] MR UB, t. II, № 34, pp. 18—19, a. 1000.

[4] «Acta Moguntina», № 17, pp. 18—19, грамота архиепископа Адельберта от 17 июня 1133 г.

[5] Ср. L. Schücking. Op. cit., p. 20: фогт представляет держателей в публично-правовом суде «als ob dieselbe seine nicht des Klosters Hintersassen und Untertanen wären...»

[6] Аббат Прюма не соглашается на требование фогта произвести выяснение его прав путем опроса выбранных для этой цели им, фогтом, лиц из числа зависимых держателей (servientes): «videbatur enim esse periculosum ut relictis tetstamentis sequeretur sacramentum eorum. qui datis manibus illi vel ab eo suscepto beneficio propter timorem sui vel rerum suarum illi adherebant» (MR UB, t. I, № 406, pp. 463—465; ca 1103).

[7] См. предыдущее примечание, а также подложную грамоту аббатства св. Максимина (MR UB, t. I, № 345, pp. 401—403): «servientes vero qui scaremanni dicuntur nulli aivocato nisi abbati subiaceant, nulli eorum serviant nisi beneficia ab eis habeant».

[8] Интересно напомнить, что право министериалов (а именно о них идет речь в предыдущем примечании) иметь держание от другого господина было до XII в. чрезвычайно ограничено. Следовательно, фогт не рассматривался здесь как лицо, чья власть полностью отделена от власти господина министериала; мы видим и здесь такое же смешение, какое констатировали между владениями фогта и церкви.

населением столь велика, что может простираться до отдачи зависимого держателя в бенефиций другому лицу; [1] фогт предъявляет притязания на выморочное имущество держателей вотчины. [2]

В сферу господства фогта, как правило, входил высший слой лично несвободного населения вотчины — министериалы, или, как они называются в источниках ряда областей Западной Германии, scaremanni, или scararii. [3] Наблюдающаяся иногда неясность отношений между ними и фогтом заставила некоторых исследователей вопроса поставить под сомнение наличие юрисдикции фогта над министериалами. [4] Наши источники прямо и недвусмысленно констатируют зависимость министериалитета от фогта; возможные отклонения объясняются, как нам кажется, двумя причинами: во-первых, интересующий нас период — время быстрого подъема министериалитета, время подготовки перехода его из рядов эксплоатируемого феодалом населения в ряды феодальных эксплоататоров. Это развитие, шедшее весьма неравномерно, не могло не сказаться на отдельных сторонах правового положения министериалов. Как указывают источники XII в., и позднее Саксонское Зерцало, [5] положение министериалов могло быть весьма различным. Во-вторых, можно без труда отметить особую заинтересованность церкви в подчинении министериалитета исключительной власти настоятеля, в решительном отстранении фогта от власти над министериалами. Особенно наглядно выступала эта тенденция в многочисленных подложных грамотах, однако влияние ее чувствуется и в документах подлинных.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что грамоты, посвященные исключительно регулированию прав фогта, отводят значительное место описанию прав министериалов, даже без всякой видимой связи с фогтством. В особенности показательно это в документе,

---

[1] Постановление о правах цензуалов монастыря Вейнгартен ок. 1094 г. (Wirt. UB, t. I, № 244, pp. 300—302): «Censuales quos eadem ecclesia nunc habet vel habitura est, nulla de causa nec ab advocato nec ab abbate cuiquam inbeneficientur neque sub specie cuiusquam utilitatis umquam commutantur».

[2] MR UB, t. I, № 483, pp. 538—540, a. 1135; граф Конрад Люксембургский определяет свои права в качестве фогта аббатства св. Максимина. Возможно, что здесь речь идет только о праве пользования имуществом до передачи его наследникам, о своего рода сполиях; однако это не исключает полного захвата имущества в случае неявки или ненахождения наследника.

[3] О термине см. W. Nitzsch. Ministerialität und Bürgerthum im 11 und 12 Jahrhundert, Leipzig, 1859; R. Schröder. Op. cit., p. 447.

[4] H. Aubin. Op. cit., pp. 96 ff.; нерешительную позицию в этом вопросе занимает Ратген (G. Rathgen. Op. cit., pp. 101 ff.), приводящий доводы и за и против подчинения министериалов фогту.

[5] «Auctor vetus de beneficiis», t. I, p. 131 (цит. по E. Molitor. Der Stand der Ministerialen..., Breslau, 1912, S. 48): «Ordinem iuris istius propter diversitatem eius non describam; sub quolibet enim episcopo et abbate et abbatissa ministeriales jus habent singulare». Ср. Sachsenspiegel Lehnrecht, № 63, § 2. G. Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte, B. V, S. 302; P. Kluckhohn. Ministerialität in Südostdeutschland vom 10 bis zum Ende des 13 Jh., Weimar, 1910, S. 5; E. Molitor. Op. cit., p. 48.

принадлежащем самому фогту;[1] фогт считает себя, очевидно, вправе скрупулезно регулировать отношения между министериалами и аббатом. С теми или иными ограничениями ряд грамот признает за фогтом власть над министериалами; ограничивается обычно количество и продолжительность судебных собраний, в связи с которыми фогт получает servitium.[2] Иногда требуется наличие бенефиция от фогта;[3] в некоторых случаях его юрисдикция над министериалами ограничивается определенными областями;[4] большое распространение имеет требование обязательного присутствия настоятеля или его представителя на суде фогта над министериалами.[5] Но распространение власти фогта на министериалов прямо или косвенно признают даже наиболее тенденциозные подложные грамоты начала XII в. Так, подложный диплом аббатству св. Максимина, приписанный Генриху III, указывает, что выяснение прав фогта было произведено путем опроса familia и scatemanni.[6]

Итак, нам кажется, что мы вправе сделать вывод: в сферу власти фогта попадают все зависимые элементы вотчины, не исключая и наиболее привилегированной их части — министериалов.

В каких направлениях использовал фогт свою власть? Какова была деятельность фогта в вотчине?

IV

Основную сторону деятельности фогта исследователи в течение долгого времени видели в исполнении им судебных функций.[7] Вся осталь-

---

[1] MR UB, t. I, № 483, pp. 538—540, a. 1135. Граф Конрад Люксембургский определяет свои права в качестве фогта аббатства св. Максимина Трирского.

[2] Ibid.: «ipso die a prima hora usgue ad nonan super predia et mancipia eorum qui ministri vel scaremanni dicuntur placitare debemus».

[3] Ibid., № 345, pp. 401—403, подложная грамота аббатства св. Максимина; ibid., № 434, pp. 495—497, диплом Генриха V тому же аббатству от 1 июля 1116 г. (St. 3147).

[4] Грамота аббата Стабло, 1151 г.: министериалы монастыря Гладсбах должны наказываться фогтом «si de causa capitali et peremptoria vel de possessionis titulo ageretur» (Ph. Jaffé. Op. cit., Bibl. rerum germanicarum, t. I, p. 332.

[5] Так, например, в подложной грамоте Оттона III аббатству св. Максимина (нач. XII в.): «advocati quoque constituti in villis eorum. nec cum hominibus illius loci qui vocantur scararii. nisi in presentia abbatis vel eius prepositi placitum habere presumat» (MR UB, t. I, № 261, pp. 318—319).

[6] MR UB, t. I, № 345, pp. 401—402. Ср. свод прав министериалов архиепископа Кельнского середины XII в., рассматривающий фогта как единственного представителя министериалитета перед архиепископом: «Omnium ministerialium beati Petri nullus sententiam archiepiscopo dicet preter solum advocatum Coloniensem...» (F. Frensdorff. Op. cit., латинская редакция, гл. 5).

[7] См. H. Hirsch. Op. cit., p. 216. Уже из обзора истории вопроса у Шюкинга видно, какое большое внимание было уделено предшествовавшими исследователями именно этой стороне фогтства. Позднее Глич (H. Glitsch. Untersuchungen zur mittelalterl. Vogtsgerichtsbarkeit, Bonn, 1892) и Пишек (A. Pischek. Die Vogtsgerichtsbarkeit süddeutsch. Kloster in ihrer sachl. Abgrenzung während des früheren Mittelalters, Tübingen, 1907) только юрисдикцию фогта считают достойной специального рассмотрения.

ная его деятельность, в тех случаях, когда наличие таковой признавалось, объяснялась влиянием деятельности судебной; все права фогта выводились из его положения как судьи.[1] Особенно существенным представлялся вопрос о наличии у фогта высшей юрисдикции; можно сказать, что работы Отто, Глича, Пишека, отдельные главы у Хирша целиком посвящены исключительно последней проблеме.

Вплоть до последних лет подобная постановка вопроса о деятельности фогта отнюдь не отброшена западноевропейской медиевистикой. Так, одна из новейших известных нам работ, посвященных специально фогтству, работа Отто,[2] решительно настаивает на рассмотрении всего института именно с этой точки зрения. Ниже мы попытаемся анализом данных о суде фогта выяснить значение этой стороны его деятельности. Сейчас нашей задачей является лишь показать, что деятельность фогта отнюдь не исчерпывалась целиком выполнением им судебных функций.

Прежде всего, как можно увязать с положением о примате судебных обязанностей наличие таких фогтств, где эти обязанности отсутствуют полностью? Подобные фогтства в XII в. засвидетельствованы рядом авторов[3]. С полным основанием можно предположить их наличие и для более ранних столетий. Не говоря уже о том виде фогтства, который можно было бы назвать advocatio ad hoc (т. е. ограниченное во времени фогтство, связанное с каким-то отдельным актом или отрезком времени), какую юрисдикцию можно предположить реально существующей у обладателей бесчисленных частичных фогтств, простиравшихся сплошь и рядом лишь на часть поля или на одного держателя? Следовало бы тогда признать реально существующим такое неслыханное перекрещивание компетенций, которое было бы совершенно несовместимым ни с каким функционированием судебной власти, даже со всеми теми оговорками, которые должны мы вносить в это понятие, говоря о средневековье. Но и этого мало. Утверждение, будто бессудебное фогтство есть исключение, отклонение от некоей «нормы», недостаточно обосновано. На самом деле современники отнюдь не придавали судебным обязанностям фогта решающего значения. Целый ряд грамот прямо запрещает фогту исполнение каких-либо обязанностей судьи, за исключением тех случаев, когда он будет специально приглашен к тому настоятелем церкви.[4] Логическая возможность устранения

---

[1] Из новых работ так, по существу, у Ратгена (G. Rathgen. Op. cit., p. 68).

[2] E. F. Otto. Op. cit. Вопрос о развитии фогтства Отто понимает как вопрос о развитии принадлежащей фогтам юрисдикции.

[3] G. Waitz. Op. cit., t. VII,, p. 364; A. Waas, Op. cit., t. II, pp. 88 ff.; G. Tellenbach. Op. cit., p. 141, 146; Fleischer. Das Verhältnis der geistlichen Stifte Oberbauerns zur entstehenden Landeshoheit, S. 57.

[4] См., например, подложную грамоту Людовика Немецкого аббатству Рейнау (XI в.): «Idem advocatus in prefato loculo nullum jus habeat placitandi vel aliquam judiciariam potestatem exercendi, nisi forte ad abbate vocatus advenerit...» (QSG, т. III, ч. 2, № 1, стр. 3—5).

судебных обязанностей фогта представлялась, следовательно, вполне реальной.

Уже из тех общих определений сферы деятельности фогта, которые мы приводили выше, можно сделать заключение о представлениях современников по интересующему нас сейчас вопросу. Мы видели, что власть фогта распространялась на территорию вотчины и на ее зависимое население; власть эта по своему характеру была властью вотчинника. Немногочисленные данные наших источников о реальном отправлении этой власти [1] могут лишь подтвердить общее впечатление. Так, фогт выступает свидетелем при составлении документа чисто хозяйственного содержания, касающегося главным образом снабжения держателей монастыря бочками для хранения вина. [2] «По совету» и «с согласия» фогта определяет архиепископ Кельнский порядок подъема целины. [3] Участие фогта свидетельствуется при определении границ отдельных владений аббатства. [4] С фогтом аббат обсуждает предварительно новый порядок обработки барской земли, прежде чем сообщить его держателям. [5] Изменение размеров натуральных повинностей или полная их отмена также следует «после совещания с фогтом» [6] или «с его согласия». [7] Можно предположить (наш материал, впрочем, не позволяет с уверенностью настаивать на этом предположении) по косвенным данным одной из подложных грамот аббатства

---

[1] Немногочисленность и известную случайность этих данных вряд ли можно приписать особенностям именно наших, т. е. использованных в настоящей работе источников. Не приходится вообще рассчитывать найти интересующие нас данные о вотчинных «буднях» ни в королевских дипломах, ни в торжественных актах епископов и аббатов. Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с общей проблемой тех трудностей, которые без преувеличения завели в тупик современную западноевропейскую историю права раннего средневековья (ср. E. F. O t t o. Op. cit., p. 3 и интересные замечания в введении к работе O. D u n g e r n. Entstehung der Landeshoheit in Oesterreich, Wien, 1910); понятно, проблема эта полностью выходит за пределы нашей работы.

[2] MR UB, t. II, № 40, pp. 25—26, a. 1140.

[3] «... hortatu Euerhardi advocati et Herimanni Coloniensium advocati consensi...» (T h. J. L a c o m b l e t, Op. cit., t. I, 256, p. 165, a. 1099; грамота Кельнского архиепископа Германа: цит. по H. W o p f n e r. Op. cit., № 76, pp. 111—113).

[4] «Codex Laurenshamensis», t. I, Chronik 134, pp. 407—408.

[5] MR UB. t. I, № 386, p. 443; грамота настоятеля монастыря св. Симеона в Трире (1 июня 1092 г.): «Quod totum primum cum advocato ipsius boni Gerlach... denarratum...»

[6] MR UB, t. I, № 332, pp. 385—386; постановление аббатства св. Максимина о чинше и повинностях колонов аббатства (s. d., вторая четверть XI в.): после констатации чрезмерной тяжести этих повинностей аббатства, «communicato consilio serenissimi ducis Henrici, loci huius tunc temporis advocati», определяет новый размер повинностей. MR UB, t. I, № 463, pp. 522—523, аббатство св. Максимина (1129 г.): установление размера чинша производится coram advocato.

[7] MR UB, t. I, № 404, p. 461—462, обмен между церковью св. Марии и некоим Константином (13 ноября 1101 г.): «predictum (sc. predium) et expostulatum ab eo etiam cum... advocati consensu a prenominati tributi et medene exactione nominatim absolvimus».

св. Максимина, что фогт был причастен и к самому сбору чинша,[1] вмешательство же фогта, в случае уклонения держателя от выполнения повинностей, вместе с министериалами или самостоятельное, прямо фиксируется рядом источников.[2] Фогт может принимать участие в назначении лиц, относящихся к низшему хозяйственному персоналу вотчины.[3]

Точно так же и в делах, связанных с личной зависимостью населения вотчины, мы неоднократно сталкиваемся с фогтом. Он договаривается о розыске рабов;[4] вместе с пономарем епископской церкви разрешает вопрос о принадлежности детей несвободной.[5] Фогт — постоянный участник того акта, которым свободный человек вступал в отношения личной зависимости от церкви;[6] его согласие упоминается при возвращении церкви зависимых держателей.[7]

Такова, если можно употребить подобное выражение, общехозяйственная деятельность фогта. Как можно убедиться с первого же взгляда, она не отличается ничем существенным от аналогичной деятельности не только настоятеля, но и его хозяйственного аппарата. Но тогда возникает законный вопрос: если к этому сводится деятельность фогта внутри вотчины, то чем же фогт отличается от любого служителя церкви или ее держателя, облеченного известными полномочиями в области управления церковным имуществом? Очевидно, нам следует обратиться к другим сторонам деятельности фогта, чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Однако нам важно было предварительно констатировать наличие у фогта, по существу, полноты вотчинной власти над территорией и населением церковной вотчины, а также

---

[1] MR UB, t. I, № 345, pp. 401—403. Возможно, что и здесь подразумевается лишь вмешательство фогта в случае отказа держателя от уплаты чинша.

[2] Опись владений аббатства Горз в Вормсской гау (конец X в.): определяются повинности mundilionum: «si neglexerint, advocatus et ministerialis ad eorum domus ibunt et constringent» (цит. по E. Perrin. Op. cit., p. 202, n. 2). Ibid., p. 202, n. 3: «Et si quis mundilionus Sti Gorgonii de rectitudine sua quicquam facere noluerit ab advocato et ministeriali in cippum proiciatur et sic justificare cogatur».

[3] Вотчинные распорядки во владениях аббатства Горз в Вормсской гау (конец X в.): «Singulis annis eligant rustici duos forestarios ad custodiendos campos fideliter et primo anno constituantur a curte, secundo ab advocato, tertio ab ipsis rusticis» (цит. по E. Perrin. Op. cit., p. 224). Не совсем ясно, о каком реальном действии идет здесь речь. Ср. ibid., p. 674, n. 2 — распорядки вотчины св. Квирина (1137—1146): специально оговаривается (вполне в соответствии с духом времени), что препозит назначает мейера «sine advocato». Свод прав министериалов архиепископа Кельнского середины XII в.: «advocatus Coloniensis has 12 curtes (перечисление) in sua habebit potestate et procuratione, ut villicos in eis ponat et deponat...» (F. Frensdorff. Op. cit., латинская редакция, гл. 6).

[4] «Acta Tirolensia», t. I, № 19.

[5] Ibid., № 498 b.: «labore custodis ecclesie... coram advocato... terminatus est».

[6] Для одного аббатства св. Трудона Леклэр насчитывает 10 грамот подобного рода, составленных в период 1059—1124 гг., где указывается на утверждение фогтом (L. Leclère. Op. cit., p. 30, n. 3).

[7] E. Perrin. Op. cit., p. 285, n. 1.

распространение его компетенции на различные области хозяйственной ее жизни.

Выше нам приходилось уже останавливаться на вопросе о власти фогта над министериалами. Мы видели, что, несмотря на все оговорки, существование такой власти не может быть подвергнуто сомнению. Но не следует забывать, что в интересующий нас период министериалитет все больше становится сословием военным. Есть ли у нас основания предполагать, что господство над министериалитетом важно было для фогта именно с этой точки зрения, что фогту принадлежали определенные военные функции? [1]

В наших источниках мы находим лишь один случай прямого указания не только на военные функции фогта, но и на поступающие в его пользу соответствующие повинности наиболее привилегированных держателей церкви. [2] Неоднократно фогт выступает как исполнитель военной повинности, лежащей на имперском аббатстве, за что держит особый бенефиций. [3] К косвенным свидетельствам, возможно, следует отнести встречающиеся в грамотах распоряжения об освобождении министериалов «и прочих несвободных воинов» от военной повинности фогту, [4] о запрещении фогту воздвигать собственные укрепления на территории церковных владений. [5] Относительно последнего требования

---

[1] Для литературы вопроса эта проблема военной деятельности фогта, хотя и в другой ее форме, не нова. Сен-Женуа (j. Saint Genois. Histoire des avoueries en Belgique, Bruxelles, 1834) придавал военным функциям фогта столь большое значение, что настаивал на существовании особого «военного фогтства» как наиболее ранней формы фогтства вообще. Однако в такой крайней форме эта точка зрения вызвала решительные возражения уже у Вайтца (Op. cit., t. VII, p. 320). Ср. для более раннего времени F. Wickede. Die Vogtei in den geistlichen Stiftern des fränkischen Reiches von ihrer Entstehung bis zum Aussterben der Karolingen in Deutschland, Leipzig, 1886, SS. 28—29, отрицающего военные функции фогта, исходя из освобождения фогтов капитуляриями от воинской повинности. Объяснение этому освобождению, как кажется, следует искать в направлении, указанном сводом прав кельнских министериалов (F. Frensdorff. Op. cit., латинская редакция, гл. 4): в случае военного похода фогт остается в Кельне для наблюдения за состоянием дел в отсутствие архиепископа. H. Starilinger (Op. cit., pp. 41—42) дает указания на некоторую литературу вопроса.

[2] MR UB, t. II, № 37, pp. 22—23; определение по розыску прав фогта аббатства Эхтернах (1095 г.): «Affirmaverunt idem nobiliorum et maiores natu ecclesie nihil amplius erga advocatum sui esse juris nisi pro utilitate et defensione ecclesie nostre per duorum dierum spatium cum suis stipendiis ire».

[3] H. Wopfner. Op. cit., № 86, pp. 130—131, диплом Конрада III аббатству Стабло (9 февраля 1140 г.): «Advocatus expeditionem et arma pro summa et debito sui beneficii nobis successoribusque nostris procuret...» Об аналогичном положении в аббатстве св. Максимина см. MR UB, t. I, № 345, pp. 401—403.

[4] MR UB,, t. I, № 382, pp. 439—440, грамота аббата св. Максимина (1082—1084): «Hii (sc. scaremanni) enim, nobis in curte s. Maximini et ubi opus fuerit. cum ceteris nostre familie militibus sevire debent nullique advocato vel domno debent obedire. nisi nobis...»

[5] MR UB, t. I, № 434, pp. 495—497, подтверждение Генрихом V привилегий аббатства св. Максимина 1 июля 1116 г. (St. 3147): «nullusque eorum (sc. advocatorum) sive sit dives aut pauper. summus aut infimus. in allodio s. Maximini castrum

мы имеем определенные данные о том, что на практике оно сплошь и рядом не соблюдалось.[1] Независимо от строительства новых укрепленных пунктов, в руках фогта оставались бурги и укрепления, находившиеся на его собственной территории; выше нам уже приходилось говорить об оговорках при дарениях, исключавших укрепленные пункты из даримых территорий и создававших, таким образом, энклавированные участки, господствовавшие над всем округом. Следует напомнить также о тех оговорках, которые исключали из дарений военные держания. Действительно, фогт нередко появляется в грамотах, окруженный своими министериалами и военными слугами.[2] Собственные владения фогта, даже независимо от оговорок при дарениях, лежавшие, если не вперемежку, то, по крайней мере, в непосредственной близости к владениям церкви, создавали прекрасную базу для содержания этой военной силы, находившейся в полной власти фогта. Косвенным подтверждением являются и неоднократные постановления, ограничивавшие количество военной свиты, с которой фогт мог являться на территорию церкви.

Итак, вряд ли может быть подвергнуто сомнению, что фогт выступает перед нами как распорядитель военной силы в области принадлежавших церкви земель. Эта сила могла состоять как из министериалов

---

aliquod edificare presumat. QSG, t. III, № 49, pp. 79—82, диплом Генриха V монастырю в Шаффхаузене 4 сентября 1111 г. (St. 3074): «Advocatus. inpossessionibus sepe dicti monasterii nullam potestatem habeat castellum aliquod vel munitionem edificare...»

[1] Глава, посвященная бурговым правам фогтов, в специальной работе Шрадера (E. Schrader. Das Befestigungsrecht in Deutschland von der Anfängen bis zum Beginn des 14 Jahrhunderts, Götting., 1909, SS. 67—74) трактует в основном более поздний период; однако и для X—XII вв. (стр. 68—69) автор констатирует тождественность развития этого права фогта с аналогичными правами графа. Несколько примеров, относящихся к интересующему нас времени,— Bernoldi Chronicon ad. a. 1098: «Advocatus etiam ipsius loci... munitionem quandam ibi prope firmavit et loca abbatiae sibi sacrilege vendicavit» (MG SS, t. V, p. 465). Фогт Нижнеалтаихского аббатства Адельберт «per constructionem castrorum in Hohenpogen et aliorum edificiorum sive preliarum... ecclesiam nostram et alias ecclesias depauperavit («De advocatis Altahensibus», MG SS, t. XVII, № 374). Широкое распространение строительства укреплений фогтами констатирует К. Лампрехт (указ. соч., т. I, ч. 2, стр. 1071—1072); ср. G. Waitz.. Op. cit., t. VII, p. 366).

[2] QSG, т. III, ч. 1, № 60, стр. 100—102 (30 мая 1122 г.): Трирский архиепископ выступает посредником между Шаффхаузенским монастырем и его фогтом «petitione fratrum et militum eiusdem advocati». Договор заключен «consentiente advocato cum suis militibus». MR UB, t. I, № 483, p. 538, a. 1135: объявление фогтом аббатства св. Максимина своих прав производится «presentibus liberis hominibus nostris... ministerialibus ecclesie». MR UB, t. I, № 332, pp. 385—386 (s. d., вторая четверть XI в.): постановление аббата выносится «consilio serenissimi ducis Henrici. loci huius tunc temporis advocati. suorumque fidelium... tantam ac talem eorum hominum...» (Kurie und Kloster in 12 Jh., «Kirchenrechtliche Abhandlungen», hrsg. von U. Stutz, Heft 65—66).

и прочих военных слуг церкви, так и из людей самого фогта.[1] Мы уже говорили, что церковь не располагала такой силой, которую она могла бы противопоставить этой силе фогта. Фогт — главный, основной и единственный распорядитель той вооруженной силой, которой может располагать церковь.

Это заставляет нас внимательнее присмотреться к данной стороне деятельности фогта. Как и для чего пользовался фогт находившейся в его исключительном распоряжении военной силой? Сравнительно мало будут интересовать нас действия фогта, направленные на защиту церкви от нападений извне: эта, так сказать, элементарная обязанность фогта, не представляющая никаких трудностей для понимания,[2] оказывала слишком малое влияние на отношения внутри церковной вотчины, на отношения фогта к зависимому крестьянству, на роль фогта в общей системе феодальной эксплуатации. Именно этот последний вопрос важен для нас.

V

В каких случаях вотчинной жизни выступает на сцену фогт? Красноречивый и исчерпывающий ответ на этот вопрос находим мы в том источнике, из которого уже неоднократно нам приходилось черпать в высшей степени ценные данные об интересующем нас институте; речь идет о подложных грамотах аббатства св. Максимина в Трире, составленных главным образом в начале XII в. и почти исключительно посвященных фогтству.

В грамоте, приписанной составителем Генриху III, читаем: «Если крестьяне или держатели захотят отказаться от уплаты должного чинша или повинностей св. Максимину и аббату, то они принуждаются к тому сначала другими judices[3], затем они приводятся к главному барскому двору в Трире из тех мест, где живут, этими и теми служителями, которые называются judices и которые суть лучшие люди церкви[4]. Если же это оказывается безуспешным, то они принуждаются

---

[1] В аббатстве св. Трудона военные повинности фогту несли не только зависимые держатели, но и свободные жители; это, очевидно, следует рассматривать как узурпацию.

[2] Ограничимся несколькими типичными примерами из нашего материала. Защита церкви в целом: фогт аббатства св. Максимина граф Конрад Люксембургский оказывает вооруженное сопротивление архиепископу Трирскому, пытавшемуся завладеть аббатством (MR UB, t. II, p. CXCVIII). Защита отдельных владений: аббатство св. Трудона, L. Leclère. Op. cit., p. 31. Участие в агрессивных действиях: аббатство Рейхенау, конец XI в., «Continuatio (IV) castrum sancti Galli», cap. 23 ss.

[3] Нам кажется, что есть все основания понять здесь judex в смысле, употребленном в «Capitulare de villis», т. е. в смысле villicus; во всяком случае, как нам кажется, речь идет, конечно, не о судебном преследовании, а о действиях низшей вотчинной администрации.

[4] Meliores ecclesie — одно из названий министериалов; см. G. Weitz. Указ. соч., т. V, ч. 2, прилож.: «Über die verschiedene Namen...».

грамотой и фогтом»[1]. Здесь фогт — та инстанция, к которой апеллирует аббат в тех случаях, когда силы его служителей и мейеров оказываются недостаточными.[2] Грамоты последовательно проводят принцип призвания фогта в затруднительных обстоятельствах; этот принцип признается и подлинными документами, в том числе и исходящими от самих фогтов. Мало того: они кладут этот принцип в основу исчисления вознаграждения, идущего фогту[3].

---

[1] MR UB, t. I, № 345, p. 401—403: «Si villani vel mansionarii debitum censum vel servitium s. Maximino et abbati volunt denegare. primum per alios judices. deinde in ipso principale loco Treviris unde vivunt per illos judices ac ministros qui scaremanni dicentur et qui meliores sunt ecclesie constringantur. Sin autem. per kartam et advocatum». Почти дословно это постановление переходит, очевидно, в более позднюю подложную грамоту, составленную от имени Генриха V (ibid., № 423, pp. 483—486). Ввиду большой важности текста приведем также и этот вариант: «Si villani debitum censum abbati voluerint denegare, primum per alios judices, deinde in ipso principali loco Treveris per illos iudices ac ministros qui scaremanni dicentur ad viam si possunt reducantur. sin autem. per cartam vel advocatum». Чрезвычайно интересен и показателен уже факт почти дословного повторения постановления; очевидно, речь идет о достаточно прочно установившемся взгляде на вмешательство фогта. Как следует понимать здесь принуждение per cartam? Представляется возможным следующее объяснение: речь в грамоте идет не об отдельных случаях «непослушания», а о возможных попытках отрицать правильность повинностей вообще, тогда на сцену появляется запись повинностей (XI—XII вв. знают подобные записи в значительном количестве), carta: на ее основании действует фогт.

[2] L. Leclère. Op. cit., p. 78: фогт помогает аббату в восстановлении (вплоть до суда) его прав в отношении держателей, самовольно освободившихся от несения повинностей.

[3] MR UB, t. II, № 37, pp. 22—23, a. 1095; граф Генрих определяет права фогтов аббатства Эхтернах: «si quis de familia ecclesie occisus fuerit. si pretium eius quod wergeldum vulgari vocatione vocatur. abbas acquirere per se potuerit. totum habeat si per auxilium advocati ille sui juris tertiam partem obtineat». Ibid., t. I, № 345. pp. 401—403, подложная грамота аббатства св. Максимина: «Si aliquis ex familia interfectus fuerit pretium illius id est weregelt. si sine advocato adquiri poterit. totum abbatis erit. si autem per advocatum adquisitum fuerit. terciam partem advocatus habebit». Ibid., № 406, pp. 463—465 (St. 2961), постановление Генриха IV о правах фогтов аббатства Прюм (ca 1103): «Et de occiso intus vel foris s. Salvatoris homine si per se abbas weregeldum adquirit. nil advocatum habeat inde. si vero advocatus acquisierit. duas partes abbas. tercium advocatus accipiat». Ibid., № 346, pp. 403—405, подложная грамота аббатства св. Максимина: «Si ecclesie homo interfectus et abbas aut villicus eius ab homicida weregildum exigere poterit totum sui juris erit. sin autem advocatum necesse accersire tertia pars cedet ei». Acta Moguntina, № 21, pp. 23—24, грамота архиепископа Майнцского Адельберта (25 июля 1139 г.): «Nulli advocato quidquam debeatur, nisi aliquid ibi oriatur quod prepositus cum fratribus componere non valeat et si tunc advocatum petierint, facta eius iusticia, porcionem suam inde accipiat». Здесь, следовательно, все доходы фогт получает, когда его призывают на помощь в затруднительных случаях. Аналогичное условие, не связываемое со сборами, см. MR UB, t. I, № 406, pp. 463—465 (st. 2961), постановление Генриха IV о правах фогтов Прюмского аббатства (ca 1103); если цензуал «extra potestatem fugerit, vel in tali loco, ubi magister eius iusticiam ab eo habere non potest. constiterit advocatus aut missus eius cum legato abbatis illuc eat. et fugitivum atque rebellem ad curtim propriam constringat». Интересно отметить, что в цитированных выше первых трех грамотах формулировка совпадает почти дословно, хотя происхождение этих

Вмешательство фогта ограничивается приглашением его аббатом или братией [1], в особенности охотно в некоторых районах территории церкви и в отношении некоторых категорий ее населения. Однако даже здесь оговариваются такие положения, когда фогт не только имеет безусловное право вмешательства, но и специально обязывается оказать свою помощь церкви: речь идет о случаях активного сопротивления вотчинной власти, о случаях неповиновения, бунта [2]. Фогт, говорится в грамоте монастыря Героде от 1124 г., «не имеет права собирать никаких судебных собраний в назначенное время с людьми, подчиненными власти монастыря, за исключением того случая, если будет судить приглашенный аббатом, по поводу народного бунта, что да минует нас». [3] Грамоты подчеркивают, что сил аббата и подчиненного ему вотчинного аппарата недостаточно, чтобы справиться с такой опасностью, как сопротивление зависи-

---

грамот различно. Тенденция же подложного диплома аббатства св. Максимина столь ясна, что вряд ли следует предположить наличие подлинного королевского диплома, интерполированного затем в аббатстве, тем более что документы подобного типа лишь в своих наиболее формальных частях составлялись в королевской канцелярии. Следовательно, совпадение было бы странно даже в том случае, если бы мы имели дело только с подлинными документами. Возможно, что составителям этих грамот служили в качестве примера более древние дипломы; ведь принцип разделения штрафа в зависимости от того, кто практически преследовал преступника, был известен уже в эпоху Меровингов (ср., например, MG, Capitularia, t. I, Pactus pro tenore pacis).

[1] «Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich», hrsg. von einer Comission der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bearbeitet von J. Escher und P. Schweizer, B. I, 1890, № 259, SS. 143—144; Генрих V подтверждает привилегии приорства Цюрих, 1114 г. (St. 3107): «...nisi comuniter a fratribus invitatus...» MR UB. t. II, № 37, pp. 22—23, определение прав аббатства Эхтернах (1095 г.): «...nisi fuerit invitatus ab abbate vel preposito...». MR UB, t. I, № 483, pp. 538—540: граф Конрад Люксембургский аббатству св. Максимина (1135 г.): «Quocienscumque autem petente abbate vel exigente negotio ecclesie ad eundem locum venerimus, illi... qui nullum nisi abbatem advocatum habent...» См. также MR UB, t. I, № 388, pp. 444—446, подложная грамота пфальцграфа Рейнскому монастырю св. Марии в Лаах.

[2] MR UB, t. I, № 406, pp. 463—465 (St. 2961), постановление Генриха IV о правах прюмских фогтов (ca 1103): «super officiales ministros et beneficia servientium et omnia jura et curtilia abbatis nullam prorsus constituendi destituendive potestatem habeat, nisi alique rebellio ibi fuit». Пример из несколько более позднего времени (1211 г.): монастырь Лейцкау: «advocatus pro correptione et insolentiis subditorum... compescenda... excessus et insolentias populi corrigat» (цит. по G. Rathgen. Op. cit., p. 80, n. 6). H. Wopfner. Op. cit., № 91, pp. 136—138, вотчинное право курии монастыря св. Марии в Мюнхвейлере (первая половина XII в.): «Quod omnia, quecunque sunt ibidem iudicanda, iudicare debet nuncius abbatis et coenobialium, tribus exceptis; furto, scilicet, et qui fuerit inobediens abbati sive nuncio ipsius pro qualibet iusta causa et vulgo hoc dicitur «widerhore»...

[3] V. F. Gudenus. Codex diplomaticus anecdotorum res Moguntinas illustrantium, Gött, 1743, Francof. et Lips., 1747—1758, t. I, p. 60, № 26 (1188): фогт «nullo modo placita certis temporibus cum populo huic monasterio subdito possideat, nisi forte rogatus ab abbate rebellione populi, quod absit, coerceat». L. Leclère. Op. cit., p. 28: фогт обязан поддерживать порядок во владениях церкви, принуждать мятежных вассалов к исполнению ими их обязанностей, подавлять мятежи сен-трондских горожан.

мого населения вотчины;[1] в таких случаях аббат вынужден выступать вместе с фогтом и его воинами[2].

Нам кажется, что мы находимся здесь в решающем пункте вопроса о деятельности фогтов и сущности института фогтства в целом. Роль внеэкономического принуждения непосредственного производителя в феодальную эпоху слишком хорошо известна, чтобы на ней останавливаться особо. В церковных вотчинах, занимавших в первую половину средних веков едва ли не бо́льшую часть земельной площади Западной Европы, исполнение этой чрезвычайно важной обязанности лежало на фогте; рядом с ним мы до XII в. не находим какой-либо силы, способной конкурировать с ним.

Но если это так, то вполне законен вопрос: почему же наши источники все же сравнительно редко говорят об этой функции фогтства, которая представляется нам наиболее важной? Здесь, как нам кажется, нужно прежде всего указать на одну особенность средневековых грамот как источника истории права: чрезвычайно мало останавливаясь на том, что составителю грамоты представляется обычным, само собой разумеющимся, грамоты с особенной тщательностью регулируют вопросы, связанные с судебными порядками. Означает ли это, что судебная деятельность была главной, основной деятельностью всех тех, кому приписывают ее источники раннего средневековья? Ведь если следовать точному словоупотреблению грамот, даже мейера, т. е. должностное лицо вотчины с исключительно ярко выраженными хозяйственными функциями, следует признать судьей par excellence, исходя из встречающегося именования его термином judex. В судебных порядках, с одной стороны, наиболее ясно вырисовывались не только сословные, но и прочие правовые имущественные различия населения средневековой вотчины, как и средневекового города; в судебных порядках, как они вырисовываются в источниках, следует нередко усматривать лишь своеобразную символику средневековых общественных отношений. С другой стороны, судебная деятельность неразрывными узами связана с реальной властью над землей и ее населением;

---

[1] MR UB, t. I, № 346, pp. 403—405, подложная грамота аббатства св. Максимина: «si aliquis forte culpam furti vel seditionis inciderit et abbas ab rebellionem temeritatis advocatum accerserit...» В грамоте фогта монастыря Кремсмюнстер от более позднего времени (XIII в.) находим: «Si... rebellis exstiterit. talis a predicto executore (речь шла об агенте аббата) coherceatur, secundum quos abbas et eius officiales sibi iudixerint faciendum. Et si per se vel per suos, vel etiam per homines ecclesie id efficere non potuerit, auxiliarios sibi de nostra, quibus ipse causam indicaverit, assumendos esse mandamus» (UB des Klosters Kremsmünster, № 55, p. 69; цит. по G. Tellenbach. Op. cit., p. 190, n. 215). Диплом Конрада III аббатству Стабло от 9 февраля 1140 г. (H. Wopfner. Op. cit., № 86, pp. 130—131): «Si vero per se abbas aut per suos aliquid corrigere non potuerit, ad invitationem abbatis advocatus sine more vel contradictione veniat...».

[2] «Codex Laureshamensis», № 120, p. 387: «Constitutio Bruningi abbatis contra seditiones familie sue... ego Bruningus... ob reprimendam familie nostre temeritatem... cum consilio advocatorum meorum et militum istud decretum fieri statui...» etc.

самодовлеющая судебная власть, существующая сама по себе, развивающаяся сама из себя, по своим особым законам, нейтральная и внесословная — все это совершенно чуждые средневековой государственности, как, впрочем, и всякому классовому обществу, понятия. Значит ли это, что все остальные формы власти, все остальные виды деятельности следует объявить субстратом власти и деятельности судебной? Для этого следовало бы потерять всякое чувство реальной исторической перспективы. И тем не менее именно таково логическое следствие рассуждений ряда представителей науки истории права, которые ограничивают поле своего зрения словоупотреблением грамот, трактующих вопросы судебного устройства в средние века.

Придерживаясь марксова положения, что все формы власти в средние века есть атрибут земельной собственности, мы должны будем с этой точки зрения подойти к интересующему нас сейчас частному вопросу о власти фогта. Мы должны будем анализом данных наших источников о суде фогта попытаться выяснить, в самых общих чертах, каков реальный характер той власти, которая скрывается за столь склонными к превращению в формулу распоряжениями о суде фогта и его юрисдикции.[1]

Выше, в связи с вопросом о сфере деятельности фогта, мы приводили уже ряд грамот, говоривших о распространении юрисдикции фогта на определенные категории населения вотчины. Тенденцию приписать фогту юрисдикцию, ограниченную не столько характером преступлений, сколько социальной принадлежностью преступника, можно проследить и на других документах. Так, в грамоте Оттона I Трирскому архиепископству читаем: «пусть фогт Трирской церкви отправляет правосудие над familia как частное, так и публичное»[2]. Суд над цензуалами без всякой дальнейшей детализации этой части его юрисдикции дает фогту диплом Генриха IV по поводу основания Хиршауского аббатства[3]. Не менее общим нужно считать и условие грамоты

---

[1] Этот вопрос имеет наиболее обширную литературу, выводы которой в подавляющем большинстве оказываются непригодными для нас. Как исключение следует указать уже цитированную работу Шюкинга, содержащую ряд чрезвычайно интересных мыслей.

[2] MR UB, t. I, № 185, p. 247 (27 января 947 г.): «ut advocatum s. Treverice ecclesie aut in privatis aut publicis negotiis iusticiam de familia reddat vel exigat». По существу то же видим мы и в постановлении Генриха IV о правах прюмских фогтов (MR UB, t. I, pp. 463—465, St. 2961). Ср. в подложной грамоте пассауского епископа конца X в. («Monumenta Boica», t. XXVIIIa, № 86, p. 119): «...super familiam vel suburbanos aliqua secularia vel iudiciaria in ea exerceat negotia...» MG DD, t. II, № 178, p. 203, диплом Оттона II Бриксенскому епископству (7 мая 978 г.): «...Si quid super illos (sc. servos) emendandum sit, advocatus... emendet et ipse wadia percipiat».

[3] Wirt. UB, t. I, № 233, pp. 276—280 (1075): «...iusticiam et legem... super fures, proterviam et censuales et cetera talia». О подлинности этого диплома, чрезвычайно важного, так как он послужил образцом для уставных грамот целого ряда реформированных монастырей, см. статью Бракманна (A. Brackmann. Die Anfänge von Hirsau в «Papsttum und Kaisertum», München, 1926, стр. 224 сл.).

Конрада Люксембургского, определяющего свои права в качестве фогта аббатства св. Максимина: фогт должен судить по всем делам о «землях и зависимых людях» министериалов; [1] о «владениях» министериалов должен судить фогт монастыря Гладсбах. [2] С полным правом поэтому мог, как нам кажется, Шюкинг сделать вывод (на материале Падерборна), что основной областью, на которую распространяется судебная деятельность фогта, были вопросы, связанные с земельной собственностью и зависимыми держателями. [3] Но где же здесь высшая юрисдикция и где — низшая? Очевидно, что для определения юрисдикции фогта источники употребляют сплошь и рядом иные критерии, чем те, которыми пользуется правоведение для различения высшей и низшей юрисдикции.

Приходится констатировать, далее, чрезвычайное разнообразие судебного положения фогта; [4] нам кажется, что и здесь более детальное исследование могло бы привести к подтверждению изложенного выше предположения: различия в положении фогта — вопрос не права, но силы, [5] ибо в основе судебной власти фогта лежит его вотчинная власть, [6] основной характер которой должен был выясниться материалом предыдущего изложения.

По ряду причин я лишен сейчас возможности достаточно подробно останавливаться на вопросе о судебной деятельности фогта. Правда, вопрос этот с нашей точки зрения представляет второстепенный интерес, поскольку мы не считаем судебную деятельность фогта главным видом его деятельности. Мне придется ограничиться здесь лишь достаточно суммарными замечаниями.

Прежде всего, если понимать судебную власть фогта как производное от его функций носителя реальной вотчинной власти, то вопрос о его юрисдикции решительно перестает существовать как самодовлеющая проблема. Этот вопрос становится лишь частью общей проблемы вотчинной юрисдикции, которая, в свою очередь,— лишь часть огромной проблемы соотношения вотчины со средневековым государством и

Он приходит к выводу, что в настоящем своем виде грамота по меньшей мере исправлена в Хиршау.

[1] MR UB, t. I, № 483, pp. 538—540.

[2] Ph. Jaffé. Op. cit., t. I, № 332, грамота аббата Стабло (1151): «si de causa capitali et peremptoria vel de possessionis titulo ageretur».

[3] L. Schücking. Op. cit., p. 10. См. аналогичный вывод для более раннего времени у F. Wickede. Op. cit., p. 33. Ср., например, «Capitulare Mantuanum secundum» (MG Capitularia, t. I, № 93, p. 196, cap. 1,5).

[4] На это указывал еще Лушин фон Эбенгройт (A. Luschin von Ebengreuth. Geschichte des älteren Gerichtswesens in Oesterreich, Weimar, 1879, S. 157). См. также G. Tellenbach. Op. cit., p. 141; G. Rathgen. Op. cit., pp. 77 ff. Ср. особенно работу Штенгеля в «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», t. X, p. 121.

[5] Гирш, например, указывает, что разграничение между высшей и низшей юрисдикцией являлось обычно не вопросом права, оно могло быть также вопросом силы (H. Hirsch. Klosterimmunität seit dem Investiturstreit, Weimar, 1913, S. 97).

[6] Ср. и для этого вопроса чрезвычайно интересные замечания Шюкинга (L. Schücking. Op. cit., pp. 6, 20 ff.).

сущности самой средневековой государственности. Можем ли мы останавливаться здесь на этой проблеме? Конечно, нет. Здесь нас должны гораздо больше интересовать вопросы реального осуществления фогтом своих судебных прав. Тут нужно указать на одно любопытное обстоятельство. Не трудно в источниках проследить тенденцию к лишению фогта самостоятельной юрисдикции, к обусловливанию его судебной деятельности приглашением настоятеля церкви или братии в тех случаях, когда это нужно церкви. Мы уже констатировали подобную тенденцию для других видов деятельности фогта. По существу и там и здесь речь идет об одном: церковь стремится направить силу фогта на несение функций исполнительной власти, причем нам отнюдь не удается обнаружить признаков сопротивления этой тенденции со стороны фогтов. «Фогт в этом месте пусть не имеет никакого права вершить суд или отправлять какую-либо судебную власть, за исключением тех случаев, когда явится по приглашению аббата, и тогда пусть исполняет его волю и просьбу», гласит подложная грамота аббатства Рейнау, составленная в XI в.[1] Трудно выразить яснее ту тенденцию, о которой мы говорим; диплом Конрада III аббатству Стабло, который мы также позволим себе привести здесь, лишь более красноречив, но ничего не прибавляет по существу.[2]

Юрисдикция фогта логически исключается, таким образом, полностью.[3] Но исключается ли его деятельность в суде? Отнюдь нет. Вряд ли следует предположить, что она может основываться на приглашении настоятеля или его мейера.[4] Обладая правами судьи, по

---

[1] QSG, t. III, ч. 2, № 1, стр. 3—5; «Idem advocato in prefato loculo nullum jus habeat placitandi vel aliquam judiciariam potestatem exercendi, nisi forte ab abbate vocatus advenerit, et tunc voluntati sive perticioni ipsius satisfaciat». Подчинение распоряжению аббата трех placita generalia см. в дипломе Генриха V аббатству Мури (там же, т. III, ч. 3, стр. 42—43, 1114 г., St. 3106); подлинность диплома подвергнута серьезным сомнениям, во всяком случае он был составлен в аббатстве, даже если последующее утверждение императорской канцелярией имело место, и, следовательно, отображает тенденцию аббатства).

[2] H. Wopfner. Op. cit., № 86, pp. 130—131, a. 1151. «Concedimus et precipimus, ut advocatus in curtibus eiusdem ecclesie sive in ministerialibus vel in tota familia nullam justitiam, nullum placitum, nullum hospicium, nullam precariam, nullum prorsus exactionem vel servitium habeat, sed omnis iusticia, omnes lites, omnis causorum et placitorum utilitas ad abbatem et ubi ipse voluerit pertineat».

[3] Ср. чрезвычайно любопытное постановление в полиптике владения Ксанрэ (Xanrey), принадлежавшего коллегиатской церкви св. Спасителя в Меце, относящееся к 1096—1103 гг.: «...de forefactis ejusdem ville terciam partem justicie concedimus (sc. advocato), summa tamen justicie per prepositum vel per ministeriales prius terminata» (E. Perrin. Op. cit., appendice II, p. 708). Здесь вся юрисдикция фогта сводится к получению судебных штрафов, причем даже их размер фогтом не определяется. Тенденция свести юрисдикцию фогта исключительно к получению связанных с нею штрафов отнюдь не чужда определениям судебных прав фогтов. Но здесь мы уже переходим к другому вопросу — о вознаграждении фогта.

[4] L. Leclère. Op. cit., p. 35, n. 1; льежская грамота 1079 г.: «...non...habeat potestatem placitandi... nisi ad hoc adducatur voluntate aut proclamatione villici».

меньшей мере равными соответствующим правам фогта, зачем аббат стал бы приглашать его для разрешения судебных дел и, следовательно, лишаться части доходов? Что же реально могла значить в таком случае ссылка на невозможность для аббата самому разрешить дело? Приведенный уже в начале настоящего раздела материал источников дает нам разрешение вопроса: основной момент в судебной деятельности фогта есть не вынесение, но исполнение приговора. Реальное соотношение сил определяло, в какой мере фогту принадлежали функции и самого судьи, но основными, неотъемлемыми и — самое главное — незаменимыми были функции фогта как исполнителя приговора. Вот почему оказывается необходимость в приглашении фогта, когда аббат «не может разрешить дело»: фогт является не во всеоружии прав или знания законов, а как обладатель реальной силы, обеспечивающей выполнение воли аббата; этому последнему нехватает не правоспособности, но реальной силы. Вот почему фогт не судит, а «исполняет установленное, поставив о том в известность епископа и аббата».[1] Вот почему предусматривается возможность того, что даже фогт не сможет справиться с преступником, но никак не возможность оправдания его фогтом.[2]

Вот почему, явившись по приглашению аббата, фогт должен «исполнять волю аббата».[3] Нам кажется, что уже анализ постановлений, обусловливающих вмешательство фогта случаями невозможности для настоятеля самому справиться с преступником[4] и ставящих в зависимость от этого вознаграждение фогта, должен убедить в правильности нашей постановки вопроса; попытаемся, однако, подкрепить ее другими данными источников.

Прежде всего, есть прямые указания источников на то, что приговор выносится не фогтом; он может быть вынесен шеффенами,[5] аббатом или кем-либо другим; лишь после вынесения приговора преступник выдается фогту.[6] За это фогт получает следуемые ему повинности (servitium). Если же фогт не будет приводить в исполнение судебных постановлений, то никаких повинностей он получать не будет,

---

[1] Постановление Генриха II о преступлениях familia Вормской и Лоршской церкви (MG Constitutiones, t. I, № 35, p. 79, 1023 г.).

[2] MG Constitutiones, t. I, № 36, p. 81; если фогт не сможет схватить преступника, то это должны сделать fideles аббата или епископа, которые должны затем сдать преступника представителям, соответственно, аббата или епископа, но отнюдь не фогта; следовательно, о суде фогта дальше не может быть и речи.

[3] См. выше, стр. 138, прим. 3.

[4] См. особенно характерную с этой точки зрения формулировку в постановлении Генриха IV о правах прюмских фогтов, цит. выше, стр. 133, прим. 2.

[5] Вывод Леклэра (L. Leclère. Op. cit., p. 35) о роли фогта как исполнителя приговора присяжных, к сожалению, подкреплен им ссылкой лишь на более поздние документы.

[6] MR UB, t. I, № 345, pp. 401—403: подложная грамота св. Максимина; Altmann u. Bernheim. Ausgewälte Urkunden zur Erläuterung der Verfassungsgeschichte Deutschlands, № 82, pp. 163 ff., вотчинное право барского двора монастыря Эттенхейм в Мюнхвейлере, Эльзас (cap. XIII).

пока все вынесенные раньше постановления не будут выполнены,— так ставит вопрос одна из подложных грамот аббатства св. Максимина.[1]

Его роль сводится к выполнению указанного, установленного, как мы это видели уже в постановлении Генриха II о familia Лоршской и Вормсской церкви. Поэтому и лишение фогта самостоятельной юрисдикции отнюдь не означает прекращения его деятельности: за ним остаются, так сказать, полицейские функции. Ему передается отлученный от церкви священник для изгнания его из прихода;[2] он же принуждает вассалов аббата к принесению оммажа своему сеньеру,[3] как и держателей — к несению повинностей;[4] он же, наконец, охраняет купцов и богомольцев, являющихся на территорию аббатства, от нападения грабителей.[5]

Эти исполнительные «полицейские» функции представляются нам специфическим элементом судебной власти фогта.[6] Означает ли это, что судебная власть фогта этими функциями и ограничивалась? Выше мы уже ответили на этот вопрос отрицательно. Но юрисдикция фогта была различной, в весьма широких пределах, вплоть до возможности полного отсутствия таковой; фогт же без вышеуказанных специфических функций — немыслим: он просто теряет всякий смысл существования.

Но как же обстоит дело с так называемой высшей юрисдикцией фогта, основным теоретиком которой по праву считается Хирш? Существовала ли она на самом деле, находим ли мы ее в источниках? На этот вопрос мы должны ответить утвердительно. Высшая юрисдикция фогта, в смысле права вершить суд по уголовным преступлениям, по преступлениям, связанным с телесными наказаниями и даже смерт-

---

[1] MR UB, t. I № 345, p. 401—403: «servitium ad hoc eis donantur ut quicquis abbati vel familiae adversitatis contigerit corrigant, quod si non fecerint, et bis vel ter aliquid in agris aut vineis, unde dampnum habet abbas aut familia eis accusatum aut denunciatum fuerit et non correxerint, servitios abbas constringat, donec ea que in prioribus binis aut tribus placitis accusata sunt. ad correctionem perducant».

[2] L. Leclère. Op. cit., p. 31.

[3] MG SS, t. X, Gesta abbatum sancti Trudonis, Gesta Rodulphi, № 23.

[4] См. выше, стр. 129, прим. 2 и 3. Здесь явственно не имеются в виду какие-либо судебные мероприятия; поэтому нам кажется, что есть все основания для отнесения подобных действий фогта к характерным именно для «полицейской» власти.

[5] L. Leclère. Op. cit., p. 32.

[6] Ср. H. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte, B. II, S. 306. Функции фогта как представителя церкви в суде графа по своей сущности близки, как нам кажется, именно этим, т. е. исполнительным его функциям. Конкретный материал см., например, у H. Starflinger. Op. cit., pp. 35 ff. Вывод о полицейских функциях фогта для более раннего времени см. у F. Wickede. Op. cit., pp. 38—39; фогт приводит преступника, он же выполняет вынесенный графом приговор. Нечто аналогичное представительству фогта в суде графа можно, пожалуй, усмотреть в гл. 5 свода прав министериалов Кельнского архиепископа (F. Frensdorff. Op. cit., латинская редакция, гл. 5, сер. XII в.), поручающей фогту представлять министериалов перед архиепископом.

ной казнью,[1] безусловно существовала. Есть ли она нечто имманентно присущее фогту, специфическое его право? Отнюдь нет. Для X в. можно считать доказанным отсутствие ее в ясно выраженном виде у фогта.[2] Она появляется не раньше второй половины XI в., причем следует указать на одно чрезвычайно любопытное обстоятельство, насколько нам известно, не отмеченное авторами специальных исследований, посвященных юрисдикции фогта: высшая юрисдикция не только не узурпируется фогтом, но (вплоть до второй половины XII в., до начавшейся борьбы с фогтом за господство над территориальным княжеством, да и тогда отнюдь не везде) трудно сказать, не с большей ли настойчивостью церковь приписывает это право фогту, чем он сам к нему стремится; во всяком случае, интересы церкви и фогтства здесь до странного совпадают. Чем же можно это объяснить? Но здесь мы подходим к более общему вопросу об изменениях, происшедших в XI—XII вв. в организации и внутреннем строе церковного землевладения, а следовательно и фогтства. Только выяснение этого общего вопроса могло бы пролить свет и на частную проблему высшей юрисдикции фогта.

---

[1] Мы сознательно не останавливаемся здесь на различии между высшей (Hoch) и «кровавой» (Blutgerichtsbarkeit) юрисдикцией фогта, указанном еще Гличем (H. Glitsch. Untersuchungen zur mittelalterlichen Vogtgerichtsbarkeit, Bonn, 1912), но разработанном в особенности Хиршем в его работе, специально посвященной проблеме высшей юрисдикции (Die Hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter. Prag, 1922).

[2] Таковы выводы Отто.

В. Д. КОРОЛЮК

О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРИОДЕ ПРАВЛЕНИЯ БОЛЕСЛАВА ХРАБРОГО

В польской исторической традиции прочно утвердилось представление о сотрудничестве первых монархов из дома Пястов с латинской иерархией. В пользу сложившегося уже представления свидетельствует как будто целый ряд фактов: покровительство, оказанное Болеславом Храбрым проповеди св. Войтеха и св. Бруно, погибшего, как сообщает Титмар, на границе Руси и Пруссии («in confinio praedictae regionis (Пруссии) et Rusciae)[1], что заставляет предполагать в миссии последнего конкретные политические цели, ибо городу Берестью, расположенному поблизости оттуда, суждено было впоследствии сыграть значительную роль в ходе польско-русских конфликтов; затем, арест и смерть в заключении колобрегского епископа Рейнберна, посланного вместе с дочерью Болеслава к князю Святополку, «который готовился, побуждаемый Болеславом, поднять оружие на своего отца».[2]

Союз с церковью диктовался, разумеется, чисто политическими мотивами. Принятие христианства в 966 г. означало для Мешко I ослабление немецкой угрозы; союз с Римом реабилитировал Польшу в глазах Западной Европы, лишал империю моральных оснований для грабежа. В этом отношении чрезвычайно любопытно письмо св. Бруно, посланное им из Польши к императору Генриху II, который в это время вел ожесточенную борьбу с польским князем. Особенно отчетливо эта связь стремлений молодого государства к полной внешней независимости с церковной политикой Пястов сказывается на последствиях Гнезненского съезда (1000 г.).

Император Оттон III, присутствовавший на этом съезде, утвердил церковную независимость Польши, получившей теперь отдельное архиепископство в Гнезно; вместе с тем Болеславу Храброму было передано право церковной инвеституры.[3] По поводу этого съезда Титмар Мерзебургский замечает: «пусть простит бог императору (Оттону III.—

---

[1] Thietm., VI, 58 (пользуюсь изд. Bielowski. «Mon. Pol. Hist.», t. I, Lwów. 1864).

[2] Thietm., VII, 52.

[3] Wl. Abraham. Organizacya Kościola w Polsce do polowy wieku XII, Lwów. 1893, str. 69. Галл называет Болеслава «patronus et advocatus pontificum» и сообщает, что он «episcopos ordinavit» (l. I, p. 11, цит. по изд. Bielowski,— «Mon. Pol. Hist.», t. I).

В. К.), что он сделал своего вассала (Болеслава Храброго.— *В. К.*) независимым господином (quod tributarium faciens dominum) и возвысил так высоко, что тот, забыв о подчиненной роли своего отца, осмеливается ставить в зависимость от себя тех, кто раньше ему приказывал». [1]

Гнезненский съезд, таким образом, являлся новым шагом на пути к полной политической независимости Польши. Возможно, что в связи с этим съездом у Болеслава Храброго впервые возникла идея королевской короны и что Оттон III дал в этом смысле даже некоторые обещания, которые он в дальнейшем, в последующие два года, не сумел сдержать. [2]

Не разбирая этого сложного вопроса, мы хотели бы отметить ту роль, которую должна была сыграть церковь в деле внутренней консолидации польского государства при относительной слабости княжеской канцелярии. Именно эта слабость способствовала стремлению приспособить церковный аппарат к нуждам княжеской администрации,— стремление, являвшееся общей чертой во внутренней политике отца и сына — Мешко Старого и Болеслава Храброго. [3]

Все эти факты в достаточной степени подтверждают установившийся уже в науке тезис о союзе церковной и светской власти при первых Пястах.

Особенно большая роль в создании этой исторической традиции принадлежит первому польскому хроникеру, известному под именем Галла-Анонима. Та часть его хроники, в которой содержится описание жизнедеятельности Болеслава Храброго, представляет собой восторженный гимн Польше — апостолу христианства на северо-востоке Европы. Та же идея о христианской миссии Польского государства пронизывает и все остальные страницы хроники, особенно описание войн Болеслава Кривоустого с пруссами и поморянами. [4]

Подчеркивая, с одной стороны, право инвеституры, которым располагал в отношении польского клира Болеслав Храбрый, автор, с другой стороны, внимательно отмечает те знаки уважения и почтительности, которыми было окружено при нем польское духовенство, красочно рассказывает о том, какой заботой окружил Болеслав Храбрый церковь, о его многочисленных и богатых дарах в ее пользу. [5]

Именно эти сообщения Мартина Галла лежат в основе отмеченной нами концепции польских историков, доказывающих наличие прочного союза церкви и государства в Польше в течение X в. и значительного периода XI в. Приведенные нами факты свидетельствуют как будто в

---

[1] Thietm., V, 6.

[2] St. Zakrzewski. Boleslaw Chrobrywielki, Lwów — Warszawa — Krakow. 1925, str. 133.

[3] Там же, стр. 47.

[4] «...contra quos regiones Polonorum dux assidue pugnat ut eas ad fidem convertat». («Mon. Pol. Hist.», t. I, p. 394).

[5] Ibid., p. 407.

пользу этого мнения. Однако необходимо подчеркнуть, что все они, исключая, может быть, только показания Галла, относятся к первому периоду правления Болеслава Храброго, т. е. ко времени до 1018 г.

Год этот является известным переломным моментом в политике польского князя. С этого времени Польша не ведет больше активной внешней политики, не отвечая даже на нападение своих соседей. «Повесть временных лет» сообщает под 1022 г. о походе Ярослава под Берестье. Нам ничего неизвестно об ответных действиях с польской стороны. У Козьмы Пражского под 1021 г. сообщается о захвате чехами Моравии.[1] Новейшие польские исследователи склоняются в пользу принятия этого известия для датировки окончательного присоединения Моравии к Чешскому княжеству (до сих пор событие это относилось к смутному периоду правления Мешко II, преемника Болеслава Храброго).[2]

Что касается событий церковной истории Польши в промежуток времени между 1018 и 1025 гг. (год смерти Болеслава Храброго), то, помимо соответствующих страниц хроники Галла-Анонима, мы почти не располагаем больше никакими прямыми свидетельствами других источников. Это, разумеется, увеличивает ценность разбираемого нами источника и заставляет подходить к его изучению с еще бо́льшим вниманием. С другой стороны, значение хроники Галла-Анонима определяется еще и близостью автора к высшей польской иерархии. Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения, что сообщаемые им легенды о Болеславе имеют своим источником церковную традицию.[3] Сам он называет канцлера Михаила, который, как выясняет А. Беловский,[4] являлся канцлером Крушвицкого капитула, «сотрудником»[5] в сочинении хроники. Вместе с тем, в самой хронике появляются некоторые данные, заставляющие предполагать близкие отношения ее автора к архиепископу Мартину[6] (1092—1118).

Мы уже указывали, что схема, данная автором хроники на первых страницах его повествования, легла в основу той позднейшей исторической традиции, которая дошла непоколебленной до нашего времени. Вместе с тем мы отмечали, что остальные источники подтверждают ее только относительно периода времени, предшествующего 1018 г. Изучая события последних лет правления Болеслава Храброго, естественно было бы обратиться к соответствующим сообщениям польского хрониста и еще раз подвергнуть их внимательному анализу.

---

[1] См. «Scriptores Rerum Bohemicarum», t. I, pp. 83—84.

[2] St. Zakrzewski. Op. cit., str. 313—315.

[3] Polska, jej dzieje i kultura, t. I, Warszawa, str. 71.

[4] «Mon. Pol Hist.», t. I, p. 382.

[5] «...nec non etiam cooperatori suo venerabile cancellario Michaeli» (ibid., p. 391).

[6] K. Krotoski. Gall scholastyk poznanski. («Kwart. Hist. XIII, zesz. IV, 1899, str. 681).

Перед нами явно тенденциозная проповедь необходимости сотрудничества княжеской власти с церковной иерархией и примата последней. Сила этой тенденции такова, что автор готов приписать могущественной власти интердикта, наложенного Гаудентым на страну, все последовавшие вслед за смертью Болеслава I при Мешко II смуты и несчастия.[1] Автор, правда, ссылаясь на неосведомленность, отказывается объяснить причину интердикта, предпочитая лишь несколько вскользь упомянуть о самом факте, так неожиданно освещающем события.

Польская историография обычно не обращает внимания на это вскользь брошенное замечание хрониста и не пытается сделать из него сами собой напрашивающиеся выводы. Исключение в этом отношении представляет лишь Вл. Абрагам, задержавшийся несколько на этом месте хроники и высказавший предположение, что самовластное обращение Болеслава I с церковью могло явиться причиной его конфликта с Гаудентым. Однако и он считает наиболее правдоподобным, что причиной столкновения было ограбление костелов княжескими дружинниками.[2]

Сейчас трудно было бы окончательно решить вопрос о причинах этого факта. Во всяком случае, инцидент простого ограбления костелов не мог бы явиться основанием для столь серьезного конфликта. Гораздо важнее, что в лице Гаудентого мы имеем не только брата, но и ближайшего последователя св. Войтеха, идеолога превосходства духовной власти над светской и провозвестника их будущей борьбы. Такая идеология, разумеется, не могла ужиться с представлением Болеслава Храброго о неограниченной автократии монарха.

Таким образом, на польской почве в несколько иной форме повторялся тот же конфликт, который несколькими годами раньше разыгрался в чешской Праге, в епископстве св. Войтеха. Как бы то ни было, колоссальное значение и принципиальная заостренность конфликта остаются вне сомнения.

Следующим моментом исследования должна была бы явиться хотя бы самая приблизительная датировка этого события — вопрос, не решенный исследованием Владислава Абрагама. Затруднения в разрешении его связаны с тем, что год смерти архиепископа Гаудентого до сих пор остается неизвестным. Титмар Мерзебургский, пристально following за событиями в Польше, ничего не сообщает по этому вопросу. С другой стороны, трудно предположить, чтобы такой внимательный наблюдатель обошел факт смерти брата св. Войтеха и не порадовался бы конфликту ненавистного ему Болеслава с польским клиром.

---

1 «Quae plaga creditur eo tot: terrae communiter crevisse, quod Gaudentius, sancti Adalberti frater et successor, occasione qua nescio, dicitur anathemate percussisse». («Mon. Pol. Hist.», t. I, p. 416). Древняя церковная традиция считала св. Войтеха основателем гнезненской епископии (см. Wl. Abraham. Op. cit., str. 48).

2 Wl. Abraham. Op. cit., str. 84—85.

Остается предположить, что событие это произошло тогда, когда самого автора хроники уже не было в живых. Сомнения разрешаются последними главами его сочинения. В одной из них он замечает, что ему сейчас 41 год и он уже 10 лет правит епархией (27 апреля), а «днем раньше на предместье Гнезна сгорел архиепископский костел с другими, принадлежавшими ему строениями».[1] Представляется совершенно невероятным, чтобы автор, сообщая о пожаре в Гнезненском костеле, забыл упомянуть о гораздо более важном событии — смерти архиепископа Гаудентого. Кроме того, автор нигде ни разу не упоминает какого-нибудь иного имени в качестве главы польского клира. Так открывается нижняя граница, раньше которой не мог произойти разбираемый нами конфликт (1018 г.).

Помимо того, некоторым ориентиром в определении времени нам может служить следующее сообщение Козьмы Пражского, помещенное у него под 1022 г.: «In Polonia facta est persecutio christianorum»[2]. Нужно иметь в виду, что в XI в. в Праге были известны уже древнейшие польские Анналы и что ими пользовался при составлении своей хроники Козьма. В таком случае гипотеза Регеля, считавшего, что известие 1022 г. попало в сочинение Козьмы из состава польских рочников, не лишено оснований и может расцениваться как вполне правдоподобное.[3] Но и без этого достоверность сведений Козьмы остается вне всяких сомнений.

Перед нами русский источник — рассказ о Моисее Угрине, помещенный в «Патерике Киевского Печерского монастыря». Внимательный анализ этого известия показывает, что одним из источников его является рассказ польской княгини, жены Изяслава Ярославича. Особого интереса заслуживает ее протест против изгнания св. Антония: «Княгыни же его, ляховица сущи, взбрани ему глаголющи: «ни мысли, ни створи сего. Сице бо некогда створися в земли нашей. И некиа ради вины изгнани была черноризци от предел земля нашиа, и велико зло содеася в лясех».[4]

В этих словах польской княгини слышатся отзвуки той же самой традиции, которая сохранилась до нас в хронике Галла-Анонима, рассказывающей об интердикте архиепископа Гаудентого. Вместе с тем, слова ее переплетаются и подтверждают сведения древнейшей чешской хроники Козьмы о преследовании христиан в Польше. Но еще больше эта связь данных Патерика с замечанием Галла выясняется непосредственно из текста рассказа о Моисее Угрине. Здесь тоже смуты, последовавшие после смерти Болеслава, оказываются прямым следствием гонений на духовенство: «Болеслав же... вздвиже гонение велие на черноризци и изгна вся от области своеа. Бог же створи

[1] Thietm, VIII, 8.

[2] «Scr. Rer. Boh.», t. I, p. 84.

[3] В. Регель. О хронике Козьмы Пражского. СПб., 1890, стр. 33—35.

[4] «Патерик Киевского Печерского монастыря», СПб., 1911, стр. 106.

отмщение рабом своим вскоре. В едину убо нощь Болеслав напрасно умре, и бысть мятеж велик в всей лятьской земли».[1] Превращение польского клира в «черноризцев» в тексте Патерика, разумеется, не может явиться препятствием к признанию в его сообщении того же факта, о котором сообщает нам чешский источник. Превращение это легко объясняется политической и моральной тенденцией киево-печерского духовенства, находившегося в конфликте с княжеской властью.

Таким образом, для более точного определения времени конфликта между князем и церковью в Польше мы располагаем помимо 1018 г. еще одной датой: 1022 г., когда конфликт этот был в полном разгаре.

Нам остается определить верхнюю границу разбираемого нами события. Если следовать точно смыслу слов Галла и Патерика, то границу эту пришлось бы отодвинуть на период времени, значительно далеко отстоящий от 1025 г.— года смерти Болеслава Храброго. Однако этому противоречит тот факт, что именно в этом году Болеслав короновался королевской короной, не имея на то согласия ни германского императора, ни римского папы.

В условиях ожесточенной борьбы с церковью, когда на стране лежало проклятие ее главы, акт этот не мог иметь места. Все это заставляет предположить, что к 1025 г. между князем и польской иерархией был достигнут некоторый компромисс, удовлетворявший в какой-то мере обе стороны. Ошибка Галла и Патерика, которые использовали устную церковную традицию, рассматривавшую события польской истории в ретроспективном аспекте и преследовавшую морально-назидательные цели, довольно легко объяснима с этой точки зрения, тем более что при преемнике Болеслава Храброго Польша действительно была потрясена внутренними смутами.

Наши сомнения окончательно разрешаются чрезвычайно интересным сообщением Длугоша, помещенным у него как раз под 1025 г. Сведения Длугоша уже потому заслуживают серьезного внимания, что этот первый польский историк располагал для своей работы исчезнувшими теперь для нас источниками. Он рассказывает под 1025 г. о том, что Болеслав передал епископам «et praedia et castra cum pertinentiis eorum, scilicet servitutes diversorum officiorum».[2]

Заявление это полностью совпадает с сделанным нами уже выше логическим заключением о необходимости какого-то компромисса Болеслава I с церковью к 1025 г. Перед нами верхняя граница разбираемого нами события. Вместе с тем, сообщение это несколько раскрывает и материальную основу происходившего в Польше конфликта (идеологическую мы уже знаем). «Servitutes», о которых идет речь у Длугоша, представляют собой не что иное, как ленные повинности, поступающие в пользу князя.[3] В таком случае перед нами одно из

[1] Там же, стр. 105.
[2] Цит. по Bandtkie. Prawo prywatne Polskie. Warszawa, 1851, str. 56.
[3] Там же.

самых первых упоминаний о передаче в руки церкви земельных пожалований на основании jus ducale.

С другой стороны, жестокий и затяжной внутренний конфликт в Польше, может быть, в какой-то степени поможет объяснению того внезапного падения внешнеполитической активности Польского государства, которое замечается в последний период правления Болеслава Храброго.

М. М. СМИРИН

О КРЕПОСТНОМ СОСТОЯНИИ КРЕСТЬЯНСТВА И ХАРАКТЕРЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ПОВИННОСТЕЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ В XV И НАЧАЛЕ XVI в.

I

Требование отмены крепостного состояния (Leibeigenschaft) является наиболее общим требованием немецких крестьян в 1525 г. Самый факт распространенности этого института в юго-западной Германии не подлежит сомнению. Его почти никто из историков не отрицает. Один только Янсен утверждает, что крепостное состояние в смысле личной зависимости вовсе не существовало, так как масса крестьянства состояла из свободных и Hofhörigen, которых, по его мнению, нельзя считать зависимыми.[1] Вопрос о крепостном состоянии крестьянства сводится главным образом к вопросу о его характере и значении, точнее — к вопросу о характере и значении процесса усиления моментов личной крепостной зависимости в юго-западной Германии в XV и XVI вв. Реакционная немецкая историография определяет характер этого процесса как публичноправовой, как проявление тенденций к политическому объединению в мелких территориях юго-запада.[2] Историк хозяйственного развития Германии Теодор Кнапп подчеркивает средневековый феодально-реакционный характер этого процесса (Vermächtnis des Mittelalters). Однако, рассматривая экономическое значение крепостного состояния крестьянства, Кнапп считает, что тяжесть этого состояния не была значительной, несмотря на то, что личный господин крепостного (Leibherr) весьма чувствительным образом участвовал иногда в дележе его наследства. Регулярные повинности, взимавшиеся в силу крепостного состояния, имели обычно, по утверждению Кнаппа, лишь символический характер. Такая недооценка экономического значения крепостного состояния затрудняет Кнаппу объяснение причины той непримиримой борьбы, которая велась вокруг института крепостного состояния между крестьянами и знатью. Основы этой непримиримости Кнапп видит лишь в не соответствовавшем реаль-

---

[1] J. Jannsen. Geschichte des deutschen Volkes, Bd. I. Freiburg, 1883, SS. 269—270.

[2] W. Stolze. Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. («Schmoller's staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen», Bd. XVIII, Heft 4, 1900).

ным отношениям названии, которое в эпоху реформации и просвещения оскорбляло крестьян.[1]

Для выяснения публичноправового характера Leibeigenschaft важно установить роль территориальных князей (Landesherren) в этом процессе. Не подлежит сомнению, что усиление территориальной власти имело значение для распространения крепостного состояния на известные массы свободных крестьян. Об этом говорит судьба отдельных свободных крестьянских общин в Альгау, сохранивших до середины XV в. непосредственно имперское подданство. Во второй половине XV в. ряд таких свободных общин переходит из состояния имперского подданства в подданство территориальное. Свободные общины к юго-западу от г. Лойткирх («die Freien auf der leutkircher Heide») до 1486 г. подлежали юрисдикции верхнешвабского ландфогта. В 1486 г., вместе с переходом ландфогтства в наследственное владение Габсбургов, свободные сделались подданными территориальной власти австрийского дома. Такова же была участь и дер. Альтдорф (около Равенсбурга).[2]

Свободным общинам графства Эглофс посвящено специальное исследование Баумана.[3] Около середины XV в., когда за графами была закреплена территориальная власть, началась постепенная ликвидация свободного состояния крестьян. Конец XV и начало XVI в.— время постоянных крестьянских волнений на этой почве. Неоднократно такие споры разрешались имперским судом, при содействии которого заключались соглашения. Эти соглашения показывают, каким образом все больше и больше нарастала личная зависимость бывших свободных. Соглашение 1474 г. обязывает крестьян представить графу фон Монтфорт опись всех гуф или частей гуф с указанием, какими видами платежей они отягощены. Приобретенные горожанами и другими лицами права на взимание платежей крестьяне обязываются выкупить, с тем чтобы в дальнейшем не совершать никаких сделок подобного рода без разрешения графа. Дальше устанавливается посмертный побор (Todtfall) в размере 3 фунтов геллеров с мужчины и 1 фунта геллеров с женщины и указывается, какие работы жители Эглофса должны выполнять для графа. Пункт 5 соглашения предусматривает право графа штрафовать свободных за брак с Ungenossami, т. е. с лицом другого юридического состояния или другого господина. Все эти ограничения прав крестьян означают не что иное, как приближение свободных к положению крепостных. Соглашение 1524 г. говорит о дальнейших шагах в этом направлении. В нем подчеркивается право сво-

---

[1] Th. Knapp. Neue Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des würtembergischen Bauernstandes, Tübingen, 1919, S. 136.

[2] Ibid., SS. 3—5.

[3] Fr. L. Baumann. Der Alpgau, seine Grafen und freie Bauern.— «Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg», 1875. S. 68 ff.

[4] I фунт геллеров составлял в то время 120 пфеннигов, или 240 геллеров.

бодных на свободу передвижения («die freien haben freien Zug»), однако такая формула обычно делалась в отношении известных категорий крепостных. Сама постановка вопроса свидетельствует о том, что претензии графов шли дальше, т. е. что они добивались ограничений свободы ухода для так называемых «свободных» крестьян. Соглашение 1524 г. содержит также более строгие предписания против браков с Ungenossami. Хотя официальные судебные документы делают еще отличие между свободными и крепостными, фактически эта грань стиралась. Бауман приходит к выводу, что в отношении жителей Эглофса поступили так, чтобы низвести их на уровень крепостных. Ко времени крестьянской войны «свобода», которую они сохраняли, выражалась только в известном внутреннем самоуправлении.

Введение территориального подданства сопровождалось, таким образом, рядом ограничений как свободы крестьян распоряжаться землею, так и их личной свободы. Территориальный князь старается устранить влияние внешней для данной территории зависимости его подданных, заставляет крестьян ликвидировать внешнюю задолженность, не совершать никаких сделок с землей без его разрешения и, кроме того, не заключать браков с Ungenossami.

Все это низводит крестьян на уровень крепостной зависимости. О попытках представителей территориальной власти закрепить свое господство путем распространения крепостного состояния сообщают также отдельные франконские Weistümer.[1] Относящийся ко второй половине XV в. Weistum дер. Обергейм устанавливает права майнцского архиепископа и указывает, что он, как территориальный князь и курфюрст, назначает для деревни фогта, который получает 4 фунта в год крепостного побора (Leibsbede) с деревни, сколько бы крестьян ни проживало в ней. Крепостное состояние распространяется, таким образом, на всю деревню. Еще более строгие правила устанавливает Weistum франконских деревень Нейштадт и Эрлах в пользу фогта. Все крестьяне обязаны принимать участие в войнах фогта. Если кто-нибудь из них заметит, что война ведется против его личного господина, то он вправе прекратить свое участие в ней, но зато фогт вправе согнать его с земли. Всякий вновь поселившийся в Нейштадте и Эрлахе делается крепостным после одного года и одного дня, если в течение этого времени никакой другой Leibherr не предъявлял своих прав на него. Указывается, что в дер. Нейштадт нет свободных хозяйств, за исключением семи господских. Этот Weistum отражает, таким образом, стремление фогта закрепить в свою пользу крепостное состояние всех подданных и ликвидировать их зависимость от других господ.[2]

Из того факта, что в распространении крепостного состояния известную роль сыграло усиление территориальной власти, не следует, од-

---

[1] Weistümer — записи обычного права, судебных постановлений и распоряжений сеньера. Они изданы в 6 томах Я. Гриммом. Göttingen, 1840.

[2] J. Grimm. Weistümer, Bd. VI, S. 51.

нако, что мы имеем здесь дело с публичноправовым институтом. Соглашения эглофсовских графов со своими крестьянами, обязывающие последних представить опись земельных участков и ограничивающие их права продавать ренту и брать ссуду, показывают, что графы добивались в отношении крестьян и сеньериальных прав, которые они в данном случае получали. О том же говорит и приведенный Weistum из Нейштадта и Эрлаха, из которого видно, что фогт обосновывал свои права не моментами публичноправового порядка, а тем, что в дер. Нейштадт нет свободных хозяйств («das zu Neustat kein guet frey sei»). Связь усиления крепостного состояния с упрочением территориальной власти свидетельствует лишь о том, что представители территориальной власти старались использовать институт крепостной зависимости крестьян, но не определяет ни характера самого института, ни процесса его усиления. Известно, что не только территориальные князья, но и обладатели судебной власти (Gerichtsherren) и сеньеры (Grundherren) [1] прибегали к распространению крепостного состояния на всех своих людей, что это, следовательно, являлось общей тактикой всех господ. Теодор Кнапп относит юго-западную Германию к районам локального крепостного состояния (Lokalleibeigenschaft), т. е. к районам, где существовала автоматическая связь крепостного состояния с состоянием подданства обладателю судебной власти (Gerichtsherr), и к районам реального крепостного состояния (Realleibeigenschaft), т. е. к районам, где существовала такая же автоматическая связь крепостного состояния с состоянием подчинения сеньеру. Монастырь С.-Петер установил для принадлежавшей ему дер. Шварцах, что всякий чужой человек, поселившийся во владениях монастыря, после одного года и одного дня обязан выполнять все повинности наряду с другими «людьми монастыря», а его дети считаются уже крепостными лишь потому, что они родились здесь. [2] Монастырь С.-Блазиен в Weistum для дер. Штейнен устанавливает, что брак свободной женщины с крепостным лишает ее свободного состояния, а дети от такого брака являются крепостными монастыря. [3] Это постановление нарушает старое правило о том, что дети от неравных браков приравниваются к состоянию свободного родителя («der pessern hande nach») или же к состоянию матери. Weistum дер. Ингерсгейм устанавливает для всех вновь прибывших присягу верности, в которой наряду с другими обязательствами личного характера дается также обязательство оставаться верными, как крепостные. [4]

---

[1] Термин «сеньер» не вполне точно передает значение немецкого термина «Grundherr» в отношении юго-западной Германии XV—XVI вв. Тем не менее им можно пользоваться условно.

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, § 424: «...und was er für Kinder überkomet, dwil er in Sanct-Peters gericht sitzt, die sollen des Klosters libeigen sin».

[3] Ibid., Bd. IX, S. 485.

[4] Ibid., S. 525: «...und mit der Sicherherheit, der hpeigenschaft nit adzusteen».

Таким образом, для всех господ (территориальных князей, обладателей судебной власти и сеньеров) характерно стремление закрепить за собой — наряду с их основными правами и привилегиями — также крепостное состояние своих подданных. О той настойчивости, с какой проводилась эта тактика, говорят материалы Кемптенского аббатства. Во время разбирательства спорных вопросов между аббатами и крестьянами в г. Гюнцбурге 14 января 1525 г. крестьяне представили арбитрам список из 1200 человек, насильственно превращенных за последние годы из свободных чиншевиков в крепостных.[1] Из протокола гюнцбургского разбирательства видно, что неудачный исход переговоров являлся результатом непримиримости обеих сторон в вопросе о крепостном состоянии. Никакими доводами арбитры не могли добиться у крестьян уступчивости в этом вопросе. Отмену незаконных превращений свободных в крепостных крестьяне выдвигали как предварительное условие всякого дальнейшего продолжения переговоров. Из объяснений, данных кемптенскими крестьянами перед Швабским союзом в ответ на обвинения со стороны аббата, мы узнаем, что волнения на почве таких незаконных превращений имели место неоднократно. После подобных волнений в 1492 г. крестьяне пришли к соглашению с аббатом о закреплении за каждым из них его настоящего положения. Однако соглашение 1492 г. нарушалось со стороны аббатов, которые продолжали превращать свободных в состояние чиншевиков, а чиншевиков — в крепостных.[2]

Что же лежало в основе такой настойчивости и непримиримой борьбы?

Мы уже указывали, что Теодор Кнапп объясняет непримиримый характер борьбы вокруг института крепостной зависимости самим нaзванием, которое воспринималось крестьянами как оскорбление их человеческого достоинства. Находя этот аргумент недостаточным, мы для разрешения вопроса остановимся на экономических результатах крепостного состояния. Можно согласиться с Кнаппом, что регулярные платежи в силу крепостного состояния не имели большого значения. Как видно из ряда жалоб (Beschwerden) и других источников, эти платежи часто сводились к Leibhühner или к другим незначительным взносам, имевшим главным образом символическое значение как подтверждение самого факта крепостного состояния. В полемике Салемского монастыря с представителями его крестьян характерен спор по поводу так называемой Fastnachthuhn. Крестьяне не отказываются давать курицу, но не в качестве крепостных (Eigenleute), а в качестве

[1] Fr. L. Baumann. Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben, № 62b, S. 80, Freiburg im Breisgau, 1877: «das in kurzen vergangen jahren bey den zwelfhundert mentschen, die vormals... frey zinser... gewesen, ietzo alle sich zu aigen ergeben miessen, hette etliche durch andere beschwerliche Weg darzue und zu der aigenschaft getrieben».

[2] Ibid., № 401, SS. 336—337.

монастырских подданных (Gotteshausleute). Дело, таким образом, не в самом взносе, а в его основе. Кроме кур, крепостные в ряде мест давали еще Leibsbede или Weiset, размеры которых были различны. Weistum швабской деревни Вейлер[1] не определяет размеров Weiset, но указывает, что этот платеж дается для подтверждения прав мейера на побор с наследства. За Weiset признается, таким образом, лишь символическое значение. Приведенный выше Weistum франконской деревни Обергейм устанавливает размер Leibsbede для всей деревни в 4 фунта, независимо от числа крестьян, но из дальнейшего текста (§ 7—8) этого Weistum мы узнаем, что Bodenzins в размере 7 фунтов взимается с 18 гуф. Если считать, что 4 фунта распределялись между 18 гуфами (вся эта деревня считалась крепостной), то на каждое хозяйство приходится 4 шиллинга 2⅔ пфенига. Такая сумма, правда, не очень велика, но известное материальное значение имеет. Представление о размере ежегодных платежей крепостных можно получить из данных о продаже крепостных (точнее, о продаже прав на крепостных), имеющихся в опубликованных материалах Констанцского архива. Для первой половины XIV в. преобладает сумма в 2—3 фунта. Во второй половине XIV в. и в начале XV в. продажная цена заметно возрастает до 7 и 14 фунтов, хотя попадаются также случаи продажи за 4 фунта. Из материалов Баденской исторической комиссии мы узнаем, что всякого рода Gülten продавались за сумму, двадцатикратную по отношению к ежегодным доходам от них. Таким образом, в приведенных случаях продажи прав на доходы от крепостных следует принять, что этот доход составлял столько же шиллингов, за сколько фунтов он продавался, т. е. что в начале XV в. он колебался в своих размерах, но доходил до 14 шиллингов в год. Такая сумма уже никак не может быть признана имеющей только символическое значение.

Необходимо далее признать, что экономическое значение крепостного состояния в юго-западной Германии не исчерпывалось размерами ежегодных платежей. Большое значение имели повинности, которые были с ним связаны, а главное — общее правовое положение крепостных, имевшее большое значение и для их хозяйственного положения. О том, что с крепостным состоянием связаны были особые обязанности, говорят прежде всего документы об отдаче в крепостные от 1478 и 1512 гг., приводимые самим Теодором Кнаппом, из дер. Гаунсгейм. Отдающиеся обязываются выполнять все повинности, которые выполняются другими крепостными.[2]

В переговорах комиссаров эрцгерцога Фердинанда с альгауцами последние заявили, что они не хотят быть больше крепостными и вы-

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, S. 307.

[2] Th. Knapp. Gesammelte Beiträge zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des deutschen Bauernstandes, Tübingen, 1902, SS. 342—350: «...und alles das tun und pflichtig sein sollen und wollen in all sachen als inen anders ir leibaigen leut. zu Haunsheim gehörende schuldig sind zu tund».

полнять специальную барщину, связанную с крепостным состоянием.[1] Из Weistum франконской деревни Гельмштат (около Вюрцбурга) также следует, что повинности для крепостных были тяжелее, чем для свободных. Об одном держании в этой деревне говорится, что оно свободно; но если держатель захочет пользоваться водой и лугом, то должен выполнять все повинности, которые выполняют крепостные.[2]

Все эти примеры, взятые из разных источников, показывают, что у крепостных было больше общих обязанностей, чем у свободных. Еще более характерна жалоба штюллингенских крестьян, содержащаяся в статье 59, посвященной крепостному состоянию. «По праву,— говорится там,— все рождаются свободными. Мы же из-за долгов [наших предков и наших собственников] оказались крепостными. Наши же господа поступают с нами, как с рожденными рабами, заставляют нас делать для них все, что они прикажут (das wir inen als thun sollen, was sy uns heissen, als weren wir geporn Knecht), а со временем дойдет до того, что они нас начнут продавать. Просим освободить нас от крепостного состояния. Как верные подданные, мы будем делать для наших господ все, что полагается с давних пор (von alters here).[3]

Мы видим, что в данном случае жалоба направлена не только против самого института крепостного состояния, но и против того содержания, которое вкладывалось в это понятие практикой графов фон Лупфен, заставлявших крестьян делать для них «все, что прикажут». Крестьяне считают, что освобождение их от крепостного состояния не освободит их от повинностей, но введет их повинности в норму. Значение, которое имело здесь крепостное состояние крестьян, станет более ощутимым, если с этой статьей 59 сравнить статью 24-ю штюллингенцев, посвященную барщине. Эта статья, приведенная ниже, свидетельствует о наличии таких форм барщины, при которых крестьяне обязаны были выполнять всякие работы, другими словами — барщина не была здесь ограничена определенным количеством дней. Очевидно, что, заявляя в статье 59 о том, что они в силу крепостного состояния обязаны делать все, что прикажут, крестьяне имеют в виду ту тяжелую форму барщины, единственными пределами которой являются нужды замка, о чем подробно говорится в статье 24. Крепостное состояние являлось, таким образом, основанием для усиления барщины.

Еще большее значение имели права личных господ в отношении имущества крепостных. В западной Германии существовало старое правило, что всякое имущество, приобретаемое крепостным, приобре-

---

[1] Fr. L. Baumann. Akten, № 283, § 3, S. 274: «...nit mer leibaygen, wie bisher zu sein, auch aller beschwerd und frondienst wie die ymmer gennant und bisher furgenommen und gebraucht werden sein, darzu man unss der leibaygenschaft halben... getrungen».

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, S. 76, § 2: «So sol er tun alz ein andir unsis heren von Weriheim armer man da gesessen, der sin aigen ist an bete, an stüre, an anzüge, an dienste, nicht uszgenommen».

[3] Fr. L. Baumann. Akten, SS. 206—207.

тается им для своего личного господина. Как показывает Кнапп, пережитками этого правила в XVI в. являлись права личных господ на участие в наследстве крепостных.[1] Ниже мы увидим, что лучшая голова скота с крепостных взималась более строго. Кроме лучшей головы личный господин брал с крепостных значительную часть движимого имущества, а в некоторых случаях — все движимое имущество.[2] Weistum второй половины XV в. дер. Овинген в Линцгау устанавливает для свободных чиншевиков обычный Besthaupt, а для крепостных, которым посвящено большинство параграфов, предусматривается посмертный побор из лучшей головы скота, лучшего оружия и, кроме того, третьей части наследства. Имущество бездетных вдовцов и вдов, имущество холостяков и незамужних после смерти владельцев переходит полностью к монастырю С.-Георген. Аналогичные правила устанавливаются и для деревень Салемского монастыря. После смерти крепостного и его жены представитель монастыря забирает все движимое имущество; детям и близким родственникам, если таковые имеются, остается только недвижимость. В том же акте указывается еще ряд случаев неравных браков, т. е. браков между крепостными и Ungenossami. В § 37 приводится конкретный случай от 1380 г. раздела наследства, оставленного лицом, женившимся на Ungenossami; приводится опись всего имущества, состоящая из 23 названий, начиная с мелких вещей домашнего обихода и кончая 12 юхартами засеянного поля.

Значение крепостного состояния в этом отношении особенно ярко отражено в материалах Кемптенского аббатства. Статья 6 жалобы кемптенских крестьян посвящена разделу наследства. Представитель монастыря является сейчас же после смерти крепостного и, невзирая на бедность и оставленных детей, забирает половину описанного имущества, а в некоторых случаях — больше. В статье 8, где содержится жалоба на посмертный побор с некрепостных, речь идет только о лучшей голове скота или лучшем платье. Мы видим, таким образом, и здесь, что в отношении крепостных посмертный побор заключался не в лучшей единице наследства, а в дележе всего наследства. Этим обстоятельством, наряду с другими моментами, вызвана непримиримость крестьян этого монастыря в вопросе о крепостном состоянии. В статье 6 они указывают, что практика дележа наследства введена 60—70 лет назад и что она связана с массовыми насильственными превращениями свободных в крепостных. Требуя отмены системы дележа, крестьяне указывают, что в положение крепостных они попали насильственным путем. Борьба вокруг крепостного состояния состав-

---

[1] Th. Knapp. Gesammelte Beiträge, SS. 349—350; Neue Beiträge, SS. 130 ff.

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 361; «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 1925, Heft 2 — Jahrbrief, §§ 9, 31—33, 37, Weistum Owingen (Linzgau) (в дальн. цит. ZOR).

ляет, таким образом, один из моментов борьбы за право собственности на крестьянское имущество. Характерно в этом отношении возражение аббата на статью 4, посвященную крепостному праву. Наряду с другими аргументами, на которых мы остановимся ниже, аббат указывает также на то, что он не может допускать браков с Ungenossami, потому что с личной зависимостью связано также известное отношение личного господина к хозяйству крепостного.

Кнапп считает претензии личных господ на наследство крепостных пережитком старого времени. Но приведенные здесь факты из практики Кемптенского аббатства показывают, что мы имеем дело не только с пережитком старого «вестфальского обычая», но и с попыткой его восстановления. Лет за 60—70 до крестьянской войны, т. е. во второй половине XV в., в практику входит тяжелая форма дележа наследства, и с этой целью производятся массовые переводы свободных в крепостное состояние.

Из других пунктов жалобы кемптенских крестьян, а также из других материалов мы видим, что это восстановление «вестфальского обычая» касалось не только наследства, но в известной мере также имущества крепостного при его жизни. В одном Weistum XV в. Иберлингенского монастыря приводится текст формулы верности для тех крестьян, в отношении которых монастырь является и сеньером, и личным господином, и отдельно для тех, которые имеют особых личных господ.[1] Общим для обеих категорий является обещание всячески заботиться о пользе монастыря, защищать его от возможных убытков («seinen schaden zu warnen») и подчиняться его распоряжениям («gebot und verbot gehorsam zu seind»). Кроме этих общих пунктов крепостные должны обещать: «ir lïb und guet in dehainen weg zuo verendren, noch zuo beschweren oune gunst, wissen und willen des gotshus pflegers und spitalmeisters». Имущество крепостных, таким образом, подлежало контролю личных господ и при жизни. Крепостной должен был обещать не только не продавать, но и вообще не заключать никаких сделок под залог имущества без разрешения.

В других Weistümer мы находим отражение такого же подхода к имуществу и хозяйству крепостного, в отношении которого сеньер имеет больше прав, чем в отношении некрепостного. Баварский Weistum монастыря Альтенмюнстер устанавливает особый платеж в пользу аббатисы за Landschuld, т. е. за помилование преступника. Если преступник, в пользу которого было дано помилование, был крепостным, то он отдает весь годовой доход от хозяйства.[2] С некрепостных берется платеж в зависимости от характера дела.[3]

Здесь перед нами различные принципиальные отношения к крепо-

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. V, SS. 216—217.

[2] Ibid., Bd. VI, S. 192: «sol einer abtessin geben so vil landschul als das güt ain jar ertragen mag».

[3] Ibid.: «Von den andern mag si nemen nach gelegenheit der sach».

стному, который расплачивается за акт помилования всем своим годовым доходом, независимо от значения дела, и к некрепостному, который платит за милость в зависимости от ее значения. Претензии на весь доход от хозяйства, независимо от его размеров и характера оказанной милости, отражают особое отношение к имуществу крепостного. Если с этими данными сопоставить факты об общем стремлении сеньеров к увеличению своих прав на землю,[1] то перед нами выступит то значение, которое имело здесь крепостное состояние. Оно подводило под подобные стремления сеньеров «законное» основание. Сеньеры хотели сделать крепостное состояние общим для всех своих крестьян, чтобы применять к их имуществу и хозяйству права, существовавшие в отношении имущества крепостных. Weistum монастыря Тургауптен, о котором речь будет ниже, заслуживает внимания и по данному вопросу. § 5 этого Weistum устанавливает право монастыря налагать на всех крестьян, являющихся его держателями, особый платеж для покрытия его (монастыря) задолженности. При этом норма для каждого держателя определяется формулой: «iederman nach sein statten, dasz er wol ertragen mag», т. е. той же формулой, которую Альтенмюнстерский монастырь применял только к крепостным и в основе которой лежит принцип о правах личного господина на весь доход крепостного.[2]

Были ли крестьяне Тиргауптенского монастыря крепостными, остается неизвестным. Из текста видно только, что монастырь объединял в своих руках Grundherrschaft и Gerichtsherrschaft. Но характерно, что Weistum называет всех крестьян «бедными людьми» монастыря («sein armleut») и для всех устанавливает худшие условия держания. Кроме права привлечения крестьян к участию в платежах по монастырским долгам, монастырь сохраняет за собой право сгона любого держателя и замены его другим по собственному усмотрению. Это дает основание предполагать, что монастырь рассматривал всех крестьян как крепостных. Во всяком случае совершенно очевидно, что он был в этом экономически заинтересован, так как это облегчало ему привлечение всех крестьян к участию всеми их доходами в платежах по задолженности монастыря и ухудшение их права владения.

Из приведенного материала следует, что основное значение крепостного состояния заключалось не в тех регулярных повинностях, которые были непосредственно связаны с этим состоянием, а в том, что оно служило основанием для расширения сеньериальных прав на землю и имущество крестьян и давало возможность повышать их повинности. Этому крепостническому основанию соответствовал, как увидим ниже, самый характер крестьянских повинностей. Право личного господина имело поэтому особое значение не в изолированном состоянии, а в со-

---

[1] См. нашу статью «Борьба за землю в юго-западной Германии в XV и нач. XVI в.», «Исторические записки», т. IV.

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, S. 198.

единении с сеньериальными и судебными правами. Этим объясняется различное отношение к институту крепостного состояния, которое мы наблюдаем в различных документах. С одной стороны, в документах о так называемой «продаже» крепостных ценность каждого определяется его регулярными повинностями, которые обыкновенно не были велики; с другой же стороны мы видим, что вокруг института крепостного состояния разгорается ожесточенная борьба, явившаяся одной из основных причин крестьянской войны.

В свете приведенных материалов причина такого различного отношения представляется таким образом, что в одних случаях мы имеем дело с изолированным крепостным состоянием, а в других — с крепостным состоянием в сочетании с сеньериальными и судебными правами господ, когда оно могло являться основанием для усиления общего сеньериального гнета. Поэтому мы наблюдаем по источникам, что борьба против института крепостной зависимости ведется главным образом между крестьянами и Grundherren, что именно Grundherren и обладатели судебных прав, а не чистые Leibherren, добиваются закрепления за ними личного господства над их крестьянами. Этим объясняется также борьба господ против всякой внешней для данной сеньерии зависимости крестьян, борьба, нашедшая особо яркое выражение в строгих штрафах за браки крепостных не только со свободными, но и с крепостными других господ. Аргументация Кемптенского аббата интересна и в этом отношении.

Первые четыре пункта жалобы кемптенских крестьян посвящены вопросам, связанным с крепостным состоянием. Аббат дает на них общий ответ, смысл которого сводится к тому, что с крепостным состоянием крестьян связан ряд прав для кемптенских аббатов. Если чиншевики попадали в крепостные, то это происходило, по утверждению аббата, добровольно с их стороны. К этому прибегали сами чиншевики, с одной стороны во избежание штрафов за Ungenossami, а с другой — чтобы получать наследство после смерти крепостной супруги, так как, согласно альгаускому обычаю, это право предоставлялось только в том случае, если муж сам являлся крепостным. Этим обстоятельством аббат аргументирует необходимость запрещения браков с крепостными других господ. Альгауский обычай, говорится в ответе, предусматривает, что личный господин осуществляет в отношении личности крепостного и его имущества право суда и, таким образом, фактически контролирует имущество крепостного.[1] Если разрешать брак с крепостными других господ, то имущество, находящееся сейчас под влиянием юрисдикции и контроля кемптенских аббатов, будет переходить путем посмертных поборов и наследования под юрисдикцию и контроль других господ; Кемптенское же аббатство потеряет

[1] Fr. L. Baumann. Akten, № 62, S. 59.

все свои судебные права и в отношении людей и имущества.[1] Поэтому, говорится далее в ответе, не только в Кемптенском аббатстве, но и у других господ существуют такие строгие правила запрещения свободных браков с Ungenossami.

Кемптенский аббат совершенно определенно подчеркивает, что крепостное состояние имеет для него значение главным образом постольку, поскольку оно усиливает его право суда и права сеньера. Потеря прав личного господина лишает его в известных случаях судебных прав, а этими последними он пользуется для фактического подчинения себе хозяйства и имущества крестьян. В данном случае имеется ссылка на распространенность этих порядков по всему Альгау, но, как мы уже видели, особые претензии господ на имущественные права крепостных характерны не только для Альгау. В одном пфальцском Weistum от 1568 г. предписывается всем крепостным других личных господ оформлять все свои имущественные дела прежде всего у Dorfsherr данной деревни и лишь затем, с разрешения последнего, подтверждать их у личного господина.[2] Если требуется особая оговорка о судебных правах Dorfsherr и фогта, то, очевидно, и здесь был распространен взгляд на связь прав личного господина с правом всякого имущественного контроля. Энергия кемптенского аббата по переводу всех своих крестьян в крепостное состояние объясняется его стремлением к сокращению сроков держания и к ухудшению для крестьян самих условий держания.

Таким образом, главное значение личной крепостной зависимости в изучаемое время заключалось в том, что она являлась основой для усиления общего отягощения крестьян по таким разделам аграрных отношений, которые связаны с Grundherrschaft и Gerichtsherrschaft. В следующей части статьи мы увидим, какое значение имела крепостная зависимость крестьян для всей системы крестьянских повинностей

II

Изучение системы денежных и натуральных повинностей крестьянства важно не только для разрешения вопроса о положении крестьян, но и для выяснения самого характера аграрных отношений. Анализ крестьянских повинностей поможет нам установить характер общих устремлений сеньеров в отношении крестьян и выяснить, в какой степени мы можем утверждать о нарастании процесса сеньериальной реакции перед крестьянской войной.

Первый вопрос, с которого следует начинать изучение системы по-

---

[1] Fr. L. Baumann. Akten, SS. 59—60: «...komen dieselbigen guter durch die erbschaft und todsfäll in ander herren gewaltsam und dem, der die yewelten mit der oberkait und nutzung, wie obstet, gehapt, genossen und gepraucht hat, entlich entzogen... dann dadurch kämen die oberkaiten umb gericht, leut und güter».

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. V, S. 570.

винностей, это вопрос о взаимоотношении различных элементов Herrschaft в юго-западной Германии, в частности Grundherrschaft и Gerichtsherrschaft, затем — в каком отношении друг к другу находились повинности, связанные с сеньериальной зависимостью, и повинности, вытекающие из зависимости от обладателя судебных прав.

Без выяснения этих вопросов нельзя понять природу самих повинностей. Так, например, ряд историков, в частности Георг фон Белов,[1] утверждает, что повинности, вызвавшие в конце XV и начале XVI в. недовольство крестьян, были связаны не с сеньериальными отношениями, а с судебной зависимостью, что, таким образом, борьба крестьян вытекала не из аграрных отношений, а из моментов публично-правового характера, из несовершенства государственной системы Германии. С другой стороны, Маргарета Бош утверждает, что наиболее ненавистные повинности носили в основном сеньериальный характер. Однако причину, определявшую феодальный характер главных повинностей, Бош видит в отрыве судебных прав от сеньериальных, характерном, по ее мнению, для юго-западной Германии. Сеньеры сами по себе стремились, по мнению Бош, к превращению крестьянских держаний в срочную аренду капиталистического типа, но им мешали в этом отношении представители княжеской и судебной власти. Именно поэтому, утверждает Бош, юго-западные районы сделались очагом крестьянской войны.[2]

Посмотрим прежде всего, действительно ли для юго-западной Германии характерно отделение судебных прав от сеньериальных и существовала ли вообще резкая грань между повинностями того и другого порядка; точнее, можно ли утверждать о наличии различных тенденций в развитии обеих указанных категорий крестьянских повинностей?

Если за разрешением этого вопроса обратиться к Weistümer, то не трудно заметить различие между Weistümer Шварцвальда и Швабии. Подавляющее большинство шварцвальдских Weistümer (тт. I и IV издания Гримма) обнаруживает фактическое совпадение в одном лице функций сеньера и обладателя судебных прав.

Центром сеньериального управления для известного района являлся Dinghof, в котором сеньер или, от его имени, мейер, занимавший данный Dinghof, производил суд по всем делам, кроме дел об убийстве. Правда, ряд Weistümer предусматривает участие в судебных делах фогта, но, во-первых, шварцвальдские Weistümer рассматривают функции фогта в сеньериальном суде как чисто полицейские, для применения силы, если потребуется. Во-вторых, в ряде случаев самый выбор

[1] Georg v. Below. Probleme der Wirtschaftsgeschichte. Tübingen, 1920, SS. 75—76.

[2] Marg. Bosch. Die wirtschaftlichen Bedingungen der Befreiung des Bauernstandes im Herzogtum Kleve und in der Grafschaft Mark im Rahmen der Agrargeschichte Westdeutschlands, Stuttgart, 1920, SS. 225—226, 228—230.

фогта зависел от сеньера.[1] Функции суда фогта были строго ограничены. Дела, касавшиеся земельных отношений, решались сеньером, который объединял в своем лице также и судебную власть. Сами шварцвальдские Weistümer отражают это переплетение функций тем, что уделяют большое внимание поземельным отношениям и другим хозяйственным вопросам. Характерно также и то, что дни, установленные для суда, являлись во многих случаях также днями взноса сеньериальных повинностей.[2] Что же касается швабских Weistümer (см. изд. Гримма т. VI), то сразу обращает на себя внимание то обстоятельство, что их интерес к поземельным вопросам значительно слабее, что главная забота их авторов сводится к детальному перечислению судебных пошлин и вообще доходов публичноправового порядка. В некоторых имеется и прямое указание на наличие Dorfsherren отдельно от сеньеров.[3]

На основании Weistümer можно было бы, таким образом, сделать вывод, что разрыв между публичным и частным правом характерен во всяком случае не для всей юго-западной Германии, а только для Швабии. Но такой вывод в категорической форме для Швабии был бы неверен. Маурер утверждает, что сеньеры присваивали себе повсюду публичноправовые функции.[4] Бауман в вышецитированной статье об альгауском крестьянстве пишет, что до XV в. функции суда сеньера не выходили за рамки сеньериальных отношений (Fronhofgerichtsbarkeit). Такие узкие рамки для сеньериального суда существовали, по мнению Баумана, только в Альгау, где сохранялись в некоторых местах категории свободных крестьян (Die Freien). Начиная же с XV в. упадок свободных связан с расширением функций сеньериального суда в сторону охвата круга дел публичноправового характера. Инама-Штернегг говорит о происходившем во всей юго-западной Германии процессе усиления публичноправовых функций сеньеров.[5] Сопоставление Weistümer с материалами, сообщаемыми Инама-Штернеггом и Бауманом, показывает, что в этом отношении не было одинаковых условий во всей юго-западной Германии, но что всюду нарастал процесс взаимного переплетения господских функций разных категорий. Нельзя поэтому утверждать о наличии такого разрыва между ними, который мешал бы сеньерам повышать регулярные платежи. Характерно, что больше всего жалоб на увеличение регулярных сеньериальных платежей имеется как раз по Верхней Швабии, где процесс переплетения сеньериальных и судебных прав не успел к началу XVI в.

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 358.

[2] Ibid., S. 843.

[3] См., например, Weistum из Гунсгейм (ibid., Bd. VI, S. 239).

[4] G. L. Maurer. Geschichte der Fronhofe der Bauernhöfe der Hofverfassung in Deutschland, Bd. IV, Erlangen, 1863, § 651, SS. 84—88, § 653, SS. 92—94.

[5] K. Th. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. III, Theil 1. Leipzig, 1901, SS. 180 u. a.

зайти так далеко, как в Шварцвальде. С другой стороны, если обратимся к жалобам Шварцвальда, то увидим, что наличие в руках сеньеров судебной власти использовалось ими вовсе не для того, чтобы увеличивать повинности «вещного» характера за счет повинностей, связанных с личной зависимостью крестьянина, как утверждает Маргарета Бош. Наоборот, шварцвальдские жалобы содержат больше всего нареканий на рост так называемых «случайных» повинностей и вообще на усиление личной зависимости.

Все это приводит нас к заключению о невозможности противопоставления тенденций развития Grundherrschaft и Gerichtsherrschaft в вопросах, касающихся характера аграрных отношений. Там, где функции обоих совпадали в одном лице, крестьянские повинности оставались разнообразными и настолько же связанными с моментами личной зависимости, что говорить о какой бы то ни было тенденции использовать судебную власть для унификации повинностей и приведения их к единой «реальной» арендной плате вовсе не приходится. Первое, что характерно для самой системы повинностей, это большое место, которое занимали в ней повинности, связанные с переменой владельца и сводившиеся к присвоению значительной части движимого имущества. При смерти владельца чаще всего присваивалась лучшая голова скота (Besthaupt) и уплачивался Erschatz, означавший в этом случае плату за допуск к наследству. При продаже плата за допуск взималась в двойном размере, так как ее уплачивал и тот, кто продавал, и тот, кто получал. Однако повинности, связанные с переменой владельца, не всегда ограничивались лучшей головой и платой за допуск. Весьма распространенным в юго-западной Германии был обычай, по которому сеньер в таких случаях забирал третью часть всего движимого имущества (Dritteiligkeit). Конкретные случаи применения этой практики будут разобраны ниже. Эти повинности, т. е. плата за допуск и посмертный побор (последний в виде Besthaupt или Dritteiligkeit), составляют главное звено случайных повинностей. Доходам из этого источника, наряду с доходами от судебных пошлин и штрафов, Weistümer уделяют особое внимание. Ряд Weistümer, как, например, деревень Узинген [1] и Шварцах, [2] почти вовсе не касаются регулярных ежегодных повинностей и все свое внимание уделяют случайным повинностям, а отчасти также баналитетам. Некоторые другие Weistümer, уделяя главное внимание случайным повинностям, касаются также и ежегодного ценза, но определяют его размеры незначительной суммой. Примером может служить Weistum дер. Вальдау. [3] Этот Weistum устанавливает, что каждое крестьянское держание, относящееся к вальдаускому Dinghof, дает ежегодно 4 шиллинга ценза в день св. Мартина. Затем говорится о платеже фогту, который судит по де-

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, SS. 407—408.
[2] Ibid., SS. 424—425.
[3] Ibid., S. 358.

лам «крови». Вся остальная часть Weistum посвящена судебным пошлинам, штрафам и порядку взимания посмертного побора. Weistum дер. Лэсбург[1] относится очень строго к цензу и предусматривает возможность лишения держания за неуплату в срок. Однако этот Weistum, не устанавливающий самих размеров ценза, содержит очень обстоятельные и подробные предписания относительно посмертных платежей. Вообще Weistum уделяет много внимания вопросу о дроблении хозяйств, но определенно чувствуется, что главный его интерес к этому вопросу сводится к обеспечению посмертного побора от каждой единицы, на которую дробится данное владение. Характерен также пункт о том, что при обратном воссоединении частей хозяйства в одно целое восстанавливается также единый посмертный побор вопреки требованиям господ. Эта последняя оговорка свидетельствует о спорах, происходивших на этой почве между крестьянами и сеньерами.

Таким образом, во всех приведенных случаях преобладают повинности, связанные с переменой владельца и выражающиеся главным образом в присвоении части движимого имущества. В большинстве же Weistümer значительное внимание уделяется также цензу и другим видам регулярных платежей, но и в них категория «случайных» повинностей особенно подробно регламентируется и составляет предмет особой заботы. Швабский Weistum дер. Вейлер (район г. Ландау) устанавливает (§ 59) специальные платежи, которые должны служить доказательством прав мейера на посмертный побор.[2] Дальше (§ 61) говорится о том, что всякий акт о перемене владельца должен оформляться в Dinghof, чтобы мейер имел возможность установить и для нового владельца эти платежи (т. е. Weiset и Notzeins). Weistum допускает ведение некоторыми крестьянами своих хозяйств на коллективных началах,[3] но только при условии их проживания в разных местах деревни, чтобы с каждого двора сохранялся посмертный побор в виде лучшей головы. Характерен также Weistum дер. Оберэкинген, принадлежавшей монастырю С.-Блазиен, указывающий, что лучшая голова берется и в том случае, когда она за долги поставлена в положение Halbviech, т. е. когда она наполовину заложена. В этом случае кредитор получает только третью часть своей доли у пробста монастыря.[4] Такая забота сеньеров о своих правах на часть движимого имущества проявляется и в целом ряде других Weistümer.

На тяжесть этого рода повинностей указывают многочисленные жалобы крестьян. Факт увеличения числа жалоб в указанный период

[1] Ibid., SS. 389—395.

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd., VI, SS. 300—308: «... das niemant hofguet inhaben, oder besitzen soll, er gebe dann weiset und notzeins der maierherr seine väl nit verliere».

[3] Ibid., § 63: «...mogend wir hoflüt alles unser gut wol zusamen werfen und ain recht gemaind mit ainandern halten zu gewin und zu verlust».

[4] Ibid., Bd. I, S. 306.

признает даже Штольце. Однако Штольце, как и Янсен, считает, что при всей своей тяжести посмертный побор не составлял больше 5%, что, следовательно, эта повинность не была очень обременительной для крестьянского хозяйства. Однако доступные нам источники говорят о том, что невозможно установить в процентном отношении размер и значение посмертного побора. Определенное указание мы имеем только в отношении владений монастыря Оксенгаузен. В жалобе оксенгаузенских крестьян, правда, говорится, что побор с наследства брался в размере 5%, но тут же указывается, что плата за допуск (Erschatz), которая бралась сверх побора с наследства, составляла 10%. Всего наследники отдавали, таким образом, 15%. Такую же долю отдавали стороны при продаже хозяйства.[1] Крестьяне дер. Лангенаринген определяют размеры этой повинности не в процентах, а в абсолютных цифрах, указывая, что она доходит до внушительной суммы в 40—50 гульденов.[2] Оба приведенных примера характеризуют положение там, где эта повинность применялась в денежной форме. В большинстве же случаев, когда взималась лучшая голова, тяжесть этого побора вовсе не поддается учету в процентах. Можно прямо сказать, что бедные хозяйства, которые лишались единственной коровы, в большинстве случаев разорялись. В этом отношении характерно письмо совета г. Фрейбурга Иоаннитскому ордену, в котором содержится ходатайство о том, чтобы орден не брал лучшей головы у вдовы казненного члена «Башмака» — Конрада Брюна, указывая, что у этой несчастной женщины 5 человек детей и всего только одна корова.[3]

Какова же природа повинностей, связанных со случаями перемены владельцев? Теодор Кнапп доказывает, что платеж лучшей головы имел три источника: право со стороны личного господина, со стороны сеньера и со стороны обладателя правом суда. В материалах изучаемых нами районов приводятся случаи, когда посмертный побор брался не одним, а двумя, иногда и тремя господами.[4] Крестьяне дер. Унадинген (около Штюлингена) заявляют, что они отягощены больше своих соседей, так как после смерти одного из них сеньер берет лучшую голову скота, а фогт — лучшее платье и оружие покойного.[5] Примером может служить также дер. Вейлер. Эта деревня находилась в ведении министериалов г. Фрейбурга, но права личного господина остались за монастырем С.-Петра. Weistum определяет, что в случае смерти крепостного крестьянина этой деревни монастырь берет посмертный побор, в силу своих прав личного господина («so hat die eigenschaft das fürbracht, das sy vervallen von dem lib»). Прежде всего Fall берет

[1] Die Correspondenz der schwablischen Bundeshauptsmanns Urlich Artzt, hrsg. v. W. Vogt, Augsburg, 1885, № 891.
[2] Fr. L. Baumann. Akten, № 167.
[3] A. Rosenkranz. Der Bundschuh. Bd. II (Quellen), Heidelberg, 1927, S. 207.
[4] Th. Knapp. Neue Beiträge..., SS. 130—132.
[5] Fr. L. Baumann. Akten, № 200, § 29, S. 215.

Leibherr, как подчеркивается — «von dem lib und nit von dem gut», но затем берет лучшую голову скота из оставшихся также сеньер.[1] Мы видим на этом примере, что лучшую голову в известных случаях брали два раза, но преимущество при ее получении оставалось за личным господином. Это доказывает, что основным источником посмертного побора надо считать личную зависимость в силу старого правила, что все приобретаемое крепостным принадлежит его личному господину.[2]

В источниках есть определенные указания на то, что в ряде мест предоставление лучшей головы скота сеньеру считалось нововведением, причем в некоторых местах оно появилось лишь незадолго до крестьянской войны. Деревни района г. Нейштадт в Шварцвальде заявляют в 1525 г., что в течение последних трех лет посмертный побор был введен для всех, независимо от того, принадлежал ли покойный к крепостным или нет («die verstorben person sey eigen oder nit»).[3] Из штюлингейнских статей видно, что еще в 1525 г. в отдельных местах посмертный побор связывался с крепостным состоянием.[4] Weistümer и другие материалы, относящиеся к деревням Салемского монастыря и к некоторым деревням в Линцгау, показывают, что посмертный побор брался не только с крепостных, но и со свободных, однако не в одинаковых размерах: с крепостных брали больше.[5] Подробно эти и другие материалы разобраны нами выше, в связи с вопросом о крепостной зависимости. Здесь же отметим несомненную связь посмертного побора с личной зависимостью. Тем более характерно установление и усиление этой повинности и для сеньеров.

Это показывает, что развитие сеньериальных отношений шло не в сторону превращения их в свободную аренду, а, наоборот, в сторону усиления их феодально-крепостнической основы. Правда, для посмертного побора, взимавшегося в пользу сеньера, выдвигалось обыкновенно какое-либо хозяйственное обоснование. Так, напр., во владениях монастыря С.-Петер, где посмертный побор брался не только с крепостных, но и со свободных, для последних официальным аргументом являлось пользование крестьянами пастбищем и лесом. Weistum дер. Шварцах подчеркивает это в ясной форме: «der git dem gotzhuss einen valle von walde und weyde».[6]. Готгейн утверждает, что в землях монастыря С.-Петер альменды в подлинном смысле слова не существовало; лес и пастбище предоставлялись крестьянам, и за это взимался с наследства посмертный побор.[7] Однако это обстоятельство не меняет существа

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 361; Bd. IV, S. 848: «...so sol man dem herrn ze wyler darnacht einen va geben von dem gut und nit von dem lib».

[2] См. Th. Knapp. Neue Beiträge..., § 130.

[3] Fr. L. Baumann. Akten, № 200, § 35.

[4] Ibid., № 199, §§ 6—8.

[5] ZOR, 1925, Heft 2.

[6] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 424.

[7] E. Gothein. Die Hofverfassung auf dem Schwarzwald — ZOR. 1886, Neue Folge, Bd. I.

посмертного побора, так как хозяйственная компенсация как основание для его взимания применялась только к свободным лицам. Нельзя утверждать, что во всех деревнях С.-Петер не существовало альменды: для некоторых из этих деревень Weistümer оговаривают особые права монастыря в альменде, что не имело бы никакого смысла, если бы ее вовсе не существовало. Такая оговорка, свидетельствующая о наличии альменды, не единична в землях монастыря С.-Петер. Она содержится также в Weistum вейлеровского Dinghof. Между тем этот же Weistum предусматривает, как мы уже видели, тяжелые формы посмертного побора. О том, что хозяйственная компенсация за посмертный побор давалась не всем, свидетельствует указанная выше жалоба крестьян района г. Нейштадт, в которой выражается требование, чтобы за ними было признано право получать такое вознаграждение.[1]

Из всего сказанного можно сделать заключение, что в изучаемых нами районах в системе платежей повинности, связанные по своему происхождению с личной зависимостью крестьян, занимали большое место. Но чтобы установить тенденции развития аграрных отношений, недостаточно констатировать этот факт. Необходимо еще выяснить следующий вопрос: можно ли утверждать, что новые моменты в области крестьянского права владения вносили также изменения в систему крестьянских повинностей? Другими словами: сопровождалось ли сокращение сроков держаний ослаблениями в области повинностей, связанных с личной зависимостью, и усилением за этот счет регулярных ежегодных платежей, которые, таким образом, приближались бы к капиталистической арендной плате?

Для ответа на этот вопрос необходимо остановиться на анализе крестьянских повинностей в тех местах, где налицо данные о сокращении сроков держаний и вообще об ухудшении права владения крестьян. Характерен в этом отношении Weistum дер. Узинген.[2] Как видно из него, в этой деревне были хозяйства с наследственными правами держания и с пожизненными правами. Для первой группы держаний Weistum устанавливает жесткие правила допуска к наследству и, кроме того, перечисляет ряд хозяйств, которые не сдаются больше как наследственные («zu einer hand»). Тенденция к упразднению наследственного характера держания в данном случае совершенно ясна. Какие же порядки предусматриваются в данном Weistum в отношении повинностей? О ряде дворов указывается, что они dritteilige Güter. К этой категории относятся держания как наследственные, так и пожизненные, хотя определенно чувствуется стремление связать Dritteiligkeit с переходом на пожизненное держание. О некоторых дворах, например, говорится: «stond all zu dem dritteil und bedarf neiman keiner erbschaft daran iehen». Dritteiligkeit означает, таким образом, держание, с кото-

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, SS. 407—408: «...Das die herrschaft den telern schuldig sey umb die genomen falle ein erstattung nach ewer gnaden erkanntnuss zu thun».

[2] Ibid.

рого сеньер получает одну треть урожая. Но в отношении этих же хозяйств подчеркивается, что с продажи хозяйства или части имущества сеньер получает третью часть выручки. Такую же треть сеньер получает с приданого и подарков, которые держатель дает своим детям.[1] Относительно лучшей головы также содержатся строгие предписания. Если среди имущества, переходящего по наследству, не имеется живого инвентаря, то лучшая голова берется из имущества кого-нибудь из наследников, которому остальные наследники возмещают каждый свою долю. Кроме Dritteiligkeit и лучшей головы пробст монастыря получает, согласно Weistum, две трети из судебных пошлин и штрафов. Мы видим, таким образом, что одновременно с сокращением сроков держания повинности, относящиеся к категории случайных, в данном Weistum не только не смягчены, но подчеркнуты с особой строгостью. Такой же вывод можно сделать из Weistümer всех деревень монастыря С.-Петер и из материалов крестьянской войны, относящихся к Кемптенскому монастырю.

В конце XV в. в деревнях монастыря С.-Петер была проведена реформа, согласно которой Söldner, т. е. крестьяне, державшие свои наделы на наихудших условиях Dritteiligkeit, за известный выкуп добились временно наследственных прав, но при этом был установлен общий порядок сдачи хозяйств наследникам. Для основной массы крестьян этот общий порядок, при котором в течение 14 дней под угрозой лишения наследства должна была быть уплачена плата за допуск, означал ухудшение права владения. Каковы были результаты этих изменений для крестьянских повинностей? Готгейн пишет, что регулярные повинности в области С.-Петер не были значительны: всего 8 пфенигов деньгами, 5 пфенигов к каждому суду, 3 пфенига в день св. Андрея, затем небольшие натуральные повинности: на пасху — яйца, к маю — сыр, осенью — овес.[2] Однако считать, что во всех деревнях монастыря С.-Петер, где, по данным Готгейна, размеры земельных участков были одинаковы, платежи также были равные, нет никаких оснований. Сам Готгейн говорит о разнообразных размерах натуральных повинностей (сыра и масла). Но Weistümer этих деревень убеждают нас в том, что и размеры денежных платежей были самыми разнообразными. Наряду с регулярными платежами в 8 пфенигов, которые имеет в виду Готгейн, имеются также указания на платежи, исчисляемые шиллингами и фунтами. Характерны в этом отношении §§ 7 и 8 Dingrodel, т. е. сводного Weistum, касающиеся платы за допуск, которая, по данным того же Dingrodel, равнялась размерам ежегодного ценза. Для ряда пунктов владений монастыря («in der fogty zu Aeschbach, zu Iben и zu Ror vund in Lutterbach») каждый лен дает плату в 8 шиллингов с условием, что в дальнейшей перемене владельца

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, SS. 407—408.
[2] ZOR, 1886, Bd. I, S. 278.

каждая сторона обязана будет давать ежегодно 1 фунт 5 шиллингов.[1] Следующий параграф Dingrodel говорит об одном дворе, где при смене владельца обе стороны дают по 3 фунта.[2] Затем тут же подчеркивается, что такой порядок «приема», установленный для Söldner, обязателен для всех крестьянских хозяйств. Из всего этого мы видим, во-первых, что в данном случае имело место весьма значительное увеличение регулярных ежегодных платежей ценза, что более высокий рейхенбахский ценз вводился также в дер. Эшбах. Кроме того, мы видим здесь, что это увеличение ценза связывается также с ростом платы за допуск, т. е. «случайной повинности».

Дальнейшее изучение Weistümer деревень данного монастыря убеждает нас, что наиболее важное значение они придают именно случайным повинностям, в частности лучшей голове и Dritteiligkeit, а также судебным пошлинам и штрафам. Прежде всего отметим, что судебные дела, касавшиеся посмертного побора, могли разбираться не в Dinghof, где суд производил обычно мейер, а в самом монастыре С.-Петер.[3] В ряде Weistümer предусматривается строгое наказание за неправильный выбор лучшей головы. Если окажется, что выданная голова скота не самая лучшая в хозяйстве, оставленном покойным, то берется лучшая, которая будет выявлена, а взятая раньше не возвращается. Это может повторяться девять раз.[4] Аналогичный порядок существовал не только в деревнях С.-Петер, но и в других местах. Дальше мы видим, что в деревнях С.-Петер право монастыря на лучшую голову скота применялось в известном смысле и до смерти держателя, если держатель нуждался в продаже или залоге скота, и выражалось в наблюдении за тем, чтобы лучшая голова осталась в качестве посмертного побора.[5] Это подчеркивает важное значение, придававшееся посмертному побору во владениях С.-Петер. Однако ни побор с наследства, ни плата за допуск не были самыми тяжелыми повинностями из категории «случайных».

Практика Dritteiligkeit в том смысле, что сеньер забирал при перемене владельца третью часть всего движимого имущества, не была устранена и после того, как Söldner выкупили эту тяжелую повинность. Weistümer рассматривают ряд случаев, когда эта практика продолжала иметь место. Так, Weistum дер. Вейлер указывает, что если оба супруга умирают, то у младшего сына берется третья часть всего движимого имущества за исключением отдельных предметов, приготовленных уже к употреблению, как, например, разрубленное мясо и скроенное сукно. В приведенном случае побор с наследства равнялся одной

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 347.
[2] Ibid.
[3] Ibid., S. 365.
[4] Ibid., SS. 354, 358; Bd. IV, S. 484.
[5] См. указанный выше «Dingrodel»: «so soll er zu dem ersten das minst vich, das aller minst mag vergelten, angriffen, und sol es verkaufen und versetzen und darnach aber das minste, und soll das best lassen ston zu einem val».

трети его. Из дальнейшего текста мы узнаем о практике Dritteiligkeit при уходе из деревни. Weistum дер. Рехтенбах говорит, что если держатель продает свое имущество и уходит из деревни, то он оставляет аббату den dritten Pfening, за что аббат защищает его при отъезде. Из дальнейшего содержания рехтенбахского Weistum видно, что и без отъезда продажа всего имущества влекла за собой обязательство отдать аббату треть вырученной суммы. [1] Характерно, что эта самая тяжелая повинность не существовала в землях С.-Петер до конца XV в. Старое Dingrecht, предшествовавшее Dingrodel второй половины XV в., содержало такой пункт: «Кто, будучи уже крепостным монастыря, оставит хозяйство при жизни, тот не дает никакого побора. Монастырю для получения побора приходится ждать его смерти». [2] Таким образом, такая тяжелая повинность, как третья часть имущества, практиковавшаяся в известных случаях при жизни держателя, является, как мы видим, новшеством, введенным в деревнях С.-Петер во второй половине XV в. одновременно с ухудшением права владения.

Следующим примером усиления случайных повинностей при сокращении сроков держания может служить Кемптенский монастырь. Отметим прежде всего, что Кемптенский монастырь полностью обладал судебной властью, и говорить о том, что публичноправовые инстанции мешали аббатам проводить их политику, не приходится. В землях этого монастыря урезывалось не только наследственное право владения, но и право пожизненного держания, что нашло выражение в требованиях возобновления условий при всякой смене аббата. Чтобы ответить на вопрос, как это отражалось на системе крестьянских повинностей, следует обратить внимание уже на тот факт, что, несмотря на урезывание наследственного и пожизненного характера держаний, хозяйства тем не менее фактически передавались наследникам, но на новых условиях. Каковы были эти изменения в условиях, это мы узнаем из спора аббата Себастиана с крестьянами во время переговоров в январе 1525 г. Крестьяне указывали, что наряду с тяжелым бременем регулярных, с них требуют целый ряд случайных и притом весьма чувствительных платежей. [3] Аббат отвечает, что на уменьшение Gulten und Zins он итти не может. Бо̀льшая часть Gulten, заявляет он, куплены, и поэтому условия держания должны оставаться те же, какие выдвигались при приеме хозяйства. [4] На вопросе о купленых Gulten мы остановимся ниже. Здесь же отметим, что, в Кемптенском аббатстве при новом акте сдачи хозяйств наследникам или покупателям, определяемом в источнике термином аренды («bey dem bestand»), [5] повыша-

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 365.

[2] ZOR, 1886, Bd. I, S. 273.

[3] Fr. L. Baumann. Akten, № 62, SS. 69—70.

[4] Ibid.: «...derhalben sein gnad ditz beger bey dem bestand, wie ain jeder ain gut empfacht beleiben lasst».

[5] О наличии и характере «Bestandgüter» в Кемптенском аббатстве см. Fr. L. Baumann. Akten, № 400, SS. 329—330.

лись и вновь устанавливались самые разнообразные повинности. О характере этих повинностей говорит не только выражение жалобы «und ander zufälligen und merclichen nutzung», но главным образом то обстоятельство, что основанием для многих повинностей должно было служить массовое превращение свободных чиншевиков в крепостных,— факт, являвшийся основным объектом борьбы между крестьянами и аббатами указанного монастыря.

Все приведенные примеры говорят о том, что, поскольку речь идет о роли случайных повинностей, нет оснований полагать, что в изучаемых районах мы имеем дело с новыми формами аграрных отношений. Мы видим, наоборот, усиление моментов, связанных с личной зависимостью. Вообще в источниках этих районов говорится обычно не о сгоне наследников, а о передаче им земли на новых условиях. Характерно также сохранение старой процедуры при передаче хозяйств как наследникам, так и другим лицам. Крестьяне дер. Роттенаккер требуют в своей жалобе, чтобы пожизненные срочные держания (Valgietter) при смене владельца оставались без платы за допуск (Handlohn).[1] Более характерна жалоба дер. Бауштеттен, где выдвигается требование, чтобы те хозяйства, которые сдаются в аренду («auch von denen gietern, so bestanden sind»), не платили за допуск до вымирания рода, когда хозяйства возвращаются монастырю.[2]

Перейдем теперь к разбору регулярных платежей. Хотя, как мы уже видели, центр тяжести забот сеньеров составляли случайные повинности, нельзя все же утверждать, что ежегодные платежи были строго фиксированы и не могли подвергаться увеличению. Материалы деревень С.-Петер показывают значительное повышение ценза вместе с платой за допуск. Среди жалоб встречаются также жалобы на рост ценза. Дер. Ротенаккер просит, чтобы в случае, когда пожизненное и срочное держание (Valgietten) «освобождается» («so die ledig werden»), ценз не был повышен и чтобы оно было сдано без Handlohn. Другие пункты этой же жалобы показывают методы повышения ежегодных платежей и без такого чрезвычайного случая, как смерть держателя. В статье первой содержится жалоба на введение новых мер при взимании ржи и овса, что значительно повышает количество натурального платежа. Во второй статье указывается, что сумма heugelt (денежный взнос вместо барщины на сенокосе),[3] который платил каждый hub в размере 4 фунтов, повышена теперь на 30 шиллингов, или на 37.5%.[4] Монастырь Блаубеурен, которому принадлежала дер. Ротенаккер, очевидно не упускал случая повысить самые разнообразные ежегодные платежи. Дер. Бальтринген во второй статье своих требо-

---

[1] «Correspondenz», № 896.

[2] Ibid., № 884.

[3] Th. Knapp. Neue Beiträge, S. 77.

[4] В этом районе 1 фунт составлял в то время 20 шилл. см. «Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg», 1876, S. 59.

ваний заявляет, что за некоторые хозяйства платят теперь вдвое больше, чем раньше. [1]

Методы, применявшиеся Блаубернским монастырем, не были единичны. Деревни Шемерберг и Альтгейм, принадлежавшие Салемскому монастырю, указывали, что с целью увеличения платежей монастырь прибегал к сокращению размеров юхарта, т. е. к искусственному увеличению количества облагаемых единиц. Требования этих деревень сводятся к тому, чтобы с юхарта платили 8 четвертей ржи и 4 четверти ржи. [2] Смысл этого требования, очевидно, заключается в том, чтобы сокращению размеров юхарта на 50% соответствовало также сокращение в таком же размере ежегодного платежа.

Однако основной вопрос, который следует разрешить в отношении ежегодных платежей, заключается не столько в самом факте роста ежегодных платежей, сколько в вопросе об их общем характере. Можем ли мы утверждать, что одновременно с увеличением регулярных платежей имело место также их превращение в арендную плату капиталистического типа или хотя бы вступление на путь к такому превращению? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего установить, что̀ мы будем считать признаком вступления на путь капиталистической формы аренды. Маргарета Бош считает, что самый факт отказа от фиксированного уровня платежей означает уже разрыв с «феодальной природой» ренты, предпринимавшийся самими сеньерами, так как фиксированная рента, имевшая своим пределом жизненный минимум крестьянской семьи, мешала сеньерам присваивать возникшую с расцветом городов дифференциальную ренту. [3] Однако такой механический критерий не может быть принят, потому что он не дает возможности разглядеть разнообразные моменты крепостнической эксплоатации, характерные для позднего средневековья. Кроме того, с этой концепцией связано представление о том, что феодально-крепостническая эксплоатация была менее тяжела для крестьян, чем капиталистическая. Необходим поэтому такой критерий, который дал бы нам возможность определить природу ренты, выраженной в конкретных единицах, по качественным признакам. Такой единственно правильный метод применяется Лениным в его анализе отношений в русской пореформенной деревне. Указывая на различные сочетания в переходный этап двух основных систем — отработочной и капиталистической, Ленин подчеркивает разнообразный характер всевозможных видов отработков. Сюда относятся разные виды кабального найма, издольщины и отработков в узком смысле слова. Все эти формы Ленин характеризует как «прямое переживание барщинного хозяйства». [4] Определяющими

---

[1] Correspondenz, № 882.

[2] Ibid., № 898-a: «...dann die jaucharten sind ungleych und sind etlich dem mess nach kain halb jauchart und dass man fürohin von ainer mess jauchart zu gült nem acht fiertal vessen und vier fiertal wessen».

[3] Marg. Bosch. Op. cit., Einleitung, SS. 4—5.

[4] В. И. Ленин. Соч., т. III, стр. 142.

в данном случае являются основные признаки барщинного хозяйства, среди которых центральное место занимают моменты личной зависимости в той или иной форме. Дальше Ленин переходит к характеристике «аренды», «которая представляет из себя простое переживание барщинного хозяйства».[1] Характеризуя этот вид «аренды»,[2] Ленин указывает, что при этом арендная плата принимает часто самые разнообразные формы. Здесь Ленин приводит следующие примеры из книги Карышева «Аренды»: «...за каждую десятину обработать 1½ дес.+ + 10 яиц + 1 курица + женский рабочий день; за 43 дес. ярового по 12 р., и 51 дес. озимого по 16 р. деньгами + обмолотить столько-то копен овса, 7 копен гречи и 20 копен ржи + на арендуемой земле унавозить навозом со *своих* скотных дворов не менее 5 десятин по 300 возов на десятину». Эти примеры Ленин сопровождает следующим замечанием: «Здесь даже крестьянский навоз превращается в составную часть частновладельческого хозяйства!». Дальше он обращает внимание на то, что в ряде случаев обязательство отработков дается в неопределенной форме. «Иногда крестьянин обязывается при этом работать, «что прикажет владелец...», обязывается вообще «послухать», «слухать» его, «пособлять» ему. Отработки обнимают «собой весь цикл работ деревенского обихода. Посредством отработков производятся все сельско-хозяйственные операции по обработке полей и уборке хлеба и сена, запасаются дровами, перевозят грузы»..., чинят крыши и трубы..., обязываются доставлять кур и яйца...»[3] Эти примеры из русской пореформенной деревни, которые, конечно, не могут иметь прямого отношения к изучаемой нами германской деревне XV—XVI вв., мы приводим потому, что они показывают, как Ленин подходил к определению природы крестьянских платежей в конкретных случаях. Общий характер этих примеров, которые Ленин приводит для характеристики аренды, представлявшей простое переживание барщинного хозяйства, заключается в том, что плата дается в разнообразных единицах, отражающих личную зависимость и чрезвычайно гибких в количественном отношении, подверженных увеличению по мере возникновения соответствующей потребности у господ. Метод Ленина является единственно научным потому, что он дает возможность разобраться в природе ренты по таким качественным признакам, которые вытекают из существа формы эксплоатации.

Обратимся теперь к регулярным платежам крестьян изучаемых нами районов. Большинство Weistümer не дает полных данных об их размерах, регулируя только сроки и порядок платежей. В тех же случаях, где такие более полные сведения имеются, это не единственная плата «реального» значения, а целый список повинностей, переплетающихся

---

[1] Там же, стр. 146.

[2] Слово «аренда» берется в кавычки Лениным.

[3] В. И. Ленин. Соч., т. III, стр. 145.

с моментами личной зависимости. Наиболее полное перечисление ежегодных платежей имеется в Weistum дер. Эшбах.

Два раза в год все обязаны явиться в Dinghof на судебное разбирательство. Каждые четыре лена дают при этом каждый раз по 5 пфенигов. В марте каждые четыре лена дают двух быков с плугом и четырех человек, то же повторяется в мае. В день св. Маргареты каждый лен доставляет сыр, изготовленный в мае, стоимостью в 1 пфениг. К тому же дню каждый дает двух работников для заготовки сена. Ко дню св. Михаила каждый лен дает 1 курицу и на один пфениг яиц. После этого же дня в ближайшее воскресенье доставляется чинш — обязательно при дневном свете, чтобы мейер не ошибался в счете. Самый размер чинша здесь не указывается, но из того, что плата за допуск в этой деревне устанавливается в 3 фунта, мы можем заключить, что чинш равнялся этой сумме. В тот же день каждые два держания дают одну подводу с волами и людьми для перевозки вина в г. Фрейбург и в С.-Петер. Наконец, в день св. Андрея все доставляют чистый овес — «кто больше, кто меньше» и, кроме того, по 5 пфенигов деньгами.[1]

Данный перечень повинностей полностью аналогичен тому, который приводится Лениным. Характерной чертой его является не только переплетение денежных платежей с барщиной, но и чрезвычайная гибкость ряда повинностей в количественном отношении. Что касается обязательных работ, то Weistum содержит оговорки о замене их деньгами в том случае, если та или иная работа не требуется в данное время. Однако сумма, которая при этом указывается, не может считаться эквивалентной тому труду, который она заменяет. Так, вместо плуга с двумя волами и четырьмя работниками, которых доставляли два раза в год каждые четыре лена, давали, в случае ненадобности, 20 пфенигов. Вместо двух работников (fröner) для заготовки сена, которых должен давать ежегодно каждый лен, предусматривался, в случае ненадобности, платеж в 2 пфенига за каждого. Сумма, взимавшаяся вместо подвод, значительно выше, а именно 8 шиллингов. Но надо иметь в виду, что подводы брались на сравнительно продолжительное время, так как маршруты, указанные в Weistum, довольно значительные (от района Зульбург через Фрейбург в С.-Петер и т. д.). Очевидно, что платежи, предусмотренные вместо всех перечисленных тяжелых работ, значительно легче, чем самые работы, но выбор между барщиной и ее денежной заменой зависел не от держателей, а от монастыря. Если последний не нуждался в работниках, то держатель отделывался более легкой повинностью, и, наоборот, по мере возрастания потребностей господ тяжесть повышалась. Характерно, что количество рабочих дней Weistümer не устанавливают, указывая только род работ («so sond aber vier lehen einen pfug geben zu brochen»; «so sol ye das lehen zwen fröner geben und die höwen in dem ingerüt» и т. д.).

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I. SS. 355—357.

Перед нами та неопределенная форма, которую, как мы видели, Ленин считает характерной как момент крепостнических отношений, так как в основе этих платежей лежит принцип удовлетворения нужд замка. Личный характер отношений виден также из того, что повинности в силу Grudherrschaft и Gerichtherrschaft не разграничены между собой. Все они переплетены и даны вместе как повинности крестьян в отношении господ.

Такая структура повинностей, в которой грань между сеньериальной и судебной зависимостью почти стирается и в которой денежный и натуральный чинш сочетается с барщиной весьма неопределенных размеров, характерна вообще для изучаемых районов перед крестьянской войной. Многие жалобы, на которых мы остановимся ниже, это подтверждают. Вместо некоторых работ иногда устанавливался специальный платеж. Так возник целый ряд платежей, сохранивших в своем названии следы своего происхождения, как, например, Heugeld, Habergeld и т. п. В таких случаях речь идет не о временной замене вследствие ненадобности, а об установлении нового регулярного платежа. Из жалобы дер. Ротенаккер, где указывается сумма в 4 фунта zeins oder heugeld, мы узнаем, что эта повинность была довольно тяжелой. Но наиболее характерен тот факт, что и в денежной форме она сохраняла свою связь с обязанностью держателя выполнять работы в пользу господ. Сохранялась также возможность увеличения Heugeld в связи с другими обязанностями. Мы уже видели выше, что ротенаккерские крестьяне жалуются на увеличение Heugeld на 37.5%. Такое повышение, как видно из второй их жалобы, проводилось с тем, чтобы за это крестьяне были освобождены от ряда других работ, что, между прочим, не соблюдалось. [1]

Что такого рода повинности занимали значительное место среди регулярных платежей, это видно из ряда других жалоб. Дер. Лангеншемерн, указывающая на ряд таких повинностей, как Hauszins, Heugeld и др., просит упразднить платежи, связанные с барщиной. [2] Требование отмены Heugeld и Hauszins выдвигают также деревни Сульминген, Мазельгейм и Штейн. [3] Дер. Бауштеттен требует снижения этих платежей на 50%. [4] Weistum дер. Дорнгейм в числе регулярных платежей перечисляет ряд таких, которые связаны с баналитетами и барщиной. Таковы müligelt, nintergelt, habergelt. [5] Выше мы видели, что Ленин, разбирая крепостнический характер известных отношений, указывает, что «даже крестьянский навоз превращается в составную часть частновладельческого хозяйства». В связи с этим следует обра-

---

[1] «Correspondenz», № 896: «uns darby zugesagt mir (wir) diefen weder raysen noch dienen mir mussen aber iecz die drysig schillig geben und darzu raysen und dienen».

[2] Ibid., № 888: «das gelt von wegen der dienst oder fronen geraicht».

[3] Ibid., № 900.

[4] Ibid., № 884: «...den halben tayl hausszains und hewgelt och geben».

[5] J. Grimm. Op. cit., Bd. 1, S. 375.

тить внимание на спор буссмангаузенских крестьян со своим сеньером. Возражая против жалобы крестьян, касающейся расширения основанной на барщине культуры льна, сеньер указывает, между прочим, и на то, что крестьяне разводят лен, а это приносит ему вред, так как обработка поля под лен требует больше навоза, чем под зерно. И здесь крестьянский навоз рассматривается сеньером как составная часть его хозяйства. Мы видим, что регулярные повинности были чрезвычайно разнообразны и что они отражают моменты личной зависимости, характерные для крепостнических отношений. В основе этого обстоятельства лежат два момента: во-первых, сочетание денежных платежей с барщиной; во-вторых, переплетение повинностей, вытекающих из сеньериальных прав, с повинностями, связанными с правом суда.

О характере барщины в юго-западной Германии, как и по всем другим вопросам аграрных отношений, в исторической литературе имеются существенные разногласия. Вильгельм Фогт и Инама-Штернегг[1] утверждают, что барщина была фиксированная (gemessene), хотя они же подчеркивают, что фиксация не исключала возможности их роста, что, наоборот, в изучаемое время увеличение барщинных работ имело место. Теодор Кнапп объясняет возможность увеличения барщины тем, что фиксировалось не количество дней, а перечень работ (не Zeitfronen, а Stückfronen). Он предпочитает поэтому прямо называть барщину этого времени в Вюртемберге ungemessene Fronen.[2]. В другом месте Кнапп приводит интересный документ из дер. Гаунсгейм от 1480 г., представляющий акт сдачи земельного участка после смерти держателя другому лицу.[3] В этом акте круг барщинных работ нового держателя определяется словами: «Zu aller unserer nottdurf diehen, als andere unser hindersässen». Эта формула показывает, что в данной деревне барщина не ограничивалась определенным количеством дней, а зависела от потребностей господского хозяйства. Дальше мы узнаем, что новому держателю вменяются в обязанность и новые работы («und sunder sol er auch») — четыре подводы и, кроме того, все работы над льном.

Если обратиться к Weistümer, то в них мы находим указания как на Stückfronen, так и на Zeitfronen. Weistum деревни Засбах устанавливает для работы 3 дня в году. Имеющие рабочий скот должны явиться с ним, остальные выполняют другие работы.[4] То же говорится в Weistum дер. Аппенвейлер (1486 г.).[5] В другом Weistum (дер. Гахберг) норма определяется не количеством дней, а размером площади

---

[1] W. Vogt. Vorgeschichte des Bauernkrieges, Halle, 1887; K. Th. Inama-Sternegg. Op. cit., Bd. III, Th. 1, SS. 411—412.

[2] Th. Knapp. Neue Beiträge., S. 75.

[3] Th. Knapp. Gesammelte Beiträge., SS. 291 ff.

[4] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 414.

[5] Ibid., S. 843: «Wer zu Appenwiller sitzet und einen Pflug hat, der soll jährich frönen in den dinghoff 3 tag mit sinem pflug in dem feld...»

(«so sol er zwene tagwan tün»).[1] Однако такой порядок не является общим. Выше мы уже разобрали Weistum дер. Эшбах, в котором значительная барщина устанавливается без указания количества времени, подчеркивая только характер работ. Данный Weistum относится не к одной только деревне, а к значительному району во владениях С.-Петер. Такой знаток Шварцвальда, как Готтейн, считает порядки во владениях С.-Петер типичными для Шварцвальда вообще. Таким образом, на основании Weistümer мы могли бы сделать вывод, что в тех местах, где хозяйство Dinghof было обширное, как во владениях С.-Петер, господствовали Stückfronen, в других местах — только Zeitfronen. Но в этом вопросе особенного внимания заслуживают крестьянские жалобы, из которых видно, что к моменту крестьянской войны усилилась практика Stückfronen, т. е. барщины, не установленной количественно, а зависящей от потребностей господского двора. Необходимо признать, что **практика** барщины лучше отражается в крестьянских жалобах, чем в Weistümer.

Если бы барщина в юго-западной Германии была фиксирована определенным количеством дней, то это нашло бы отражение в многочисленных жалобах по поводу барщины. Между тем в жалобах указывается или на тяжесть этой повинности (в общей форме), или же (там, где имеются подробности) на наличие такой системы, при которой размеры работ могут расширяться по желанию сеньеров.

Деревни Эпфинген и Гриссинген заявляют: «Даже те из нас, которые не имеют ни дома, ни двора и питаются трудом своих рук, обязаны несколько дней работать для господ совершенно даром».[2] Формулировка, дающаяся здесь, не может считаться ясной; очевидно, даже у ремесленников или поденщиков, которые здесь имеются в виду, не было твердых обязательных дней.

Что касается держателей земельных участков, то они жалуются, что «нет ни одного дня, когда они могли бы быть уверенными в том, что сегодня они не подвергнутся тяжелой барщине». Если это место может быть истолковано в том смысле, что самые дни работ произвольно выбирались господской администрацией, но что их количество могло быть установлено, то другие жалобы не оставляют никаких сомнений в господстве системы Stückfronen.

Крестьяне дер. Буссмансгаузен жалуются на то, что «юнкер» заставляет их работать в поле и выполнять ряд его поручений — «все, что ему нужно... в городах и на рынках, каково бы то ни было расстояние — до семи миль».[3] В других случаях он заставляет их носить дрова на кухню и убирать некоторые помещения. В отношении полевых работ крестьяне жалуются главным образом на то, что их застав-

---

[1] Ibid., S. 366.
[2] Correspondenz, № 889.
[3] Ibid., № 55, § 3.

ляют выполнять все работы, связанные с культурой льна, сколько бы его ни засеяли [1].

Характерны и ответы сеньера. Выполнение всех работ по льну, указывает он, практиковалось еще при его отце. Что касается разных поручений и домашних услуг, то общий смысл пространного ответа сеньера сводится к тому, что они носили случайный характер и выполнялись по просьбе его или его жены, что опять-таки практиковалось еще при его отце. Если он давал своим крестьянам поручения в города Биберах и Ульм, то только тем из них, которые шли туда по своим личным делам; специальные поручения он давал только на близкое расстояние. Доставка дров на кухню и очистка уборных производилась во время полевых работ, когда крестьяне питались в замке и убирали сад. Если даже отнестись к заявлению сеньера с доверием, то можно установить, что крестьянский труд и крестьянские услуги рассматривались им как объект для удовлетворения его разнообразных нужд, которые случайно возникали. Спор, как видим, ведется не вокруг вопроса о количестве дней в году, а вокруг перечня разнообразных работ.

Крестьяне дер. Кисслег начинают свою жалобу заявлением, что они отягощены значительным количеством различных тяжелых работ («in vil und menigerley mörgklichen diensten») сверх предусмотренных в соответствующих документах («vber die so in die gueter inhalt briefen und gultbuechern»); в введении же говорится, что по старым документам крестьяне обязаны были косить, жать и пахать. Дальше, в пятой статье жалобы, указывается, какие работы введены вновь сверх обоснованных документами. Крестьян заставляли делать все, что требовалось господину по заготовке и перевозке навоза, сена, соломы, ржи, дров, рыбы и т. п. без всякого вознаграждения. Кроме того, перечисляется ряд работ над льном. [2] Дальше говорится о том, что, не довольствуясь всем этим, сеньер заставляет детей обоего пола работать у него и при этом чрезвычайно сурово с ними обращается. Если дети убегали из господского дома, то задерживали их родителей, сажали под арест и всячески преследовали. Во всем этом детальном описании речь идет только о круге работ, но нигде нет намека на ограничение работ каким-нибудь количеством дней. Жалоба заключается в том, что установленный раньше в документах узкий круг обязательных работ теперь фактически расширен и охватывает все нужды хозяйства и домашнего обихода сеньера. Характерна для Верхней Швабии также

[1] «Correspondenz» № 55, § 3: «Ob dem 22 fiertel lein, ess sy minder oder mer, dass miess im der arm man alles fararbaiten, beraitten, byss in sack».

[2] Fr. L. Baumann. Akten, № 104, § 5, S. 114: «...den hern alles, das sy in grossen vnd klainen bawen zu schaffen gehapt, es sey mist, hew, strow, korn, holtz, visch und alles anders on alle belohnung zu vil mer zeiten und weylen vngessen vnd vntrunken wurcken vnd farn haben miessen, darzu auch hanf und werck liechen, in wasser vnd daruss, hin vnd wider fueren, praiten, vffheben, brechen, schwingen, hechlen und spennen, wuschen vnd weschen».

личная жалоба одного крестьянина из дер. Штадиона по поводу «бесчисленного множества работ». [1]

Из шварцвальдских жалоб наиболее интересна группа, примыкающая к штюлингенским статьям, переданным в апреле 1525 г. камеральному суду. Ряд окрестных деревень, присоединившихся к этим статьям, подал свои дополнительные статьи. Вся эта группа жалоб опубликована Бауманом в его сборнике «Актов» под № 199—202. Барщине посвящена 24-я из общих штюлингенских статей и ряд дополнительных статей, отмечающих то, что упущено в общих и имеет место у них.

Статья 24 штюлингенской жалобы дает подробное перечисление обязательных работ. Прежде всего — все полевые работы от подготовки к обработке почвы до доставки обмолоченного зерна и готового льна в замок; [2] далее — сенокос и доставка сена в гумно; всевозможные работы, связанные с охотой, а затем — доставка дичи в окрестные или эльзасские города или куда граф укажет; [3] из Гегау и Эльзаса — доставлять вино. Затем указываются значительные маршруты перевозок ржи и овса. [4] В самую страдную пору, жалуются штюлингенские крестьяне, отрывают их на разные глупости, какие только придут в голову графам: выкапывать корни, собирать сморчки, сбивать можжевельник, ломать барбарис и т. д.

Перечень обязательных работ этим не исчерпывается. Указывается также на обязанность крестьян доставлять в замок не только дрова для отопления, но и строительные материалы; названы и другие работы. Характер барщины в данном случае вполне ясен: границей ее служили нужды замка. Это вполне подтверждается и дополнительными жалобами отдельных деревень. Дер. Гешвейлер указывает на ухудшение положения крестьян с переходом ее из рук фон Плюммегга в руки Георга фон Рекенбаха. Раньше барщина ограничивалась одним юхартом с четвертью для каждого держателя. Теперь же сеньер заставляет их «mit allen zeugen» поднимать пар, перепахивать его (fälgen), подготовлять к посеву и т. д. [5] Смысл жалобы, очевидно, в том, что вместо существовавшей раньше нормы теперь требуется просто выполнять все, что нужно. Обязанность поэтому выражается в общей форме. Только в отношении работы по очистке зерна указывается норма: «...das wir korn und habern ain tag seubern mit zehn personen».

---

[1] «Correspondenz», № 67.

[2] Fr. L. Baumann. Akten, № 199, § 24, S. 197: «Wir mussen einen tag habern, zum andern hanf binden, bewerfen, wieder eren und segen (sähen), item brachen, falgen, geet eren, segen vnd egen, schneiden vnd in die scheurn furen, vnd so es gedroschen wurt, auss der scheuren in das schloss furen».

[3] Ibid.: «...aus dem schloss geen Than furen, gein Enden oder andere ort, dahin es zu furen unsern gnedigen herren gefellig».

[4] Ibid.: «... wir müssen korn furen von Schlayten gein Schaffhusen und aus dem schloss Schaffhussen und von Engen gein Stulingen habern, dessgleichen korn und habern von Bondorf gein Stulingen und Schaffhussen furen».

[5] Ibid., № 202.

В жалобах встречаются указания и на существование твердых границ для барщины, но не в отношении всех видов работ. Примером может служить дер. Гаузен.[1] В своих статьях против графа фон Шелленберга крестьяне отмечают, что каждый из них («jeder zug») обязан обрабатывать один юхарт в озимом поле, а другой — в яровом. На этих двух юхартах (около 4 акров) крестьянин должен выполнять все работы и доставлять продукты на рынок в Шафгаузен, Целл или «куда укажет» («wohin er das bescheiden wurd»). Таким образом, и здесь речь идет не о твердой фиксированной повинности. Только в отношении доставки дров и сена говорится о трех днях в течение года. Однако, кроме этих «установленных» работ, гаузенские крестьяне привлекались ко всяким другим работам по мере нужды.[2]

Указания на фиксированную барщину имеются в документах «Башмака». События в Бюль начались 7 июня 1514 г. с волнений во время барщины.[3] Свидетели по делу арестованного в связи с этим Бастиана Гугеля утверждают, что он и его сторонники всегда являлись на работы в 10—11 часов утра.[4] Совершенно очевидно, что здесь предусматривалось определенное количество дней, но характерно, что речь идет о работах по исправлению канав. Работы эти имели еще в известной степени публичноправовые корни. Компенсацией за эти работы служило право пользования лугами.[5] О работах непосредственно в пользу сеньеров мы имеем сведения в допросах деятелей леенского «Башмака» в 1513 г. Требуя ограничения обязательных работ одним Frontagwan в год,[6] они подчеркивают, что господа и знатные не должны заставлять их работать по своему усмотрению, как до сих пор.[7]

Итак, приведенные выше Weistümer, относящиеся в общем к XV в., говорят о наличии как барщины, ограниченной известной нормой, так и барщины, пределы которой определяются нуждами господ. Материалы же XVI в., в частности материалы крестьянской войны, говорят уже определенно не только о преобладании Stückfronen, но и о том, что круг обязательных работ расширялся и часто доходил до охвата всех нужд замка. В ряде случаев, когда вследствие узких рамок барского хозяйства крестьянский труд не требовался в более или менее значительных размерах, отдельные работы заменялись специальными денежными взносами, которые, несмотря на их регулярный характер, подвергались изменениям благодаря гибкости размеров лежащих в их основе работ. Крепостническая сущность подобных отношений совершенно оче-

---

[1] Fr. L. Baumann. Akten, № 201, SS. 222—223.

[2] Ibid.: «So müssen wir stein und holtz furen und alles das thun, wass sy vnss heissen».

[3] A. Rosenkranz. Op. cit., Bd. II (Quellen). Der Bundschuh von 1517, №№ 15, 16.

[4] Ibid., № 16, § 1.

[5] Ibid.

[6] Ibid., S. 193 (1513, № 66).

[7] Ibid., № 69, S. 195.

видна. Если такие работы или их денежная замена занимали видное место среди регулярных ежегодных платежей, то это обстоятельство в значительной степени определяет уже характер самих платежей. Если таковы были условия держания и если стремления сеньеров сводились к тому, что, ухудшая право владения крестьян, они добивались более частых возобновлений условий держания, то мы никак не можем рассматривать эти шаги сеньеров как переход к формам капиталистической аренды.

Характерной чертой аграрных отношений является также наличие среди регулярных повинностей платежей, связанных с баналитетами. О наличии баналитетов имеются данные как в Weistümer,[1] так и среди крестьянских жалоб.[2] Эти же данные говорят и о том, что из баналитетов возникали известные регулярные платежи. Weistum из Лерах (1492 г.) предписывает всем держателям пользоваться мельницей монастыря; если же кто-нибудь воспользуется мельницей на стороне, тот уплачивает монастырскому мельнику столько же, сколько полагалось бы, если бы он смолол свой хлеб у него (§ 13). Однако дальше выясняется, что все это только обоснование для специального ежегодного платежа. Хотя, говорится в § 16, в настоящее время здесь нет ни мельницы, ни мельника, тем не менее пробст монастыря имеет право на такой ежегодный доход, чтобы в будущем, если монастырь окажется в состоянии построить новую мельницу, никто не мог возражать и чинить препятствий.[3] В дорнгеймском Weistum, как мы уже указывали, Müli-gelt фигурирует как один из других регулярных платежей.

Обратимся теперь к Zinsen в собственном смысле этого слова. Разобранные нами Weistümer показывают, что, несмотря на то, что чинш подвергался изменениям в сторону увеличения, он все же не занимал главного места в системе разнообразных крестьянских повинностей. Из этих Weistümer видно, что больше всего внимания уделялось так называемым «случайным» повинностям, а из регулярных — таким, которые были связаны с барщиной, баналитетами и т. п. Все же в отдельных источниках имеется ряд указаний на значительные размеры самого чинша. Жалобы на Zinsen und Gülten являются общим местом почти всех жалоб. На характере этих Zinsen необходимо поэтому остановиться.

Приведенный выше Weistum из Узинген выявляет ряд случаев, когда с упразднением наследственного характера держания тесно связано было (наряду с установлением крупных взиманий случайного характера, о которых речь шла выше) также введение Dritteiligkeit, т. е. тяжелой формы издольщины. На издольщину (большей частью — с од-

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, SS. 327, 375, 423 u. a.

[2] «Correspondenz», № 889, u. a.

[3] J. Grimm. Op. cit., Bd. I, S. 327: «...nit destminder alljährlich alle die abgeschrieben recht theilt, das get uf dass, wenn das gotthus im künftigen so statthaft werde, das er wieder eine mühle buwen könnt, im kein verhinderung solicher ursachen begegnen möcht».

ной трети) имеется ряд указаний в жалобах. Крестьяне хотят платить твердую плату и отвергают издольщину, которую они считают для себя особо разорительной. Дер. Лангеншемерн (район г. Биберaха) заявляет: «Мы не хотим вести хозяйство из одной трети, а только за подходящий платеж, чтобы бедный человек мог остаться на своем хозяйстве и питаться».[1] О том же заявляет и дер. Менхгофен (район г. Лейпгейма). Крестьяне этой деревни не хотят больше быть держателями с одной трети, требуя, чтобы для них был установлен в этом районе Gült.[2] Деревни Эпфинген и Гризинген указывают на то, что часть их жителей является издольщиками. Жалоба этих деревень сводится к тому, что сеньер не дает им со своей трети соломы и вообще ничего для свиней, что из-за этого они не в состоянии держать столько скота, сколько им требуется. Здесь, очевидно, давалась не третья часть урожая, а урожай одного из трех полей.[3]

Бо́льшая часть сведений об издольщине, которые мы имеем в материалах этих районов, говорит об одной трети дохода. Это вполне подтверждается мнением Теодора Кнаппа о том, что наиболее распространенной в Вюртемберге формой издольщины являлся платеж одной трети. В отдельных же документах имеются указания на наличие как более легкой формы — с одной четверти, так и более тяжелой — испольщины. Деревни Сульминген, Мазельгейн и Штейн жалуются на Сульмингенский монастырь, что он берет $^1/_4$ урожая. Они также просят установить твердую норму с каждого юхарта.[4] Материалы же Салемского монастыря говорят не только о держаниях с одной трети, но и с половины. В землях Салемского монастыря уже в 60-х годах XV в. распространено было срочное держание в такой форме, что каждый год в день св. Вальпургия земли по первому требованию возвращались монастырю, который сдавал их снова, кому хотел. Из § 2—4 приводившегося уже Weistum видны условия этого срочного держания. Предусматривается, что при уходе арендатор должен оставить на месте такую часть соломы и навоза, которая соответствует условиям его держания,— треть или половину.[5]

Во всех приведенных случаях идет борьба между крестьянами и сеньерами за характер держаний. Крестьяне, требующие твердой платы, тем самым отстаивают свое право на землю, в то время как сеньеры переходят к форме срочного держания на условиях Dritteiligkeit, т. е. того вида издольщины, который, по данным Инама-Штернегга,

---

[1] «Correspondenz», № 888: «...Item mir wellend umb kain drittel buen, sunder umb ain zimlich gilt, dz sie der arm man by sein gut kind und erneren».

[2] **Ibid.**, № 890, § 1: «...umb ain zumliche landslöfige, wie hinder und vor uns, gült zu bauen».

[3] См. Th. Knapp. Neue Beiträge, SS. 110—111.

[4] «Correspondenz», № 900: «...sind beschwert... mit dem fiertail des mir miessent geben auf dem feld... erbyetten... dray fiertal von ainem juchart, es sey lechegüter oder stockacker, rock oder haber».

[5] ZOR, 1925, Heft 2.

Готгейна и Теодора Кнаппа,[1] был вообще распространенным в юго-западной Германии. Отношения между сеньерами и крестьянами представляются нам, стало быть, в таком виде, что сеньеры наступают на право владения крестьян. При этом большею частью они довольствовались установлением более частых сроков возобновления и ухудшения условий держания. Нередко они добиваются перехода к срочной аренде. Результатом первого варианта являлись более тяжелые условия всей системы случайных и регулярных повинностей, которую мы разобрали выше и характер которых, как мы уже видели, связан с усилением моментов личной зависимости крестьян. Теперь мы видим, что и в тех случаях, когда сеньеры добивались форм срочной аренды, условиями этой «аренды» были тяжелые формы издольщины, которые по своей природе являются таким же моментом крепостнических отношений. Ленин, как известно, «аренду исполу» причисляет к одной из бесконечно разнообразных форм закабаления мелких земледельцев.[2] В другом месте Ленин считает признаком отработочной системы отработку земли инвентарем крестьян, при которой бывают различные формы оплаты, не изменяющие, однако, сущности самой системы; испольщину Ленин считает одной из таких форм оплаты.[3] Принципиальной разницы между испольщиной и другими видами издольщины Ленин не проводит. Говоря о культурной отсталости негров в бывших рабовладельческих штатах США, Ленин подчеркивает, что эта «надстройка» держится «на основе типично-русской, «истинно-русской» отработочной системы, именно: издольщины».[4] Характерно, что с такой «арендой» сочетались другие разнообразные повинности, связанные с личной зависимостью крестьян. Деревни Шемерберг и Альтгайн, например, требуя установления твердой ежегодной платы, просят упразднить одновременно Dritteiligkeit и всевозможные повинности, как барщину и их денежную замену.[5]

Кроме различных видов разобранных нами сеньериальных повинностей, значительное место в деревне юго-западной Германии занимали платежи, связанные с крестьянской задолженностью. В другом месте мы уже выяснили, что торгово-ростовщический капитал проникал в деревню не только путем покупки сеньериальной ренты, но и путем наложения на крестьянское хозяйство новых регулярных платежей за выданную ссуду.[6] Там же мы установили, что сеньеры стремились со-

---

[1] K. Th. Inama-Sternegg. Op. cit. Bd. III, 1 Th., S. 405; ZOR, 1886, Bd. I, S. 278; Th. Knapp. Neue Beiträge, SS. 110—111.

[2] В. И. Ленин. Соч., т. XI, стр. 492.

[3] В. И. Ленин. Соч., т. III, стр. 142.

[4] В. И. Ленин. Соч., т. XVII, стр. 581 (подчеркнуто Лениным).

[5] «Correspondenz», № 898: «...uns fürohin bey der gült lassen bleyben und nit weyter beschwären weder mit hüner, hennen noch ayer und kain drittail mer von uns nemen... wir begern auch des dienstgelts und der dienst abzesein... auch ab heugeld».

[6] См. нашу статью: «Борьба за землю в юго-западной Германии в XV и начале XVI вв.» — «Исторические записки», т. IV.

хранить свой контроль над такого рода сделками. Какова же была природа этих «несеньериальных» платежей?

Прежде всего следует обратить внимание на то обстоятельство, что крестьяне рассматривали ростовщические и сеньериальные «Zinsen und Gülten» как явления одного и того же порядка. В материалах «Башмака» повинности, связанные с ростовщичеством, приводятся в жалобах вместе с разными повинностями сеньериального характера. То же можно сказать и в отношении статей крестьянского лагеря у Боденского озера. В большинстве же жалоб указания на «Zins und Gülten» выдвигались в общей форме. Внимательное изучение этих требований об их отмене убеждает нас в том, что под общей формулой следует понимать как сеньериальные повинности, которые сами по себе были, как мы уже видели, разного происхождения, так и платежи ростовщического характера. Штюлингенские крестьяне требуют, чтобы им указали корни и основания многих «Zinss, Gülten und Renten», которые им приходится платить.[1] Если принять во внимание другие статьи штюлингенцев, разобранные нами выше в связи с вопросом о барщине, то станет очевидным, что здесь имеются в виду платежи, связанные с различными сеньериальными повинностями, частично замененными деньгами. Все же надо сказать, что общая формула «Zinss, Gülten und Renten» включает и ростовщические Zinsen. Статья 21 штюлингенских требований содержит жалобу на то, что графы заставляют крестьян платить по задолженности самих господ. Для этой цели графы записывали крестьян поручителями.[2] Мы видим, таким образом, из этой статьи, что крестьяне привлекались здесь к платежам ростовщического порядка. Очевидно, что общая формула «Zinss, Gülten und Renten» включает и платежи такого рода.

Интересно будет в связи с этим привести один баварский Weistum (монастыря Тиргауптена), где предусматривается такое же переложение на крестьян задолженности самого монастыря. Согласно этому Weistum, в таких случаях устанавливается особый платеж, который тем самым увеличивает общее количество Gülten.[3] Характерна также статья 6 жалобы крестьян ротского монастыря. В первой части статьи выражается требование о снижении «Zinsen und Gülten», если такое снижение будет достигнуто крестьянами этого района у других господ. Во второй части статьи выражается требование об упразднении новых платежей, которыми обросли некоторые хозяйства, и без того отягощенные в достаточной степени.[4]

---

[1] Fr. L. Baumann. Akten, № 199, § 23.

[2] Ibid., § 21: «so haben unser herrschaften ye zu zeiten gulten ufgenomen vnd vns vermögt, das wir iren gnaden zu undertheinigen gefallen vnss fur sie verschrieben haben, im fall, wa sie die jerlichen gulten nit bezalten, vnss in laystung zu stellen...»

[3] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, S. 198, § 5: «Ob sein Gotzhaus in schuld kem von geltschuld wegen, so hat er den gewalt, dasz er uf alle seine güter ain gewonliche stür legen».

[4] «Correspondenz», № 34, § 6: «desojleichen ob ettliche güter dann von alterher

Здесь, как видим, кроме общих платежей, были и дополнительные, новые. Из статьи 9 этой же жалобы, где говорится: «Wann wir zins und gelt geben haben, dass wir nit weiter müssen raysen», видно, что и здесь существовали платежи, представлявшие собой замену известных видов барщины. Все же необходимо подобные «Zinsen und Gülten», выраженные в общей форме, рассматривать в свете статей «Башмака» и статей крестьянского лагеря у Боденского озера, которые указывают на возникновение специальных рент на отдельные культуры крестьянского хозяйства в связи с крестьянской задолженностью. Установление такой ренты являлось в этих случаях условием ссуды, предоставлявшейся крестьянам.

Отдельные материалы говорят о том, что в роли приобретателей таких рент выступали не только посторонние люди, но и сами сеньеры. Кемптенский аббат прямо заявляет в своем возражении, что бо̀льшая часть платежей, на которые крестьяне жалуются, куплены им. Крестьяне дер. Бах заявляют о своем сеньере, что за долги он ввел специальный платеж в один гульден.[1] О распространенности подобных рент во всем Вюртемберге сообщает ряд данных также Теодор Кнапп в обеих своих работах о вюртембергском крестьянстве.

Для выяснения вопроса о том, как возникали все новые и новые ренты подобного рода, имеет особое значение Weistum дер. Нордгейм (к юго-западу от Гейльбронна).[2] Этот Weistum уделяет главное внимание платежам, связанным с крестьянской задолженностью, и определяет права получателя ренты, который называется в тексте Weistum «Zinsherr oder Lehenherr». Без его ведома не могут совершаться никакие сделки. При продаже владений он получает плату за допуск. При просрочке платежей предусматриваются определенные репрессивные меры, а после шести недель и двух дней держатель лишается права владения. Дальше (§ 31) Weistum устанавливает, что если Zinsherr или Lehenherr в течение года не взыскивал данных платежей, то сумма платежа превращается в долг.[3] Если просроченный платеж давал право как сеньеру, так и Zinsherrn лишать держателя права владения, то в иных случаях практиковался и другой вариант: превращение просроченного платежа в долг. С этого же нового долга, надо полагать, взимался новый регулярный платеж, так как нет никаких оснований допускать, что для таких новых долгов делались исключения. То обстоятельство, что крестьяне выдвигали общие требования против всякого рода «Zinsen und Gülten», понимая под этим как сеньериальные, так и ростовщические платежи, объясняется не только тем, что в отдельных случаях, как мы уже видели, Zinsherrschaft и Grundherr-

beswert und mit zinsen gestaigt weren worden, das dieselben gestaigten zins auch abthaun werden».

[1] «Correspondenz», № 47, § 7.

[2] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, SS. 315—318.

[3] Ibid.

schaft совпадали, но главным образом тем, что они рассматривали платежи указанных источников как одинаково тяжелые. Такое отношение крестьян отражает те черты, которые для обоих видов платежей являлись общими. Отличие ростовщического процента докапиталистических эпох от процента, характерного для капиталистических отношений, Маркс видел в том, что ростовщик стремился «поглотить в форме процента весь избыток (то, что впоследствии образует прибыль и земельную ренту) сверх необходимых средств существования производителя (сверх той суммы, которая впоследствии составляет его заработную плату)...». [1] Но тот же принцип Маркс, как известно, рассматривает как основу для определения феодальной ренты в ее различных видах. [2]

Разрешение этого вопроса в конкретной форме для изучаемых нами районов упирается в вопрос о высоте ростовщического процента и о размерах сеньериальных платежей.

При той сложной системе разнообразных сеньериальных повинностей, которая здесь существовала, говорить об определенной норме не приходится. Источники показывают, что даже в рамках одной и той же деревни отягощение отдельных дворов было чрезвычайно разнообразным. Все же стремления сеньеров к форме Dritteiligkeit выявляются, как мы уже видели, в ряде документов и подтверждаются данными, приводимыми наиболее авторитетными историками экономического развития Германии.

Таким образом, при всем разнообразии сеньериальных платежей надо признать, что тенденция сеньеров заключалась в том, чтобы доводить платежи до 33% и больше. Что касается высоты ростовщического процента, то, как известно, средние века не знали общего размера процента. [3] Все же для юго-западной Германии XV и XVI вв. необходимо признать, что наряду с ростовщическими ссудными операциями, где размер процента зависел от степени нужды мелкого производителя и возможности его закабаления в каждом отдельном случае, существовала уже определенная норма дохода с сумм, вложенных в сделки на основе более свободных отношений. Есть ряд указаний в источниках на то, что нормальным доходом в таких случаях считался доход в 5%. Среди материалов, опубликованных Баденской исторической комиссией, имеются многочисленные акты о продажах прав на получение платежей, причем в течение всего XV в. продажная сумма, равная двадцатикратной норме ежегодных доходов, преобладает с исключительной устойчивостью. [4] Характерен также в этом отношении один швабский Weistum от 1450 г., который считает нормальной ценой земли сумму,

---

[1] К. Маркс. Капитал, т. III, Партиздат, ЦК ВКП(б), 1936, стр. 526.

[2] Там же, гл. 47.

[3] Там же, стр. 528.

[4] «Mitteilungen der Badischen Historischen Komision», № 14, SS. 76—77 (ZOR, Bd. VIII, 1899).

двадцатикратную ежегодным доходам с нее. Weistum указывает, что продажа земли может совершаться только членами указанной общины по нормальной цене.[1] Характерно, что как в требованиях «Башмака», так и в отдельных статьях времени крестьянской войны, крестьяне требовали замены кабальных ссудных процентов нормой в 5% («von zwainzig — ain»).

Какова была высота ростовщического процента, мы не знаем. Необходимо признать, что он был различен в зависимости от возможностей в каждом отдельном случае. Известно лишь, что он был значительно выше 5%, которых добивались крестьяне. Однако весьма характерно в этом отношении то место из сочинений Лютера, которое приводится Марксом в конце 36-й главы III тома «Капитала», где говорится о высоте процента от 30 до 40.[2] Ростовщическая и сеньериальная эксплоатация имела, таким образом, общую тенденцию к поглощению не менее одной трети валового дохода крестьянского хозяйства, что при прочих повинностях — церковной десятине и различных видах платежей в пользу территориальных князей и фогтов — означало поглощение всего избытка «сверх необходимых средств существования производителя», т. е. то, что характерно для феодальной ренты. В борьбе против этой системы феодальной эксплоатации крестьяне требовали сводить сеньериальные повинности к твердому платежу, а платежи, связанные с задолженностью,— к 5%. Свои требования крестьяне сопровождают указаниями на тяжесть существующей системы, подчеркивая, что всякого рода платежами урезывается жизненный минимум крестьянской семьи. Дер. Ротенаккер, требуя снижения платежей, аргументирует это следующими словами: «...чтобы бедный человек был в состоянии уплатить своему господину и вместе с тем прилично прокормить своим трудом себя и своих детей».[3] Дер. Лангенэрринген заявляет, что некоторые хозяйства вовсе не в состоянии вносить свои платежи.[4] В таком же духе высказываются и деревни г. Мемменгена.[5]

Общий вывод, который мы можем сделать из рассмотренных материалов, сводится к следующему. В сложной системе крестьянских повинностей значительное место занимали те, которые связаны с моментами личной зависимости. Это касается не только так называемых «случайных» повинностей, но и регулярных, значительная часть которых связана была в известной мере с баналитетами, но главным образом с барщиной, так как преобладавшая в этих районах система Stückfronen давала возможность сеньерам расширять круг обязательных работ, которые при отсутствии хозяйственной необходимости заменялись определенными регулярными платежами. Для достижения таких результатов сеньеры прибегали к ухудшению права владения крестьян и к более

---

[1] J. Grimm. Op. cit., Bd. VI, S. 223. Weistum Holskirchen (1450), § 35.
[2] К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 540.
[3] «Correspondenz», № 896.
[4] Fr. L. Baumann. Akten, № 167, § 12.
[5] Ibid., № 108, § 10.

частым возобновлениям условий держания. Там, где мероприятия сеньеров завершались переходом к срочной аренде, условиями такой аренды была издольщина, большей частью Dritteiligkeit. Сеньериальная эксплоатация имела, таким образом, тенденцию к поглощению всего избытка крестьянского хозяйства, сверх необходимых средств существования крестьянской семьи. Такова же была и тенденция ростовщической эксплоатации деревни. Все это говорит о нарастании сеньериальной реакции в деревне юго-западной Германии перед крестьянской войной — на основе феодальной ренты.

Таковы общие тенденции сеньериального режима в аграрных отношениях. Из этого, конечно, не следует, что наряду с указанными явлениями в изучаемое время не было в аграрных отношениях юго-западной Германии новых моментов, связанных с проникновением в деревню капиталистических элементов и с расслоением крестьянства. Эти моменты, антагонистические по отношению к охарактеризованным нами тенденциям и усложнявшие общий процесс сеньериальной реакции, требуют специального исследования.

А. Л. НАРОЧНИЦКИЙ

АНГЛИЯ, КИТАЙ И ЯПОНИЯ НАКАНУНЕ ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ 1894—1895 гг.

Английские и японские секретные дипломатические документы первой половины 90-х годов XIX в. до сих пор еще не изданы. Главными источниками для изучения британской дальневосточной политики того времени являются дипломатическая переписка других государств, пресса, биографические издания и веские публицистические сочинения.

В исторической литературе о международных отношениях на Дальнем Востоке английская политика в Китае не раз подвергалась изучению. Напротив, развитие англо-японских отношений накануне войны 1894—1895 гг. гораздо менее известно. Даже вопрос о самом характере англо-японских отношений первой половины 90-х годов прошлого века решается неправильно: английское правительство изображается ярым противником Японии до его отказа от участия в симоносекской интервенции весной 1895 г.[1] Но изучение источников приводит к другому выводу. Уже во второй половине 80-х годов XIX в. среди части британских публицистов возникло намерение улучшить отношения с Японией. Японию стали рассматривать как силу, способную, наряду с Китаем, содействовать Англии в ее борьбе с русским царизмом на Дальнем Востоке. В 1890 г. и британский кабинет стал на путь уступок Японии.

В 1894 г. этот курс британской политики выразился в таких важных дипломатических шагах, как заключение англо-японского торгового договора от 16 июля 1894 г., отменявшего консульскую юрисдикцию в Японии (с 1899 г.), и попытка склонить Китай к уступкам Японии в корейском вопросе. Ссориться с Японией тогда совсем не входило в намерения британского кабинета. Это нисколько не исключает того, что в 1894 г. английское правительство предпочитало войне сохранение политического status quo на Дальнем Востоке. Более того, с сентября

[1] См. M. Brandt. Drei Jahre ostasiatischen Politik, Stuttgart, 1897; O. Franke. Die Grossmächte in Ostasien von 1894 bis 1914. Braunschweig, 1928, SS. 33—34; Roy Hidemichi Akagi. Japan's Foreign Relations. Tokyo, 1936; Ph. Joseph. Foreign Diplomacy in China. London, 1928; Mc. Cordock. British Far Eastern Policy 1894—1900. N.-Y., 1931; Б. Романов. Россия в Манчжурии, Л., 1928; G. Wiese. Der Einspruch von Shimonoseki. Münster, 1925. Наиболее близка к действительности оценка англо-японских отношений у Мазельера: De la Mazelière. Japan, Histoire et civilisation, v. VIII.

1894 г. до начала 1895 г. вопрос о судьбе англо-китайской торговли во время войны вызвал серьезную панику среди английских дальневосточных кругов. Тогда носились слухи, что Япония блокирует Шанхай и двинет свои войска на Пекин. Но даже в ту пору английская оппозиционная консервативная печать[1] и публицисты относились сочувственно к Японии.[2] Кабинет Розбери избегал обострения англо-японских отношений и ограничивался дипломатическими попытками сдержать развертывание японской агрессии. Отказ Англии участвовать в симоносекской интервенции был не первым, а лишь завершающим шагом в повороте англо-японских отношений, который наметился гораздо ранее и история которого излагается ниже.

Ложная оценка англо-японских отношений накануне японо-китайской войны утвердилась в исторической литературе не случайно. Она явилась следствием не только недостатка источников. Основой ее служили политические тенденции. Одной из них было желание изобразить японо-китайскую войну как войну освободительную со стороны Японии, предпринятую не столько против Китая, сколько с целью поднятия престижа Японии и освобождения ее в результате победы от неравноправных договоров с европейскими державами. Из такой точки зрения, заимствованной из японской публицистики, логически вытекает оценка англо-японских отношений перед войной как резко враждебных, так как отмена неравноправных договоров с Японией зависела от согласия Англии. Взгляд этот в корне противоречит фактам. От неравноправных договоров Англия согласилась отказаться еще в 1890 г., задолго до войны 1894—1895 гг. 16 июля 1894 г. Англия заключила новый договор с Японией. С другой стороны, книги немецких и французских историков о Дальнем Востоке заострены против британской политики и дают неверную оценку англо-японских отношений. Германский или французский империализм они всячески выгораживают, а английский «разоблачают». Авторы их нарочито преувеличивают «внезапность» и «резкость» поворота британской дипломатии в сторону Японии в 1895 г.,[1] так как это дает им повод обвинить Англию в «коварной измене» Китаю. В действительности же и до 1895 г. английская буржуазия защищала в Китае вовсе не китайские, а только свои собственные интересы.

Второй характерной ошибкой является ничем не обоснованное отождествление отношения к Японии и Китаю английских дальневосточных купеческих кругов с политикой лондонского кабинета и настроениями всех других групп британской буржуазии.

---

[1] У власти стоял либеральный кабинет Розбери.

[2] См. указ. соч. M. Brandt и O. Franke, а также E. Brandenburg. Von Bismarck zum Weltkriege. Berlin, 1924. Суммарную характеристику позиции британской прессы в отношении японо-китайской войны см. в указанной книге Mc Cordock.

[3] См. указанные труды O. Franke и G. Wiese, а также G. Maspero. La Chine, v. I. Paris, 1925, p. 258. Масперо усматривает в политике Англии по отношению к Китаю в 1895 г. «une volte-face sans scrupules».

Обеими отмеченными ошибками страдает первая крупная работа по дальневосточному вопросу, написанная Франке. Последний часто ссылается на англо-китайскую прессу, но мало интересуется мнениями великобританских газет и недостаточно анализирует политику британского кабинета. Во всей литературе позиция английской дальневосточной печати, настроения всей великобританской печати и дальневосточная политика британского кабинета в 1894—1898 гг. ошибочно рассматриваются как нечто единое и однородное. Борьба партий и групп по этим вопросам не подвергалась изучению. В действительности же оппозиционная консервативная печать и публицисты, с которыми мы имели возможность ознакомиться, обнаруживают совершенно иное, сочувственное отношение к Японии. Такой же является и тайная политика кабинета Розбери летом 1894 г.

Важной причиной, порождавшей ошибочную трактовку англо-японских отношений 1894—1895 гг., было желание английских историков во что бы то ни стало доказать единство интересов Англии и Китая на Дальнем Востоке в начале японо-китайской войны. Откровенные апологеты британской дальневосточной политики, как, например, Джозеф, стремятся доказать полное совпадение этих интересов.[1] Естественно, что в работе Джозефа мы не находим ни слова о благоприятном отношении Англии к Японии в 1894 г. Другая книга, американца Mc. Cordock, также написана в защиту доктрины «открытых дверей в Китай»; автор ее — англофил, но он объективнее Джозефа. В отличие от последнего он учитывает, что на Дальнем Востоке для Англии важнее всего были ее собственные интересы, а не китайские. Так, дальневосточная торговля и борьба с Россией были для Англии важнее, чем сохранение территориальной целости Китая. Но все же и Мак Кордок не смог правильно разрешить вопрос об англо-японских отношениях в 1894—1895 гг. Ставя себе задачу во что бы то ни стало доказать единство интересов Китая, США и Великобритании, он игнорирует противоречащие его точке зрения факты англо-японских отношений.[2]

Еще со времени закабаления Китая неравноправными договорами там установилось торговое и политическое преобладание Англии. Ее торговая гегемония осуществлялась под лозунгом «свободы торговли» и «принципа наибольшего благоприятствования», которые помогали передовой английской промышленности господствовать на мировом

[1] Главная задача Джозефа — доказать во что бы то ни стало тождество интересов Китая и Британской империи. По его мнению, в отличие от бесчестной и циничной деятельности других держав, британская политика в Китае полна «превосходных деяний» (fair dealings). Джозеф считает, что главная цель британской дальневосточной политики заключается в сохранении «территориальной целости» (territorial integrity) Китая.

[2] «То, что интересы Англии,— пишет Мак Кордок,— заставили ее покинуть Китай и потерять его дружбу, было просто несчастьем Англии». «Совершенно очевидно, что в рассматриваемые годы (1894—1900.— *А. Н.*) Англия была другом Китая» (Mc. Cordock. Op. cit., p. 358).

рынке и в частности в Китае. Но английская буржуазия непрестанно стремилась к дальнейшему расширению и укреплению своих позиций на Тихом океане и Дальнем Востоке. Важным шагом в этом направлении было окончание в 1886 г. постройки Трансканадской железной дороги, намного сократившей путь из Англии в Тихий океан. Британские капиталисты старались захватить в свои руки строительство железных дорог в Китае и возбуждали китайское правительство против России. Вместе с тем с 80-х годов борьба европейских держав на Дальнем Востоке резко обострилась. В 1885 г. Франция окончательно утвердилась в Тонкине. В то же время возник англо-русский конфликт из-за островов Гамильтон на юге Кореи и порта Лазарева. С этого же времени английское политическое влияние в Китае стало ослабляться воздействием других держав на правительство богдыхана.[1] В 1891 г. была заложена Сибирская железная дорога. Франко-русский союз, созданный в Европе против Германии, получил косвенное применение на Дальнем Востоке, где Франция и Россия перешли к тесному дипломатическому сотрудничеству против Англии. Главные очаги англо-русской борьбы к 90-м годам переместились с Ближнего Востока и Средней Азии на Дальний Восток и в Иран.

Наконец, в лице подымающегося японского империализма на Дальнем Востоке появилась новая сила, требовавшая своей доли в колониальных захватах и эксплоатации Китая. Последний со времени подавления тайпинского движения оставался под властью феодальной реакции и иностранного капитала и был неспособен к защите от захватнической политики капиталистических держав. Быстрое усиление Японии вызвало нарушение политического равновесия на Дальнем Востоке. Но этот факт оставался скрытым от взора наблюдателей до разгрома Китая Японией в 1894—1895 гг., явившегося неожиданностью для многих правительств. Несмотря на происшедшие перемены, Англия сохраняла торговое и финансовое господство в Китае. Но ее политическое влияние на китайское правительство уже не было исключительным. Россия и Франция упорно подрывали его.

Торговые и политические интересы Англии в Китае и Индии определяли линию британской дипломатии на Дальнем Востоке. С Японией торговля была еще незначительна, хотя она быстро возрастала. Поэтому преобладающее влияние на англо-японские отношения в то время имели антирусские военно-политические расчеты британского правительства. Впрочем, надо помнить, что в конечном счете основа всей британской дальневосточной политики была экономической. Борьба с Россией на Дальнем Востоке была для Англии борьбой за беспрепятственное расширение и сохранение своей торгово-промышленной монополии в Китае.

В 1894 г. главная задача Англии в Азии, и в частности на Дальнем Востоке, заключалась в том, чтобы сохранить и упрочить там свое

[1] См. A. Sargent. Anglo-Chinese Commerce and Diplomacy. Oxford, 1907, pp. 229, 248—249.

первенство, не допустив укрепления русского и французского влияния на китайское правительство. «Британская империя,— писал Керзон в 1894 г.,— европейская ли, канадская или австралийская, есть прежде всего владычество в Азии (Asiatic dominion)..., мы все еще остаемся и в наших силах оставаться первой державой на Востоке». [1]

Взоры британской дипломатии искали новых точек опоры против своих врагов на Дальнем Востоке. С этими поисками связан поворот в англо-японских отношениях. В британских империалистических кругах интерес к Японии, как к противовесу России в северной части Тихого океана, возник уже в середине 80-х годов XIX в. Непосредственными возбудителями его были обострение англо-русских отношений в 1885 г. и намерение помешать России занять незамерзающий порт на Тихом океане и укрепиться на Дальнем Востоке. Немалое значение имело и усиление самой Японии.

В 80-х и начале 90-х годов политика укрепления связей Англии с Китаем нисколько не мешала началу ее сближения с Японией. До японо-китайской войны это сближение, на путь которого Солсбери вступил в 1890 г., не считалось противоречием той поддержке, которую Англия оказывала Китаю против России. Оно не мешало и распространению популярной в Англии идеи антирусского военного союза с Китаем. [2] Напротив, виднейшие английские публицисты считали Японию важным дополнительным звеном в предполагаемом англо-китайском союзе.

В апреле 1885 г. английский министр иностранных дел Грэнвиль намекал китайскому правительству на необходимость тайного соглашения с Англией. В 1893 г., когда Франция вторглась в Лаос, английское правительство предлагало Китаю заключить тайный договор о совместной защите Сиама от Франции. За поддержку в переговорах с Россией об афганских границах лондонский кабинет предлагал Китаю территориальные уступки, но китайское правительство отказалось от этих соглашений, боясь мести России и Франции (октябрь 1893 г.).

В своих попытках подготовить союз с Китаем британское правительство не имело успеха благодаря сопротивлению самого Китая, что соответствовало общему направлению дипломатии Ли Хун-чжана. Основная идея ее типична для внешней политики полуколониальных или зависимых стран; она заключалась в лавировании между различными внешними влияниями с целью их нейтрализации.

Еще с 1890 г. среди английских кругов стали подозревать Ли Хун-чжана в желании поддержать в Китае русско-французское влияние в противовес английскому. [3] Тем не менее в Англии были уверены в воз-

---

[1] G. Curzon. The Problems of the Far East. London, 1894, p. 419.

[2] Ibid., p. 11.

[3] Chang Chung Fu. The Anglo-japanese Alliance, Baltimore, 1931, pp. 11—12; Y. Bland. Li Hung Chang. London, 1917, pp. 170—171; R. Douglas. Li Hung Chang. London, 1895, pp. 238—239.

можности совместных действий с Китаем против России. Япония могла быть дополнительным звеном в этом англо-китайском блоке. Этот взгляд высказывался уже в 1885 г. Колькгаун, корреспондент «Таймса», ратовавший за заключение англо-китайского союза, писал, что в случае войны между Россией и Англией наиболее желательная «комбинация такова: а) англо-китайская, поскольку дело касается Афганистана, Кашгара-Кульджи и Кореи, и b) англо-китайско-японская — для защиты одной Кореи».[1] Дильке — один из наиболее известных пропагандистов британского империализма, также писал о необходимости англо-китайского союза. Но в 1885 г., в 8-м издании его книги «Greater Britain», появились рассуждения о необходимости использовать и Японию в борьбе против России. Дильке был восхищен быстрым развитием Японии, ростом ее флота и армии и считал, что Англия должна устранить поводы к раздражению со стороны Японии — «молодой державы, помощь которой в северной части Тихого океана может когда-нибудь оказаться нам нужной; наступит время, когда Япония сможет быть полезным союзником для нас в северной части Тихого океана». Россия же, по словам Дильке, «единственная из тихоокеанских держав, которая подозревается в честолюбивых замыслах».[2] Основываясь на этих рассуждениях, Дильке призывает к усилению английского политического влияния в Японии. Те же мысли высказывал и ярый империалист Генри Норман.[3]

В 1893—1894 гг. Р. Гендри, почетный секретарь «Китайской ассоциации», связанной с интересами текстильных фабрикантов, утверждал, что Англия, Китай и Япония должны во взаимных интересах совместно препятствовать вторжению России в Корею с целью захвата незамерзающего порта.[4] В 1894 г. еще яснее высказывался Керзон: «Дружественные отношения между нами и Японией,— писал он,— помогут ей в ее торговом и промышленном развитии, в котором она идет по нашим же стопам, и в то же время они утвердят наше продолжающееся господство на океанских путях. Подобное же отношение к Китаю усилит его в сопротивлении, для чего есть еще время, против единственного врага (подразумевается Россия.— *А. Н.*), которого он имеет реальные причины бояться, и облегчит нам коммерческий доступ на его территорию на суше»[5].

---

[1] A. R. Colquhoun. English Policy in the Far East, London, 1885, pp. 24—26 (цит. по книге Chang, pp. 10—11). Мысль о Китае, как о будущем мощном противнике России, высказана и в книге D. Bulger. Central Asian Question. London, 1885, pp. XIII—XIV, 175—176.

[2] C. W. Dilke. Greater Britain, London, 1885, 8-th ed., pp. 576—577, 596—597.

[3] H. Norman. The Real Japan, 2-d ed., p. 333.

[4] R. Gundri. Corea, China and Japan.— «The Forthnightly Review», Nov. 1894, p. 632. «Китайская ассоциация» защищала главным образом дальневосточные интересы текстильной промышленности Англии.

[5] G. Curzon. Op. cit., p. 419.

Нужно отметить, что в самой Японии относительно России и Англии не было единства взглядов. Старый граф Ито был склонен к соглашению с Россией.[1] По донесениям русского посла в Токио Хитрово в северной Японии были сильны настроения в пользу соглашения с Россией и развития русско-японской торговли по Сибирской железной дороге. С целью содействия торговле с Россией летом 1894 г. в Японии было основано русско-японское общество.[2] Напротив, более молодое поколение дипломатов, как, например, Хаяси, Ниси (Nishi), Като, в 1894—1895 гг. предпочитали сближение Японии с Англией. Еще в первой половине 80-х годов англо-японские отношения были враждебны. Во время конфликта 1885 г. из-за порта Лазарева Япония боялась укрепления Англии на островах Гамильтон не меньше, чем утверждения России на берегах Кореи. Но антирусские настроения, особенно с проведением Сибирской железной дороги, стали быстро брать верх. В японской публицистике развиваются идеи, весьма сходные с мнениями английских империалистов. Россия рассматривалась как главный враг Японии, Англии и Китая. Чтобы оттеснить Россию и обезвредить ее, японские публицисты считали необходимым создать две коалиции: континентальную — из Англии, Франции, Австрии, Турции и Италии и азиатскую — из Англии, Китая и Японии.[3]

Если решающей основой сближения Англии с Японией были военно-политические расчеты, то известную побочную роль играли при этом и перспективы развития англо-японских экономических отношений. Во

---

[1] R. H. Akagi. Op. cit., pp. 191—193; A. Pooley. The Secret Memoirs of Count Tadasu Hayashi. London, 1915, pp. 10, 11; 16—17; Chang Chung Fu, Op., cit., pp. 24—26.

[2] Донесение Хитрово от 28 апреля — 10 мая 1895 г. (АМИД, Яп. стол, д. 900). Антирусские настроения были сильны на острове Хоккайдо. См. донесение русского вице-консула в Хакодате от 12/24 июля 1894 г., копия (АМИД, Яп. стол, 1894, д. 177, л. 56).

[3] См. M. Inagaki. Japan and the Pacific and a Japanese View of the Eastern Question. London, 1890, pp. 35—41, 69, 264—265. Автор доказывает необходимость континентального союза европейских государств против России и дальневосточного союза Японии, Англии и Китая.

Оиси (Oishi). Ниппон-но-Нидай Сайсаку, 1892, особенно ч. II: «О внешних сношениях стран». Автор доказывает, что оба союза смогут мирным путем принудить Россию к уступкам. Будущей русской границей он «устанавливает» Урал. Япония, по его мнению, должна вытеснить европейскую торговлю из Китая. Оиси высказывается за японо-китайский союз на основе признания Китаем «независимости» Кореи. Он считает, что с Кореи необходимо начинать осуществление всего плана. Россию с ее Сибирской железной дорогой он считает угрозой Дальнему Востоку. Россия для него — «враг цивилизации», торговли и мира; борьба с ней необходима ради «прав человечества», «пользы государства» и «спасения мира». Из Сибири автор мечтает образовать район для колонизации всех наций.

О японских памфлетах, выставляющих Сибирскую железную дорогу причиной неотложности выступления Японии в Корее против русского влияния, см. АМИД, Яп. стол, 1894, д. 177, лл. 12—13 (записка «Война между Китаем и Японией, ее причины и возможные последствия»).

В феврале 1893 г. тот же Оиси произнес в Сеуле речь. В ней он заявил, что

всяком случае они заметно повлияли на различие в отношениях к Японии отдельных кругов британской буржуазии.

Размеры англо-японской торговли были, конечно, несравненно меньше торговли Англии с Китаем. Но как и в Китае, во внешне-торговом обороте Японии Англия занимала первое место. В 1892 г. внешняя торговля Японии распределялась по странам следующим образом: на Англию приходилось 35% (в 1890 г. 41%), на США — 27%, на Францию — 14%, на Китай — 12%, на Германию — 4%.[1] В 1893 г., из 23 млн. ф. ст. всего оборота внешней торговли Японии свыше 9.25 млн. приходилось на Британскую империю.[2] «Экономист» отмечал, что абсолютные размеры британской торговли с Японией быстро растут, несмотря на понижение ее процента во всем обороте Японии. Статистические данные об англо-японской торговле, особенно английские и японские, значительно расходятся вследствие различия в приемах исчисления. Официальная английская статистика дает следующие цифры (округленно, в тыс. ф. ст.[3]) (табл. 1):

Таблица 1

Годы	Импорт в Соед. корол. из Японии	Экспорт в Японию из Соединенного королевства	Годы	Импорт в Соед. корол. из Японии	Экспорт в Японию из Соединенного королевства
1889	978	4055	1894	959	3919
1890	1024	4187	1895	1143	4773
1891	1153	3061	1896	1241	6160
1892	804	3282	1897	2685	5180
1893	1065	3732			

По данным «Экономиста», британская торговля с Японией с 1892 по 1893 гг. возросла в следующем виде:[4]

	Прирост импорта	Прирост экспорта
В Британскую империю (из Японии)	641 726 ф. с.	352 689 ф. с.[5]
В Соедин. королевство (из Японии)	660 018 ф. с.	640 108 ф. с.

«Дальний Восток всецело должен быть достоянием Китая и Японии, и Европа, как общий их враг, должна быть изгнана из этих краев» (АМИД, ВД, д. 112, донесение Кассини от 29 ноября ст. ст. 1894 г.).

Бредовое сочинение Онси доставило ему место министра-резидента в Корее. Перевод его (в рукописи) на русский язык под приведенным выше заглавием см. в АМИД, Аз. деп., 1893—1895, д. 4 (депеши из Сеула). См. также статью из газ. «Ниппон» (консервативная) от 3 дек. 1893 г. в «Сборнике географических, топографических и статистических материалов по Азии», СПб., вып. 55, стр. 108—111.

[1] H. Norman. Op. cit., p. 384; G. Curzon. Op. cit., p. 43.

[2] «The Economist Monthly Trade Supplements», 13 Oct. 1894, p. 6.

[3] «Statistical Abstracts for the United Kingdom», 1889—1904, 1904, № 51, pp. 60—61. Немногим отличаются от этих цифры, приводимые в таблицах в книге: W. Page (editor). Commerce and industry. Tables of Statistics for the Brit. Empire from 1815. London, 1919, p. 109.

[4] «The Economist Monthly Trade Supplements», 13 Oct. 1894, p. 6.

[5] Сократилась торговля с Британской Индией.

Согласно всем этим данным, в торговле Англии с Японией в 1891 г. произошло резкое падение. Но после этого снова начался ее быстрый, неуклонный рост. Еще быстрее росла англо-японская торговля по данным японской статистики.[1] По этим данным, импорт в Японию из Британской империи (Индии, Гонконга, Англии и Английской Америки) составлял (в млн. иен):

Год	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
Сумма импорта	30.72	37.47	45.00	61.80	65.26	90.95	107.23

Цены в золоте в это время падали, но медленнее, чем поднимались цены в серебре. Поэтому, если допустить, что английские данные в золотой валюте более точно выражают изменение размеров торговли, то и тогда цифры говорят о чрезвычайно быстром росте вывоза в Японию из Британской империи и особенно из Соединенного королевства. Наиболее резкое возрастание вывоза падает на время японо-китайской войны (1894—1895 гг.) и следующие за ней годы.

Экспорт из Японии в Британскую империю не обнаруживает такого резкого увеличения, как импорт, но он также непрерывно рос.

Экспорт из Японии в Британскую империю (в млн. иен).

Год	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
Сумма экспорта	20.54	19.72	24.88	28.05	32.59	35.12	41.48

Баланс англо-японской торговли был весьма активным для Британской империи и особенно для Великобритании. По данным «Экономиста», в 1893 г. экспорт из Соединенного королевства в Японию составлял около 8.8 млн. ф. ст., а импорт из Японии в Соединенное королевство — всего 0.64 млн. Экспорт из Британской империи в Японию составлял в том же году около 6 млн., а импорт в Британскую империю из Японии — около 3.3 млн. В заключение необходимо отметить, что в 1893 г. из 1374 пароходов, посетивших японские порты, на Англию приходилось 698, а из 1 896 057 тонн их водоизмещения — 1 258 305.[2] Важно также отметить, что японская внешняя торговля росла гораздо быстрее китайской.[3]

Возможность превращения Японии в недалеком будущем в довольно значительный рынок сбыта для английских товаров была лишь одной стороной вопроса. Другая сторона его, менее приятная для английских капиталистов, заключалась в том, что японские фабриканты и купцы уже тогда конкурировали с промышленностью и торговлей Бомбея и Ланкашира и наносили им серьезный урон. Вывоз хлопчатобумажной пряжи в Японию из Бомбея с 1888 до 1896 г. сократил-

---

[1] «Annuaire financier et economique du Japan», № 111, Tokyo, 1903, pp. 84—85 80—81.

[2] «The Economist», 27 Apr. 1895.

[3] Ibid.

ся на 90%, а из Англии — на 40%. Усиливавшееся в Японии стремление отменить пошлины на ввоз хлопка и вывоз тканей могло привести к дальнейшему ухудшению положения.[1]

По отношению к Японии как к будущему конкуренту и рынку сбыта среди английской буржуазии и ее публицистов наметились по крайней мере три группы с различными интересами и перспективами. С одной стороны, выделяются интересы буржуазии, связанные главным образом с тяжелой индустрией, сбыт изделий которой на японском рынке возрастал благодаря капиталистической индустриализации Японии и в будущем мог принять весьма крупные размеры. Финансовые круги были заинтересованы в предоставлении займов Японии на вооружение и другие расходы. Другой группой была буржуазия, связанная с легкой, в основном текстильной промышленностью Великобритании и Индии. Наконец, третьей было английское купечество в японских и китайских открытых портах, которое страдало от японской конкуренции.

Для кругов английской буржуазии, связанной с тяжелой промышленностью, рост сбыта в Японию орудий, судов, разных металлических изделий и машин был вполне достаточной компенсацией за потери британской текстильной промышленности на Дальнем Востоке от японской конкуренции. Отчасти эти выгодные перспективы обусловливали благоприятное отношение консервативной печати к отмене экстерриториальных прав английских подданных в Японии и к ревизии англо-японского торгового договора. Консервативные политики были пропагандистами англо-японской дружбы.

Совершенно ясные соображения на этот счет развивались в печати уже в 1889 г. В это время англо-японская торговля росла особенно быстро. Выдающимся был 1888 год. По данным доклада британского представителя в Токио Фрэзера (Fraser) лондонскому министерству иностранных дел, опубликованным в «Экономисте», импорт в Японию в 1888 г. возрос по сравнению с 1887 г. с 8906 тыс. ф. ст. до 11 196 тыс., т. е. на небывалую прежде сумму в 2290 тыс., или на 25%. Из этих 2290 тыс. ф. ст. прироста 2056 тыс. падают на Англию, а остальные — на прочие державы. На Великобританию из 11 195 тыс. ф. ст. импорта приходилось 5130 тыс., причем наибольший прирост британского импорта в Японию в 1888 г. приходится на металлические изделия.

Тот же Фрэзер в докладе о торговле в Хиого и Осака писал, что Англия не может рассчитывать на дальнейший рост ввоза своих хлопчатобумажных изделий и пряжи в Японию вследствие роста японских фабрик, и останавливается на перспективе ввоза изделий тяжелой индустрии: «Около 50 фабрик работают теперь только в Осака и почти все производят товары, которые являются или были в предыдущие годы предметами ввоза... Существование и продолжающийся рост этих и подобных им фабрик, казалось бы, должны были оказать разруши-

[1] V. Chirol. The Far Eastern Question. London, 1896, p. 160.

тельное влияние на внешнюю торговлю, но если взять последнюю в ее совокупности, то на деле окажется скорее обратное, так как в большой степени именно их (фабрик) основанию следует приписать увеличение импорта металлов и машин среди прочих предметов». Вытеснение ввоза одних товаров благодаря развитию местной промышленности ведет лишь к тому, что «другие новые потребности должны будут покрываться из-за границы и общая стоимость импорта продолжает расти, как и до сих пор».

Те же соображения приводил в 1894 г. Керзон, который, невзирая на развитие японской текстильной промышленности, защищал мысль о необходимости сближения с Японией. «Европейские купцы,— писал он,— приведены в замешательство этим японским развитием. Однако можно указать, что любая убыль иностранного импорта, которая может быть следствием иностранной конкуренции, должна быть с избытком возмещена растущей покупательской силой Японии в отношении иностранных изделий, как, например, машин, которые она не может производить сама».[1] Наряду с этим рост текстильной промышленности Японии способствовал росту ввоза в страну индийского хлопка-сырца. Вывоз хлопка из Бомбея в Японию и Китай в 1888—1889 гг. составлял вместе 38 562 ф. ст., а в 1892 г. в одну Японию ввозилось уже на 138 158 ф. ст.

В 1891 г. японская внешняя торговля резко сократилась. Причиной ее падения были высокие цены на рис, спекуляции в железнодорожном деле и в промышленности, сильное землетрясение в последнем квартале года и колебания курса серебра. Упадок этот сказался и в следующем году на импорте металла и металлических изделий в Японию. Тем не менее, если взять отдельно ввоз машин, то в 1890 г. он был равен 110 тыс. ф. ст., а в 1892 г.— 210 тыс. Неуклонный быстрый рост импорта в Японию металлов и металлических изделий возобновляется с 1893 г.

«Экономист» особо отмечает, что с 1892 по 1893 г. главным образом возрос импорт в Японию локомотивов, вагонов, машин, металлов и металлических изделий, а также, в небольшой мере, штучных хлопчатобумажных и шерстяных изделий.[2]

С 1890 по 1894 г. ввоз в Японию многих продуктов тяжелой индустрии возрос в огромной степени, хотя абсолютные размеры (в тыс. иен) его еще довольно малы (см. табл. 2 на стр. 200).

Именно в 1893 г. на страницах английской печати снова начинает обсуждаться вопрос о выгодах, которые может принести тяжелой индустрии Англии дальнейший рост японской промышленности.[3]

И позднее, в 1896—1897 гг., консервативные публицисты продол-

---

[1] «The Economist Monthly Trade Supplements», 9 Nov. 1889, pp. 6—8.

[2] Ibid., 13 Oct. 1894, p. 6; «The Economist», 27 Aug. 1892.

[3] «Annuaire financier et économique du Japan», № 111, pp. 94—96; «The Economist», 15 Oct. 1892; «The Economist Monthly Trade Supplements», 9 Sept. 1893.

Таблица 2

Товары	1890 г.	1894 г.	Товары	1890 г.	1894 г.
Локомотивы	660	1880.2	Листовое и гальванизированное железо	73	157
Чугун в болванках	186	744	Железные трубы	167	484
Железо полосовое и в прутьях	830	1339	Телеграфная проволока	74	142
Рельсы	1259	1209	Гвозди железные	694	1333
Листовое и пластинчатое железо	314	727			и т. д.

жали утверждать, что хотя импорт ряда промышленных изделий в Японию будет уменьшаться, но Япония будет нуждаться в европейском сырье и не сможет сама осуществить железнодорожное строительство, сооружение фабрик и заводов и судостроение «без обращения к европейским ресурсам и изобретениям».[1] Корреспондент «Таймса» Чироль, например, так передавал свои впечатления от выставки японских машин: «Эта часть выставки скорее показывает на будущее, чем соответствует положительным успехам настоящего, так как Япония должна будет еще годами покрывать ввозом из-за границы бо́льшую часть своей потребности в машинах, которых она в 1894 г. импортировала не менее как на полмиллиона фунтов стерлингов». Чироль усматривал в Японии также будущий рынок для сбыта австралийской шерсти.[2]

Сходные идеи находим также в книге Гастрелла. Этот экономист в 1897 г. доказывал, что потери от японской конкуренции на вывозе текстильных товаров Англия наверстает на вывозе в Японию машин и металлических изделий и заказах на постройку торговых и военных судов. Нужно отметить, что в 90-х годах XIX в., особенно во второй их половине, Германия становится серьезным конкурентом Англии по вывозу машин в Японию.[3]

Что касается великобританских текстильных фабрикантов, производивших товары для дальневосточного рынка, то их интересы главным образом страдали в начале 90-х годов не столько от японской конкуренции, сколько от развития хлопчатобумажной промышленности в Индии. Тем не менее им не удалось совсем остановить рост индийской хлопчатобумажной промышленности, находившейся, разумеется, в руках английского капитала. Политические соображения имперского характера и интересы тяжелой промышленности Великобритании пре-

[1] G. Curzon. Op. cit., 2-d ed., London, 1896, pp. 388—389.

[2] V. Chirol. Op. cit., p. 134, ch. XII. Учитывая быстроту развития японской индустрии, Чироль, правда, не считал, что благоприятное положение с ввозом металлов продлится долго.

[3] W. Gastrell. Our Trade in the Wordl in Relation to Foreign Competition 1885—1895, London, 1897, p. 142. На стр. 146—147 даны таблицы импорта металлов в Японию и ввоза и вывоза текстильных изделий за 1885—1895 гг.

возмогли в 1895 г. интересы ланкаширских фабрикантов: 21 февраля 1895 г. кабинет Розбери провел через палату закон о введении охранительных пошлин на ввоз текстильных изделий в Индию. Хотя пошлины были незначительны, но принципы манчестерства были уже нарушены. Большие количества индийской пряжи сбывались в Японию, но японские прядильные фабрики уже с конца 80-х годов XIX в. становились для нее уничтожающим конкурентом. Зато они же поглощали все больше индийского хлопка-сырца.

По данным отчета Иокогамской торговой палаты от 15 мая 1894 г., в Японии в 1883 г. было 16 фабрик с 43.7 тыс. веретен, в 1892 г.— 39 фабрик с 403.3 тыс. веретен, а в 1893 г.— 46 фабрик с числом веретен около 600 тыс. Тот же отчет сообщает об огромных японских заказах на машины для производства тонкой пряжи. В 1893 г., когда ввоз английского ширтинга (shirting) в Китай уменьшился более чем на 2.5 млн. штук (pieces) и тонких тканей (t. clothes) — на 550 тыс. штук, импорт в Китай японских хлопчатобумажных изделий возрос на 40 тыс. штук. По отчету британского консула в Хиого, 21 текстильная фабрика в Осака выплачивала в среднем 8% дивиденда в 1892 г. (высший процент достигал 28), а 6 текстильных фабрик, плативших в 1893 г. 12%, в первое полугодие 1894 г. довели дивиденд до 16%.

В то же время текстильная промышленность в Англии терпела убытки. 93 прядильные компании (Oldham) в 1892 г. имели чистый убыток (net loss) в 104 664 ф. ст., а в 1893 г.— 72 768. В 1893 г. 63 компании потерпели в целом убыток на 366 800 ф. ст.

Британский консул в Шанхае в своем донесении объяснил это сравнительное процветание японской индустрии преимуществом Японии как страны с серебряной обесценивавшейся валютой. Гораздо менее выгодное положение Индии он приписывал наличию большого внешнего долга Индии в золоте. Отсюда вытекала поддержка, которую английские текстильные фабриканты оказывали пропаганде биметаллизма. Введения биметаллизма требовали интересы импорта текстильных товаров в Китай, Японию и Индию.[1]

Но главным рынком сбыта английских текстильных изделий на Дальнем Востоке был Китай. На китайском рынке японская конку-

---

[1] См. Hansard. Parliamentary Debates, 4-th serie, v. XXX.

21 февраля 1895 г. защитник интересов ланкаширских фабрикантов H. James заявил в Палате общин, что в 1877—1882 гг. на долю Англии приходилось 2/3 всей торговли бумажной пряжей с Китаем, Гонконгом и Японией; в 1891—1894 гг. на долю Англии приходилось, по его словам, 1/5, а на Индию — уже 4/5 этой торговли (стр. 1288, 1300, 1333). В защиту пошлин на ввоз текстильных изделий в Индию см. речи Фоулера и Whiteley (там же, особ. стр. 1310, 1315, 1318, 1342). О вывозе текстильных товаров из Англии в Китай см. «The Economist», 27 Apr. 1895, и A. Sargent. Op. cit., pp. 258—259. Мнение о безопасности для Англии японской конкуренции в Китае см. V. Chirol. Op. cit., ch. XIII. Противоположное мнение и данные см. в книге почетного секретаря «Китайской ассоциации» R. Gundry. Op. cit., Append. G., pp. 407—409, 131, XVII.

ренция в 90-х годах не представляла опасности. Потенциальные возможности его казались необъятными. В случае нападения Японии на Китай круги английской буржуазии, связанной с текстильной промышленностью, естественно должны были стать на сторону последнего. Так и поступила «Китайская ассоциация».

Следующие данные показывают соотношение размеров британской торговли в Китае и в Японии. В 1864 г. в Британскую империю шло 74% всего китайского экспорта, из импорта в Китай Британская империя поставляла 85%. В 1893 г. 80% китайского экспорта шло в Британскую империю, а из Британской империи шло в Китай 57% китайского импорта. На долю собственно Великобритании приходилось 20% китайского экспорта и 22% всего импорта в Китай.[1] Еще выше был процент стоимости товаров во внешней и каботажной торговле Китая, которые перевозились на английских судах. Этот процент составлял в 1892 г.— 57%, в 1893 г.— 56.5%, в 1894 г.— 61%, в 1895 г.— 62%, а в 1896 г.— 59.7.[2]

Если взять за 100% товары, перевозившиеся на иностранных судах, исключив китайские, то доля английских судов в 1893 г. составляла 85%. Капиталовложения Англии в Китае в 1893 г. в виде займов, акций и т. д. составляли около 130 млн. долларов. 60% фирм в Китае были британскими.[3] По данным «Экономиста», общая сумма внешней торговли Китая составляла в 1893 г. около 52 761 600 ф. ст., из которых на импорт приходилось 29 799 600, а на экспорт — 22 962 000. Отсюда, по грубому подсчету, следует, что сумма торгового оборота Британской империи с Китаем в 1893 г. составляла около 35 354 000 ф. ст., причем на долю Великобритании приходится около 10 750 000.[4] Торговля всей Британской империи с Японией в том же году равнялась, как указано выше, 9.3 млн. ф. ст.; на Соединенное королевство из них приходилось не менее 4.44 млн. Таким образом, торговый оборот Британской империи с Китаем в 1893 г., примерно, в 3.8 раза превышал ее торговый оборот с Японией. В Японии не было столь значительных английских капиталовложений, как в Китае. Важно отметить, что взятая отдельно торговля Соединенного королев-

---

[1] Mc. Cordock. Op. cit., pp. 64—65, 71—73.

[2] China. Imperial Maritime Customs, Decennial Reports 1892—1901. Second issue, Shanghai, 1906, Append. I, p. XVIII.

[3] Mc. Cordock. Op. cit., pp. 74—75.

[4] «The Economist», 25 Apr. 1896, p. 546. Для примерного подсчета использованы вышеприведенные данные. Они получаются, если принять за торговлю Британской империи с Китаем сумму торговли Китая с Соединенным королевством, Гонконгом и Индией, с некоторыми мелкими поправками около 80% экспорта и 57% импорта Китая приходится на Британскую империю и из них соответственно 20 и 21% на Англию. Имеющиеся статистические материалы не позволяют дать более точный подсчет. H. Norman определяет торговлю Англии в Китае даже в 12,4 млн. ф. ст. («Statist. Abstr. for the Brit. Emp.», № 2; «Stat. Abstr. for the Un. Kingdom», № 51).

ства с Китаем превосходила его торговлю с Японией в гораздо меньшей степени, а именно не более чем в 2.4 раза, причем японская торговля росла несравненно быстрее китайской. Эти данные говорят о сравнительно высокой заинтересованности великобританской буржуазии в торговле с Японией.

В торговле с Японией для Англии важнее всего были перспективы будущего, а не наличные размеры. Размеры эти были значительные в сравнении с торговлей Соединенного королевства с Китаем, но совершенно ничтожны в общем внешнеторговом обороте Британской империи, который в 1894 г. равнялся 665,8 млн. ф. ст. Вывоз металлов и машин из Соединенного королевства в 1888 г. составлял 42.1 млн. ф. ст., из которых на Японию приходилось не менее 1.8 млн., т. е. около 4.3%. Таким образом, в этой области удельный вес торговли Англии с Японией был невелик.

В вывозе британских и индийских хлопчатобумажных товаров в Китай в 1893 г. произошел резкий упадок, но затем в 1894 г. снова начался его рост.[1] В англо-китайской торговле огромную роль играл Гонконг-Шанхайский банк, основанный в 1864 г. В 1893 г. его капитал составлял 50 млн. долларов, а депозиты — 4 288 377 долларов. Вся английская буржуазия в Китае зависела от кредита этого банка. С ним были связаны и германские фирмы. С 1893 по 1894 г. ввоз в Китай хлопчатобумажной пряжи и изделий поднялся с 8.86 млн. ф. ст. до 11.47 млн. В связи с этим легко понять, что дальневосточные круги английской буржуазии были настроены прокитайски. Англо-китайская пресса подвергала критике политику британских властей, если она расходилась с интересами местных резидентов.[2]

Различные точки зрения отдельных групп британской буржуазии на Японию ясно сказались в их отношении к отмене заключенных с нею неравноправных договоров. К отмене их и сближению с Японией призывали консервативные газеты или наиболее агрессивно настроенные публицисты из либерального лагеря. Свои политические аргументы они дополняли расчетами на выгоды сбыта в Японию изделий тяжелой индустрии.

Первый решительный шаг в отношении отмены консульской юрисдикции в Японии и сближения с ней сделали не гладстоновцы, а консерватор Солсбери. Дильке еще в 1885 г. считал возможной частич-

[1] A. Sargent. Op. cit., pp. 261—262, 331 (на последней странице диаграммы). Падение размеров великобританской и индийской торговли в Китае по официальной статистике за 1885—1895 гг. только кажущееся. Такое движение цифр объясняется просто тем, что английские торговцы стали в большей мере пользоваться складами Гонконга; процент торговли последнего возрос за счет британской и индийской торговли в Китае. См. C. Remer. The Foreign Trade of China, London, 1928, p. 23; T. Overlach. Foreign Financial Control in China. N.-Y., 1919, p. 41; Couling. Encyclopaedia Sinica. Shanghai, 1917, pp. 235—258; Mc. Cordock. Op. cit.

[2] G. Curzon. Op. cit., 2-d ed., p. 421.

ную отмену экстерриториальности иностранцев в Японии. Он доказывал необходимость уступить Японии по крайней мере в более мелких вопросах. Г. Норман в начале 90-х годов писал о необходимости отменить консульскую юрисдикцию в Японии. По его мнению, Англия, взяв на себя решающую роль в ревизии договоров, приобрела бы дружбу Японии на Тихом океане. Газета «Таймс» еще 19 апреля 1889 г. призывала к уступкам Японии в вопросе об экстерриториальности, отмечая, что неравноправные договоры мешают развитию британской торговли в Японии. Позднее та же газета восхваляла отмену неравноправных договоров как залог дружбы с Японией. «Таймс» продолжала писать об этом даже осенью 1894 г., когда агрессия Японии вызвала немалую тревогу в Англии. Отмены экстерриториальности хотел и либерал Розбери (1893—1894). Единственное дело, за которое корреспондент «Таймса» Чироль хвалил Розбери,— это новый равноправный англо-японский договор от 16 июля 1894 г. Необходимо при этом отметить, что и Солсбери, и Керзон, и Розбери не хотели безоговорочного отказа от экстерриториальности[1]. Они желали отмены ее лишь после того, как в Японии будут введены и испытаны в течение нескольких лет гражданские законы и юстиция по европейскому образцу. Напротив, Гендри — почетный секретарь «Китайской ассоциации», организации текстильных фабрикантов и дальневосточного купечества, не одобрял отмену неравноправных договоров даже с этими оговорками.

Английское купечество в открытых портах Японии и Китая наиболее резко выступало против ревизии неравноправных договоров и политического сближения с Японией. В интересах этих кругов торговля текстильными товарами занимала важное место. Английская дальневосточная пресса была рупором их интересов. Иокогамская «Japan Daily Herald», орган английского купечества в Японии, в 1894 г. вела неистовую кампанию по поводу англо-японских переговоров об отмене экстерриториальности. Газета не стеснялась назвать прямой глупостью действия английского представителя в Японии Фрэзера, сторонника сближения с Японией, и запугивала японское правительство Россией. Сближение Англии и Японии против России казалось ей ненужным. Газета протестовала против принесения ему в жертву интересов Англии. «Цель английской политики,— писала она,— заключается в том, чтобы пожертвовать интересами Англии японской жажде власти, и когда Англия будет в войне с Россией, привлечь Японию на свою сторону, так чтобы она стала союзником Великобритании, или же помешать Японии вступить в союз с Россией, т. е. благоразумно объявить себя нейтральной, причем мы уверены, что последняя наиболее

---

[1] C. W. Dilke. Op. cit., p. 577; H. Norman. The Real Japan, 2-d ed., pp. 333; Tatsui Takeuchi. War and Diplomacy in Japanese Empire. N. IY., 1935, p. 93; «The Times», 18/IX 1894, p. 7; G. Curzon. Op. cit., 1-t ed., pp. 65—66; V. Chirol. Op. cit., p. 124.

разумная альтернатива одна именно и будет принята Японией по очевидным причинам, и для этого не требуется давать взятку...». «Вполне возможно, — продолжала газета,— что в своей претензии провести ревизию договоров кабинет Ито, вступив, прежде чем он вынужден будет выйти в отставку, в запутывающее его соглашение с Англией, настолько скомпрометирует Японию в глазах России, что последняя не постесняется в дальнейшем, как это сделала Германия с Францией или Россия с Турцией, предъявить территориальные требования, которым Япония вряд ли сможет противостоять; такова, например, просьба уступить Цусиму или незамерзающий порт на юге — главную потребность России на море, скажем, Нагасаки» [1].

С другой стороны, японские газеты учитывали выгодное стратегическое положение Японии между Англией и Россией. С целью воздействия на ход переговоров в пользу Японии, они стремились запугать английскую буржуазию возможностью присоединения Японии к франко-русскому союзу. «Если Япония примет сторону России,— писала одна газета,— то Англия на Дальнем Востоке должна потерпеть неудачу, и если она желает не допустить этого, т. е. если она стремится видеть Японию нейтральной, то ей следует знать, что она должна согласиться на все наши требования» [2].

Недовольство английского дальневосточного купечества намерением лондонского кабинета отменить неравноправные договоры с Японией отчасти объясняется их коммерческими взаимоотношениями с японскими предпринимателями и их объединениями — японскими гильдиями. Как известно, во время реформ «Мейдзи» в Японии были уничтожены гильдии феодального типа, но впоследствии японское купечество стало требовать их восстановления с целью защиты от конкуренции импортных товаров. В Японии гильдии были единственными средствами борьбы с иностранным импортом, так как благодаря неравноправным договорам, устанавливавшим 5-процентные ввозные пошлины, нельзя было ввести защитительные пошлины. Иностранная конкуренция разоряла мелкую японскую промышленность. В 1884 г. японское правительство, чтобы облегчить конкуренцию с иностранными товарами, учредило союзы предпринимателей различных отраслей мелкого производства, причем в главных экспортных отраслях участие предпринимателей в таких союзах в 1883 г. было сделано обязательным. Учреждение новых союзов было по существу восстановлением прежних гильдий, но в измененном виде. С 80-х годов в отраслях японской промышленности и торговли, теснее связанных с внешним рынком (легкая индустрия), стали возникать объединения более крупных капиталистов, в том числе экспортно-импортные гильдии. В 1880 г. возникло

[1] См. «Japan Daily Herald», февраль 1894 г., статья «Russia Blocks the Way» и АМИД, Яп. стол, д. 14, донесение Хитрово от 5/17 февраля 1894 г.

[2] «Нироку Симпо» — начало марта 1894 г., статья «Россия и Англия в их отношениях к Японии» (АМИД, Яп. стол, д. 14, донесение Хитрово от 20 февраля 1894 г.).

объединение по производству и продаже бумаги, в 1882 г.— текстильное объединение, имевшее целью сосредоточить в своих руках импортные операции, вести борьбу с ввозом бомбейской пряжи в Японию и достичь (последнее — с 1890 г.) укрепления предприятий [1]. Английские торговые круги в Японии были крайне недовольны деятельностью гильдий; защита последних позволяла японским купцам оказывать давление на условия контрактов с иностранцами. Английские купцы жаловались на случаи, когда японские торговцы, уличенные судом в нарушении контракта, добивались уступок от английских купцов посредством угроз бойкота со стороны гильдий. При падении курса серебра в 1882—1890 гг. гильдии заставили иностранных купцов нести потери от обесценения серебра во время сделок. При временном же подъеме курса серебра в 1890 г. японские купцы, опираясь на монополию тех же гильдий, отказывались нести соответствующие потери.

В 1890 г., когда велись переговоры с Англией о ревизии договоров и Солсбери сделал Японии решительные уступки, английские газеты в Японии усилили агитацию против отмены консульской юрисдикции и подчеркивали коммерческую недобросовестность японских предпринимателей. Собрание английской колонии в Иокогаме от 11 сентября 1890 г. решило послать Солсбери телеграмму с протестом против отмены консульской юрисдикции и изменений в отношении права земельной собственности для иностранцев.

В исходящей из английских торговых кругов в Японии статье «Британские интересы в Японии», напечатанной в газете «Таймс», выражается недовольство этого купечества тем, что при заключении нового договора в 1894 г. британское правительство не добилось обещания Японии повлиять на гильдии [2].

В отличие от японских капиталистов, китайская буржуазия не вела такой ожесточенной борьбы за свой внутренний рынок. Между прочим, по словам Чироля, то обстоятельство, что симпатии английских торговых кругов на Дальнем Востоке перед японо-китайской войной и довольно долго во время этой войны были на стороне Китая, а не Японии, объясняется высокой «коммерческой честностью» китайских торговых кругов, которой нет у японских торговцев [3]. Сказанное выше делает понятным это объяснение.

Если английская буржуазия в открытых портах Дальнего Востока была наиболее враждебна англо-японскому договору 1894 г., то

---

[1] M. Brandt. Die Zukunft Ostasiens. Berlin, 1895, SS. 78—79; V. Chirol. The Far Eastern Question, Times, 23 Oct. 1896, p. 9; H. Вайнцвайг. Японские концерны. M., 1935, стр. 36—41 (автор приводит некоторые данные по японской литературе).

[2] АМИД, 1890, V, Аз. д., 50, донесение Шевича от 31 авг.— 12 сент. 1890 г.; «Japan Daily Mail», 12 Sept. 1890; «The Times», 23 Oct. 1895, p. 14. Курс серебра поднялся в 1890 г. вследствие законов о его закупке, изданных в США.

[3] V. Chirol. The Far Eastern Question, «The Times», 23 Oct. 1895, p. 9.

текстильные фабриканты Великобритании и Индии, работавшие на дальневосточный рынок, отнеслись к нему более спокойно. Главным рынком сбыта для них был Китай, вывоз же текстильных товаров из Великобритании в Китай едва только начал страдать от японской конкуренции.

Из вышеизложенного уже ясно, что заключение договора от 16 июля 1894 г. было победой общеимперской британской политики над местными интересами английских дальневосточных торговых кругов.

Договор 1894 г. представляет весьма важный этап в развитии англо-японских отношений, историю которого необходимо проследить подробнее.

Как известно, японское правительство еще с 1882 г. добивалось от британского кабинета согласия на ревизию договоров. По этому поводу была созвана конференция представителей держав. 15 июня 1886 г. кабинет Гладстона и германское правительство представили проект ревизии договоров. Сущность его заключалась в замене консульской юрисдикции смешанными судами с преобладанием иностранцев, по образцу Египта. Это предложение было неприемлемо для японского правительства, опасавшегося вспышки недовольства буржуазии и земледельцев. Оно отложило переговоры, надеясь добиться полного отказа Англии от принципа неравноправности [1]. Для японского кабинета наиболее важно было добиться согласия Англии: в японских договорных портах было больше всего британских подданных [2].

В дальнейшем японское правительство применило особую тактику. Чтобы вынудить Англию в конце концов на уступки, оно добивалось их сначала от государств, менее заинтересованных в сохранении консульской юрисдикции в Японии. Так, был заключен договор с Мексикой от 30 ноября 1888 г. В 1889 г. снова велись переговоры с Англией, но когда опубликованный в «Таймсе» проект договора, все еще упоминавший о смешанных судах, стал известен в Японии, то недовольство японской буржуазии вновь заставило прервать переговоры. На министра иностранных дел Окуму было предпринято покушение. Переговоры были возобновлены министром иностранных дел Аоки. Он представил Солсбери следующие предложения: 1) японское правительство сохраняет консульскую юрисдикцию в сеттльментах на 5 лет, 2) оно откроет всю японскую территорию для иностранцев, но зато запретит иностранцам владеть железными дорогами и копями в Японии, 3) оно не допустит участия иностранных судей в процессах по делам иностранцев, 4) Япония получит таможенную автономию, причем тариф на импортные товары будет установлен от 10 до 20%, вместо прежних

---

[1] J. H. Gubbins. The Making of Modern Japan. London, 1922, p. 210; F. Jones. Extraterritoriality in Japan, London, 1931, p. 109.

[2] В 1887 г. из 2389 иностранцев британских подданных там было 1124 чел. В 1888 г. из 2983 иностранцев их было 1324, а из 234 иностранных (кроме китайских) фирм в Японии 103 были английскими. («The Economist Monthly Trade Supplements», 9 Nov. 1889, p. 7; H. Norman. The Real Japan, 2-d ed., p. 322).

5%, к стоимости (спирт, табак, нефть должны были оставаться вне договорного тарифа). Японское правительство возражало также против предоставления иностранцам права владеть земельной собственностью внутри страны. [1]

На этот раз Солсбери круто изменил британскую политику: он решил предпочесть интересы Британской империи интересам английского купечества в Японии. 5 июня 1890 г. он послал английскому представителю в Токио Фрэзеру письмо о согласии на полную отмену экстерриториальности после пятилетнего срока. Это условие он предпочитал немедленной, но частичной отмене консульской юрисдикции. Английский посол в Токио Фрэзер рекомендовал отсрочку отмены консульской юрисдикции на 5—10 лет. Солсбери же счел достаточным пятилетний срок. [2] У нас нет прямых документальных данных, объясняющих причины этого шага Солсбери. Автор наиболее обстоятельного труда об экстерриториальности в Японии Джонс пытается объяснить его «бескорыстием» Англии: он характеризует письмо Солсбери как «великодушный ответ британского правительства». [3] Но дело было далеко не в «великодушии», а в желании достичь улучшения англо-японских отношений. Аоки указывал, что японское правительство находилось перед угрозой вспышки недовольства оппозиции, требовавшей более решительной политики в деле ревизии договоров. Он заявил, что в случае упорства европейских держав для иностранцев в Японии могут возникнуть неприятные последствия в результате усиления враждебности к ним японской буржуазии. Другие державы были согласны на уступки Японии; поэтому упорство Англии могло отнять у нее руководящую роль в вопросе о ревизии договоров и вызвать раздражение в Японии.

Инспирированная японским министерством иностранных дел корреспонденция в «Таймсе» призывала британский кабинет принять японские условия ревизии договора и тем самым восстановить в Японии свой престиж. «Таймс» в ответной статье отмечала усиление в Японии влияния США, России и Германии, рост англо-японской торговли и необходимость восстановить преобладающее влияние Англии в Японии. Газета решительно высказалась за признание Японии равноправной державой [4].

Но всего этого еще недостаточно для объяснения поворота в британской политике. Для Солсбери важнее всего было заручиться доброжелательством Японии в борьбе Англии с Россией. Солсбери, видимо, был встревожен предполагавшейся постройкой Сибирской железной

---

[1] S. Okuma. Fifty Jears of New Japan, v. I. London, 1910, pp. 103—107, 170; F. Jones. Op. cit., pp. 131—133.

[2] De la Mazelière. Op. cit., v. VIII, pp. 43—48; полный текст письма Солсбери см. F. Jones. Op. cit., p. 140.

[3] F. Jones. Op. cit., p. 140.

[4] «The Times», 30 May 1890; «Japan Daily Mail», 12 July 1890; АМИД, V, Аз. д., 50 (донесение Шевича из Токио от 1/13 июля 1890 г.).

дороги.[1] Приведенные выше суждения наиболее авторитетных в вопросах Дальнего Востока английских публицистов дают веское подтверждение этому мнению. Участие Англии в железнодорожном строительстве в Северном Китае косвенно подтверждает, что кабинет Солсбери стремился заранее принять меры для укрепления британского влияния в Северном Китае.

В 1887 г. весной в Петербурге Особое совещание при царе решило начать изыскания для постройки дороги. В том же году в Китае императорским эдиктом была основана Китайская железнодорожная компания, под руководством английского инженера Киндера, для строительства железных дорог в Северном Китае. К 1890 г. строительство из-за отсутствия китайских капиталов (компания должна была строить дороги на китайские деньги) потерпело фиаско. Но в том же году Ли Хун-чжан задумал постройку стратегической дороги на Шанхайгуань — Цзиньчжоу — Мукден и затем через Нингуту к Хунчуну на реке Тумень. Изыскания были поручены Киндеру и начаты в мае 1890 г. Англия была крайне заинтересована в скорейшей постройке этой дороги и оказывала на Китай всемерное давление в этом вопросе. Весь план был вызван желанием опередить Россию. Англичане внушали китайским сановникам, что царизм хочет захватить Маньчжурию и сможет поставить под угрозу провинцию Чжили и Пекин.[2]

В мае 1890 г. Киндер начал свои изыскания для постройки дороги на Шанхайгуань — Цзиньчжоу — Мукден, а 5 июня Солсбери послал в Токио согласие на японский проект нового договора. Оно было передано японскому правительству 15 июля 1890 г.[3]

Как известно, именно сведения об изысканиях Киндера в южной Маньчжурии, полученные в 1890 г. в Петербурге, заставили русское правительство поторопиться с постройкой Сибирской железной дороги и дать на нее ассигнования. Прочитав записку управляющего Министерством путей сообщения о деятельности Киндера в Маньчжурии, Александр III надписал на ней: «Необходимо скорее приступить к постройке этой дороги». 12 февраля было принято решение построить железную дорогу от Урала до Тихого океана сплошной линией.[4] В то же время китайское правительство продолжало постройку своей дороги; в 1893 г. она была доведена до Шанхайгуаня, а к началу войны продолжена еще, примерно, на 40 английских миль к северу. Дальнейшие работы были отложены из-за отсутствия денег или, может быть, под влиянием России[5].

[1] De la Mazelière. Op. cit., v. VIII, pp. 43—48. R. H. Akagi. Op. cit., pp. 106—107.

[2] «The Economist», 12 Apr. 1890, p. 450; P. Kent. Railway Enterprise in China. London, 1907, pp. 35—41; Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. СПб., 1903, стр. 72—73; A. Barry. Railway Expansion in China.

[3] R. H. Akagi. Op. cit., pp. 106—107.

[4] «Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем», стр. 85—86, 91—92.

[5] P. Kent. Op. cit., pp. 42—43, 46.

То обстоятельство, что торговый договор между Англией и Японией не был все же заключен в 1890 г. и дело затянулось до 16 июля 1894 г., объясняется уже не сопротивлением лондонского кабинета, а внутренней борьбой и несогласиями партий в самой Японии. Покушение на русского наследника во время его путешествия на Дальний Восток в 1891 г. повело к отставке Аоки, и ревизия договоров затормозилась. В Японии среди буржуазии существовала сильная оппозиция против предоставления иностранцам права владеть землей за пределами сеттльментов. Это право создало бы благоприятные условия для ввоза капиталов в Японию из других стран и устройства иностранных предприятий на японской территории. Английские же торговые круги в Японии, напротив, были крайне заинтересованы в этом пункте.[1] В 1893 г., по инициативе кабинета Ито, переговоры были возобновлены в Лондоне. 18 августа туда был направлен Аоки, тогдашний посол Японии в Берлине.[2] Тем временем в Японии буржуазно-помещичья оппозиция стремилась улучшить условия ревизии договоров. С целью нанести ущерб иностранным купцам, она требовала применения к ним старых трактатов во всей их строгости, что на практике давно не делалось. Кабинет опасался, что это вызовет осложнения с иностранными державами, и 30 декабря 1893 г. распустил палату.[3] Новые выборы только усилили оппозицию в вопросе о ревизии договоров. Враждебная правительству партия (Дзиюто) получила более 20 новых голосов, и палата вотировала передачу в ее компетенцию вопроса о договорах и тарифной автономии. На другой день после этого, 2 июня 1894 г., палата была вновь распущена, и министерство Ито обеспечило себе возможность действовать в вопросе о договорах без парламента.

Переговоры между английскими и японскими уполномоченными начались 2 апреля 1894 г.[4] Проект Аоки, который рассматривали на этот раз, несколько отличался от предложений проекта Солсбери. В нем были формулы полного равенства сторон и не было пункта, сохранявшего за британскими подданными право владеть земельной собственностью вне сеттльментов. Розбери и Кимберлей были крайне недовольны отказом иностранцам в этом праве, который уменьшал возможности вывоза капиталов в Японию после открытия страны для иностранцев, но пришлось уступить. Лондонский кабинет уступил и в определении срока договора: он согласился на 12 лет вместо 20 (вначале японцы предлагали только 7 лет). Для японской буржуазии было важно до-

---

[1] F. Jones. Op. cit., pp. 141, 147—148; S. Okuma. Op. cit.; T. Dennet. Americans in Eastern Asia. N.-Y., 1922, pp. 526—527.

[2] I. H. Gubbins. Op. cit., p. 208 (автор лично участвовал с английской стороны в переговорах об англо-японском торговом договоре от 16 июля 1894 г.). Японские авторы пишут, что переговоры, якобы, возобновлены по инициативе Розбери (см. S. Okuma. Op. cit.).

[3] Tatsui Takeuchi. Op. cit., pp. 101—106; De la Mazelière. Op. cit., v. VIII, pp. 51—60.

[4] F. Jones. Op. cit., p. 151.

биться запрещения иностранной каботажной торговли. Тем не менее Аоки пришлось согласиться на английский каботаж в течение 12 лет между портами Иокогамой, Кобе, Нагасаки и Хакодате.[1] В целом британский кабинет проявил большую сговорчивость. Важнейшие уступки были сделаны Англией летом, в июне и июле 1894 г., когда в Корее разгорелся японо-китайский конфликт. Тогда же английское правительство, видимо, не считало интересы Британской империи затронутыми начавшейся распрей Японии с Китаем.

Договор был подписан 16 июля. Особый протокол определял новый тариф на импортные товары от 5 до 10% стоимости, а на кожу, шелк, сатин и т. д.— до 15% вместо прежних 5%. В Японии с 1899 г. отменялась консульская юрисдикция. Гражданский и торговый кодексы, составленные по европейскому образцу, должны были войти в силу в Японии с 1 декабря 1896 г., и по истечении 5 лет экстерриториальность иностранцев упразднялась. В праве иметь земельную собственность вне сеттльментов иностранцам было отказано. Тариф на импортные товары повышался, и с указанными выше изъятиями запрещалась каботажная торговля.[2]

Договор был невыгоден для английской текстильной промышленности, зато он мог быть выгоден английской тяжелой промышленности, ввозившей в Японию машины. Он мог способствовать ввозу в Японию сырого хлопка из Бомбея и шерсти из Австралии. Надежды японских предпринимателей на возможности вывоза капитала в Японию не сбылись в силу запрещения иностранцам владеть земельными участками внутри страны за пределами сеттльментов. Несомненно то, что непосредственных серьезных экономических выгод договор Англии не давал. Но он имел для нее крупное политическое значение. Англия сохранила руководящее место среди иностранных держав в Японии и заручилась доброжелательством ее правительства на случай конфликта с Россией или Францией.[3] По словам сэра Эдуарда Грея, еще летом 1894 г. лондонский кабинет учел рост военной силы Японии и твердо решил считать ее равноправной с европейскими державами.[4]

Из всего изложенного обнаруживается полная несостоятельность точки зрения на войну Японии с Китаем 1894—1895 гг. как на войну с целью освобождения Японии от неравноправных договоров. Англия, голос которой имел решающее значение, заключила новый равноправный договор с Японией до начала войны. Правительство США еще с 80-х годов благоприятно относилось к ревизии договоров с Японией и немедленно последовало за Англией. 14 декабря 1894 г., т. е. задолго

[1] Там же и y de la Mazelière. Op. cit., pp. 58—60.

[2] Текст договора и протокол см. в сборнике договоров E. A. Hertslet. Complete Collection of the treaties and conventions and reciprocal regulations at present subsisting between Great Britain and Foreign Powers, vol. XX. London, 1895, p. 776.

[3] I. H. Gubbins. Op. cit., p. 210.

[4] Grey of Fallodon. Twenty-five Jears, v. I. London, 1926, p. 23.

до окончания войны, равноправный договор Японии с США был подписан. Новые договоры были заключены с Италией 1 декабря 1894 г., с Перу — 20 марта 1895 г., с Россией — 8 июня 1895 г., с Данией — 19 октября 1895 г., с Бразилией — 5 ноября 1895 г. и т. д.

Царское правительство вовсе не было враждебно Японии в этом вопросе. Русский посол в Токио Хитрово даже полагал, что России было бы выгодно сказать решающее слово в этом вопросе в пользу Японии и тем поднять там русское влияние. Японский министр иностранных дел Муцу через Хитрово не раз побуждал к этим шагам русское правительство.[1] Но министр иностранных дел Гирс был иного мнения. Он считал, что при ничтожности русской торговли с Японией и числа русских подданных в Японии инициатива России не будет иметь того веса, какой приписывал ей Хитрово. Но если Гирс думал, что России не следует выступать первой в вопросе о ревизии договоров, то он и в 1889 и 1894 гг. готов был следовать примеру Англии.[2] Японо-китайская война задержала заключение равноправного договора с Россией. Он был подписан только в июне 1895 г. Согласие же царя на переговоры с японским послом в Петербурге Ниси Гирс получил еще 19 октября 1894 г.[3]

Из приведенных данных видно, что с 1890 г. британский кабинет стремился улучшить свои отношения с Японией. Агрессивные замыслы японской военщины не вызывали в английской печати особой тревоги до самого начала войны 1894—1895 гг. В известной мере этому способствовала широко распространенная уверенность в военном превосходстве Китая над Японией. Придавалось огромное значение неисчислимым людским резервам Китая. Преувеличенное представление о военной мощи Китая было распространено не только в Англии, но и в России. Одной из причин этого заблуждения было твердое поведение китайского правительства в вопросе о Ливадийском договоре с Россией (1879 г.), который оно отказалось ратифицировать. Еще большее впечатление произвело сопротивление, оказанное Китаем французским войскам в Тонкине в 1884—1885 гг.[4]

Но главным источником иллюзий о военной силе Китая были военные мероприятия, проведенные всесильным губернатором Чжилийской провинции Ли Хун-чжаном. Войну с Японией Ли Хун-чжан считал неизбежной еще с 70-х годов XIX в. и хотел подготовиться к ней. Старая децентрализованная военная организация Китая находилась в руках провинциальных клик. Она была слаба и недостаточна для предстоящей войны с Японией. В 80-х и 90-х годах Ли Хун-чжан принялся насаждать в Китае военную промышленность. Под руководством европейских инструкторов он создал небольшое число регулярных войск,

[1] АМИД, К. 96, Токио, 1894, телеграммы Хитрово от 29 янв., 19 июня и 10 июля 1894 г. (ст.ст.). Донесение его от 12/24 февр. о США см. в указ. труде T. Dennet.

[2] АМИД, Кит. стол, 1894, д. 12, л. 5, проект телеграммы послу в Лондоне.

[3] Там же. Всеподд. доклад мин. ин. дел от 19 октября 1894 г. (л. 179).

[4] Mc. Cordock. Op. cit., pp. 98—102.

флот и береговые укрепления для защиты портов. Но более радикальное преобразование всей военной организации Китая по образцу капиталистической Европы проведено не было, и мероприятия Ли Хун-чжана принесли лишь чисто внешний успех. Средства, тратившиеся на флот, были невелики. По указу богдыхана, Ли Хун-чжан должен был получать 4 млн. таэлей на флот ежегодно, но фактически он получал всего четверть этой суммы.[1] Тем не менее материальная часть китайского флота считалась лучшей, чем во флоте Японии.[2] Зато никуда не годилась организация службы и командования. Был укреплен Порт-Артур, Вей-Хай-Вей и другие пункты. Экспорт в Китай оружия и военных судов создал заинтересованность в поддержке Китая против Японии у некоторых крупных английских судостроительных и оружейных фирм, например у фирмы Армстронг. Но значительная часть китайских военных заказов размещалась в Германии.

Строительство китайского флота и армии вызывало восторженные похвалы в прессе английских торговых кругов в Китае, удовлетворенных тем, что их интересы получали, казалось, более надежную защиту. Особую уверенность в победе Китая питали, как видно, ланкаширские фабриканты. Так, либеральная газета «Manchester Guardian», орган текстильной индустрии Англии, высказывала твердую уверенность в военном превосходстве Китая над Японией.[3] Несколько ранее так думали и некоторые военные эксперты, как генерал Wolseley и капитан Ланг (Lang), который был инструктором в китайском флоте до 1890 г. Американский представитель в Пекине летом 1894 г. считал китайскую армию более сильной, чем японская. Английские военные эксперты полностью ознакомились с успехами военной организации Японии только во время самой войны 1894—1895 гг.[4]

Более осторожны были «Экономист» и «Таймс». Летом 1894 г. они еще допускали, что в конце концов неисчислимые материальные и людские ресурсы Китая могут дать ему перевес над Японией, хотя вначале Япония будет побеждать.[5] Тем не менее консерватор Керзон еще летом 1894 г. охарактеризовал китайские войска, особенно под командой китайских офицеров, как «недисциплинированную толпу бродяг». Он восхвалял японский флот и армию и считал их гораздо более боe-

---

[1] T. Tsiang. Sino-Japanese Diplomatic Relations 1870—1894. «The Chinese Social and Political Science Review», vol. XVII, № 1, p. 77. В этой работе использованы публикации китайских источников, об издании которых см. «The Chinese Social and Political Science Review», 1933, № 4, pp. 706—712.

[2] De la Mazelière. Op. cit., v. VIII, p. 224.

[3] Отклики англо-китайской печати и особенно газеты «North China Daily News» от 8 июня 1894 г. см. в книге M. Brandt. Drei Jahre Ostasiatischer Politik, SS. 4—7. Большое число мнений английских газет собрано в книге Mc. Cordock, pp. 98—103.

[4] Foreign Relations of United States, 1894, Append, I, Wash., 1895, № 17, pp. 24—25; V. Chirol. Op. cit., p. 113.

[5] «The Times», 24 July 1894, pp. 9—10.

способными.[1] Так же думал и консервативный публицист Г. Норман. Важнее всего отметить, что сэр Роберт Гарт, главный инспектор китайских морских таможен и авторитетнейший британский чиновник в Китае, с мнением которого британский кабинет считался более всего, вовсе не верил в мощь и победу Китая. Еще перед началом войны он предсказал японскому поверенному в делах в Пекине барону Комура, что Япония победит.[2] Поэтому влияние преувеличенных представлений о военной мощи Китая на британский кабинет не следует переоценивать. Оно больше сказалось на газетной полемике, чем на действиях министерства.

Из всего изложенного следует, что перед японо-китайской войной английское правительство, с одной стороны, стремилось удерживать Китай под своим влиянием, играть роль его покровителя и защитника, а с другой — сближалось с Японией. Выгоднее всего для британской буржуазии было сохранить мир между Китаем и Японией и объединить их для борьбы с Россией. Война Японии с Китаем лишала Англию возможности использовать против России оба эти государства вместе. Между ними пришлось бы выбирать. Помимо того, война представляла опасность для обычного течения дальневосточной торговли. Она могла дать повод к активному вмешательству России. Дильке еще в 1885 г. указал, что Англия должна поддерживать на Дальнем Востоке status quo и отстаивать «сохранение Китая» (preservation of China), т. е. свою гегемонию в этой стране. Керзон отмечал летом 1894 г., что конфликт между Японией и Китаем нежелателен, чем бы он ни окончился.[3] В случае конфликта между обоими государствами британская дипломатия готова была выступить в роли посредника. Еще в 1874 г. английский посол в Китае Уэд (Wade) принял на себя роль посредника в конфликте Японии с Китаем из-за Формозы. В отличие от положения 1894 г., Англия склоняла тогда Японию уступить Китаю. Но главный, действительный смысл этих уговоров и в 1874 и в 1894 гг. заключался для Англии вовсе не в «дружбе» с Китаем и не в сохранении его «территориальной целости», как пишут апологеты британской дальневосточной политики того времени Джозеф, Мак Кордок и другие. Смысл ее был в защите интересов британской буржуазии на Дальнем Востоке, в сохранении и дальнейшем расширении экономического и политического преобладания Англии в Китае. После же победы Японии в 1895 г. британский кабинет стал даже помышлять о возможности расчленения всей «Небесной империи» и о переносе ее столицы в Нанкин, ничуть не заботясь об англо-китайской «дружбе» и скоро забыв прежние заботы о «сохранении» Китая.

---

[1] G. Curzon. Op. cit., 1-t ed., p. 411, а также 45—46, 347, 355—357.

[2] J. Bredon. Sir Robert Hart. London, 1909, p. 195.

[3] T. Tsiang. Op. cit., pp. 33—34. C. W. Dilke. Op. cit., 8-th ed., p. 602; G. Curzon. Op. cit., 1-t, ed., pp. 398—421.

Л. В. ЧЕРЕПНИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБРАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ГРАМОТ НОВГОРОДА С КНЯЗЬЯМИ XIII—XV вв.

В исторической литературе еще не вскрыт вопрос о судьбе Новгородского государственного архива. До нас сохранился (в подлинниках и списках) ряд документов, относящихся к истории Великого Новгорода периода его самостоятельности XIII—XV вв. Это — договорные грамоты Новгорода с князьями, памятник новгородского права, известный под именем Новгородской судной грамоты, акты, касающиеся Двинской земли, в частности Двинская уставная грамота конца XIV в. и пр. Они опубликованы в известных изданиях актового материала: «Древней Российской вивлиофике», «Собрании государственных грамот и договоров», «Актах Археографической экспедиции», «Актах исторических» и т. д. Исследователи, пользуясь для своих работ этими документами, как правило, не задумывались о том, какими путями они дошли до нас. А установить это очень важно для правильного подхода к документальному материалу по истории Великого Новгорода как историческому источнику.

Если речь идет о подлинных текстах новгородских договоров с князьями, то для историка не может быть безразличным, представляют ли они собой остатки Новгородского государственного архива или же они входили когда-то в архив одного из княжений XIII—XV вв., вступавших в политические взаимоотношения с Новгородом. Разрешение этого вопроса позволяет уточнить, с какой редакцией документа мы имеем дело: с новгородской или, скажем, с тверской или московской, если, например, перед нами новгородско-тверская или московско-новгородская докончальная грамота.

В том случае, когда в распоряжении историка оказываются копии с несохранившихся новгородских документов, нужно выяснить время, место и обстоятельства их появления, установить, в какой мере точно они воспроизводят подлинники и какая судьба постигла последние. Разрешение всех этих вопросов должно осветить многие темные факты политической истории Великого Новгорода. Совершенно очевидно, что наше отношение к спискам с новгородских грамот, относящихся к XV в., к периоду московско-новгородской борьбы, будет не одинаковым, в зависимости от того, сняты ли они в Новгороде или в Москве и для каких целей: для документального подтверждения новгород-

ской «старины» или для обоснования московского наступления на старинный уклад вечевого Новгорода. Между тем такая постановка вопроса вообще отсутствует в литературе по историческому источниковедению XIII—XV вв., посвященной новгородским документам. Обычно считается, что известные нам договоры Новгорода с князьями, так же как и другие документальные материалы периода его самостоятельности, представляют остатки Новгородского государственного архива, попавшего в Москву после падения независимости Великого Новгорода.

Так, например, Н. П. Лихачев, разбирая отдельные договоры тверских князей с новгородцами, говорит, что они должны были храниться в Великом Новгороде, а по присоединении последнего к Москве перешли в Московский великокняжеский архив.[1]

Аналогичная точка зрения проникла и в общие курсы по источниковедению и истории архивного дела. В курсе источниковедения истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., составленном М. Н. Тихомировым, мы читаем: «Большинство грамот XIII в. является остатками архивов древней Руси. Подобные архивы существовали, например, в Новгороде, вероятно, при вечевой башне, а в Пскове — при соборе Троицы... Повидимому, в Новгородском архиве хранились договоры Новгорода с великими князьями. Они попали в казну великих московских князей, конечно, не случайно, а были взяты Иваном III при падении новгородской вольности».[2]

Примерно так же представляет себе судьбу новгородского архива и И. Л. Маяковский. Только он думает, что Иван III произвел лишь частичное изъятие архивных документов в Новгороде; закончил же это дело Иван Грозный. На основании известия Новгородской летописи о том, что в 1549 г. «царь и государь князь великий Иван Васильевич в Великом Новегороди порушал ряды и грамоты рядовые собрал в казну»,[3] Маяковский делает вывод, что в этом году в Москву были вывезены договоры, заключавшиеся Новгородом с князьями.[4]

Однако это утверждение не верно, так как договоры с князьями назывались «докончальными», «крестоцеловальными», но никак не «рядовыми» грамотами, которые имеет в виду летописный текст 1549 г.

Ближайшее изучение новгородских памятников приводит к совершенно противоположным выводам. До нас не дошло ни одного подлинного документа Новгородского государственного архива. Все сохранившиеся докончальные грамоты представляют или остатки (в подлинниках) Тверского архива, вывезенного в Москву, вероятно, после присоединения Твери в 1485 г., или же списки с утраченных памятни-

---

[1] Н. Лихачев. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики, вып. I. Л., 1928, стр. 39, 44.

[2] М. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., М., 1940, стр. 114.

[3] ПСРЛ, т. III, стр. 201.

[4] И. Маяковский. Очерки по истории архивного дела в СССР, ч. I, М., 1941, стр. 74.

ков, снятые в Москве в 70-х годах XV в., во время походов на Новгород Ивана III.

Действительно, присматриваясь к опубликованным памятникам периода новгородской самостоятельности, мы легко можем их разбить на два раздела. Это, во-первых, подлинные договорные грамоты Новгорода XIII—XV вв., во-вторых — списки различных новгородских документов, извлеченные из одного сборника XV в.,[1] возникшего в Москве. Каждая из названных групп заслуживает специального рассмотрения. При этом следует прежде всего отметить, что подлинники тех грамот, которые скопированы в названном московском сборнике, утрачены. И напротив, те договоры, которые сохранились в подлинниках, не были включены в сборник копий.

Данный очерк посвящен исключительно собранию подлинных новгородских договорных грамот.

* * *

Подлинные новгородские тексты хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (фонд Государственного древлехранилища)[2] и были напечатаны в «Древней Российской вивлиофике» Н. И. Новикова,[3] вторично — в «Собрании государственных грамот и договоров»,[4] наконец, в третий раз, А. А. Шахматовым.[5] Фонд Государственного древлехранилища сохранил нам остатки Московского государственного (великокняжеского, затем царского) архива. Поэтому первое предположение, которое естественно возникает у исследователя, сводится к тому, что новгородские документы были свезены в Москву и сосредоточены в великокняжеском архиве после присоединения Новгорода и конфискации новгородских архивов. Но это предположение, как уже было отмечено, не оправдывается при более пристальном изучении материала.

В составе великокняжеского архива (фонд Государственного древлехранилища ЦГАДА) имеется 19 подлинных новгородских грамот. Это — договоры Великого Новгорода с тверскими князьями Ярославом Ярославичем, 60—70-х годов XIII в. (три),[6] и Михаилом Ярославичем, конца XIII — начала XIV в. (десять);[7] докончание великого кня-

[1] Ленинградская публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, № Q-IV-14.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 1—17.

[3] «Древняя Российская вивлиофика», изд. 2, ч. 1. М., 1788, стр. 1—47, № 1—15.

[4] СГГиД, т. I, стр. 1—25, № 1—18.

[5] А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв. Отд. оттиск из первого тома «Исследований по русскому языку», СПб., 1886.

[6] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 1—3; СГГиД, т. I, стр. 1—4, № 1—3.

[7] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 4а и 4б, 5, 6, 8, 9а и 9б, 10, 14; СГГиД, т. I, стр. 5—9, № 4—7; стр. 11—16, № 9—12; стр. 21, № 16. Последняя грамота в издании «Собр. гос. грамот и договоров» ошибочно приписана князю Михаилу Александровичу. Эту ошибку повторяет и ряд исследователей.

зя московского Юрия Даниловича с Михаилом Ярославичем тверским и Великим Новгородом начала XIV в.;[1] договорные новгородские грамоты с тверскими князьями Александром Михайловичем, 20-х годов XIV в. (одна)[2], и Михаилом Александровичем, 60—70-х годов XIV в. (две);[3] наказ новгородским послам, отправленным к Михаилу Александровичу в 70-х гг. XIV в;[4] докончания Новгорода с тверским князем Борисом Александровичем, второй четверти XV в. (одна),[5] и с литовским князем Свидригайлом Ольгердовичем, 1431 г. (одна).[6]

Прежде всего бросается в глаза, что за исключением докончальной грамоты Свидригайла и договора Юрия Даниловича московского с тверским князем Михаилом Ярославичем, перед нами памятники сплошь новгородско-тверских отношений. Поражает, что в составе Московского великокняжеского архива отсутствуют московско-новгородские договорные грамоты в строгом смысле этого слова, за исключением коростынского договора 1471 г. (но не в подлиннике, а в отдельном списке конца XV в.).[7] Вряд ли правильно объяснять подобный, несколько странный состав Московского государственного архива в части новгородских материалов случайной утратой некоторых документов в позднейшее время. Дело в том, что архивные описи XVI—XVII вв. называют в основном те же самые новгородские грамоты, которые сохранились и до нашего времени, причем некоторые указания этих описей проливают свет на происхождение новгородских материалов.

В описи XVI в. упомянуты «докончальные тверские с Новым-горо-

---

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 12; СГГиД, т. I, стр. 17—18, № 14.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 13; СГГиД, т. I, стр. 19—20, № 15.

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 7, 15; СГГиД, т. 1, стр. 9—11, № 8, стр. 21—22, № 17. Грамота № 7 в издании «Собр. гос. грамот и договоров» (т. I, стр. 9—11, № 8) приписана Михаилу Ярославичу. Но уже С. М. Соловьев указал на то, что это договор Новгорода не с Михаилом Ярославичем, а с Михаилом Александровичем и что, следовательно, в издании «Собр. гос. грамот и договоров» допущена ошибка. В той папке, в которой хранится в ЦГАДА договорная грамота № 7, имеется специальная приписка по этому поводу С. М. Соловьева.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 11; СГГиД, т. I, стр. 16—17, № 13. В «Собр. гос. грамот и договоров» документ назван «Договорной грамотой Новгорода с великим князем тверским Михаилом Ярославичем». Но С. М. Соловьев в собственноручной записке, вложенной в архивную папку с новгородской грамотой № 11, определил этот документ как наказ новгородским послам, отправленным к князю Михаилу Александровичу.

[5] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 16; СГГиД, т. I, стр. 23—24, № 18.

[6] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 17; СГГиД, т. I, стр. 24—25, № 19. Все сохранившиеся грамоты, за исключением № 16, написаны на пергаменте, уставом и полууставом; № 16 (договор Великого Новгорода с князем Борисом Александровичем) написан на бумаге скорописью.

[7] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 18. Водяной знак: готическая буква «Р», перечеркнутая, с раздвоенным концом и розеткой сверху. Указанный водяной знак близок к № 2987 по Лихачеву.

дом и грамоты ординские жаловалные тверским великим князем»,[1] хранившиеся в 171-м ящике. В агусте 1566 г. Иван Грозный потребовал этот ящик к себе. Здесь особенно интересно то обстоятельство, что новгородско-тверские докончальные грамоты находились в Московском государственном архиве вместе с ярлыками золотоордынских ханов тверским великим князьям. Это, несомненно, свидетельствует о единстве состава и общности происхождения архивного фонда, сосредоточенного в 171-м ящике. Перед нами материалы, принадлежавшие к составу Тверского государственного архива периода политической самостоятельности Твери, конфискованные, надо думать, московской великокняжеской властью в 1485 г.

Судя по описям Посольского приказа 1614 и 1626 гг., новгородско-тверские грамоты хранились в виде отдельной связки. В описи 1614 г. читаем: «в связке грамота за золотою печатью да 14 грамот за свинцовыми печатми докончалные архиепискупа ноугородцкого с великими князи тверскими».[2] Те же сведения дает и опись 1626 г.: «16 грамот докончалных ноугородцких с великими князи тверскими, писаны на бумаге и на харатьях, все ветхи, у иных печати свинцовые, а у иных печатей нет».[3] Небольшое расхождение в подсчете грамот (цифра 14 в описи 1614 г., 16 — в описи 1626 г., 19 — число документов, в действительности сохранившихся до нашего времени) объясняется тем, что некоторые акты (докончания Михаила Ярославича)[4] представляют копии одного и того же договора или же основной текст с дополнением, причем иногда акты так и сшиты попарно. Кроме того, докончание с Свидригайлом Ольгердовичем упомянуто в обеих описях (1614 и 1626 гг.) отдельно.[5] Возможно, что не включен в подсчет договор Юрия Даниловича с тверским князем Михаилом Ярославичем и Великим Новгородом.

Из других подлинных новгородских документов, не сохранившихся до нашего времени и не связанных с Тверским архивом, описи Московского государственного архива называют один, представляющий большой интерес. Это — новгородский приговор конца 1477 г. за 47 печатями о неповиновении великому московскому князю с сыном: «грамота утвержелная новгородцкого владыки Феофила, и посадников, и тысяцких, и бояр, и купетцких и всяких жилетцких людей Великого Новагорода, что они приговорили все, что им великих князей московских не слушати и под суд к ним и к их бояром не ездити, а судити им себя самим; а иново писма в той грамоте не знать, потому что середка выгорела и изотлела, а достоль воском залило от иных грамот; писана на харатье в 6986-м году; а у ней привешено владыки Фео-

[1] ААЭ, т. I, стр. 347, № 289.

[2] ЦГАДА, Опись Посольского приказа 1614 г., л. 1—2.

[3] ЦГАДА, Опись Посольского приказа 1626 г., л. 19.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 4, 6, 7, 9; СГГиД, т. 1, стр. 5, № 4—5, стр. 6—9, № 6—7, стр. 13, № 10—11.

[5] ЦГАДА, Опись Посольского приказа 1614 г., лл. 1—1 об.; Опись 1626 г., л. 92.

фила и посадничих и властелинских 47-мь печатей свинцовых».[1] Повидимому, этот новгородский приговор о непослушании и неподсудности московским великим князьям Ивану III с сыном Иваном Ивановичем Молодым упоминает летопись под 1478 г. Говоря о присяге Ивану III «бояр новугородских, и житьих, и купцов, и прочих», летопись рассказывает: «да что была у новгородцев грамота укреплена межи себя за пятьюдесять и осмью печатью, и ту у них грамоту взяли бояре великого князя у целованья на владычне дворе».[2] Несоответствие внешних данных грамоты по летописи и описям Посольского приказа (именно количество печатей: 58, 46 или 47) не может помешать выводу о том, что речь идет об одном и том же документе. Во многих новгородских грамотах печати в настоящее время утрачены, но сохранились следы, указывающие на то, что когда-то они были привешены.

Утверждена была рассматриваемая новгородская грамота, повидимому, в конце 1477 г. при обстоятельствах, которые хорошо раскрывают летописи. В марте 1477 г. в Москве побывали новгородские послы, в обращении к Ивану III применившие титул «государь»: «а наперед того, как и земля их стала, того не бывало, никоторого великого князя государем не называли, но господином». Дело было, очевидно, не в одном титуле: он скрывал за собой реальные отношения подданства. Ответное московское посольство, посланное в Новгород в апреле 1477 г., должно было выяснить, «какова хотят государства их отчине Великий Новгород».[3]

Прибытие московских послов вызвало ожесточенную политическую борьбу в Новгороде. Партия, враждебная Москве, выступила с протестом, заявив о своем желании руководствоваться во взаимоотношениях с Москвой, в частности в вопросах суда, «стариной» и Коростынским докончанием. «Что вам, своим господином, челом бием, а что государи вас, а то не зовем, а суд вашим наместником на Городище по старине, а что вашему суду великих князей, ни вашим тиуном, то у нас не быти, ни дворища вам Ярославля не даем; на чем мы есмы с тобою на Коростыни мир кончали и крест целовали, по тому докончанию хотим с вами и жити; а который тобе так ималися без нашего ведома чинити, то ведаешь ты, как их хощешь казнити, а мы их также, где которого поимав, хотим казнити; а вам, своим господином, челом бьем, чтобы есте нас держали в старине, по целованию крестному».[4]

Этот ответ привел к полному разрыву московско-новгородских от-

---

[1] ЦГАДА, Опись Посольского приказа 1626 г., лл. 27 об.— 28. Тот же документ упомянут в описи 1614 г., лл. 14—14 об., и, повидимому, в описи XVI в.— ААЭ, т. I, стр. 340, № 289 (ящик 59).

[2] ПСРЛ, т. VI, стр. 219. Н. П. Лихачев напечатал миниатюру из лицевого летописца XVI в., иллюстрирующую летописный рассказ о новгородской грамоте за 58 печатями. См. Н. Лихачев. Указ. соч., стр. 60.

[3] ПСРЛ, т. VI, стр. 206.

[4] ПСРЛ, т. IV, стр. 256.

ношений. В сентябре 1477 г. Иван III послал в Новгород «складную грамоту», а в октябре выступил в поход.[1] В это время, по всей вероятности, в Новгороде и был вынесен приговор, скрепленный рядом печатей, согласно которому новгородцы обязались «великих князей московских не слушати, и под суд к ним и к их бояром не ездити, а судити им себя самим». В таких выражениях передает содержание «грамоты утвержелной» опись Посольского приказа 1626 г., и надо сказать, что эта передача очень близка к летописной формулировке тех условий, которые были предъявлены новгородцами московскому правительству в 1477 г. Очевидно, «утвержелная грамота» за 47 или 58 печатями только повторила эти условия и оформила обязательства новгородцев настаивать перед Иваном III на их выполнении. С московской точки зрения это был документ одиозный в политическом отношении, и поэтому после победы Ивана III над Новгородом в январе 1478 г. он был отобран московскими боярами, увезен в Москву и помещен на хранение в великокняжеский архив, где его и зарегистрировали описи XVI—XVII вв. В XVII в., как мы видели, «утвержденная грамота» представляла дефектный документ, обветшавший от времени и имевший ряд повреждений. До нашего времени он не сохранился.

Других подлинных новгородских грамот в великокняжеском архиве описи XVI—XVII вв. не отмечают. Нет их и в настоящее время. Из списков имеется в фонде Государственного древлехранилища ЦГАДА, как указано выше, копия Коростынского докончания 1471 г.[2] Описи Посольского приказа называют наряду с ним также списки Яжелбицкого договора 1456 г. и недатированные докончальные грамоты Великого Новгорода с московским великим князем Василием Дмитриевичем.[3]

Таким образом, как просмотр имеющихся в наличии в настоящее время документов Государственного древлехранилища, так и изучение старинных описей архива московских великих князей и царей убеждают, что хранившиеся там в XVI — XVII вв. и дошедшие до нас подлинные новгородские грамоты отличаются единством содержания. Это в основном, договоры между Великим Новгородом и Тверью. Этому выводу нисколько не противоречит и то обстоятельство, что среди документов, касающихся новгородско-тверских взаимоотношений, мы встречаем докончальную грамоту Великого Новгорода с литовским князем Свидригайлом Ольгердовичем второй четверти XV в.[4] Наоборот, ее присутствие в Московском государственном архиве является скорее лишним доводом в пользу тезиса, который я постараюсь раз-

---

[1] ПСРЛ, т. VI, стр. 207.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 18; СГГиД, т. I, стр. 26—30, № 20.

[3] ЦГАДА, Опись Посольского приказа 1614 г., л. 16 об.; опись 1626 г., лл. 10, 22—22 об., 28.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 17; СГГиД, т. I, стр. 24—25, № 19.

вернуть ниже,— о том, что служащие предметом нашего изучения новгородские акты попали в Москву не непосредственно из Новгорода, а через Тверь. Свидригайло находился в родственных отношениях с тверским князем Борисом Александровичем, будучи женат на его двоюродной сестре Анне Ивановне. В начале 30-х годов XV в. Борис Александрович оказывал военную помощь Свидригайле Ольгердовичу в его борьбе с Сигизмундом Кейстутовичем.[1] Борис Александрович, от которого также сохранился проект договора с Великим Новгородом,[2] не мог не интересоваться новгородско-литовскими взаимоотношениями и, очевидно, добился получения текста новгородского соглашения с Свидригайлом, которое и перешло впоследствии из Тверского государственного архива в Московский.

Тверское происхождение новгородских документов Московского великокняжеского архива может быть доказано в результате внимательного дипломатического и палеографического анализа. Основной недостаток изучения новгородско-тверских договорных грамот предшествующими исследователями заключается в том, что они не подходили к ним как к материалам единого архивного фонда. Делая часто очень ценные наблюдения над отдельными текстами и привлекая их для выяснения ряда важных моментов в истории Новгорода и Твери, исследователи не пытались дать оценку новгородско-тверских документов в целом, как фрагмента государственного архива Тверского великого княжения.

Рассматривая докончальные грамоты Новгорода и Твери, мы прежде всего убеждаемся, что они в большинстве носят односторонний характер. 12 грамот из 17[3] (включая в это число и наказ новгородским послам, отправленным к тверскому князю Михаилу Александровичу в 70-х годах XIV в.) составлены от имени Великого Новгорода (10 в одном экземпляре, 1 в двух экземплярах) и не утверждены крестоцелованием (оформленным в виде специальных ответных документов) тех тверских князей, к которым адресованы тексты. Все названные 12 докончаний построены по сходному в основном, но различному в деталях формуляру, как правило — от лица новгородского владыки, посадника, тысяцкого, сотских, старейших и меньших людей и всего Великого Новгорода: «Благословение от владыки (владыце)..., покланяние поклон) от посадника..., и от тысяцьс(ч)каго..., (и от всех соцьскых), и от всех старейших, и от всех менших, и от всего Новагорода к (господину) князю... На семь, княже, целуй хрест к всему Новугороду....

---

[1] А. Экземплярский. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, т. II. СПб., 1891, стр. 508.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 16; СГГиД, т. I, стр. 23—24, № 18.

[3] Я не считаю договорные грамоты московского князя Юрия Даниловича и литовского князя Свидригайла с Новгородом, которые требуют особого рассмотрения, также подтверждающего гипотезу о тверском происхождении изучаемого собрания грамот.

(на сем ти, княже, хрест целовати...,) ...(на сем, господине, Новгород весь хрест целуеть...)».[1]

В отдельных актах этот начальный протокол приводится в более или менее развернутой или, напротив, в сокращенной форме. В двух грамотах 70-х годов XIV в., адресованных князю Михаилу Александровичу, отсутствует указание на «благословение» владыки. Одна из них содержит «поклон» от посадника, тысяцкого, старейших, меньших и всего Новгорода и излагает условия, на которых «Новгород вось хрест целуеть».[2] Другая представляет наказ новгородским послам, отправленным к Михаилу Александровичу «от посадника..., от тысячкого..., от бояр, и от житьих людей, и от чорных людей и от всего Новагорода».[3] Проект договора с Борисом Александровичем второй четверти XV в. лишен вводной формулы приветствия от лица новгородских духовных и светских властей и начинается прямо со статьи о крестоцеловании: «а на сем на всем, господине князь великий Борис Олександрович, целуй крест ко всему Великому Новгороду».[4] Но при всех указанных выше вариантах начального протокола новгородских докончаний характерно одно: они не скреплены ответными специальными крестоцеловальными грамотами тверских князей. А именно эти грамоты и должны были храниться в Новгородском государственном архиве. Дошедшие же до нас односторонние акты, написанные от имени Великого Новгорода, представляют тексты докончаний, предназначенные для тверской стороны, участвовавшей в их заключении. Это — наследие государственного архива Тверского великого княжения. Бросается, например, в глаза, что два докончания Михаила Ярославича начала XIV в.,[5] совершенно тождественные по своему содержанию, по существу являются противнями одного и того же документа. При этом, совпадая дословно, оба исходят от одной стороны (новгородской) и различаются только печатями: на одном была привешена печать новгородского архиепископа Феоктиста, на другом — печать с изображениями Иисуса Христа и архангела Михаила, предположительно приписываемая князю Михаилу Ярославичу.[6] Очевидно, два других аналогич-

---

[1] ЦГАДА. Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9а и 9б, 13; СГГиД, т. I, стр. 1—4, № 1—3, стр. 6—9, № 6—7, стр. 11—15, № 9—11, стр. 19—20, № 15.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 7; СГГиД, т. I, стр. 9—11, № 8.

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 13; СГГиД, т. I, стр. 16—17, № 13.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 16; СГГиД, т. I, стр. 23—24, № 18.

[5] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 5—6; СГГиД, т. I, стр. 6—9, № 6—7.

[6] В настоящее время последняя печать оторвалась от документа и лежит при грамоте в особой коробочке. А. В. Орешников высказывал сомнения по поводу принадлежности печати тверскому князю. Тип печатей Михаила Ярославича, известный по другим его грамотам, совершенно иной. Рассматриваемая сейчас печать

ных текста, за теми же печатями, но от лица тверского князя, были вручены новгородским представителям. Но они, как и другие документы Новгородского государственного архива, до нас не дошли.

При изучении новгородских памятников данные сфрагистики в сочетании с дипломатическими наблюдениями представляют исключительный интерес. На двух грамотах (князя Ярослава Ярославича, 60-х годов XIII в.) остались только следы некогда бывших печатей, так что судить об их характере трудно.[1] К грамоте того же князя, 70-х годов XIII в., привешена княжеская печать с изображениями Афанасия Великого (христианское имя князя) и Федора Стратилата (христианское имя его отца),[2] но сохранились знаки еще от двух, утраченных ныне печатей, вероятно новгородского происхождения.[3] Таким образом, этот договор был скреплен, по всем данным, печатями обеих сторон: и князя, и Великого Новгорода. Аналогичное наблюдение выше было сделано в отношении двух противней докончания Михаила Ярославича, начала XIV в., утвержденных печатями тверского великого князя (предположительно) и новгородского архиепископа.[4] Грамота князя Александра Михайловича второй четверти XIV в. скреплена одной лишь княжеской печатью обычного типа, с изображениями Иисуса Христа и княжеского патрона — св. Александра Солунского.[5] Наконец, из 6 документах из 12 мы находим исключительно новгородские печати; на 3 докончаниях Михаила Ярославича, начала XIV в.,— печати новгородского архиепископа Феоктиста;[6] на 2 грамотах Михаила Александровича, 70-х годов XIV в.,— печати новгородских посадников, ты-

---

напоминает византийские моливдовулы, и, по мнению Орешникова, штамп ее был вырезан одним из художников-греков, живших в Новгороде и принимавших участие в росписи Спасо-Нередицкой церкви. Орешников думает, что печать принадлежала кому-либо из новгородских духовных лиц. (См. А. В. Орешников. Материалы к русской сфрагистике — «Труды Московского нумизматического общества», т. III, вып. 1, М., 1903, стр. 134). Однако Н. П. Лихачев считает тип печати великокняжеским и связывает ее с личностью Михаила Ярославича. (См. Н. П. Лихачев. Указ. соч., стр. 44). Ранее Лихачева относил печать к Михаилу Ярославичу со знаком вопроса И. И. Срезневский («Древние памятники письма и языка», изд. 2, СПб., 1892, стр. 169).

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 1—2; СГГиД, т. I, стр. 1—3, № 1—2.

[2] А. А. Шахматов помещает неверное описание печати: «На одной стороне ее образ Спасителя, на другой архангела Михаила» (см. А. Шахматов. Указ. соч., стр. 241). Правильную расшифровку изображений дают И. И. Срезневский (Указ. соч., стр. 138), А. В. Орешников (Указ. соч., стр. 129) и Н. П. Лихачев (Указ. соч., стр. 41).

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 3; СГГиД, т. I, стр. 3—4, № 3.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. I, рубр. III, № 5—6; СГГиД, т. I, стр. 6—9, № 6 и 7.

[5] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 13; СГГиД, т. I, стр. 19—20, № 15.

[6] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 8, 9а и 9б; СГГиД, т. I, стр. 11—15, № 9—11.

сяцких и пяти концов; [1] на проекте договора Новгорода с Борисом Александровичем — две печати Новгородского государства с изображениями мифических животных и надписями: на одной — «печать новгородская», на другой — «печать Великого Новгорода». [2]

Из всего изложенного напрашиваются некоторые выводы. Часть рассмотренных документов, имеющих новгородские печати, была редактирована первоначально в Новгороде и направлена в Тверь. Отсутствие на этих документах тверских печатей не дает нам уверенности утверждать во всех случаях, что новгородские тексты получили санкцию тверских великих князей. Если таковая состоялась, то, повидимому, ответные крестоцеловальные грамоты были посланы в Новгород, а новгородские предложения остались в Тверском архиве. Ввиду утраты Новгородского государственного архива вопрос о конечной редакции новгородских документов в этом случае остается открытым. Другие новгородские акты, скрепленные одновременно и новгородскими и тверскими великокняжескими или только тверскими великокняжескими печатями, представляют тексты, проредактированные в Твери на основе новгородских предложений. Их противни, отличные от проектов, разработанных в Новгороде, были, повидимому, переданы новгородским представителям. Они погибли вместе со всем Новгородским архивом, так же как и хранившиеся там, возможно отвергнутые Тверью, предложения.

Ближайший анализ новгородских текстов позволяет вскрыть в них наличие двойной (первоначальной — новгородской и вторичной — тверской) редакций. Так, два противня докончания Михаила Ярославича начала XIV в. (за печатями архиепископа Феоктиста и самого князя) отражают двойственность редакции в целом ряде своеобразных деталей договорного формуляра. Начальный протокол построен, как это обычно бывает в новгородских проектах, от имени Великого Новгорода. Но вслед за обращением от новгородских властей, вместо ожидаемого предложения князю «целовать крест» на выполнении обязательств в отношении Новгорода, помещена совершенно иная формула: «На семь, господине, Новгород вcь хрьст целоуеть, княжение твое честно дьржати по пошлине, без обиды, а тобе, господине, такоже Новгород дьржати по пошлине, без обиды». [3] В грамотах, адресованных тому же Михаилу Ярославичу, но редактированных в Новгороде и скрепленных т о л ь к о н о в г о р о д с к и м и печатями, крестоцелование в первую очередь предусматривается со стороны князя: «На семь, княже, целоуй хрьст ко всемоу Новоугороду». [4]

---

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 7 и 11; СГГиД, т. I, стр. 9—11, № 8, стр. 16—17, № 13.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 16; СГГиД, т. I, стр. 23—24, № 18.

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 5—6; СГГиД, т. I, стр. 6—9, № 6—7.

[4] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 8, СГГиД, т. I, стр. 11—12, № 9.

Тверская редакция вносит также в текст предложений, исходящий от новгородцев, пункты, изложенные от имени князя: «а что пошлин, князю в Новгородьской волости, того вы мене не таити в всех волостех». Тем самым нарушаются четкость и последовательность договорного формуляра.

Такая зависимость между редакцией грамот и характером привешенных к ним печатей видна и в других случаях. В докончаниях, заверенных одною княжеской печатью и лишенных печатей новгородских, тверское влияние чувствуется еще сильнее, чем в документах за печатями двух сторон. В договорной грамоте князя Александра Михайловича первой четверти XIV в.[1] текст новгородских предложений явно соединен с встречными требованиями, исходящими от лица великого князя. Вначале идет обычное новгородское обращение: «благословление от владыце... поклон от посадника..., от тысяцкого... и от всего Новагорода к господину великому князю Олександроу...». Далее следует ряд статей, выдвинутых от лица новгородцев, но изложение их перебивается другими условиями, которые сформулированы от имени тверского князя. В такой именно форме передаются статьи о княжеских селах или приобретениях его бояр на Новгородской земле: «А что Олександровых княжих сел коупленых, или его моужь, а то поидеть к Олександру князю по исправе, по хрестьяномоу целованию, по завод; а из тых сел соуда им не судити, ни дворяном ездити, ни людий новгородьскых приимати, ни земли... А кто боудеть коупил села в всей волости в Новгородьской при деде моем Ярославе, и при Васильи, при Дмитрии, при Андреи, и при отци моем при Михаиле и при князи при Юрьи, при Дмитрии, кто боудеть даром отъял или сильно, а то поидеть бес коун к Новоугородоу...». В конце помещена запись о взаимном крестоцеловании (и со стороны Новгорода и со стороны князя Александра Михайловича), хотя начальный протокол содержит обращение о крестоцеловании, адресованное лишь к князю от лица новгородцев. В начале: «На семь, княже, целоуй крест к всемоу Новоугородоу». В конце: «На семь на всемь князь великый целовал крест к всемоу Новоугородоу; такоже посадник и тысяцкый и весь Новгород целовали к великому князю по любви в правдоу, без всякого извета».

Интересные наблюдения можно сделать над текстом одного докончания Новгорода с тверским князем Михаилом Александровичем, относящегося к семидесятым годам XIV в.[2] Он скреплен двумя новгородскими печатями (посадника и тысяцкого); княжеская печать отсутствует. По своему формуляру договор целиком повторяет докончание Новгорода с Михаилом Ярославичем, разобранное выше.[3] Только в

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 13; СГГиД, т. I, стр. 19—20, № 15.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 7; СГГиД, т. I, стр. 9—11, № 8.

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 5—6; СГГиД, т. I, стр. 6—9; № 6—7.

конце его помещено несколько дополнительных статей. Договорная грамота на имя Михаила Александровича, подобно грамоте на имя Михаила Ярославича, построена в форме ряда условий, выдвинутых от лица Великого Новгорода князю. Но предложение закрепить эти условия целованием креста в начале отсутствует и, напротив, инициативу крестоцелования берет на себя Великий Новгород: «На семь, господине, Новгород весь крест целует княжение твое честно держати по пошлине без обиды».

Как докончание с Михаилом Ярославичем, так и формуляр договорной грамоты, адресованной Михаилу Александровичу, отличаются непоследовательностью. Именно текст, в основном составленный от имени Новгорода, включает в виде вставки статью, построенную в форме предложения от лица князя: «А что пошлины, княже, в Новгородьской волости, того вы мене не таити в всих волостех». В конце грамоты помещено указание на крестоцелование со стороны князя, отсутствующее в договоре с Михаилом Ярославичем: «А на сем на всемь князь великый крест целовал». В докончании с Александром Михайловичем, принятом тверской стороной и скрепленном тверской великокняжеской печатью, как мы видели, формула крестоцелования была двусторонней (не только от лица князя, но и от лица Новгорода). Все эти особенности договорного формуляра проливают свет на происхождение документа. Очевидно, при его составлении был использован текст новгородского докончания с Михаилом Ярославичем, проредактированный дважды — в Новгороде и в Твери. Нечеткость конструкции первого докончания, объясняемая двойной редакцией, была при этом сохранена и в грамоте на имя Михаила Александровича. Новый текст, заверенный печатями новгородских посадника и тысяцкого, предназначался для утверждения Тверью, поэтому в конце в него была внесена статья о крестоцеловании со стороны тверского князя. Но поскольку текст не был превращен в двустороннее докончание, постольку в конце нет пометы об ответном крестоцеловании Великого Новгорода, как это имело место в договоре с Александром Михайловичем. Начинается же изучаемая сейчас грамота именно с крестоцелования Новгорода, но не князя, так как в этом отношении она следует проредактированному Тверью договору на имя Михаила Ярославича. Словом, и в данном случае, как и в ряде других, мы приходим к выводу: грамота предназначалась для Твери и попала, повидимому, в Тверской государственный архив. Ответный документ, хранившийся в Новгородском архиве, нам не известен.

Договорная грамота с тверским князем Борисом Александровичем XV в.[1] дошла до нас в виде проекта за двумя новгородскими печатями. Она начинается с обращения к князю: «А на сем на всем, господине князь великий Борис Олександрович, челуй крест ко всему Вели-

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. I, рубр. III, № 16; СГГиД, т. I, стр. 23—24, № 18.

кому Новугороду». Но этот новгородский проект не превращен в окончательный текст, утвержденный тверской стороной, так как в нем сохранено, например, такое выражение в условном наклонении: «а как почелует крест князь великий Борис Олександрович к Великому Новугороду...», или в конце: «А на том на всем князь великий Борис Олександрович, челуй, господине, крест к Великому Новугороду по любви в правду. А похоцет князь великий на той грамоте за то ятися, и Великий Новгород повелел за то ятися Павлу Федоровичу; или князь великий Борис Олександрович того не похочет, ино Великому Новугороду на Павла не помолвити». Совершенно очевидно, что дошедший до нас текст представляет собой новгородские предложения, переданные тверскому князю через посла Павла Федоровича, причем в документе сохраняется тон неуверенности, что эти предложения будут приняты. Интересно, что последняя фраза, со слов: «а похоцет князь великий на той грамоте за то ятися...» и т. д. представляет приписку к основному тексту, сделанную другими чернилами и более крупным и размашистым почерком. Изучаемый документ, очевидно, остался в Твери, а затем в числе других новгородско-тверских актов попал в Москву, в великокняжескую казну. Тверской ответ, возможно поступивший в Новгород, как и другие документы подобного рода, не сохранился.

Мы до сих пор рассматривали односторонние тексты, составленные от лица властей Великого Новгорода, духовных и светских. Такой характер носят, как было указано, двенадцать грамот из семнадцати. Три договора написаны по иному формуляру, в виде двусторонних докончаний. Это договорные грамоты с Новгородом тверских князей Михаила Ярославича, начала XIV в. (две) [1], и Михаила Александровича, 70-х годов XIV в. (одна)[2]. Их начальный протокол построен по сходной форме: «се докончал великый князь... с влыдыкою... и с посадникомь, и со всимь Новымь городомь...», или: «се яз князь великий... докончал есмь с посадником, с тыся[цьскы]мь, со всемь Новымь городомь...», или: «се доконча князь великий... с архиепископом новгородьскым с владыкою..., с посадником..., с тысячьскым, с всим Новым городом...».

Грамоты выдают следы своего происхождения из встречных проектов: новгородских и тверских. Так, в одном договоре Михаила Ярославича принятая по отношению к князю форма третьего лица переходит в первое: «то все князь отложил», «а князю великомоу Михаилоу не наводити на Новгород», «а за все за то взяти князю» и т. д., и в то же время: «кто мои недругы мне выдал в Торжькоу, тем ся им не мьщати», «а Новугородоу княженье мое честно держати без

---

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 10 и 14; СГГиД, т. I, стр. 15—16, № 12, стр. 21, № 16.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 15; СГГиД, т. I, стр. 21—22, № 17.

обиды» и т. д.[1] В двух из них (Михаила Ярославича и Михаила Александровича) в конце помещена формула двойного крестоцелования: «а на семь на всемь князь великый Михайло (Ярославич) крест целовал к Новоугороду, а Новгород к великому князю крест целовал по сим грамотам»; «а князь Михаило (Александрович) крест целовал к Новугороду, а Новгород крест целовал к князю Михаилу».[2] Одна грамота (Михаила Ярославича)[3] написана целиком в первом лице, от имени князя, причем конечная формула о двустороннем крестоцеловании отсутствует.

К одной грамоте Михаила Ярославича привешены две печати: княжеская[4] и новгородского архиепископа Давыда. У другой печать утрачена и сохранились лишь следы ее прикрепления.[5] У докончания Михаила Александровича две печати, причем обе новгородские: посадника и архиепископа.[6] Договоры типа, подобного только что разобранным, составлялись в двух экземплярах, по одному для каждой из участвовавших в соглашении сторон. На каждом экземпляре привешивались печати или обеих сторон (как в случае с грамотой Михаила Ярославича), или печать каждой из сторон скрепляла договор, вручавшийся противоположной стороне. Поэтому относительно докончания Михаила Александровича совершенно бесспорно, что это тверской противень, так как на новгородском должна была быть обязательно печать тверского князя.

По формуляру, близкому к только что рассмотренным грамотам, написан договор Юрия Даниловича московского с Михаилом Александровичем тверским, новгородскими посадником, тысяцким и всем Великим Новгородом начала XIV в.[7] «Се доконча князь великый Гюрги с братом своимь великимь княземь с Михаилом, и с посадникомь, и с тысяцькимь, и с всемь Новымь городомь». В конце — одностороннее крестоцелование от лица Михаила Александровича: «а на семь на всемь князь Михайло целовал хрест к нам, по любви в правду, без всякого извета».

---

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 10; СГГиД, т. I, стр. 15—16, № 12.

[2] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 10 и 15; СГГиД, т. I, стр. 15—16, № 12, стр. 21—22, № 17.

[3] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 14; СГГиД, т. I, стр. 21, № 16.

[4] Изображения на княжеской печати описаны И. Срезневским (Указ. соч., стр. 175) и А. Шахматовым (Указ. соч., стр. 256) неправильно. На печати изображены не Николай чудотворец, а архангел Михаил (христианское имя Михаила Ярославича) и Афанасий Александрийский (христианское имя его отца). (См. А. Орешников. Указ. соч., стр. 131; Н. Лихачев. Указ. соч., стр. 42—43).

[5] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 14; СГГиД, т. I, стр. 21, № 16.

[6] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 15; СГГиД, т. I, стр. 21—22, № 17.

[7] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 12; СГГиД, т. I, стр. 17—18, № 14.

Присутствие указанного документа в составе новгородско-тверских грамот лишний раз подтверждает тверское (а не новгородское) происхождение всего этого фонда в целом. Это — договор московского князя с тверским, и, естественно, он находился в Тверском государственном архиве, но поскольку договор касался новгородских дел, постольку при подборе в Твери архивных материалов он вошел в собрание именно новгородско-тверских актов.

Только одно новгородско-тверское докончание из числа документов. сохранившихся до нашего времени, дошло в виде двух отдельных грамот: одной — от лица Новгорода, другой — от имени тверского князя. Это докончание Новгорода с князем Михаилом Ярославичем начала XIV в.[1] Одна из этих грамот (с новгородской стороны) начинается со слов: «На семь, князь Михаило, целуй крест к посаднику и к тысяцьскому и к всему Новугороду». Другая (от имени Михаила) построена по следующему формуляру: «Поклон от князя от Михаила к отьцю ко владыце; то ти, отче, поведаю с [бр]атомь своим с старейшимь с Даниломь один есмь, и с Иваномь, а дети твои, посадник и тысяцьский и весь Новгород на том целовали ко мне крест». Обе грамоты сшиты вместе и к ним привешена на шелковом шнуре серебряная, позолоченная печать князя Михаила Ярославича (с изображением на одной стороне Михаила Архангела, на другой — Афанасия Александрийского)».[2] Этот памятник по своему характеру несколько напоминает рассмотренный выше договор между Новгородом и князем Александром Михайловичем. Тот также составлен на основе новгородских и встречных тверских предложений (только в виде одной, а не двух грамот) и также скреплен великокняжеской тверской печатью. Но в противоположность договору на имя Александра Михайловича в докончании, изучаемом в настоящее время, отсутствует формуляр о двустороннем крестоцеловании — от лица обоих участников соглашения. В одной грамоте — предложение целовать крест, обращенное к Михаилу Ярославичу, в другой — указание на крестоцелование новгородцев. Совершенно очевидно, что это тверской противень договора, так как в экземплярах, предназначенных для новгородской стороны, статьи о крестоцеловании были бы даны в обратном порядке: на одном экземпляре должно было быть предложение целовать крест, обращенное к Новгороду, на другом — новгородские условия должны были быть подтверждены присягой тверского князя.

В заключение остановимся на анализе некоторых помет, которые сохранились на оборотной стороне ряда новгородских грамот. Я имею в виду не позднейшие пометы XVII, XVIII и XIX вв., которые также

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. I, рубр. III, № 4а и 4б; СГГиД, т. I, стр. 5, № 4—5.

[2] У Шахматова неверно расшифровано изображение на печати: вместо Афанасия Александрийского — Николай чудотворец (см. А. Шахматов. Указ. соч., стр. 243—244. Поправки см. у А. Орешникова, указ. соч., стр. 131, и Н. Лихачева, указ. соч., стр. 42—43).

находятся на некоторых документах. Речь идет о пометах, современных самим памятникам и написанных уставом, как и остальные тексты. Пометы эти, в большинстве своем, не воспроизведены в «Собрании государственных грамот и договоров».

На грамотах Ярослава Ярославича второй половины XIII в. имеются следующие пометы: на одной — «князя Ярослава»,[1] на другой[2] — «се приехаша послы от Менгоу-Темеря царя сажат Ярослава с грамотою Чевгоу и Байши» и на ней же иным почерком, обратно первой приписке,— «княжа Ярослава Ярославлич». На грамотах Михаила Ярославича начала XIV в.: на одной — «тферьская доконцальная»,[3] на другой[4] — «князя Михаила», на третьей[5] — «тферьская Миха[илова]», на четвертой, сшитой вместе с дополнительной грамотой,— стершаяся надпись, предположительно: «грамоты князя Михаила Ярославича докончальные»,[6] на пятой — «князя Михаилова».[7] На грамоте Александра Михайловича: «князя великого Александра».[8] На одной грамоте князя Михаила Александровича, 70-х годов XIV в.: «княжа Михаилова о рубеже».[9]

Десять грамот лишены помет: одна грамота Ярослава Ярославича, конца XIII в.;[10] четыре — Михаила Ярославича, начала XIV в.;[11] одна — Юрия Даниловича московского, начала XIV в.;[12] две — Михаила Александровича, 70-х годов XIV в.;[13] одна — Бориса Александровича, XV в.;[14] и одна — литовского князя Свидригайла, XV в.[15] Правда, здесь следует учитывать то обстоятельство, что многие документы с оборотной стороны из-за ветхости в настоящее время заклеены позднейшей бумагой, которая, может быть, и скрыла древние пометы.

Рассматривая приведенные выше пометы, видим, что они носят по большей части однотипный характер. Это — по преимуществу имена князей, участников докончаний с Великим Новгородом. Древние почерки помет, современные самим грамотам, хотя обычно и не совпадающие с почерками, которыми написаны тексты грамот, исключают возможность предположения, что пометы относятся к тому времени, когда документы попали уже в Москву. Очевидно, пометы сделаны

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 1.
[2] Там же, № 3.
[3] Там же, № 4б.
[4] Там же, № 15.
[5] Там же, № 6.
[6] Там же, № 9а.
[7] Там же, № 10.
[8] Там же, № 13.
[9] Там же, № 7.
[10] Там же, № 2.
[11] Там же, № 4а, 8, 9б, 14.
[12] Там же, № 12.
[13] Там же, № 11, 15.
[14] Там же, № 16.
[15] Там же, № 17.

или в Новгороде, или в Твери, причем вероятнее первое предположение. В его пользу говорит прежде всего деталь филологического характера, бросающаяся в глаза в помете на одном из договоров Михаила Ярославича: «доконцальная». Это — новгородская особенность. С другой стороны, и по своему содержанию такие пометы, как «тферьская доконцальная», «тферьская Михаилова», указывают на Новгород, а не на Тверь, как на место происхождения помет. Подчеркивать то, что данный противень докончания предназначается для тверской стороны, было уместно в Новгороде, а не в Твери. Эти соображения приводят к выводу, что пометы делались именно в Новгороде на экземплярах, предназначавшихся для передачи тверским князьям, перед тем как документы поступали к последним. Поэтому пометы и состоят главным образом из указаний на имена тверских князей, иногда же, кроме того, отмечается, что это именно «тверские» противни, а не те экземпляры, которые остаются в новгородском государственном архиве.

Несколько особыми чертами отличается надпись на обороте договорной грамоты Новгорода с Ярославом Ярославичем: «се приехаша послы от Менгоу-Темеря царя сажат Ярослава с грамотою Чевгоу и Байши» [1]. Самое построение фразы: «се приехаша...» и т. д. указывает на то, что помета современна договору и носит злободневный политический характер. Дело было в том, что Ярослав Ярославич в 70-х годах XIII в. для овладения Новгородом обратился к татарской помощи. Проект договора был составлен, очевидно, в тот момент, когда вместе с Ярославом явились татарские послы, в присутствии которых Ярослав и был посажен на новгородском столе. Вторая помета на той же грамоте: «княжа Ярослава Ярославлич», расположенная обратно первой, сделана, очевидно, после нее, в момент передачи экземпляра документа князю Ярославу.

В качестве последнего аргумента в пользу тверского происхождения собрания новгородско-тверских грамот служат для меня те аналогии, которые дают наблюдения над документами Рижского архива, относящиеся к истории Новгорода. Это — новгородские договоры с немецкими городами, причем их противни, предназначавшиеся для новгородских представителей и хранившиеся в Новгородском государственном архиве, утрачены. Эти договоры отличаются друг от друга по своему формуляру точно так же, как не был однообразным и формуляр новгородско-тверских докончаний. Но независимо от особенностей договорного формуляра, дошедшие до нас через Рижский архив экземпляры грамот, которые получали иностранные представители, скреплены новгородскими печатями. С другой стороны, утраченные экземпляры, находившиеся в Новгородском архиве, должны были иметь немецкие печати.

Краткая договорная грамота великого князя Андрея Александровича, новгородских посадников Семена Климовича, тысяцкого Машка и

[1] ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. 1, рубр. III, № 3.

всего Новгорода, с одной стороны, и купцов «латиньского языка» Любека, Готланда и Риги, с другой, носит, как и многие новгородско-тверские грамоты, односторонний характер. Она так и составлена от лица великого князя и Новгорода по следующей форме: «от великого князя Андрея, от посадника Семена, от тысячкого Машка, от всего Новагорода». К документу привешены три русские печати: новгородского посадника, тысяцкого и княжеская, с изображениями Иисуса Христа и сокольника [1].

Торговый договор великого князя Александра Ярославича Невского и Великого Новгорода с немецкими послами, относящийся к концу 1262 г., написан иначе — в форме взаимного докончания всех участников (Новгорода, Риги, Любека, Готланда), но опять-таки от лица русского князя и Новгорода: «се аз князь Олександр и сын мой Дмитрий с посадникомь Михаиломь, и с тысяцкымь Жирославомь, и с всеми новгородци, докончахом мир с посломь немецькымь Шивордомь, и с любьцкымь посломь Тидрикомь и с гъцкымь посломь Объстенъм с всем латинскимь языкомь» [2]. Печати — архиепископа новгородского Долмата, новгородская государственная и княжеская. Известны и новгородско-тверские грамоты подобного типа (в виде двустороннего договора, но за печатями одной, новгородской стороны). О них речь была выше.

Итак, приведенные в параллель к новгородско-тверским документам грамоты, касающиеся отношений Великого Новгорода с немецкими городами, лишний раз убеждают в том, что документы Новгородского государственного архива не сохранились до нашего времени и что те новгородские памятники, которые уцелели, представляют остатки других архивных фондов.

---

[1] Грамоты, касающиеся сношений Северо-западной России с Ригою и Ганзейскими городами, найдены в Рижском архиве К. Э. Напперским и изданы Археографической комиссией, СПб., 1857, № IX; Русско-ливонские акты, собранные К. Э. Напперским, изданы Археографической комиссией,, СПб., 1868, стр. 24—25, № XLVIII.

[2] Грамоты, касающиеся сношений Северо-западной России с Ригой и Ганзейскими городами, № 1; Русско-ливонские акты, стр. 8—9, № XVI.

С. С. ГАДЗЯЦКИЙ

ШВЕДСКИЕ ПИСЦОВЫЕ КНИГИ ИЖОРСКОЙ ЗЕМЛИ 1618—1623 гг.

Более 80 лет назад Археографическая комиссия издала «Шведские писцовые книги Ижорской земли 1618—1623 гг.».[1] Однако, несмотря на то, что эти писцовые книги представляют значительный интерес, они до настоящего времени не были предметом специального изучения. В исторической литературе нет работ, которые определяли бы качества их как исторического источника и подвергли обработке заключающиеся в них материалы. Правда, они были известны исследователям, но использование их носило крайне ограниченный характер. Кроме краткой заметки в «Отечественных записках»,[2] выход из печати «Писцовых книг Ижорской земли» был отмечен рецензией в «Морском сборнике».[3] Автор рецензии А. Фрейганг, подписавшийся «А. Фр.», дал лишь очень краткую характеристику содержания книг. В основном он заполнил страницы своего отзыва обширными выписками из предисловий Археографической комиссии к 1 и 2-му отделам изданного тома. Выписки Фрейганга касаются политической истории Ижорской земли. Таким образом, рецензия в «Морском сборнике» говорит о значении Ижорской земли в истории России, почти не затрагивая вопроса о значении изданных писцовых книг для исторической науки. Безразличие, с которым было встречено появление в печатном виде «Шведских писцовых книг Ижорской земли», продолжало существовать и в дальнейшем.

Через 25 лет после опубликования «Писцовых книг Ижорской земли» все еще было необходимо указывать на их значение. 31 октября 1885 г. И. А. Горчаков сделал на собрании Вольного экономического общества доклад «Новгородские и шведские писцовые книги, как материал для выяснения экономического положения Петербургского края в XV—XVII столетиях».[4] В своем докладе или, точнее, сообщении Горчаков дал краткую характеристику содержания изданных Археографической комиссией книг. Касаясь шведских писцовых книг, он

---

[1] «Писцовые книги Ижорской земли». Т. I, годы 1618—1623. Отдел I, СПб., 1859, VIII, 1—132 стр.; отдел 2, СПб., 1862, VIII, 133—236, вкл. л. карта.

[2] «Отечественные записки», 1860, т. CXXX, стр. 68.

[3] «Морской сборник», 1860, № 4, Библиография, стр. 28—33, и 1862 г., № 6, Библиография, стр. 43—49.

[4] «Труды Вольн. экон. об-ва», 1885, т. III, вып. 4 (№ 12), стр. 482—496.

ограничился пересказом той части предисловия к ним, в которой перечисляются заключающиеся в книгах 1618—1623 гг. сведения, и привел для примера описание одной деревни. Критический подход к источнику в сообщении Горчакова отсутствует, а между тем это единственная работа, в которой шведские писцовые книги рассматриваются как исторический источник.

В дальнейшем мы встречаем в трудах историков лишь использование отдельных фактов, зарегистрированных шведскими писцами в интересующих нас книгах. Так, Э. Берендтс в труде «Государственное хозяйство Швеции» привел извлеченные из «Писцовых книг Ижорской земли» поуездные итоги сумм, поступивших в уплату за выкупаемые арендованные земли, и общие суммы собранной ренты.[1] Кроме того, он сослался еще несколько раз на текст «Писцовых книг Ижорской земли» в подтверждение отдельных наблюдений.[2] Содержащиеся в писцовых книгах 1618—1623 гг. названия деревень и пустошей и сведения о числе обж в них использовал А. М. Андрияшев в работе по исторической географии Новгородской земли.[3] Однако даже и в этом отношении материалы шведских писцовых книг далеко не исчерпаны, поскольку Андрияшев привлек только данные, относящиеся к территории части Петровского погоста и Ямского окологородья, входившей в состав Шелонской пятины. Но основной материал писцовых книг 1618—1623 гг. продолжал оставаться неиспользованным вплоть до настоящего времени.

Рассматриваемое нами издание состоит из двух «отделов» (книг), составляющих первый том широко задуманного издания «Шведских писцовых книг Ижорской земли». В связи с тем, что издание публикует текст шведских писцовых книг на языке подлинника, оно имеет двойной заголовок: «Iordeböcker öfver Ingermanland — Писцовые книги Ижорской земли».

Основным содержанием изданного первого тома являются писцовые книги 1618—1623 гг., что и указано в подзаголовке. Предполагалось, что в следующие тома войдут писцовые книги других лет. Однако во время печатания выяснилось существование писцовых книг, ранее не известных, и первоначальный план, видимо, подвергся изменению. Кроме того, более близкое ознакомление с текстом писцовых книг при подготовке к печати выдвинуло ряд вопросов, требовавших дополнительного изучения. Вследствие этого Археографическая комиссия включила в первый том, кроме книг 1618—1623 гг., отрывок писцовой книги 1640 г., охватывающий описание Спасского погоста Ореховского уезда. Публикация такого извлечения из книги 1640 г. мотивирована тем, что

---

[1] Э. Берендтс. Государственное хозяйство Швеции, ч. 1, СПб., 1890, стр. 153.

[2] Там же, стр. 80, 108 и др.

[3] А. Андрияшев. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонские пятины по писцовым книгам 1498—1576 гг. Списки селений. М., 1914, стр. 445—456.

Спасский погост был расположен по обоим берегам Невы от ее истоков до устья, т. е. занимал территорию будущей столицы и ее окрестностей.

Книга первая, или «отдел» первый, как он назван на титульном листе, содержит писцовую книгу Копорского уезда 1618—1623 гг. Этот отдел напечатан в 1859 г. Второй отдел вышел в свет в 1862 г. Он содержит писцовые книги 1618—1623 гг. Ямского и Ивангородского уездов, отрывок писцовой книги 1640 г. Спасского погоста Ореховского уезда, карту дельты Невы, составленную в 1698 г. шведским полковником Кроньпортом, и приложения. В приложениях находятся: 1) Указатель имен помещиков, арендаторов и других лиц, 2) Указатель местных названий, 3) Указатель названий податей и податных лиц и пр., 4) Указатель сокращений. И первый и второй отделы снабжены предисловиями, в которых дан беглый обзор основных моментов истории Ижорской земли, охарактеризовано историческое значение ее для России, указано значение шведских писцовых книг для изучения истории Ижорской земли, кратко описано содержание указанных книг, приведены сведения о шведских архивных источниках, относящихся к истории Ингерманландии, сообщены археографические сведения и данные об источнике, о предпринимаемом издании и некоторых приемах публикации, принятых в нем.

Основная изданная Археографической комиссией книга 1618—1623 гг. хранилась в Архиве Королевской камер-коллегии в Стокгольме и была переслана в Комиссию, когда последняя приступила к печатанию «Писцовых книг Ижорской земли». Таким образом, эти книги изданы по подлиннику. Судя по предисловию Комиссии, книга имеет «296 двойных страниц (листов?) in folio» и «писана немецкими буквами, почти везде очень четко».[1] Наличие подлинника при печатании книги, к сожалению, не было использовано Археографической комиссией в полной мере; на палеографические особенности рукописи не было обращено внимание. Существование разновременных надписей, приписок и отметок в книге устанавливается наблюдением над изданным текстом с совершенной очевидностью. Между тем наличие разновременных надписей, весьма вероятно сделанных и разными чернилами и разными почерками, никак не отражено в издании. В ряде случаев это создает почти непреодолимые препятствия для правильного понимания текста. Мы коснемся этой стороны издания ниже, при рассмотрении круга вопросов, которые освещают материалы писцовых книг Ижорской земли.

«Писцовые книги Ижорской земли» могут называться так лишь условно. По своему типу они значительно отличаются от тех книг, которым в русской исторической науке присвоен термин «писцовых». Изданные Археографической комиссией книги не имеют собственного названия. Находящаяся на их переплете надпись «Ingermanlandzboken

[1] «Писц. кн. Иж. з.», т. I, отд. 1, стр. V, VII.

pro Ann 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623» означает: «Книги Ижорской земли за годы...». Ближе определяет тип книги заголовок, находящийся на первой странице рукописи: «Caporie Lähns Mantal Sampt Arrende Ahrens Opbörder», переводимый: «Мантальная роспись Копорского округа и подати арендных годов (1618—1623)». Действительно, книга содержит мантальную роспись и погодную запись поступивших в натуре и деньгами податей и разного рода сборов.

На левых страницах развернутой книги находится перечень населенных пунктов (сел и деревень) и пустошей. У названий сел, деревень и пустошей стоят цифры, обозначающие количество обж в данном селении или пустоши. Что эти цифры обозначают обжи, видно из прямых указаний текста книги в нескольких местах. Кроме того, в мантальном итоге по Копорскому уезду для числа обж выделена особая графа.[1] В описании Ямского и Ивангородского уездов особая графа для обежного числа имеется не только в итогах, но и в самом тексте. Под названием населенного пункта книга перечисляет живущих в нем хозяев — крестьян, бобылей, земцев и др. Под именем хозяев указывается общее число и приводятся имена взрослых мужчин, являющихся членами хозяйства. Указанные сведения составляют основную часть мантальной росписи, ее дополняют графы со сведениями о количестве лошадей и коров в каждом хозяйстве и особая графа с левой стороны текста, в которой помещены разного рода отметки и надписи: сведения о времени переселения в деревню хозяина, о месте его первоначального жительства, о разделах хозяйства, о пожаловании деревни в частное владение или пользование и др. В конце описания погоста имеется мантальный итог по погосту, а в конце описания уезда — общий уездный. В этих итогах имеются графы: «обжи», «крестьяне», «лошади». Правая часть книги против каждой деревни и пустоши перечисляет названия продуктов и разного рода денежных сборов, поступивших в казну, а в некоторых случаях и владельцу. Размер поступлений и платежей указан для каждого из шести годов, охватываемых книгой, отдельно в специальных графах. В конце описания погоста и уезда книга дает погодные попогостные и поуездные итоги поступлений, для каждого продукта или денежного платежа отдельно, и общей суммы с переводом натурального сбора на деньги.

Сделанный нами обзор содержания «Писцовых книг Ижорской земли» показывает, что в них отсутствует описание земель, являющееся важнейшей задачей писцовых книг, и потому они могут называться писцовыми книгами лишь условно. По своему содержанию они больше имеют оснований быть отнесенными к числу окладных и платежных книг.

В описании русских рукописей Стокгольмского государственного архива, составленном К. И. Якубовым, значится список переписной окладной книги Корельских погостов. Сличив эту книгу с переписной окладной книгой Новгородской земли 7008 г., опубликованной Беляе-

[1] Там же, стр. 16, 19, 98, 130.

вым во «Временнике Общества истории и древностей российских», Якубов установил, что книга Стокгольмского архива является списком с книги 7008 г. Список имеет следы использования его шведами: встречающиеся в нем названия погостов, деревень и т. д. написаны на полях по-шведски, точно так же переведены на шведский язык итоги по погостам, волостям и т. д. Эти и другие шведские надписи заставляют предполагать, что шведы пользовались списком как источником при сборе податей и при составлении новых, шведских же писцовых книг Кексгольмского лена. [1]

Из текста рассматриваемых нами шведских книг 1618—1623 гг. видно, что при их составлении также были использованы «старые русские писцовые книги», причем, в частности, из них заимствовались сведения об обежных обложениях. [2] Встает вопрос, какие именно русские писцовые описания Ижорской земли были использованы шведами?

Сопоставление шведских книг 1618—1623 гг. с книгами 7008 г. показывает, что последние не являются первоисточником «Писцовых книг Ижорской земли». [3]

Приведем несколько примеров.

Каргопольский погост	Число обж	Источник	Радчинский погост	Число обж	Источник
Село Кумолово	6.5	НПК, III, стб. 497	Село Кайбала	22	НПК, III, стб. 554
Дер. Кумолова	19	П. кн. Иж. з., стр. 26	Дер. Кайбала	20	П. кн. Иж. з., стр. 66
Сельцо Арбала	20	НПК, III, стб. 497-498	„ Марков двор .	3	НПК, III, стб. 557
Дер. Арбала	15	П. кн. Иж. з., стр. 30	„ Марково	2	П. кн. Иж. з., стр. 66
„ Осиновая Лука	5	НПК, III, стб. 499			
Пуст. Осиновая Лука	7	П. кн. Иж. з., стр. 17			

Встречаются и совпадения, например:

Радчинский погост

Сельцо Домашово . . .	9 обж	НПК, III, стб. 556
Дер. Домашова	9 „	П. кн. Иж. з., стр. 66

и др.

Наиболее близкое по времени к «Писцовым книгам 1618—1623 гг.» общее описание земель в Московском государстве происходило в 80-х

[1] «Чт. О. И. и Др. Р.», 1890, кн. 4.

[2] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 45.

[3] А. М. Андрияшев придерживается другого взгляда. По его мнению, шведы приняли в книгах 1618—1623 гг. обежное обложение писцовой книги Вотской пятины 1500 г. (А. Андрияшев. Указ. соч., стр. 451, прим.). Между тем, сопоставляя число обж в селениях и пустошах по писцовой книге 1571 г. и книгам 1618—1623 гг., приводимое Андрияшевым (там же, стр. 446—447, 452—454), видим, что даже менее устарелое обежное обложение 1571 г. далеко не совпадает с обложением, принятым шведами.

годах XVI в. Однако составленные в результате его писцовые книги не могли послужить шведам в качестве источников потому, что во время описания Новгородских земель Копорский и Ямской уезды были захвачены шведами и остались не описанными. В писцовой книге Вотской пятины 1581—1583 гг. прямо указано, что «в Вотцкой же пятине Елизарей Стараго да подъячей Семейка Киселев не писали Корельского и Копорского уезда и Ямьского Окологородья, которыми погосты х Кореле и х Копорью и х Яме владеют немецкие люди...»[1]. Около этого времени шведы сами составили мантальные росписи уездов Ижорской земли. В Стокгольме, в архиве Камер-коллегии, сохранились книги мантальной росписи по Ивангороду 1583—1586 гг., по Яме 1583—1588 и Копорью 1582—1589 гг.[2]

Поскольку в книгах 1618—1623 гг. ссылки на мантальные росписи указанных годов отсутствуют, а имеются ссылки на русские писцовые книги, мы приходим к заключению, что упоминаемые в «Писцовых книгах 1618—1623 гг.» «старые русские писцовые книги» относятся ко времени после 80-х гг. XVI в. Вероятно, это — книги частного описания земель Ивангородского, Копорского и Ямского уездов, которое должно было быть произведено после возвращения этих уездов в Московское государство по условиям Тявзинского договора 1591 г. Во всяком случае нам известно, что в 1595—1596 гг. Вотскую пятину описывал подьячий Афанасий Михайлов, а в 1597—1598 гг.— подьячий Ефим Нечаев.[3] Книги их письма могли быть использованы шведами. Кроме того, во время шведской оккупации Новгородских земель в 1612 г. были составлены дозорные и обыскные книги Вотской и Шелонской пятин,[4] в которых записаны крестьяне и бобыли, «каков кто прожитком». Однако в шведских писцовых книгах 1618—1623 гг. нет никаких указаний на то, чтобы материалы дворов и обысков 1612 г. были использованы в качестве источника или корректива. Установление времени составления «старых русских писцовых книг», использованных в мантальной росписи 1618—1623 гг., имеет, как увидим ниже, существенное значение для правильного раскрытия содержания росписи в отношении некоторой части сообщаемых ею сведений.

Период 1618—1623 гг., охваченный опубликованными Археографической комиссией писцовыми книгами, является первым шестилетием после заключения Столбовского договора 1617 г. и установления в Ижорской земле власти Швеции юридически, а не только в силу захвата ее вооруженной силой, как то было во время интервенции. В XVII в. в Швеции в каждом лене (уезде) велась поземельная книга (Iordebok), в которую заносились отдельные земельные владения по

---

[1] «Вр. О. И. и Др. Р.», кн. 6, стр. 54.

[2] «Писц. кн. Иж. з.,» т. I, отд. 2, стр. VI.

[3] К. Неволин. О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке. «Зап. РГО», кн. VIII, 1853, стр. 17.

[4] К. Якубов. Описание русских рукописей Стокгольмского гос. архива («Чт. О. И. и Др. Р.», 1890, кн. 4, стр. 41, 43).

их видам (коронные земли, скаттовые, фрельзевые), владельцы их, подати и повинности. Поземельная книга состояла из двух частей — основной, составлявшейся заново через 6 или 10 лет, и ежегодных извлечений из нее, перечислявших подати и повинности и имевших чисто фискальное значение. Кроме того, в лене велись мантальные и другие списки.[1] Писцовые и поземельные книги (Jorde böckerna) были заведены в Швеции в XVI в. по приказанию Густава I с целью упорядочения налогового дела. Старые налоги при этом превращены были в постоянную ренту с недвижимой собственности, определяемую писцовой книгой для каждой податной единицы — геймата (hemman). Самые сборы и повинности, занесенные в книгу, получили общее название ренты (ranta).[2] Таким образом, опубликованная Археографической комиссией книга является первой шведской писцовой книгой, составленной для вновь присоединенных по Столбовскому договору уездов, в соответствии со шведской административно-финансовой практикой.

Весьма важным обстоятельством было то, что шведские писцовые книги продолжали служить для практических целей и после окончания того шестилетнего периода, на который они были составлены. В писцовой книге 1618—1623 гг. мы встречаем отметки: «бежали в 1624» или «бежал в 1625», «1626 бежал за границу». Имеются также надписи, указывающие королевские грамоты как основание для владения землями, датированные более поздним годом, чем годы, охваченные писцовой книгой. Такова, например, ссылка на королевскую грамоту от 1 августа 1624 г.[3]

Таким образом, текст шведских писцовых книг не оставался неизменным. Более поздние приписки не только пополняли книги новыми сведениями, но меняли самое содержание записей, сделанных при составлении книг. Особенно существенное значение эта черта шведских книг 1618—1623 гг. имеет при рассмотрении ее данных о землевладении. Приписка на полях имени владельца заставляет отнести соответствующие селения в разряд частновладельческих. Между тем надписи о передаче деревни не всегда имеют указания на дату. В таких случаях мы лишены возможности установить, принадлежало ли данное селение при составлении писцовых книг короне или уже было пожаловано в частное владение или пользование. Вследствие этого невозможно распределить селения, описанные в книге, на принадлежащие короне и на частные, по состоянию на 1618—1623 гг., а отсюда проистекает невозможность проверки мантальных итогов. Лишает возможности опереться на мантальные итоги для установления размеров частного землевладения и то обстоятельство, что шведские писцы в некоторых случаях не отмечали вовсе принадлежности селений частным владельцам. Так, например, во второй половине Каргальского погоста (имеющей самостоя-

[1] Э. Берендтс. Указ. соч., т. I, стр. 193—194.
[2] Там же, стр. 79, 114.
[3] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 66, 81, 168, 187.

тельные итоги) в мантальное число не включены хозяева всех селений, у которых поступление ренты не указано. Только для части таких селений книга сообщает имена владельцев, другая часть никаких надписей о принадлежности частным владельцам не имеет. Однако невключение крестьян этих деревень в мантальное число приводит к заключению, что и эти деревни находились в частном владении или пользовании.

Можно привести и прямые свидетельства принадлежности частным лицам имений, владельцы которых в писцовой книге не обозначены. Из показаний одного русского выходца из-за шведского рубежа, относящихся ко времени около 1623 г., известно, что он жил до выхода на русскую сторону в деревне Даймицах Грезневского погоста «за немчином Букславом».[1] В шведской писцовой книге мы действительно находим этого крестьянина в числе жителей названной им деревни. Имеется отметка и о его побеге в 1623 г., но указания на принадлежность деревни частному владельцу нет.[2] Между тем, Бугислав Розен на самом деле владел землями в Ижорской земле, что видно из других мест той же писцовой книги 1618—1623 гг.

Мы должны подчеркнуть, что отсутствие сведений о ренте не всегда позволяет относить селение в разряд частновладельческих. В Кипенском погосте рента вовсе не показана, но мантальный итог имеется. При этом несколько селений Кипенского погоста имеют отметку о принадлежности их частным лицам. Однако не все остальные селения принадлежали короне. Число крестьян-хозяев в деревнях, не имеющих надписей о передаче в частное владение или пользование (а рента в этом погосте вовсе не указана), больше числа крестьян-хозяев мантального числа. Следовательно, некоторые селения, не имеющие отметки о принадлежности частным лицам, были частновладельческими, и крестьяне их в мантальное число не включены. Все это лишает нас возможности установить действительный размер частного землепользования. Число селений, находившихся в частном владении или пользовании, безусловно больше числа селений, имеющих отметку о принадлежности частным лицам. Вместе с тем отнести к числу частновладельческих все селения, у которых не показана рента, мы не можем, как не можем считать принадлежащими короне все селения с показанной рентой.

В тексте писцовых книг 1618—1623 гг. мы встречаем ряд деревень с описанием поступившей с них ренты и в то же время с надписью о пожаловании их частным лицам. В некоторых случаях пожалование и надпись могли быть сделаны после 1623 г., но так ли это, мы не можем определить по тексту, изданному Археографической комиссией, поскольку в нем отсутствуют указания на палеографические особенности подлинника.

При всем том шведские писцовые книги, не давая возможности

---

[1] РИБ, т. XXXVIII, стб. 463.

[2] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 123.

установить действительные размеры частного землевладения, все же содержат ценные материалы для изучения землевладения Ижорской земли. Надписи о пожаловании селений в частное владение или пользование позволяют осветить земельную политику шведского правительства. На основании этих надписей можно установить время пожалования, состав пожалованных лиц, формы землевладения. Данные о числе обж и населении позволяют судить о размерах земельных владений. Записи о поступлении и составе ренты дают яркие картины последствий перехода селения в частные руки. Даты пожалований показывают темпы раздачи казенных земель частным владельцам. Имена пожалованных освещают политику насаждения в Ижорской земле немецкого и шведского землевладения, наряду с восстановлением земельных прав крупных новгородских помещиков и вотчинников, изменивших родине во время интервенции и перешедших в шведское подданство. Разумеется, для выяснения социального и политического лица последних необходимо привлечение актового материала, относящегося к годам шведской интервенции,— как русского, так и шведского (архив Делагарди).

Текст надписей о пожаловании указывает на различные формы землевладения и пользования. В ряде случаев селения и пустоши были пожалованы в пожизненное владение, в других случаях в наследственное, в частности в наследственное владение по Норчепингскому праву; некоторые пожалования отдавали земли в пользование с рядом ограничений; наконец, писцовые книги отмечают аренду и выкуп арендованной земли в собственность. К сожалению, надписи о пожаловании, не охватывая всех пожалованных селений и пустошей, в то же время носят часто общий характер. Не называя формы владения, они ограничиваются отметкой, что деревня «пожалована» такому-то или что деревней «владеет» такой-то. Встречаются селения, против названия которых стоит только имя и фамилия. Установить, что это имя и фамилия владельца, возможно лишь на основании упоминания его в других местах книги в другом контексте, а иногда и привлекая в дополнение к писцовой книге другие источники.

Указанные особенности надписей о пожаловании исключают возможность выяснения соотношения между различными формами землевладения и землепользования. Однако надписи о пожаловании устанавливают в Ижорской земле первой четверти XVII в. не только смену землевладельцев, но и смену форм землевладения.

Особенно в этом отношении существенны отметки о пожаловании на Норчепингском праве. Как известно, Карл IX создал в Швеции служилое дворянство, состоявшее из чиновников и офицеров, тесно связанных с королевской властью и от нее зависевших. Карл IX распределил между ними конфискованные владения старой феодальной знати. Новое дворянство получало земли в виде вознаграждения за службу. Условия, на которых дворяне получали землю, были установлены на сейме в Норчепинге в 1604 г. По так называемому «Норчепингскому

постановлению», пожалованные гейматы передавались в наследственное пользование, но с рядом ограничений, важнейшими из которых были установление наследования лишь по прямой мужской линии и необходимость при вступлении на престол нового короля получать заново утверждение в праве владения. Владелец не имел права продавать или закладывать имение, не предложив его предварительно казне. Владелец имения, получивший его на Норчепингском праве, обязан был отбывать конную рыцарскую службу.[1] Захватив Ижорскую землю, шведский король получил обширные земельные фонды, которые возможно было использовать для раздачи дворянству.

Следует отметить, что надписи о пожаловании писцовой книги 1618—1623 гг. указывают, наряду с королевскими грамотами, в качестве обоснования прав владения также и распоряжение губернатора — правда, в немногих случаях.

Основной частью левых страниц развернутой писцовой книги 1618—1623 гг. являются записи о селениях и пустошах, числе обж в них, числе и составе населения. Писцовые книги не охватывают всех земель Копорского, Ямского и Ивангородского уездов. Просматривая русские списки перебежчиков, относящиеся, примерно, к тому же времени, что и шведские книги, мы встречаем многочисленные указания на деревни разных погостов Ижорской земли, откуда ушли перебежчики, а также упоминания имен владельцев этих деревень. Однако, обращаясь к тексту писцовых книг, мы видим в них лишь некоторых крестьян и бобылей, попавших в русские списки, и часто вовсе не находим названных ими населенных пунктов. Так, например, Микитка, Ивашка и Андрюшка Тишкины в расспросе показали, что жили в Зарецком яме, в дер. Северске, за немчином Букславом.[2] Обращаясь к писцовым книгам, мы не находим в описании Зарецкого погоста ни дер. Северска, ни упоминания среди владельцев Букслава.[3]

Вообще в описании Зарецкого погоста рента не указана. Относительно двух деревень отмечено, что они, согласно королевской грамоте, находятся в наследственном владении Рейнгольда Диккера; относительно других населенных пунктов отметки о владельце нет. Между тем в итоге по погосту составители писцовой книги, приводя общее число крестьян и бобылей, говорят, что из этого числа два крестьянина бежали в 1623 г., а остальные являются крестьянами Рейнгольда Диккера и капитана Фритца.[4] Очевидно, те деревни, у которых владелец не указан, тоже были в частном владении и принадлежали капитану Фритцу. Следовательно, по Зарецкому погосту мы имеем описание только частновладельческих деревень. Отсутствие среди них дер. Северской, принадлежавшей Бугиславу Розену, показывает, что и частно-

---

[1] Э. Берендтс. Указ. соч., т. I, стр. 105.
[2] РИБ, т. XXXVIII, стб. 464.
[3] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 125—126.
[4] Там же.

владельческие деревни описаны неполно. Между тем в Зарецком погосте были и земли короны, причем последние составляли бо́льшую часть погоста. В конце описания Копорского уезда мы находим итоги ренты, собранной с Зарецкого погоста, а в мантальном итоге по уезду обнаруживаем показанный особо мантальный итог Зарецкого погоста, т. е. итог хозяев-крестьян и бобылей, плативших ренту.[1] Таким образом, по Зарецкому погосту мы имеем итоги мантального числа и не имеем самого описания владений короны, а значит, и всех тех сведений, которые черпаем в описаниях других погостов. В частности, наши сведения о населенных пунктах и пустошах Ивангородского, Копорского и Ямского уездов, о числе обж в них, а также сведения о населении оказываются неполными.

Шведские писцовые книги различают при описании сёла (kyrkoby), деревни (by) и пустоши (öde); описан также монастырь (kloster), упоминаются замки, слободы, усадьбы и пр. Названия населенных пунктов и пустошей почти исключительно русские и в большинстве легко отыскиваются в более старых русских писцовых книгах и других источниках, несмотря на шведскую транскрипцию. А. М. Андрияшев отмечает, что описание селений в шведских книгах проведено в строгой топографической последовательности.[2]

Сведения писцовой книги о числе хозяйств в каждом селе и деревне, о людях, в них живущих, позволяют выяснить вопрос о размерах поселений. Сопоставление этих сведений с данными о скоте и составе ренты дают основания для определения характера поселений.

Как недостаток писцовой книги приходится отметить, что относительно некоторых деревень шведские писцы не приводят никаких сведений, кроме названия и числа обж. Вообще писцовая книга меньше интересуется частновладельческими землями, чем казенными. В описании частновладельческих поселений, как правило, отсутствуют сведения о ренте, часто нет сведений о скоте, иногда даже нет перечисления крестьян и бобылей. В связи с отмеченной особенностью, поселения, относительно которых указано только название и число обж, преимущественно являются частновладельческими, хотя встречаются и среди принадлежащих казне.[3] Следует отметить, что подобных деревень немного — всего 17 во всех трех уездах. Что касается описания пустошей, то наличие перечисления ренты против некоторых из них бросает свет на вопрос об их хозяйственном использовании. Однако последнее относится лишь к пустошам, принадлежавшим короне. При описании частновладельческих пустошей, как и частновладельческих деревень, писцы опускали сведения о ренте.

Сведения о числе обж, заключающиеся в книгах 1618—1623 гг., мало способствуют изучению состояния Ижорской земли в эти годы.

---

[1] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 129 и 130.

[2] А. Андрияшев. Указ. соч., стр. 454, прим. 6.

[3] См., например. Деревни Суйда, Середка и Заполье в Суйдовском погосте («Писц. кн. Иж. з.», стр. 119).

Мы уже отметили, что цифры обежного обложения заимствованы шведами из старых русских писцовых книг. События, происшедшие между временем составления указанных книг и шестилетием 1618—1623 гг., сильнейшим образом изменили хозяйственное благосостояние населения Копорского, Ямского и Ивангородского уездов. Поэтому обежное обложение, взятое из русских писцовых книг, для времени после Столбовского договора совершенно устарело. Сопоставляя число обж, установленное для деревни, с цифрами ее населения, с сведениями о числе хозяйств в ней, с данными о скоте, принадлежавшем крестьянам и бобылям, описанием ренты, мы затрудняемся установить какие-либо закономерности. Вот несколько ярких примеров:

Погост	Деревня	Число обж	Число хоз-в[1]	Число обж на 1 хоз-во	Число людей	Число обж на 1 человека	Число лошадей	Число обж на 1 лошадь	Источник: Писцовая кн. Иж. з., стр.
Дягиленский	Скворицы	70	3	23.3	4	17.25	4	17.25	116
„	Хотцино	36	2	18.0	2	18.0	2	18.0	116
Кипенский	Докукино	40	3	13.3	5	8·0	3	13.3	113
Врудский	Рабичица	27	3	9.0	6	4.5	3	9.0	142
Ястребинский	Олеша	9	1	9.0	1	9.0	0	—	154
Каргальский	Нижняя Копорица . .	0.5	3	0.16	9	0.05	4	0.12	16
„	Систа Палкина . . .	1	9	0.11	16	0.06	7	0.14	16—17
Заможский	Врудица Усадище . .	1	5	0.20	9	0.11	6	0.17	94
Дятелинский	Медвежий Конец . . .	6	16	0.37	30	0.20	16	0.37	105—106

Такое же отсутствие отношения зависимости наблюдаем и между числом обж и суммой ренты. Поскольку состав ренты в натуральном выражении весьма сложен и трудно сопоставим, мы выбрали для сравнения такие деревни, с которых шли выкупные деньги (frykiöpz peningar). Хотя выкупные деньги и рента не одно и то же, но эти понятия тесно связаны между собой, поскольку размер выкупных денег определяли, исходя из размера ренты, так как сумма выкупного платежа устанавливалась путем капитализации ренты.[2]

Таким образом, размер frykiöpz peningar позволяет судить о размере ренты (см. таблицу на следующей странице).

Наиболее богатыми и разносторонними сведениями шведских писцовых книг 1618—1623 гг. являются сведения о населении. Надо, однако, заранее сказать, что в шведских книгах 1618—1623 гг. учтено не все население описанных уездов. Прежде всего в них отсутствуют данные о городском населении, так что материалы о населении, которые мы черпаем из книг 1618—1623 гг., относятся только к сельским местностям. Но и сельское население описано не с одинаковой обстоятель-

[1] Включены бобыльские хозяйства, так как при шведах бобыли входили в мантальное число и платили ренту.

[2] Э. Берендтс. Указ. соч., т. I, стр. 151—152.

Погост	Деревня	Число обж	Размер выкупного платежа		Источник: Писцовая кн. Иж. з. стр.
			Всего, руб.	на 1 обжу, руб.	
Затожский	Врудица Устьище . . .	1	66.00	66.00	94
Каргальский	Долгая	0.5	10.00	20.00	18
Толдожский	Кошола	1	15.00	15.00	55
Каргальский	Керна меньшая . . .	1	10.00	10.00	17
,,	Закерновье	16	110.00	6.87	8
Озерецкий	Губаница	17	100.00	5.88	127
Дятелинский	Пшова пустошь	19	6.00	3.17	109
,,	Порожек	4	10.00	2.50	105
Толдожский	Вердея	4	8.00	2.00	52
Дятелинский	Радивоново	9	6.00	1.50	102
,,	Дятилица	20	15.00	0.75	107
Заможский	Старый двор	2	1.00	0.50	93

ностью и полнотой. В центре внимания писцов было крестьянское и бобыльское население вообще и в первую очередь крестьянское и бобыльское население деревень и сел, принадлежавших короне. Мелкий служилый люд, проживавший в Ивангородском, Ямском и Копорском уездах, явно недоучтен. Укажем хотя бы на то, что во всей писцовой книге 1618—1623 гг. записано лишь три человека казаков. Между тем число казаков в Ижорской земле было и в XVI и XVII вв. довольно значительным, и первые годы шведской власти в Ижорской земле не представляли в этом отношении исключения. Мы можем сослаться на то, что один из новгородских помещиков, перешедших на шведскую сторону во время интервенции, Исой Аминов, служил у шведов полковником казаков, следовательно, казаков было достаточно для укомплектования целого большого отряда.[1] Позднее, во время русско-шведской войны 1656—1658 гг., копорские и ямские казаки перешли на русскую сторону и действовали весьма энергично.[2] Надо, впрочем, отметить, что часть казаков жила в городе. Известно, что в 1498 г. на посаде Ивангорода находилось 134 двора торговых людей и казаков.[3]

Подобно казакам, явно недоучтены и рассыльщики. Из числа последних значится в книге лишь один человек, между тем та же книга называет несколько пустошей, которые обрабатывали рассыльщики.[4]

В отношении земцев сведения писцовых книг 1618—1623 гг. также неполны. Всего книгами учтено 32 земца. Правда, многие земцы жили в городах Ивангороде и Яме. Новгородские писцовые книги дают прямые указания на это. Тем не менее, число земцев, живших в сельских

[1] П. Б. О русских фамилиях в шведском дворянстве («Северный архив», 1827, № 4, стр. 315).

[2] См. мою статью «Борьба русских людей Ижорской земли в XVII в. против иноземного владычества» («Исторические записки», т. XVI, стр. 28—29 и др.).

[3] НПК, т. IV, стб. 217—230.

[4] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 27.

местностях Копорского, Ямского и Ивангородского уездов, конечно, превышало 32 человека. Земцы составляли в Ижорской земле довольно заметную группу населения. Отсутствие их на страницах шведских писцовых книг, посвященных описанию Ямского и Ивангородского уездов, подтверждает наши соображения о неполном учете шведами населения. Самые сведения о земцах собраны писцами без достаточной тщательности. В некоторых местах книг, например, отсутствуют сведения о скоте и даже о числе людей в хозяйствах земцев.[1] Все же данные писцовой книги 1618—1623 гг. о земцах позволяют сделать некоторые наблюдения. Так, например, обращает на себя внимание то обстоятельство, что шведские писцы, указывая на ренту, поступившую с деревень, принадлежавших земцам, самих земцев не включают в мантальные итоги. Это обнаруживается при сопоставлении данных подсчета цифр писцовой книги по Радчинскому погосту с итогами, даваемыми самой книгой. Следовательно, земцы занимали особое положение, отличное от положения крестьян, несмотря на то, что наряду с последними были занесены в писцовую книгу. Следует отметить, кроме того, указания писцов об отдаче в аренду земцам ряда пустошей в разных погостах, в том числе и таких, в которых земцы не значатся.[2] Любопытен также случай окладничества крестьянина с земцем и совместного с последним выкупа арендованной земли.[3]

Сделанные нами наблюдения о положении земцев распространяются и на казаков. Писцовая книга отметила поступившую с их земли ренту, но самих их в мантальное число не включила. Последнее подтверждается сопоставлением данных нашего подсчета с итогами шведских писцов по западной части Каргальского погоста.

Третья группа сельского населения, представленного в рассматриваемых нами книгах, группа священно- и церковнослужителей, описана с наименьшей тщательностью. В большинстве случаев писцовая книга даже не называет их имен, ограничиваясь замечанием, что в селе или деревне живут попы, дьяконы и пономари.

Описание населения писцовая книга ведет по хозяйствам. Население деревни объединено писцом в небольшие, по числу людей, группы. Эти группы никак не названы, но, несомненно, являются отдельными хозяйствами. На последнее указывает то, что за именем первого крестьянина или бобыля в такой группе следуют имена других, причем писец указывает отношение их к первому. В большинстве случаев это родственники или свойственники, но встречаются и bolagsman — термин, который означает «член товарищества, участник», но который более правильно было бы переводить словом «складник». Существенное значение имеет то обстоятельство, что писцовая книга регистрирует только взрослое мужское население. В тех редких случаях, когда

[1] Там же, стр. 2, 10.
[2] Там же, стр. 158, 187, 188.
[3] Там же, стр. 60.

писец называет малолетних сыновей, он специально оговаривает их молодость.[1] Таким образом, в состав описанных в книге групп входят только взрослые работоспособные мужчины. Против каждой такой группы указано число принадлежащих ей лошадей и коров. Текст писцовой книги дает косвенные указания на то, что эти группы являлись гейматами. Словом «геймат» в Швеции первоначально назывался крестьянский двор. Этот термин означал в хозяйственном отношении поземельную собственность в размере, достаточном для ведения самостоятельного хозяйства, и являлся податной единицей. Мелкие участки, доход с которых не был достаточен для уплаты полного оклада податей, назывались торпами (torp).[2] В писцовой книге 1618—1623 гг. против имен некоторых крестьян (хозяев, по нашему определению) имеется отметка о том, что они обрабатывают долю (половину, треть и т. д.) геймата (heman) другого крестьянина. Например, в дер. Катиле Толдожского погоста Якимко Онаньев, имевший лошадь и корову, и Андрейко Прокофьев с сыновьями Ивашей и Ильюшей, в хозяйстве которых было 2 лошади, обрабатывали по трети геймата Дмитерки Федорова. У самого Дмитерки были сыновья Иванко и Нестерко; они имели 2 лошади и 4 коровы. Данная запись совершенно ясно показывает, что геймат Дмитерки Федорова обрабатывали три семьи, ведшие каждая самостоятельное хозяйство. Указаний на обработку части геймата в писцовой книге встречается относительно немного.[3] Все остальные крестьянские хозяйства, не имеющие оговорки об обработке части чужого геймата, очевидно, составляли и обрабатывали целый геймат. По всей вероятности, хозяйство-геймат соответствовало двору. Однако, поскольку понятия двора и хозяйства не совсем совпадают и поскольку прямых указаний на дворы в писцовой книге мы не имеем, следует считать, что за единицу описания шведскими писцами было принято хозяйство.

Важной чертой писцовых книг 1618—1623 гг. является то, что хозяйства в них различаются по степени благосостояния. Шведские писцовые книги знают три основные группы хозяйств. Во-первых, хозяйства достаточных крестьян, т. е. крестьян в собтсвенном смысле слова. Термин «достаточные» не столько указывает на зажиточность крестьян этой группы, сколько подтверждает то, что они еще сохранили способность к выполнению повинностей и уплате налогов, податей и сборов. Наряду с «достаточными» крестьянами писцы описали хозяйства «обедневших» крестьян, иногда называя их крестьянами, «обедневшими до положения бобыля» (utarmad till bobuil). Наконец, третью группу составляют «бобыли». Следует особо обратить внимание на различение писцами двух последних групп. Крестьяне, обедневшие до положения бобылей, тем не менее записаны крестьянами. Опустив-

[1] См., например, стр. 2 (сын кр-на Минки Гришина); стр. 63 (сын кр-на Левуши Степанова) и др.

[2] Э. Берендтс. Указ. соч., т. I, стр. 21, 79.

[3] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 36, 49, 51, 59, 60, 127, 145, 154, 180.

шись в хозяйственном отношении до уровня бобылей, они все же не стали бобылями. Следовательно, отнесение хозяйства к группе крестьян и группе бобылей не определялось уровнем благосостояния, но стояло в зависимости от других причин и признаков. Особый интерес поэтому приобретают пометы писцов относительно некоторых крестьян и бобылей, указывающие, что эти крестьяне и бобыли находятся «в службе» (i tiänst). Люди, оказавшиеся на положении сельскохозяйственных наемных рабочих, несмотря на то, что экономически стояли ниже бобылей, все-таки продолжали числиться крестьянами и бобылями. Анализ данных шведской писцовой книги о хозяйстве всех указанных групп дает подтверждение обоснованному на изучении других источников мнению, согласно которому понятие «бобыль» было не только понятием хозяйственным, но и правовым.[1]

Мантальные итоги, подводимые шведскими писцами в конце описания каждого погоста и каждого уезда, дают число хозяйств достаточных крестьян, хозяйств обедневших крестьян, хозяйств бобылей, беглых, а в некоторых погостах переселенцев. Подсчеты хозяйств, описанных в погосте, показывают, что в мантальные итоги включались хозяйства коронные и те из пожалованных частным владельцам, с которых в казну поступала рента. Хозяйства земель, пожалованных с правом сбора ренты в пользу владельца, в мантальный итог не включались. Хотя в мантальных итогах надписи гласят «достаточные крестьяне», «обедневшие», «бобыли», «беглые», на самом деле в итогах даны сведения о числе хозяйств, а не о числе людей. Число людей, зарегистрированных в описании погоста, в несколько раз превосходит число, указанное в мантальном итоге. Это наблюдение относится как к погостам, в которых были одни коронные земли, так и в особенности к погостам, в которых наряду с коронными находились частные владения.

Мы уже указывали, что не только люди, но даже хозяйства известной категории частных владений в мантальные итоги не включались. Даваемые писцовой книгой сведения о хозяйствах позволяют установить размер хозяйств и изменения в их состоянии. На полях писцовой книги встречаются отметки о разделах хозяйств, на полях и в тексте — отметки об обеднении, а также отметки о бегстве одного, нескольких или даже всех членов хозяйства. Все эти сведения в сочетании с данными о скоте дают возможность установить не только общую картину экономического положения сельского населения Ижорской земли в первые годы после Столбовского мира, но и выявить характерные черты нормального крестьянского хозяйства, хозяйства обедневшего крестьянина и хозяйства бобыля, как их понимали современники.

Чрезвычайно важно, вместе с тем, что сведения писцовых книг 1618—1623 гг. позволяют дать не только стационарную картину экономики деревни, но показать происходившие в ней процессы. Указания

---

[1] Ср. Б. Греков. Новгородские бобыли в XVI—XVII вв.— ЖМНП, 1912, № 7, стр. 74.

даты во многих отметках о разделах, бегствах и т. д. при соответствующей их обработке и сопоставлении с данными других источников проливают свет и на корни процессов, которые переживала Ижорская земля. Что особенно ценно, данные книг 1618—1623 гг. позволяют проследить эти процессы и за пределами того хронологического периода, который они непосредственно представляют. В этом отношении весьма любопытны отметки о времени поселения крестьян и бобылей в описываемых селах и деревнях и указания о месте их первоначального жительства. Среди крестьян и бобылей, живших в момент составления писцовой книги в Ижорской земле, оказались люди, переселившиеся в нее год тому назад, два, три и т. д., вплоть до 40 лет. Цифровая обработка этих материалов, наряду с такой же обработкой материалов о бегстве, дает картину приливов и отливов населения в Ижорской земле, а также указывает истоки переселенческого движения. В частности, шведские писцовые книги содержат новые материалы для освещения вопроса о переселении финнов из Финляндии и показывают его действительные размеры. Указывая время поселения крестьян и бобылей, шведские писцы для основной массы их сделали отметку о проживании в данной деревне «издавна» (af älder). Несомненно, основная масса населения Ижорской земли была ее исконными жителями, но к показаниям шведских писцов об исконном проживании крестьян и бобылей в тех деревнях, где их застала перепись 1618—1623 гг., следует отнестись с осторожностью.

Вскоре после Столбовского договора началось массовое бегство крестьян Ижорской земли за рубеж в Московское государство. Сохранились расспросные речи этих выходцев. Среди них мы встречаем ряд крестьян, записанных в шведские писцовые книги. Сопоставление расспросных речей и записей книг 1618—1623 гг., как мы уже отчасти показали, дает много интересных наблюдений, в частности оно вскрывает злоупотребление шведских писцов термином «издавна». Так, например, Захарко Иванов с братом Ефимкой и женой показали, что они уроженцы дер. Заслуховья с. Тесова Новгородского уезда, а сошли за рубеж «в те поры, как немецкие люди Новгород взяли». За рубежом они жили в дер. Шичевицах Ястребинского погоста Ямского уезда за Василием Чеботаевым и вышли на родину в 1618 г. [1]

Обращаясь к писцовым книгам 1618—1623 гг., находим в названной деревне названного погоста и уезда, действительно пожалованной королем Василию Чеботаеву, бобылей Захарку Иванова и его брата Ефимку. Пометы гласят, что они жили в деревне «издавна» и бежали в 1624 г. [2]. Другой уроженец с. Тесова Гордейко Иванов ушел за рубеж (от бедности и от голоду, как были немецкие люди в Новегороде». За рубежом он жил в Грезневском погосте в дер. Даймищах, вышел обратно в с. Тесово в 1623 г. [3] В шведских писцовых книгах в назван-

[1] РИБ, т. XXXVIII, стб. 463.
[2] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 159.
[3] РИБ, т. XXXVIII, стб. 463.

ной деревне названного погоста действительно находим Гордейку Иванова с тремя сыновьями и зятем. Отметка писца подтверждает, что он бежал в 1623 г., но в то же время указывает, что Гордейко жил в Даймищах «издавна».[1]

Причисление недавних поселенцев к числу людей, живущих в данной деревне издавна, не было случайной ошибкой. Согласно условиям Столбовского договора, крестьянское население и сельское духовенство Ижорской земли должно было остаться на месте. Право выхода на Русь в установленный срок предоставлялось лишь служилым и посадским людям. В связи с этим шведы были заинтересованы объявить возможно большее число людей коренными крестьянами Ижорской земли. Насколько шведы были недобросовестны в этом отношении, можно судить по спискам перебежчиков, составленным шведской администрацией и предъявленным русским властям с требованием выдачи включенных в эти списки лиц. Анализ одного из таких списков, сохранившихся в делах Тайного приказа и относящихся к 1618—1625 гг., показывает, что претензии шведов на возвращение перебежчиков были крайне раздуты, а предъявленные ими списки этих перебежчиков составлены совершенно неправильно. В качестве перебежчиков в списках имелось значительное число людей, требовать возвращения которых в Ижорскую землю на основании Столбовского договора шведы не имели права. Рассматриваемый нами список Приказа тайных дел охватывает 300 человек, из них 236 значатся в росписи перебежчиков, предъявленной русским властям нарвским генерал-губернатором. Однако из числа 236 человек, 9 человек вышли еще до заключения мирного договора[2] и 5 человек — в установленный для перехода срок.[3] Кроме того, 12 человек выехали, имея на то разрешение местных властей и соответствующие документы,[4] а трое, будучи своевременно занесены в списки выходцев, задержались из-за болезни.[5] 27 человек не смогли выйти в установленный двухнедельный срок, будучи насильно задержаны.[6] 16 человек попали за рубеж в качестве пленных и по условиям мирного договора должны были бы быть отпущены на родину.[7] Наконец, 10 человек ходили в Ижорскую землю после заключения договора на заработки.[8] Из числа остальных 154 человек многие перешли в Ижорскую землю во время оккупации, и только 89 человек являлись уроженцами или жителями городов и уездов Ижорской земли.

Среди разного рода отметок, сделанных шведскими писцами против имен крестьян и бобылей, представляют интерес отметки о занятиях.

---

1 «Писц. кн. Иж. з.», стр. 123.
2 РИБ, т. XXXVIII, стб. 460, 465, 475, 477, 478—479.
3 Там же, стб. 461—462, 477.
4 Там же, стб. 457—458, 462, 472, 477, 478, 479—480.
5 Там же, стб. 475, 475—476.
6 Там же, стб. 456, 457, 466, 469, 469—470, 470, 472—473, 476, 478, 479, 480.
7 Там же, стб. 467—468, 468, 468—469, 469, 470, 470—471, 471, 472, 474, 476, 477—478.
8 Там же, стб. 466, 466—467, 467.

Благодаря отметкам подобного рода мы узнаем о существовании в сельских местностях Ижорской земли ряда ремесел и промыслов. К сожалению, такие отметки сравнительно редки. Есть основания предполагать, что они далеко не выявляют все случаи занятия ремеслами и промыслами сельского населения Копорского, Ямского и Ивангородского уездов. Так, например, в книгах 1618—1623 гг. не нашли отражения промыслы и занятия, связанные с добычей железа. Между тем мы знаем, что в конце XV и начале XVI вв. этот промысел и связанные с ним занятия имели в Ижорской земле значительное развитие.[1] Случайный характер указаний на ремесла и промыслы крестьян и бобылей объясняется тем, что подобного рода указания не входили в задачи писцов и попадали в текст книги в качестве прозвищ или признака, позволяющих отличать отдельных крестьян в общей массе.

Рассмотренные нами разнохарактерные отметки писцов носят более или менее массовый характер и допускают цифровую обработку. Кроме подобного рода отметок, в книге разбросано много отдельных мелких, мимоходом сделанных указаний, касающихся частных случаев, но тем не менее не лишенных интереса. Случайно оброненное писцом пояснение причины, заставившей бобыля пойти в батраки, приписка о том, что крестьянин из-за голода бросил свой участок или что бобыли перешли жить в деревню из слободки и т. д., дополняют яркими штрихами общую картину, а иногда дают ключ к правильному пониманию явлений, отраженных писцовой книгой.

Кончая обзор сведений, которые мы можем извлечь из данных писцовой книги о населении, отметим, что имена крестьян и бобылей дают возможность судить о его этническом составе. Имена русских, вотских и финских крестьян в книге различаются без труда. Кроме того, один последовательно выдержанный шведскими писцами прием является надежным контрольным средством, предупреждающим возможность ошибки. Записывая русских крестьян, шведские писцы переводили слово «сын» словом «sohn» или ставили при отчестве букву «s». Записывая же финских крестьян, они оставляли без перевода слово «poika», которое имело то же значение, что и русское «сын» для указания отчества.

Выше несколько раз уже упоминались сведения шведских книг о крупном скоте — лошадях и коровах. На левых страницах книги для этих сведений отведены особые графы, в которых указано число лошадей и коров в каждом хозяйстве. Материал о лошадях и коровах исключительно цифровой. Ценность его заключается в том, что он имеет массовый характер. Русские писцовые книги сведений о количестве скота не дают, и для суждения по этому вопросу приходится в большинстве случаев опираться на актовый материал. Как и другие сведения книг 1618—1623 гг., сведения о скоте не имеют исчерпывающего

---

[1] См. мою статью в т. VI «Исторических записок» — «Вотская и Ижорская земли Новгородского государства», стр. 119—123.

характера. Более или менее тщательно зарегистрирован скот в крестьянских и бобыльских хозяйствах. Сведения о скоте в хозяйствах служилых людей не полны, сведения же о скоте священнослужителей, а также беглых крестьян и бобылей вовсе отсутствуют. Имеется всего лишь несколько записей, в которых указан скот бежавших людей; они относятся к хозяйствам, существовавшим в момент составления книг и покинутым владельцами после 1623 г. В этих случаях мы имеем отметки о бегстве, внесенные в книгу после ее составления.[1]

Правые страницы развернутой писцовой книги заполнены сведениями о собранной ренте. Эти сведения записывались суммарно для всей деревни. Так как в деревнях жили наряду с крестьянами и бобыли, и討 земцы, и плательщики податей других разрядов населения, то указанная черта писцовой книги лишает нас возможности установить размер обложения и состав ренты для крестьян, бобылей и т. д. в отдельности. В то же время сведения писцовых книг о ренте содержат важный материал для выяснения общего положения населения Ижорской земли. Прежде всего следует указать на то, что записи о ренте подробно перечисляют все натуральные поступления и денежные сборы всех видов, внесенные в 1618—1623 гг. за каждый год отдельно. Перечисление продуктов и изделий, составлявших натуральную часть ренты, выясняет состав их, а цифры ежегодных поступлений указывают на удельный вес их отдельных составных частей. Поскольку при широком распространении натурально-хозяйственных отношений население уплачивало налоги продуктами своего хозяйства, анализ состава ренты и соотношения ее частей вскрывает общую картину хозяйственной деятельности жителей страны. Цифры денежной части ренты позволяют судить о преобладающей форме феодальной ренты в момент составления книг и вообще об уровне развития денежного обращения. Наконец, сопоставление погодных записей выявляет динамику обложения в первые годы шведского господства в Ижорской земле. В последнем отношении весьма показательны попогостные и поуездные итоги, даваемые писцовой книгой. Однако следует иметь в виду, что некоторые сборы, зарегистрированные в тексте описания погоста, шведские писцы по каким-то соображениям не включали в итог ренты по погосту, а включенные в погостный итог не вносили в итог по уезду. Наряду с этим встречаются налоги и сборы, о которых мы узнаем только из итогов, даваемых книгой. Так, например, сбор сухарей становится известен лишь благодаря погостным итогам, хотя он составил в 1621 г. по четырем погостам 1198 тогдашних тонн.[2] Налоги на жителей слобод, таможенные и некоторые другие денежные сборы по Ямскому уезду записаны только в общем поуездном итоге.[3] Повинность по поставке

[1] Примеры: бобыль Степанко Одранчихин бежал в 1626 г., имел лошадь («Писц. кн. Иж. з.», стр. 168); крестьянин Куземко Ермолин бежал в 1625 г., имел лошадь и корову (там же, стр. 66).

[2] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 23, 65, 100, 129.

[3] Там же, стр. 182.

дров нашла отражение в итогах по погостам, но ее нет в тексте описания.[1] Наоборот, соль указана в составе ренты, полученной с дер. Новая Весь, но ее нет ни в итоге по погосту, ни в итоге по уезду.[2]

Таким образом, при изучении состава ренты нельзя ограничиваться рассмотрением номенклатуры продуктов, изделий и денежных платежей, указанных в поуездных итогах, но необходимо привлечь материалы из погостных итогов и самого текста описания. Необходимо отметить, что поуездные итоги имеют одну очень важную особенность: они не только дают итоги ренты в натуральном ее выражении, но и переводят ее на деньги. Таким образом, при присоединении итогов денежных сборов выясняется общий размер обложения населения Ижорской земли, выраженный в деньгах, и получается возможность сравнения погодных итогов ренты.

Конечно, общие итоги ренты, даваемые писцами, страдают некоторой неполнотой,— как мы видели, некоторые сборы, описанные в тексте, в них не попали. Но для выяснения общего положения дел поуездные итоги вполне достаточны; следует только учесть, что цифры 1623 г. должны быть значительно ниже суммы ренты за этот год, так как поступления за 1623 г., несомненно, продолжались и в следующем году, когда книги были уже закончены.

Описание городов, как мы уже отмечали, в книгах 1618—1623 гг. отсутствует. Однако текст этих книг содержит некоторые материалы, проливающие свет и на положение городского населения. В разных местах книги мы наталкиваемся на указания о землевладении городского населения, об аренде и обработке им земель в сельских местностях. Довольно много сведений, относящихся к городу, находим в описании Петровского погоста Ивангородского уезда. Его открывает запись четырех пустошей, пожалованных королем «Ивангородским русским бюргерам» под слободку. «Пожалование» на самом деле было следствием изгнания посадских русских людей из города. Несмотря на объявленное равноправие русского и немецкого городского населения, нарвские бюргеры добились выселения ивангородских посадских людей в слободку. Это фактически означало лишение их прав, так как на слободки не распространялись привилегии, дарованные городам.

Далее следуют записи разного рода налогов и сборов, которыми были обложены жители слободки, а отчасти и города. Прежде всего можно отметить налог на самих «бюргеров» слободки, затем налоги на их огороды и бани, таможенные сборы, доходы от кабаков в слободке и замке. Здесь же указаны замковые фермы, мельницы, поля, а также разные тони и рыбные ловли. Имеются записи и других сборов.[3] В описании Ополецкого погоста Ямского уезда наталкиваемся на замковую

---

[1] «Писц. кн. Иж. з.», стр. 138, 148, 162, 181, 208.
[2] Там же, стр. 171.
[3] Там же, стр. 185—187.

лососиную ловлю, мельницу и замковые ямогородские поля, от обработки которых крестьяне откупались.[1]

Наконец, как уже было отмечено, о некоторых доходных статьях, в частности городских или обращаемых в пользу города, мы узнаем из поуездных итогов.

На этом мы заканчиваем изложение наших наблюдений над текстом писцовых книг 1618—1623 гг. Задачей настоящего очерка было попытаться восполнить пробел, существующий в исторической науке, и дать критические замечания, характеризующие шведские книги Ижорской земли как источник. Обработка данных этих книг явится содержанием другого очерка,— очерка, освещающего положение Ижорской земли в первой четверти XVII века.

---

[1] Там же, стр. 167.

Е. И. ЗАОЗЕРСКАЯ

СПИСОК МАНУФАКТУР, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПЕТРЕ I[1]

Список заводов и фабрик, возникших при Петре, т. е. с 1695 по 1725 г., предлагается впервые, хотя их перечисления, разной степени полноты, не раз встречаются в литературе. Такой перечень петровских мануфактур мы находим у С. М. Соловьева («История России с древнейших времен», изд. «Общественной пользы», кн. IV, стб. 166—170 и 784), у М. И. Туган-Барановского («Русская фабрика в прошлом и настоящем», изд. 3, 1901, стр. 13), в работах П. Г. Любомирова: «Очерки по истории русской промышленности в XVIII и начале XIX в.», Л., 1930— на страницах, посвященных времени Петра I; «Очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России», Л., 1937 г., гл. III, а также в недавно вышедшей посмертной статье «Роль казенного, дворянского и купеческого капитала в строительстве крупной промышленности России в XVII—XVIII вв. («Исторические записки», т. XVI). Но все эти перечисления являются лишь приблизительными, что соответствовало задаче данных авторов, не бравших на себя обязательства дать полный исчерпывающий список петровских мануфактур. Исключение составляет вторая из указанных работ П. Г. Любомирова, в которой автор устанавливает размещение всех заводов, встречающихся, по его данным, в петровское время. Но в этом случае исследователя интересовала лишь металлопромышленность.

С другой стороны, одним из основных источников при составлении перечислений, имеющихся в литературе, служило сочинение И. Кирилова «Цветущее состояние Всероссийского государства», в котором автор, современник Петра, один из секретарей Сената, на основании официальной ведомости 1727 г. дал впервые перечень заводов и фабрик первой четверти XVIII в., а также их общий итог в количестве 233 предприятий.

Однако этот перечень, как и данная им итоговая цифра, нуждается в дополнительных изысканиях и проверке.

Во-первых, автор не всегда дает точное перечисление отдельных мануфактур, как не всегда приводит их название или имя владельца.

---

[1] По техническим причинам данная статья не заверстана выше, в отделе Истории СССР.

Так, например, по Москве, у Кирилова значится:

Байберековая, и лентовая, и позументная, лентных . .	5
Шелковарная, плетеночная и портупейная	5
Полотняных	5[1]

Иногда автор просто ссылается на существование, и даже «во множестве», в данном городе или провинции тех или иных промышленных предприятий; однако очень возможно, что среди этого «множества» бывали заведения и типа мануфактуры, и типа ремесленной мастерской. Подобные показания Кирилова приходится расшифровывать и уточнять при помощи других материалов.

Во-вторых, в тех случаях, когда автор дает индивидуальные сведения по предприятию (имя владельца, название и местонахождение данной мануфактуры), он, пользуясь без всякой критики официальной ведомостью, наряду с мануфактурами, действительно возникшими и существовавшими в первой четверти XVIII в., вносит в свой список такие, которые лишь предполагалось завести. Это объясняется следующим. Со времени учреждения Берг- и Мануфактур-коллегий требовалось, чтобы лицо, желающее построить ту или другую мануфактуру, подало заявление о разрешении, которое обычно фиксировалось в форме приговора Берг-коллегии. Позднее, при составлении сводных ведомостей в этих коллегиях, приговор служил основанием для включения в ведомость данного предприятия, хотя иногда разрешение не использовалось и предприятие не возникало. С другой стороны, далеко не все владельцы, основавшие ту или другую мануфактуру еще до учреждения коллегий, посылали позднее требовавшиеся от них сведения. Такие предприятия выпадали из поля зрения коллегий и не могли быть включены в их ведомости.

Таким образом, у Кирилова одновременно попадаются лишние мануфактуры, не существовавшие на самом деле, и недостает некоторых, фактически существовавших. Этим недостатком, естественно, страдают и те позднейшие перечисления заводов и фабрик петровского времени, которые, как я уже говорила, основывались в значительной степени на сочинении Кирилова.

Недостаточная точность и четкость перечня Кирилова совершенно естественны и для него самого и для его источника — ведомости 1727 г.: в то время, во-первых, отсутствовал точный критерий для определения того, что подходит под понятие крупного предприятия, называемого мануфактурой, и, во-вторых, не были известны элементарные приемы статистического учета, хотя последний и ставился в качестве первоочередной задачи перед вновь создаваемыми Берг- и Мануфактур-коллегиями. Отсюда ясна сомнительность и итоговой цифры Кирилова, тем более что при подсчете собственные слагаемые, приводимые им по губерниям и провинциям, не дают этой суммы. Думаю, что точная и

[1] И. Кирилов. Цветущее состояние Всероссийского государства, т. I, М., 1831, стр. 77.

окончательная цифра мануфактур первой четверти XVIII в. будет установлена на основании их полного списка только после выявления и изучения по крайней мере основных архивных фондов, содержащих материалы по промышленности этого времени. Только путем сопоставления различных сохранившихся ведомостей между собою, а также с другими документами и данными в опубликованных работах, может быть проверен факт существования каждой мануфактуры. На основании подобной работы, произведенной на значительном материале Берг- и Мануфактур-коллегий, а также других петровских учреждений, мною составлен предлагаемый список; при этом я ставила перед собою две задачи:

1. Охватить им наиболее полно предприятия этого типа, независимо от отраслей промышленности и длительности существования каждого из них в отдельности, на основании всех, хотя бы самых беглых упоминаний, встречающихся в литературе и источниках, опубликованных и архивных, которые были в моем распоряжении.

В отношении выполнения этого требования, иными словами — полноты списка, я заранее должна сказать, что и он не является исчерпывающим. В нем, например, отсутствуют кирпичные, поташные, солеваренные, мыловаренные заводы, недостаточно представлены винокуренные, кожевенные, пороховые. Это объясняется отсутствием в моих материалах сведений об индивидуальных предприятиях из вышеназванных видов, а также иногда невозможностью выяснить, являлось ли данное предприятие мануфактурой или более мелким предприятием типа ремесленной мастерской. Несомненно, со времени, при привлечении новых архивных материалов, список будет пополняться и уточняться.

2. Вторая задача сводилась к тому, чтобы проверить, все ли из упомянутых, а следовательно и внесенных в общий список мануфактур фактически были основаны. В результате получился не один, а два списка. В первый, основной, вошли только те предприятия, относительно которых в архивных или опубликованных материалах, включая и литературу, встретились сведения, безусловно говорящие об их фактическом основании и существовании хотя бы недолгое время. Во второй включены предприятия: 1) относительно которых удалось установить, что они не были заведены, хотя разрешение на их основание было получено (эти предприятия в списке отмечены одной звездочкой); 2) те, которые начали действовать после 1725 г. (они отмечены двумя звездочками), и 3) предприятия, о фактическом основании которых не было сведений в самих коллегиях, не встретились они также в материалах, бывших в моем распоряжении, поэтому я отношу эти мануфактуры к разряду сомнительных (отмечены тремя звездочами).

Ссылки и примечания в основном списке даются только в случае каких-либо дополнительных сведений; во втором — к каждому предприятию с указанием, откуда почерпнуты о нем сведения.

На основании предлагаемого списка можно составить следующую таблицу распределения возникших при Петре мануфактур по отраслям промышленности:

Отрасли промышленности	Число мануфактур		
	всего	казенных	частных
Черная металлургия	52	22	30
Цветная металлургия	17	13	4
Суконная	15	5	10
Из них: суконных	8	4	4
каразейных	5	—	5
каламянковых	2	1	1
Полотняная	8	3	5
Из них: полотняных	3	2	1
парусных	5	1	4
Шелковая	9	—	9
Из них: тканей	3	—	3
лент и позументов	5	—	5
Бумажная	6	3	3
Из них: бумажных	4	3	1
карточных	2	—	2
Кожевенная	14	7	7
Стеклянная	10	3	7
Пороховое производство	17	8	9
Лесопильня	18	3	15
Прочие	34	19	15
Всего	200	86	114

Для полноты представления о числе мануфактур, существовавших в первой четверти XVIII в., основному списку предшествует список мануфактур, возникших в XVII в. и продолжавших действовать при Петре.

Список мануфактур, основанных в XVII в., но продолжавших действовать в царствование Петра I

№ п/п.	Кому принадлежала в конце XVII в.	Наименование и вид предприятия	Местонахождение
1	Нарышкину А. Л. (бывш. Марселиса)	Елтинский железный завод	Каширский у., на р. Скниге
2	Ему же	Ченцовский » »	Там же
3	» »	Соломыковский » »	» »
4	» »	Ведменский » »	» »
5	» »	Вепрейский » »	Алексинский у., на р. Вепрее
6	» »	Тульский верхний железный завод	Тульский у., на р. Тулице
7	» »	Тульский нижний » »	Там же
8	» » [1]	Дугненский железный завод	Алексинский у., на р. Дугне
9	Бутенанту фон-Розенбушу	Железный завод	Олонецкий у., Шунгский погост
10	Ему же	» »	Олонецкий у., Фоймогубская вол.
11	» » [2]	» »	Олонецкий у., Кижский погост
12	Меллерам Вахромею и Петру	Угодский железный завод	Малоярославский у., на р. Угодке

[1] Все восемь заводов, бывшие Марселиса, в 1690 г. были переданы Л. К. Нарышкину и описаны по этому случаю («Крепостная мануфактура в России», ч. 1. Тульские и Каширские железные заводы, стр. 108—208). О том, что четыре первых завода продолжали действовать в первой четверти XVIII в., мы узнаем из ведомости, поданной в Берг-коллегию в 1720 г. приказчиком Нарышкина Гаврилой Забелиным (ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 614, пл. 180 и сл.). Что касается остальных четырех заводов, то прямых указаний на их существование в XVIII в. в моем распоряжении не имеется; однако в сводной ведомости Берг-коллегии 1725 г. среди заводов, о которых «от заводчиков ведомостей не подано», значатся заводы «Александра да Ивана Нарышкиных в Каширском и Тульском и в Алексинской провинции» (там же, кн. 610, л. 171), т. е. как будто речь идет о всех восьми заводах. Но нельзя забывать, что подобные сводные ведомости составлялись на основании старых и иногда очень давних формальных данных.

[2] В начале XVIII в. заводы перешли к казне (П. Г. Любомиров. Очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России, стр. 57; «Крепостная мануфактура в России», ч. II, Олонецкие медные и железные заводы. Лг., 1931. Введение, стр. XIX).

ние, стр. XIX).

№ п/п.	Кому принадлежала в конце XVII в.	Наименование и вид предприятия	Местонахождение
13	Меллерам Вахромею и Петру[1]	Истинеский железный завод	Боровский у., на р. Истье
14	Томасу Болдвину	Бывш. казенный Сорокинский железный завод	Московский у., на р. Истре
15	Ему же[2]	То же, Павловский	Звенигородский у., на р. Белой
16	Казне	Пушечный двор старый	Москва, в Белом городе, за Воскресенскими воротами, на р. Неглинной
17	Ей же[3]	Пушечный двор новый	Москва, у Красного пруда
18	Ей же[4]	Пороховая мельница нижняя	Москва, на р. Яузе
19	Мейеру Рудольфу[5]	Бывш. казенная пороховая мельница верхняя	Там же
20	Казне[6]	Измайловский стеклянный завод	Измайлово
21	Койету Петру[7]	Духанинский » »	Дмитровский у., пуст. Духанино

[1] Оба завода продолжали действовать при Петре и после него (ЦГАДА, Ф. Берг-Колл., кн. 610, лл. 285 и сл.).

[2] О судьбе обоих заводов в конце XVII — начале XVIII в. у И. Гамеля. Описание Тульского оружейного завода. М., 1826, стр. 26.

[3] Сведения об обоих Пушечных дворах при Петре у Н. Е. Бранденбурга. Материалы для истории артиллерийского управления в России, т. I. «Приказ Артиллерии», СПб, 1876, стр. 344.

[4] В 1704 г. была передана Филимону Аникиеву (там же, стр. 333; опись мельницы — там же, приложение XXVI).

[5] О судьбе мельницы в конце века — там же, стр. 327 и сл.; опись мельницы — там же, приложение XXVII.

[6] Завод, во всяком случае, существовал в 1707 г., далее сведений не имеется (ЦГАДА, Письма разных лиц на русском языке, 1707, д. 14, л. 38).

[7] Последнее по времени упоминание о заводе относится к 1702 г. (Н. А. Бакланова. Стеклянные заводы в Московском государстве XVII в. Труды ГИМ, вып. IV, стр. 126).

Список мануфактур, возникших при Петре I

(с 1695 по 1725 г.)

Общий номер	Частный	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год: разрешения	Год: фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
		Черная металлургия						
		Казенные заводы						
1	1	Каменский	Металлургический	—	1700—1701	Тобольский у., на р. Каменке	—	Да
2	2	Невьянский	То же	—	1700—1701	Верхотурский у., на р. Нейве	В 1702 г. передан Никите Демидову	»
3	3	Ижинский, или Устюжский	» »	—	1702	Близ Устюжны, на р. Ижине		Нет
4	4	Уктусский	» »	—	1702	Тобольский у., на р. Уктусе	—	Да
5	5	Петровский	» »	—	1702—1704	На р. Лососинке при Онежском озере	—	»
6	6	Повенецкий	» »	—	1703	При устье р. Повенца	—	»
7	7	Тырпецкий, или Белозерский	» »	—	1704	Белозерский край, на р. Шогде	—	
8	8	Алапаевский	» »	—	1704	Верхотурский у., на р. Алапаевке	—	»
9	9	Кончезерский	» »	—	1707	Близ Петровского завода	—	»
10	10	Кузминский	Металлообрабатывающий	—	Нач. XVIII в.	Воронежский у., на р. Кузминке	—	»
11	11	Липский, или Липецкий	Металлургический	—	Нач. XVIII в.	Воронежский у., на р. Липице	—	»
12	12	Екатеринбургский	То же	—	1723—1725	Верхотурский у.	—	
13	13	Елабужский	Неизвестно	—	—	Казанский у.	В 1724 г. передан Ивану Небогатову («ветх»)	»
14	14	Оружейный двор, или цейхгауз	—	—	1701—1720	Москва, Кремль	—	»
15	15	Оружейный двор	—	—	1711	Ярославль	Сгорел в 1711 г.	Нет
16	16	Пушечный литейный двор	—	—	1712	Петербург	—	Да
17	17	Оружейный двор старый	—	—	До 1715	»	—	Неизвестно
18	18	Оружейный двор новый	—	—	—	»	—	Да
19	19	Тульский оружейный завод	—	—	1713	Тула	—	»
20	20	Сестрорецкий оружейный завод	—	—	1724	Сестрорецк	—	»
21	21	Якорная кузница	—	—	—	Ладога	—	Неизвестно
22	22	Якорный завод	—	—	До 1719	Нижегородский у., Городецкая вол.	—	То же
		Частные заводы						
23	1	Борина и Аристова	Металлургический	—	1694—1695	Романовский у., на р. Белый Колодезь	В 1720 г. перешел к казне	Да
24	2	Тульский Демидова Никиты	То же	—	1696	Близ Тулы, на р. Тулице	—	»
25	3	Бутенанта фон Розенбуша	Неизвестно	—	1696	Олонецкий у., Лижемская вол.	—	»
26	4	Молодого Федора	Металлургический	—	1704	Кунгурский у., на р. Мазуевке	В 1715 г. передан Белопашинцеву. В 1722 г. Ф. Молодой просил о возвращении з-да	»

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год: разрешения	Год: фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
27	5	Меллеров Меньшовский	Металлургический	—	1705	Оболенский у., на р. Нечайке	—	Да
28	6	Демидова Никиты Дугненский	То же	—	1707	Алексинский у., на р. Дугне	—	»
29	7	Воронова Данилы	» »	—	До 1711	Козельский у.	В 1711 г. «пуст»	Нет
30	8	Рюмина Якова Истенский	» »	—	1713	Пронский у., на р. Истье	—	Да
31	9	Рюмина Якова Улутский	Неизвестно	—	1716	Переяславский уезд, Рязанского, на р. Улесовой	—	»
32	10	Демидова Никиты Шуралинский	Металлообрабатывающий	—	1716	Верхотурский у., на р. Шурале	—	»
33	11	Баташева Ивана	Металлургический	—	1716	Тульский у., на р. Тулице	—	»
34	12	Демидова Никиты Верхне-Тагильский	» »	—	1716—1718	Верхотурский у., на р. Тагиле	—	»
35	13	Логинова Льва	» »	—	1717	Пронский у., на р. Истье	—	»
36	14	Демидова Никиты Бынговский	Металлообрабатывающий	—	1718	Верхотурский у., на р. Бынге	—	»
37	15	Его же Верхне-Тулицкий	Металлургический	—	1719	Тульский у., на р. Тулице	—	
38	16	Озерова Василия	» »	1715	1720	Козловский у., на р. Толычеевой	—	»
39	17	Ситникова и Козекина	» »	—	1720	Ржевский у., Добринский стан	—	С 1724 по 1726 г. бездействовал
40	18	Шапошникова Федора	Металлургический	1721	—	Между Кадомским и Арзамасским уу., в Починковской вол.	—	В январе 1725 г. «завод пуст»
41	19	Демидова Никиты Выйский	Металлообрабатывающий	—	1722	Верхотурский у., на р. Вые	—	Да
42	20	Александрова Петра	Металлургический	1722	—	Владимирский у.	—	Летом 1725 г. запустел
43	21	Миляковых Тараса и Ивана	» »	1722	1719[1]	Краснослободской у., на р. Ряпке	—	Да
44	22	Клюева и Халтурина	» »	—	1722	Муромский у., на р. Илюйке	—	Запустел до 1725 г.
45	23	Колмовского Антона	» »	1722	—	Царево-Санчурский у., на р. Устье	—	То же
46	24	Семенникова Кондратья	» »	1722	1722	Рязанский у., на р. Кирице	—	Да
47	25	Железникова и Мездриковых	» »	1724	—	Владимирский у., на р. Сигводе	—	Запустел в 1725 г.
48	26	Демидова Никиты Синячихинский	Металлообрабатывающий	—	—	Верхотурский у., на р. Синячихе	—	Да
49	27	Демидова Никиты Нижне-Тагильский	Металлургический	—	1725	Верхотурский у., на р. Тагиле	—	»
50	28	Его же Фокинский	Неизвестно	—	—	Галицкая провинция, на р. Ветлуге	—	Неизвестно
51	29	Ружейный завод Елизария Избранта	—	—	1698	Московский у., на р. Воре	—	Нет

[1] Завод фактически существовал раньше, чем получено было разрешение по учреждении Берг-коллегии.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовали ли к 1725 г.
52	30	Палашный завод Франца Любютея	—	—	1712—1713	Недалеко от Москвы, на р. Яузе [1]	Принят в казну в 1724 г., хотя до этого времени бездействовал [2]	Да
		Цветная металлургия						
		Казенные заводы						
53	1	Казанский	Медный	На грани XVII—XVIII вв.	—	Казанский у., на р. Вятке	В 1714 г. передан подьячему Калугину[3]	Нет
54	2	Без названия	»	То же	—	Олонецкий у., Фоймогубской вол.	—	»
55	3	Кончезерский	»	—	—	Олонецкий у.	—	Да
56	4	Уктусский	»	1703	1704	Тобольский у., на р. Уктусе	—	»
57	5	Кунгурский 1-й	»	—	около 1711	Около Кунгура (в 40 саж.)	—	Нет
58	6	Кунгурский 2-й	»	—	около 1711	Кунгурский у., на р. Мазуевке	—	»
59	7	Лялинский	»	1723	1725	Верхотурский у., на р. Ляле	—	Да
60	8	Ягошихинский	»	—	1725	Верхотурский у.	—	»
61	9	Пыскорский	»	—	1725	Там же	—	»
62	10	Екатеринбургский	»	—	1725	» »	—	»
63	11	Полевский	»	—	1725	» »	—	
64	12	Саралинский	»	—	1724	Казанский у., на р. Сарали	В 1727 г. передан Ивану Небогатову	»
65	13	Нерчинский	Серебряный	—	20-е гг.	—	—	»
		Частные заводы						
66	14	Строгановых	Медный	1721	1725	Соликамская пров. в Перми Великой, на р. Яйве	—	Да
67	15	Демидова Никиты Выйский	»	1720	1720	Верхотурский у., на р. Вые	—	»
68	16	Тряпицина Ивана	»	1720	1725	Казанский у., на р. Давыдовке	—	»
69	17	Демидовых Ивана и Семена	Серебряный	—	1723	Ряжский у., на р. Летогоше	Действовал недолго	Неизвестно
		Пороховое производство[4]						
		Казенные заводы						
70	1	Охтенский	Пороховой	—	1711—1714	Под Петербургом, на Большой и Малой Охте	—	Да
71	2	Без названия	»	—	1712	Петербург	—	»

[1] Сведения о местонахождении завода расходятся: по данным Н. Е. Бранденбурга и П. Г. Любомирова, он находился в 25 верстах от Москвы, на р. Пехорке (Н. Е. Бранденбург. Указ соч., стр. 384—385; П. Г. Любомиров. Указ. соч., стр. 53). В списке же, данном из Военной коллегии в 1719 г., значится «палашный завод на Яузе под веденнем иноземца Франца Любютея..., делают палаши и обучают того дела русских людей» (ЦГАДА, ф. Берг.колл., кн. 606, л. 36 об.).

[2] Н. Е. Бранденбург. Указ соч., стр. 384—385.

[3] Сведения о заводе взяты из фонда Берг-колл., кн. 609, лл. 16—16 об. В литературе об этом заводе нет сведений. Авторы, начиная с Геннина, повидимому, смешивали его с другим казенным медным заводом на р. Сарали, притоке Камы (см. В. И. Геннин. Описание уральских и сибирских заводов 1735 г., М., 1937, стр. 632; П. Г. Любомиров. Указ. соч., стр. 64).

[4] Сведения взяты преимущественно из упоминавшейся книги Н. Е. Бранденбурга. Кроме перечисленных в данном списке заводов, имелись подобные же заведения, например казенные селитренные заводы в Казанской и Киевской губерниях, возможно более мелкого масштаба, а может быть недолго существовавшие, вследствие чего о каждом из них индивидуально сведений не встречается.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
72	3	Сергиевский	Серный	—	1700	Под Сергиевском, на р. Соку	—	Да
73	4	Самарский	»	—	1710	Под Самарой	—	»
74	5	Путивльский	Селитренный	—	Начало XVIII в.	Путивль	В 1704 г. передан Рожнову, а затем в 1707 г. кадашевцам Евстратьевым	Неизвестно
75	6	Без названия	»	—	До 1709	В 7 верстах от Астрахани	—	Закрылся в 1719 г.
76	7	» »	»	—	1713	Карповский у.	—	Неизвестно
77	8	» »	»	—	До 1715	Под Красным Яром	В 1727 г. передан пос. чел. Духову	Да
		Частные заводы						
78	9	Избранта Елизария	Пороховой	—	1698	Московский у., на р. Воре	—	Неизвестно
79	10	Бельского Григория	»	—	До 1701	Москва	—	То же
80	11	Стельса Андрея	»	—	Начало XVIII в.	Московский у., на р. Клязьме	Позднее Рутхера и Беркузина. Действовал в 1720 г.	»
81	12	Его же	»	—	То же	Там же	Позднее Филимона Аникиева. Действовал в 1720 г.	»
82	13	Селивестрова Василия и Марыкаева Михаила	»	—	1702	В Москве, или под Москвой	—	»

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
83	14	Нарыкова Льва	»	—	1702	В Москве или под Москвой	—	»
84	15	Молоствова	Селитренный	—	1709	Под Симбирском	Действовал до 1715 г.	Нет
85	16	Его же	»	—	1715	Близ Царицына, на р. Ахтубе	Действовал в 1720 г.	Неизвестно
86	17	Варламова Данилы	Серный	—	До 1711	Касимов	—	Скоро закрылся
		Полотняная промышленность						
		Казенная						
87	1	Хамовный двор на Яузе	Парусная	—	1696	Москва, с. Преображенское	—	Да
88	2	Полотняный и скатертный завод	Полотняная	—	1707	Москва	В 1711 г. передана компании Андрея Турчанинова. В 1720 г. перешла компании Ивана Тамеса.	»
							В 1724 г. разделилась на 5 частей:	
							Ивана Тамеса,	»
							Бориса Карамышева,	»
							Антипы Пастухова,	»
							Ивана Микляева,	»
							Андрея Овощникова	»
89	3	Екатерингофская	—	—	До 1722	Петербург	В 1727 г. передана Затрапезнову	»
		Частная						
90	1	Меншикова А. Д.	Парусная	—	1714	Московский у., на р. Клязьме	Не принадлежала ли потом Плавильщикову? [1]	Неизвестно

[1] На это предположение наводит местонахождение обеих мануфактур на р. Клязьме в Московском уезде.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год: разрешения	Год: фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
91	5	Карамышева[1] Тимофея Филатова	Парусная	—	1718	Малоярославский у.	Позднее Гончарова[2]	Да
92	6	Плавильщикова Дмитрия	»	—	1721	Московский у., на р. Клязьме близ Болшева	—	»
93	7	Тамеса Ивана и Затрапезного Максима	Полотняная	—	1722	Ярославль	В 1725 г. разделилась на две части	»
94	8	Хвастливого Леонтия	Парусная	—	1724	Переяславский у., Рязанского	В 60-х гг. XVIII в. Гусятникова	
		Шелковая промышленность						
		Частная						
95	1	Милютина Алексея	Шелковых тканей, ленточная и позументная	—	1714	Москва	—	Да
96	2	Апраксина, Шафирова и Толстого	Шелковых тканей	1717	1717	»	В 1724 г. перешла компании Евреинова и тогда же разделилась на четыре части:	»
							1. Игнатия Францева Шеримана,[3]	»
							2. Мыльникова Федора,	»
							3. Павлова Афан. и Аникиева Спир.,	»
							4. Евреинова Матвея и Старцева	»
97	3	Их же	То же	—	—	Петербург	Позднее компании Евреинова	»
98	4	Корчагина Ивана	Позументная	—	1718	Москва	—	Да
99	5	Его же	То же		1721	Петербург, Васильевск. остр.	—	Нет
100	6	Воронина Родиона и Лебедева Якова	Ленточная	—	1723	Москва	—	Да
101	7	Затрапезного Ивана и Тамеса Ивана	»	—	1723	Ярославль	В 1725 г. разделилась на две части:	
							Затрапезного и	»
							Тамеса	»
102	8	Тамеса Ивана	»	—	—	Москва	—	»
103	9	Павлова Селивестра	»	—	1725	»	—	»
		Суконная промышленность						
		Казенная						
104	1	Суконный двор	Суконная и каразейная	—	1705	Москва	В 1720 г. передана компании Вл. Щеголина	
105	2	Липская	Суконная	—	1713	Воронежский у., с. Липское (при Липецком железном заводе)	В 1726 г. передана Гильшеру и Литхейсу	»

[1] Мануфактура известна больше не по фамилии, а по отчеству владельца.

[2] Гончаров — приказчик Карамышева; он стал совладельцем мануфактуры с 1732 г., внеся пай в 1 500 руб. После смерти Карамышева мануфактура была разделена между ним и другими компаньонами (Д. И. Малинин. Полотняный завод в XVIII веке. Калуга, 1929). Недоумение вызывает рассказ Голикова о том, что Петр лично знал Гончарова, владельца мануфактуры, но здесь, вероятно, ошибка в именах, так как у Голикова нет парусной фабрики Карамышева (Филатова). (И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VII, стр. 196). У А. С. Лаппо-Данилевского указан год основания 1722. (Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII в. СПб., 1890, стр. 125). Я беру год основания 1718 на основании ведомости Мануфактур-коллегии (ЦГАДА, Гос. архив, разр. XIX, кн. 379, п. 70).

[3] По сведениям И. И. Коган, Игнатий Францев Шериман, состоявший в числе компанейщиков Евреинова, «перевел свою часть в село Фряново по Стромынской дороге в будущем Богородицком уезде» (И. И. Коган. Московские шелковые фабрики в первой половине XVIII в. «Старая Москва», сб. 1, М., 1929, стр. 129).

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
106	3	Казанская	Суконная	—	1714	Казань	В 1724 г. передана Ивану Микляеву	Да
107	4	Петербургская	Каламянковая	—	1718[1]	Петербург	—	»
108	5	Тавровская	Суконная	—	1720	Тавров	В 1726 г. передана дворянам Веневитиновым	»
		Частная						
109	6	Микляева Ивана	Суконная	—	—	Казань	В 20-х годах соединилась с казенной; позднее принадлежала Дряблову[2]	Да
110	7	Воронина Родиона	Каразейная	—	1718	Москва	—	»
111	8	Макарова Алексея Васильевича	Суконная	—	1718	»	Передана Ивану Собольникову до 1727 г.	»
112	9	Волкова Никона	Каламянковая	—	1719	»	—	»
113	10	Дубровского и Корчмина .	Суконная	1719	1722	Путивльский у., с. Глушково	В 1730 г. передана Ивану Полуярославцеву	»
114	11	Александрова Степана и Косова Михаила	Суконная и каразейная	—	1720	Москва	В 1724 г. «сдана» компании Бабушкина	»
115	12	Фибиха Мельхера	Каразейная	—	1721	»	—	»
116	13	Пранга Богдана	»	—	1721	»	—	»
117	14	Кузнецова Ивана с товарищами	»	—	1723	»	—	»
118	15	Фишера Иоганна	»	—	1724	»	—	»

Бумажная промышленность

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
		Казенная						
119	1	Бумажный завод на Яузе . .	Бумажная	—	1705	Москва, с. Богородское	В 1711 г. сдана в аренду Барфусу. В 1722 г. передана В. Короткому	Да
120	2	Красносельская, она же Дудоровская	»	—	1709	Под Петербургом, с. Красное	—	»
121	3	Петербургская	»	—	1720—1721[3]	Петербург, за Галерным двором	В 1726 г. соединилась с Красносельской и переведена в Красное село	»
		Частная						
122	4	Короткого Василия	Карточная	—	1722	Москва	—	Да
123	5	Фандерстама Николая . . .	»	—	1724	»	—	»
124	6	Карамышева Тимофея Филатова[4]	Бумажная	1722	1725	Малоярославский у., на р. Суходреве	В дальнейшем принадлежала Гончарову	»

[1] И. Голиков дает год основания 1721 («Деяния», т. IX, стр. 3). Я датирую по ведомости Мануфактур-коллегии (ЦГАДА, Гос. архив, разр. XIX, кн. 379. л. 54).

[2] Микляев был женат на Дрябловой; к ней и ее родственникам перешла мануфактура после смерти Микляева (ЦГАДА, Дела Правит. сената по Коммерц-, Берг- и Мануфактур-коллегиям, 1722-1739 гг., кн. 4/908, л. 233).

[3] И. Голиков дает год основания 1721 («Деяния», т. IX, стр. 32); в указе от 13 апреля 1720 г. предписывается приносить всякие тряпицы, ввиду того, что бумажная мельница «приходит уже в строении ко окончанию» (ПСЗ, т. VI, № 3569), поэтому я даю двойной год основания.

[4] Мануфактура больше известна не по фамилии владельца, а по его отчеству.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
		Стеклянная промышленность[1]						
		Казенная						
125	1	Без названия	Стеклянная	—	90-е гг. XVII в.	Москва, у Тайницких ворот	Прекратила существование до 1700 г.	Нет
126	2	Воробьевский завод	Зеркальная	—	1707	Москва, Воробьевы горы	В 1711 г. указ о передаче Вилиму Лойду	»
127	3	Жабинский завод	Стеклянная	—	До 1717	Ямбургский у., д. Жабино	В 1717 г. указ о передаче частным лицам	Да
		Частная						
128	4	Минтера Андрея	Стеклянная	—	До 1719	Дмитровский у.	В 1719 г. передана на Вестову	Да
129	5	Левкина Тимофея	»	—	1722	Можайский у.	—	»
130	6	Комарова Ивана	»	—	1723	Владимирский у.	—	»
131	7	Аксенова Сергея	»	—	1723	Можайский у.	—	»
132	8	Мальцева Василия	»	—	1724	» »[2]	—	»
133	9	Гаврилова и Логинова . . .	Хрустальная	—	1724	Московский у., Черноголовская вол.	Позднее Мартына Алексеева	»
134	10	Мокеева Ивана	Стеклянная	—	До 1725	Волоколамский у.	—	»
		Кожевенная промышленность[3]						
		Казенная						
135	1	Кожевенный и портупейный двор	—	—	1701	Москва, на р. Яузе		Неизвестно
136	2	Кожевенный	—	—	Начало XVIII в.	На р. Назе	—	»
137	3	»	—	—	1714	Азовская губ.	—	»
138	4	Петербургский кожевенный двор	—	—	1718	Петербург, Выборгская сторона	В 1720 г. передана Исаеву с товарищами[4]	Да
139	5	Лосинный завод	Выработка лосиных кож	—	—	Московский у., на р. Клязьме	В 1720 г. передана М. Попову с товарищами	»
140	6	Казанский пумповый	Выработка кож для подошв	—	1719	Казань, при суконной мануфактуре[5]	—	»
141	7	Воронежский кожевенный .	—	—	—	Воронеж	В 1720 г. передана П. Пахомову	»
		Частная						
142	8	Истомина Степана	Кожевенная	—	1721	Нарва	—	Неизвестно

[1] Кроме перечисленных ниже в данном списке, существовали другие стеклянные заводы; таковые, например, упоминаются на Украине, но конкретных сведений о них не имеется.

[2] Некоторое сомнение вызывает существование трех отдельных мануфактур в Можайском уезде; к тому же в ведомости Мануфактур-коллегии о фабрике Левкина сказано, что она заведена им «с компанейщиками тремя человеки» (ЦГАДА, Гос. архив., разр. XIX, кн. 379, л. 122); не были ли в числе компанейщиков Аксенов или Мальцев, а может быть и оба? Но, с другой стороны, последние в ведомостях пишут о своих мануфактурах как о единоличных (Центр. Гос. Ист. Архив в Ленинграде, сокращ. ЦГИА, ф. Мануф.-колл., св. 318, 1725—1747 гг., д. 139/11995, лл. 110—111).

[3] Кроме перечисленных в списке, существовали еще другие кожевенные предприятия; упоминаются, например, без конкретных данных казенные заводы в Алаторском уезде или даже в Москве; так, в 1723 г. дочь кожевницкой полусотни Ивана Вишнякова продала «двор с кожевенным заводом» за 45 руб. («Актовые книги по г. Москве», т. III, стр. 269); но судя по цене, вряд ли это заведение являлось мануфактурой.

[4] В некоторых документах во главе компании называется царедворец Михаил Павлов, но это одна и та же компания: в нее, кроме Исаева и Павлова, входили петербургский житель Кузьма Викулин и псковитянин Федор Спирин. (ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 752, лл. 3—4, кн. 627, л. 116 об.).

[5] О посещении завода Петром в 1722 г. см. М. Пинегин. Казань в ее прошлом и настоящем, стр. 157.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год: разрешения	Год: фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
143	9	Симоновых Ивана и Леонтия	Лосиная	—	1721	Алаторский у., с. Кунеево	В 1731 г. существовал, но бездействовал	Неизвестно
144	10	Жукова Алексея	Кожевенная	—	1722	Можайский у., при Гжатской пристани	—	Да
145	11	Кобеникова Макара	»	—	1723	Ярославль	—	»
146	12	Зайцева Василия	»	—	1723	Москва	—	»
147	13	Котятникова Ивана	»	—	1725	Петербург	—	»
148	14	Лоренца Христиана	Замшевая	—	1725	»	—	»
		Прочие						
		Казенные						
149	1	Чулочная	—	—	1705	Москва	В 1715 г. сдана в аренду мастеру Мамбриону; в 1720 г. передана Р. Воронину	Да
150	2	Канатный двор старый	—	—	До 1710	Москва, под Даниловским монастырем	—	Нет
151	3	Канатный двор новый	—	—	До 1710	Москва, с. Преображенское	—	Неизвестно
152	4	Шляпный двор	—	—	1701—1702[1]	Москва, на р. Яузе	—	Нет
153	5	Шляпная при Липских заводах	—	—	1714—1719	Воронежская губ., с. Липское	—	
154	6	Шпалерная	—	—	До 1716	Петербург	—	Да
155	7	Канатный двор	—	—	До 1718	Ревель	—	Неизвестно
156	8	Канатный или прядильный двор	—	—	Ок. 1718	Петербург	—	»
157	9	Табачная	—	—	1718	Ахтырка	—	Да
158	10	Воскобелильная	—	—	До 1719	На р. Ижоре	—	Неизвестно
159	11	»	—	—	До 1719	Петербург	—	Да
160	12	Плетеночная	—	—	1719	»	—	»
161	13	Крахмальная	—	—	До 1720	Петербург, при Екатерингофской мануфактуре	В 1724 г. передана Р. Чиркину	»
162	14	Крупяная и маслобойная мельница	—	—	1720	Петербург	—	»
163	15	Квасцовая	—	—	1720	»	—	Неизвестно
164	16	Производство шелка-сырца	—	—	1725	Киев	—	Да
165	17	Чулочная при Липских заводах	—	—	—	Воронежская губ., с. Липское	—	Неизвестно
166	18	Винодельная	—	—	—	Астрахань	—	Да
167	19	»	—	—	—	Красный Яр	—	»
		Частные						
168	1	Воронова Данилы	Квасцовая	—	До 1711	Козельский у.	—	Закрылась в 1711 г.
169	2	Васильева Павла	Красочная[2]	—	До 1718	—	—	Неизвестно

[1] До 1700 г. в Москве не было шляпного завода, а в 1703 г. «государевы шляпы» продавал особый целовальник «на гостине дворе в амбаре» (ЦГАДА, ф. Монастырского приказа, в. 221, д. 57, л. 80.).

[2] В указе от 23 июля 1718 г. «О покупке ко всяким делам краски бакана у Павла Васильева» (ПСЗ, т. V, № 3218) не указано местонахождение его предприятия.

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
170	3	Рюмина и Томилина	Игольная	—	1718	Переяславский уезд., Рязанского	Позднее Ивана Комплехина — компанейщика данного предприятия с 1734 г.	Да
171	4	Васильева Сафара	Производство шелка-сырца	—	1718	—	—	»
172	5	Савелова Афанасья и купцов Томилиных	Купоросная и красочная	1718	1719	Тверской у.	—	»
173	6	Их же	» »	1718	1719	Медынский у.	—	»
174	7	» »	» »	—	1719	Московский у., Черноголовская вол.	—	»
175	8	» »	» »	—	—	Московский у., Гжельская вол.	—	»
176	9	Вестова Павла и Ачкина . .	Сахарная	—	1719	Петербург	—	»
177	10	Кузнецова Ивана и Челбушева Александра	Пуговичная	—	1722	Москва	—	»
178	11	Гиле Эвенса	Канатная	1722	—	Петербург	—	»
179	12	Петрова Андрея	Красочная	—	1722	Переяславский уезд., Рязанского	—	Неизвестно
180	13	Гребенщикова Афанасия . .	Глиняных табачных трубок и изразцов	—	До 1718	Москва	—	Да
181	14	Поморцева Филиппа	Слюдяная	—	1724	Близ Кемского городка	—	Неизвестно
182	15	Шапошникова Евдокима . .	Пожарных труб	—	1724	Москва	—	Да

Лесопильная промышленность
(пильные мельницы)

Общий номер	Частный номер	Первоначальное наименование	Вид или специальность	Год разрешения	Год фактич. основания	Местонахождение	Дальнейшие изменения	Существовала ли к 1725 г.
		К а з е н н ы е						
183	1	Без названия[1]	—	—	—	Москва, с. Преображенское	—	Неизвестно
184	2	» »[2]	—	—	—	На р. Белый Колодезь, притоке р. Воронежа	—	То же
185	3	» »	—	—	—	Воронежский у., с. Ступино	—	» »
		Ч а с т н ы е						
186	4	Макарова А. В., Волкова и Татищева	—	—	—	Петербургский у., на р. Мье	—	Да
187	5	Их же	—	—	—	Петербургский у., на р. Мойке	—	»
188	6	Кобылякова Ивана	—	—	—	Близ Шлиссельбурга, на р. Черной	—	»
189	7	Нестерова Матвея	—	—	—	Там же	—	»
190	8	Синявина, генерал-майора .	—	—	—	На р. Лаве	—	»
191	9	Кондырева Семена с товарищами	—	—	—	Новгородский у., на р. Сяси; На р. Свири, выше порогов	—	»
192	10	Тишина Григория	—	—	—	На р. Сигоже, ниже порогов,	—	»
193	11	Его же	—	—	—	Петербургский у., на р. Неве	—	»
194	12	Юрьевой Анны (камер-дамы Ел. Петр.) и Гунфорта Варлаама	—	—	—	«На берегу реки Невы, за кирпишными заводы»	—	»
195	13	Кирилова Ивана	—	—	—	Петербургский у., на р. Черной	—	»
196	14	Ковсновена Вилима	—	—	—	Петербургский у., на р. Охте	—	»
197	15	Петрова Елизара	—	—	—	Галицкий у., на р. Костове	—	»
198	16	Ланкварта Юрия	—	—	—	Нарвский у., близ р. Наровы	—	»
199	17	Левкина Тимофея	—	—	—	Шлиссельбургский у., на р. Мойке	—	»
200	18	Александра-Невского монастыря[3]	—	—	—	Шлиссельбургский у., на р. Колколе		

[1] Сведения о ней встречаются уже в 1696 г. (М. М. Богословский. Петр I, т. I. М., 1940, стр. 299).
[2] Сведения встречаются в 1703 г. (С. И. Елагин. История русского флота. Приложения, ч. II, стр. 89).
[3] ЦГАДА, Гос. архив, разр. XIX, кн. 379, лл. 151—152.

Список мануфактур, предполагавшихся к заведению, но фактически не возникших, а также сомнительных, существование которых пока не подтверждается документальными данными

№№ п. п.	Кто хотел завести	Какую мануфактуру	Год разрешения	Где	Примечание
1	Казна***	Полотняную [1]	1711	Ярославль	
2	,, ***	Позументную [2]		Петербург, Калинкинская слободка	
3	,, ***	Зеркальную [3]		Киев	
4	,, ***	Гонтовую [4]			
5	,, ***	Пергаментную [5]			
6	Неизвестное лилицо***	Железный завод [6]	1705	За Уралом, на р. Пышме [7]	
7	Одоевский Юрий*	То же	1721	Муромский уезд	Не заведен «за скудостью» Одоевского
8	Халтурин Семен*	,, ,,	1721	Касимовский у., на р. Унже	
9	Уткин Игнатий*	,, ,,	1721	Ржевский уезд	
10	Обухов Василий*	,, ,,	1721	Мещевский у.	Не заведен «за скудостью» Обухова
11	Рюмин Панкрат***	,, ,,	1722	Инсарский у.	Сведений о постройке завода Берг-коллегия не имела
12	Черкасский Петр*	,, ,,	1722	Арзамасский у.	
13	Фроловский Василий***	,, ,,	1723	Вяземский у.	Сведений о постройке Берг-коллегия не имела

[1] Есть сведения о том, что в 1711 г. при оружейном дворе в Ярославле была сделана попытка организовать производство полотна, для чего туда были посланы пленные шведы (И. И. Власов. Полотняной фабрики директор Иван Тамес, Иваново-Вознесенск, 1928).

[2] Упоминается только у Голикова („Деяния", т. VII, стр. 194).

[3] Указ об учреждении завода последовал 1 февраля 1720 г. (ПСЗ, т. VI, № 3504), но был ли выполнен и когда, неизвестно.

[4,5] Единственное беглое упоминание об обоих предприятиях встречается в «Материалах по истории русского флота», ч. III, СПб., 1866, стр. 430.

[6] В данном случае я беру термин того времени, так как в документах не указывается, какого рода—металлургическим или металлообрабатывающим—должно было быть предполагавшееся предприятие.

[7] Завод бегло упоминается в работе П. Г. Любомирова. Очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности, стр. 67. В документах указаний на него не встречается.

№№ п. п.	Кто хотел завести	Какую мануфактуру	Год разрешения	Где	Примечание
14	Анкундинов Меркул (Одинцов)***	То же			То же
15	Кузнецов Ульян***	„ „	1723	Лихвинский у.	„
16	Овчинниковы Григорий и Федор***	„ „	1723	Кунгурский у. Олонецкий у.	„
17	Мураш Федор***	„ „	1723	Новгородский у.	„
18	Он же***	„ „	1723	Новгородский у.	„
19	Гайтанников Иван**	„ „	1724	Новоторжский у., на р. Тверце	Начал действовать с 1728 г.
20	Носырев Андрей*	„ „	1724	Царево-Санчурский у.	
21	Черкасский Алекс. Мих.**	„ „	1725	Муромский у., с. Карачарово	Начал действовать с 1728 г.
22	Поздеев Илья***	„ „	1725	Елецкий у.	Сведений о постройке Берг-коллегия не имела
23	Братья Замощниковы*	Медный завод	1720	Верхотурский у., на р. Логве	
24	Аврамов Василий*	То же	1720	Верхотурский у., на р. Ляле	
25	Демидов Никита**	„ „	1725	Кунгурский у., на р. Суксуне	Начал действовать после 1725 г.
26	Тряпицин Иван***	„ „	1720	Уфимский у.	Сведений о постройке Берг-коллегия не имела
27	Афончиков Василий***	Серный завод	1725	Медынский у., с. Балабаново	То же [1]
28	Шученков Иван*	„ „		Московский у., Гжельская вол.	Не заведен
29	Тамес Иван***	Полотняную[3]	1720	Суздальский у., с. Кохма	

[1] Сведения о том, что все перечисленные выше лица собирались завести заводы, равно как и данные, помещенные в рубрике «Примечание», взяты главным образом из двух архивных документов: ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 980 и кн. 610, пп. 167-176.

[2] Н. Е. Бранденбург. Указ. соч., стр. 323.

[3] В архивных материалах не встречается сведений о фабрике в Кохме. Они приводятся Я. Гарелиным («Иваново-Вознесенск», Шуя», 1885, стр. 137 и сл.) и повторяются А. Грязновым («Ярославская большая мануфактура», М., 1910, стр. 93). Гарелин пишет, что Кохма была дана Тамесу для устройства здесь фабрики; между тем, мы знаем, что это село было приписано к московской компанейской мануфактуре Тамеса; данные о годе основания фабрики в Кохме, о делении ее на прядильное, ткацкое и белильное отделения, о работе мужчин, женщин и преступниц, о голландских мастерах — все это совпадает со сведениями о московской

№№ п. п.	Кто хотел завести	Какую мануфактуру	Год разрешения	Где	Примечание
30	Хвастливый Леонтий***	Парусную[1]		Орел	
31	Солеников	Шелковую[2]		Петербург	
32	Суханов Алексей***	„ [3]		Астрахань	
33	Он же***	„ [4]		Казань	
34	Панфилов Иван, Дудоров и Садовников**	Ленточную[5]	1725	Москва	Начала действовать с 1726 г.
35	Сериков и Дубровский***	Суконную[6]	1698	Москва	
36	Шаблыкин***	Каламянковую[7]		Новгород	
37	Посошков Иван*	Карточную[8]	1704	Москва	
38	Багарет***	Бумажную[9]		Петербургский у.,	
39	Белопашинцев Сидор***	Стеклянную[10]	1724	«Усольские волости»	
40	Кобыляков Иван***	Волосяную[11]	1722	Москва	
41	Филиппов Василий***	Квасцовую[12]	1723	Козельский у., на р. Жиздре	
42	Грунфельд*	Табачных трубок[13]	1718	Москва	

фабрике. Не произошло ли здесь у Гарелина ошибки и существовала ли особая мануфактура в Кохме?

[1] Единственное указание на фабрику Хвастливого в Орле, встречающееся у С. М. Соловьева («История России», кн. 4, стб. 784) не находит подтверждения в ведомостях Берг-коллегии и других документах.

[2] Упоминается только у П. Г. Любомирова. Очерки по истории русской промышленности, стр. 107.

[3] Бегло упоминается у С. М. Соловьева (Указ. соч., кн. 4, стб. 784) и у М. И. Туган-Барановского (Указ. соч., т. I, стр. 13).

[4] Там же.

[5] И. И. Коган. Указ. соч., стр. 130.

[6] М. И. Туган-Барановский. Указ. соч., стр. 13.

[7] Там же.

[8] «Книга о скудости и богатстве И. Т. Посошкова», М., 1937. Вступительная статья Б. Б. Кафенгауза, стр. 12-13.

[9] Единственное указание у С. М. Соловьева (Указ. соч., кн. 4, стб. 784).

[10] ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 980. Здесь приведен лишь год разрешения; был ли основан завод, сведений не имеется.

[11] О разрешении Кобылякову строить фабрику и покупать конский волос. ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 91, лл. 19-20; о постройке сведений не имеется.

[12] Прошение Филиппова о разрешении на постройку завода—ЦГАДА, ф. Берг-колл., кн. 627, л. 163; разрешение было дано в октябре 1723 г., но было ли использовано, об этом Берг-коллегия не имела сведений (там же, кн. 980, л. 62).

[13] Дело о табачном заводе Грунфельда — ЦГАДА, ф. Камер-колл., 1718 г., св. 1, д. 3.

№№ п. п.	Кто хотел завести	Какую мануфактуру	Год разрешения	Где	Примечание
43	Евреинов***	Крупяную[1]	1724	Севский у.	
44	Купцы Масленниковы***	Красочную[2]	1725	Казанский у., с. Амары	
45	Сенковский и Ратчинский**	„	1725	Колорский у.	Начала действовать после 1725 г.

[1] Разрешение было дано в 1724 г., но было ли использовано, сведений не имеется (ЦГАДА, Гос. архив, разр. XIX, кн. 379, л. 110 об).

[2] Сведения об обоих заводах—№№ 44 и 45—см.ЦГАДА ф. Берг-колл., кн. 980 лл. 19 и 81.

В. И. ПИЧЕТА

АКАДЕМИК СТАНИСЛАВ КУТШЕБА

В Кракове в возрасте 70 лет скончался президент Краковской Академии наук, профессор Станислав Кутшеба, виднейший представитель польской историко-юридической науки.

В мае прошлого года покойный академик присутствовал на юбилейной сессии Академии Наук СССР, и не было заметно никаких угрожающих признаков, которые предвещали бы близость смерти Ст. Кутшебы. Он принял участие в совещании с приехавшими славянскими учеными, организованном Институтом истории Академии Наук СССР, и мы слышали его образную речь, знакомившую с состоянием польской исторической науки, главным образом с синтетическими работами. Лишь мимоходом упомянул оратор о своих собственных трудах; участникам совещания пришлось дополнить в этом отношении сообщение академика Кутшебы.

Станислав Кутшеба — жертва фашистской тирании. Он был заключен фашистами в концентрационный лагерь, где его заставляли перевозить на тачках тяжести, что и подорвало его здоровье. Фашисты — виновники преждевременной смерти выдающегося польского ученого, скончавшегося в расцвете творческих сил и широких научных замыслов.

Ст. Кутшеба был поглощен мыслью о скорейшем возрождении научно-исследовательской и издательской деятельности Академии наук в Кракове и считал необходимым установление теснейших научных связей с советскими учеными.

Ст. Кутшеба — крупный специалист с разнообразными научными интересами. Он — младший современник блестящей плеяды польских историков-юристов, возглавлявшейся известным львовским профессором Освальдом Бальцером. Еще в молодые годы Ст. Кутшеба примкнул к кружку краковских археографов. На протяжении своей многолетней научной деятельности он издал много историко-юридических памятников, обычно сопровождая их ценным исследовательским предисловием. Все эти издания с точки зрения археографии надо признать образцовыми, как и вообще все издания Археографической комиссии при Краковской Академии наук. Одним из последних археографических изданий Ст. Кутшебы совместно с Вл. Семковичем были «Акты унии

Польши с Литвой 1385—1791 гг.».[1] Это издание — исчерпывающее по полноте собранных материалов. Теперь без него не может обойтись ни один из исследователей унитарных отношений Польши с великим княжеством Литовским. Издание актов уний Польши с Литвой было тесно связано с научно-исследовательской тематикой академика Кутшебы, в которой проблема литовско-польских уний занимает одно из руководящих мест. К ней неоднократно возвращался Ст. Кутшеба. Объявив в 1911 г. курс лекций о Литве, Ст. Кутшеба посвятил унии Польши с Литвой свою вступительную лекцию, в которой он отметил научное значение выдвинутой им проблемы, а также коснулся и метода ее изучения.[2]

Научная деятельность Ст. Кутшебы разделяется на два периода. В первый период исследовательское внимание Ст. Кутшебы сосредоточено на монографическом изучении отдельных историко-юридических проблем. Во второй период, начиная с 1905 г., Ст. Кутшеба публикует ряд синтетических работ, которые были вместе с тем и оригинальными исследованиями, поскольку ряд вопросов был поставлен и самостоятельно разработан проф. Кутшебой.

Ранние монографии Ст. Кутшебы были посвящены вопросам судоустройства, судопроизводства и уголовного права в Польше. К работам по этой тематике относятся: «Занятия над историей судопроизводства в Польше»,[3] «Суды земские и гродские в средние века»,[4] «Мужеубийство в праве польском XIV и XV веков».[5]

Вторая группа монографий академика Ст. Кутшебы относится к истории польского государственного права. Он изучает историю происхождения центральных и провинциальных должностей. К этим работам относятся: «Уряды коронные и надворные в Польше, их зарождение и развитие до 1504 г.»,[6] «Староства, их зарождение и развитие до конца XIV века».[7]

Польский парламентаризм также привлек к себе внимание Ст. Кутшебы. В 1906 г. им была напечатана монография «Состав польского сейма (1495—1793 гг.)».[8]

Интересовался академик Кутшеба и историей военного дела в Польше. В 1901 г. им были изданы «Материалы к истории посполитого

---

[1] St. Kutrzeba i Wł. Semkowicz. Akta unil Polski z Litwą, 1385—1791. Kraków, 1932.

[2] Его же. Unia Polski z Litwą. Problem i metoda badaniu, Wykład wstepny pierwszego collegium w zakrezie nauk o Litwie wygloszony d. 30 marca 1911 r., Kraków, 1911.

[3] «Studya do historyi sądownictwa w Polsce», Kraków, 1904.

[4] «Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich», Rozprawy wydzialu hist.-filosof. Acad. Umiejętności, t. 40 i 42, Kraków, 1901—1902.

[5] «Mężobojstwo w prawie polskiem XIV i XV wieku», Kraków, 1907.

[6] «Urzędy koronne i nadworne, ich początki i rozwöj do r. 1504», Kraków, 1903.

[7] «Starostwie, ich początki i rozwoj do końca XIV wieku». Rozprawy, t. 45. Kraków, 1903.

[8] «Skład sejmu polskiego 1495—1793». Przegląd historyczny, t. II, Warszawa, 1906.

рушения в 1497 г. и 1509 г.», сопровожденные ценным историческим введением. [1]

Академик Кутшеба много внимания уделял вопросам торговли и таможенной политики в Польше в средние века. Им опубликованы ценные монографии «Торговля Кракова в средние века», [2] «Польская торговля с Востоком в средние века»; [3] «Таможенные тарифы: таможенная политика в Польше от XIII до XV столетия»; [4] «Висла в экономической истории Польши». [5]

Вместе с проф. Яном Пташником академик Кутшеба опубликовал исследования: «История торговли и краковского купечества» [6] и, наконец, «Финансы города Кракова в средние века». [7]

Ст. Кутшеба по справедливости может быть назван историком родного города Кракова. Польские историки-экономисты обычно больше всего интересовались внешней торговлей Польши, с которой было связано развитие фольварочного хозяйства в Польше. Они недооценивали значение внутреннего рынка. Ст. Кутшеба едва ли не первый обратился к изучению внутреннего рынка и его значения для сбыта сельскохозяйственных продуктов.

В своих трудах Ст. Кутшеба коснулся также вопроса о правовом положении евреев в Польше. В 1901 г. им было опубликовано исследование «Правовое положение евреев в Польше в XV столетии», [8] а затем было опубликовано специальное исследование «Евреи в Польше», которое было посвящено изучению правового положения евреев со времени первых привилеев, выданных евреям, вплоть до падения Польши как самостоятельного государства. [9]

Большим событием в польской историко-юридической литературе был труд академика Кутшебы «Очерк истории строя Польши», [10] в котором автор, подводя итоги собственной монографической исследовательской работе, вместе с тем пересматривает ряд историко-государственно-правовых вопросов с новых точек зрения.

Необходимость такого синтетического труда была очевидна. Монографическое изучение отдельных юридических институтов ввело в научный оборот новые материалы, но прежние общие работы по истории государственного права Польши устарели. Вот что автор справедливо пишет по этому поводу в предисловии к первому изданию своего труда:

[1] «Materyały do dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497 i 1509». Archivum historyczne, Ak. Um., t. 9, Kraków, 1901.

[2] «Handel s Krakówa w wiekach średnich», Kraków, 1902.

[3] «Handel Polski ze wschodem w wiekach średnich», Kraków, 1902.

[4] «Taryfy celne: polityka celna w Polsce od XIII do XV stulecia», Kraków, 1903.

[5] «Wisła w historyi gospodarczej dawney Rzeczy pospolitej Polskiej». Monografia Wisła, Warszawa, bez daty.

[6] «Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego», Kraków, 1910.

[7] «Finanse Krakowa w wiekach srednich», Kraków, 1900.

[8] «Stanowisko prawne żydów w Polsce w XV stuleciu», Kraków, 1901.

[9] «Żydzi w Polsce», Kraków, 1925.

[10] «Historya ustroju Polski w Zarysie», Lwów, 1905, 2-е изд., 1908.

«Давно уже чувствуется нужда в таком руководстве, которое представляло бы историю строя Польского государства. Теперь уже не могут удовлетворить ни труды Ленгниха,[1] ни Скшетуского,[2] написанные еще во время существования Польского государства, ни сочинения Бандке,[3] Гоффмана[4] и Гюппе,[5] предшествовавшие длинному ряду статей и монографий, которые за последние десятилетия столь превосходно разъяснили эту историю. Последнее из руководств польской истории, в полной мере обращавшее внимание и на внутреннее развитие государства — «Очерк истории Польши» Бобжиньского,—[6] уже давно вышло из продажи и было написано более двадцати лет тому назад». Таким образом, новый труд академика Кутшебы должен был заполнить существенный пробел в польской историко-юридической литературе.

Значение труда академика Кутшебы заключается не только в том, что он по-новому осветил многие из сторон общественного и государственного строя Польши, но и в том, что он предложил новую периодизацию истории Польши. Он устанавливает несколько периодов в развитии общественного и государственного строя Польши. В основу своей периодизации Ст. Кутшеба кладет «различия между периодами, дающие им особые характерные черты». Исходя из этого, академик Кутшеба полагает, что историю устройства Польши можно разделить на пять периодов, из которых последний «собственно лишь начало периода, прерванного падением государства». Этим периодам, по мнению академика Кутшебы, «следует предпослать особый вводный период, представляющий отношения до возникновения настоящего Польского государства, что дает возможность лучше выяснить дальнейшее развитие».

Принятая академиком Кутшебой периодизация представляется в следующем виде. К вводному периоду автор относит период родовой организации, продолжавшейся до половины X в., т. е. до возникновения польского государства. К первому периоду академик Кутшеба относит время до конца XII в.— до издания первых частных привилегий. Это период господства княжеского права. Ко второму периоду академик Кутшеба относит организацию общества на основе частных привилегий до смерти Казимира Великого (1370) и до Кошицкой привилегии (1374). Ввиду того, что основой содержания привилегий является иммунитет, академик Кутшеба находит возможным назвать второй период периодом иммунитета. Третий период — «сословный» — продолжался до Люблинской унии 1569 г. и первого бескоролевья (1572). Период четвертый — «время шляхетского господства до реформ, начатых во время последнего бескоролевья» (1764). Наконец, пятый период — неоконченный, прерванный падением государства в 1795 г.

---

[1] G. Lengnich. Jus regni Poloniae, t. I—II, Gdańsk, 1742 и 1756.
[2] Skrzetuski. Prawo polityczne narodu polskiego, t. I, 1782, t. II, 1784.
[3] Jan Bandkie. Historya prawa polskiego, Warszawa, 1850.
[4] H. Hoffman. Obraz rządu i prawodawstwa w dawnej Polsce, 1847.
[5] S. Hüppe. Verfassung der Republik Polen, Berlin, 1867.
[6] M. Bobrzyński. Dzieje Polski w zarysie, t. I—II, Kraków, 1888.

Труд академика Кутшебы вызвал ряд откликов польской и иностранной критики. Из польских специалистов несколько соображений по поводу работы Ст. Кутшебы высказали проф. Эстрейхер[1] и львовский профессор О. Бальцер,[2] подвергший труд академика Кутшебы обстоятельной критике. Академик Кутшеба счел необходимым ответить проф. Бальцеру.[3] Возражения академика Кутшебы, в свою очередь, побудили О. Бальцера возвратиться к тому же самому предмету в статье «О нескольких спорных вопросах истории Польши».[4] Труд академика Кутшебы был подвергнут критическому разбору и со стороны русского историка-юриста Ф. Тарановского, профессора Варшавского университета.[5] Кроме того, на труд академика Кутшебы откликнулись украинские специалисты во Львове — В. Гружевский[6] и С. Томашивський.[7] Отметили его и виднейший чешский историк-юрист К. Кадлец[8] и немецкий историк Отто Гетцш.[9]

Первое издание «Очерка истории строя Польши» было переведено на русский язык Пашкович, но этот перевод во всех отношениях оказался неудачным. Поэтому Н. В. Ястребов обратился к академику Кутшебе с предложением о новом переводе его книги. Ст. Кутшеба согласился с предложением Н. В. Ястребова, поскольку, по словам самого Кутшебы, «оно соответствовало его желанию». Русское издание Ст. Кутшеба значительно дополнил и внес в него те поправки, которые должны были войти в предполагаемое второе польское издание. В 1907 г. труд академика Кутшебы был издан под заглавием «Очерки истории общественно-государственного строя Польши».

Основные замечания о работе академика Кутшебы были сделаны О. Бальцером и Ф. Тарановским. Помимо принципиальных расхождений с академиком Кутшебой по отдельным историко-юридическим вопросам, О. Бальцер предлагает иную периодизацию истории Польши. Не касаясь в настоящей статье этих разногласий по существу, отмечу, что автор и

---

[1] St. Estreicher. Casopismo prawnicze i ekonomiczne, VI, str. 400—409.

[2] O. Balzer. Zpowodu nowego zarysu historyi ustroju Polski. «Kwartalnik historyczny», XX, str. 1—57; 397—441.

[3] St. Kutrzeba. Kilka kwestyi spornych z historyi ustroju Polski. «Kwartalnik historyczny», str. 589—626, XX, 1906.

[4] O. Balzer. O klika kwestyach spornych z historiyi ustroju Polski. «Kwart. hist., XXI, str. 1—58, 1907. Статьи проф. Бальцера, несколько переработанные автором, были изданы отдельной книгой Н. В. Ястребовым (доцентом Петербургского университета) под заглавием «К истории общественно-государственного строя Польши» (1908).

[5] Журн. Мин. нар. просв., 1907, май, стр. 159—208.

[6] B. Grużewski. Z powodu nowego wydania historyi ustroju Polski prof. Kutrzeby, Lwów, 1909.

[7] С. Томашивський. Записки Наукового Товариства имени Шевченко, кн. 80, стр. 212—217.

[8] K. Kadlec. Časopis Musea Kralestwa Českého, LXXXII, str. 40—67, 241—250.

[9] Ot. Hötzsch. Der Stand der polnischen Verfassungsgeschichte. Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte, I, S. 67—83, Berlin, 1910.

его критик, устанавливая периодизацию истории Польши, руководились формальными юридическими признаками, так что в методологическом отношении между ними нет существенных разногласий. Отдельные замечания О. Бальцера были приняты Ст. Кутшебой, и во второе издание «Очерка» им были внесены существенные исправления и дополнения. Возражая О. Бальцеру, Ст. Кутшеба обещал подвергнуть специальному исследованию спорные вопросы в доказательство правильности своей точки зрения.

В 1914 г. академик Кутшеба выпустил второй том своего «Очерка истории строя Польши». Посвященный Литве, том основан главным образом на трудах русских специалистов: М. К. Любавского, Н. А. Максимейко, Ф. Н. Леонтовича, М. В. Довнар-Запольского и др.[1]. Затем им были выпущены третий и четвертый томы «Очерков», посвященные польским землям после разделов Речи Посполитой. В третьем томе помещены очерки об общественном и государственном строе польских земель под властью Пруссии (1772—1807), в период княжества (герцогства) Варшавского (1807—1815), королевства (царства) Польского (1815—1915), дальнейшие отделы отведены Литве и Руси (1772—1915) и «Вольному городу Кракову с округом 1815—1846 гг.». Четвертый том посвящен «Великому княжеству Познаньскому» (1815—1915), Западной Пруссии (1807—1915) и Галиции 1772—1915).[2] О. Бальцер упрекал академика Кутшебу за отсутствие научного аппарата и чрезвычайную сжатость изложения, вследствие чего отдельные его положения мало обоснованы. Помимо крайней сжатости, указанные книги академика Кутшебы догматичны по способу и манере изложения. Научное значение последних работ академика Кутшебы заключается в том, что он впервые ознакомил читателя с общественным и государственным строем Польши как в период самостоятельного существования Польши, так и после разделов.

В довоенной польской историко-юридической литературе преобладало мнение об отсутствии в Польше феодализма, тогда как М. К. Любавский утверждал, что в Польше сложились феодальные отношения наподобие западноевропейских.[3] Ст. Кутшеба примыкал к тем исследователям, которые допускали наличие в истории Польши периода феодальных отношений. В своем «Очерке истории строя Польши» Кутшеба, отметив наличие в Польше феодальных институтов, объяснял происхождение их заимствованием от франков. Конечно, подобная трактовка вопроса была не исторической. В послевоенной польской историографии проблема феодализма вновь привлекла к себе внимание польских исследователей, в частности М. Гандельсмана, К. Гродецкого, К. Туменецкого. На

---

[1] St. Kutrzeba. Historya ustroju Polski w zarysie, t. II — Litwa, Lwów, 1914. 2 wyd. Lwów c Warszawa, 1921.

[2] «Historya ustroju Polski w zarysie Porozbiorach», t. III—IV, Lwów, 1917.

[3] М. Любавский. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков), М., 1917, стр. 252.

VII международном историческом конгрессе, собравшемся в Варшаве в сентябре 1933 г., проблема феодализма в Польше и соседних странах была предметом отдельных докладов. В обсуждении поставленной проблемы принял участие и Ст. Кутшеба. В своем докладе он уже применял термин «феодальная монархия» не только в отношении Англии, Франции, Германии, но равным образом и относительно средневековой Венгрии и Польши.[1]

Мы уже назвали выше обстоятельную публикацию Ст. Кутшебы «Акты унии Польши с Литвой». Этой теме покойный ученый посвятил и ряд монографий. Опубликовав в 1911 г. свою вступительную лекцию «Уния Польши с Литвой», Ст. Кутшеба в 1913 г. напечатал новую работу: «Городельская уния», в связи с пятисотлетием со дня ее заключения,[2] а в следующем году — большую синтетическую работу об униях Польши с Литвой с 1386 до 1569 г.[3] Проблемой литовско-польских уний занимались не только польские, но и русские исследователи. В 1901 г. проф. М. К. Любавский опубликовал большую монографию «Литовско-русский сейм», в которой проблема литовско-польских уний занимает важнейшее место. М. К. Любавский исследовал ее на общем фоне социально-политического развития и внешнего положения великого княжества Литовского. Академик Кутшеба подходит к анализу той же проблемы с формально-юридической точки зрения, сосредоточивая все свое внимание на юридическом анализе актов, относящихся к унии. М. К. Любавский, анализируя акт Люблинской унии 1569 г., отметил ее парламентарный характер: великое княжество Литовское сохранило свою полную внутреннюю автономию, администрацию, суды, должности, войско, право чеканки монеты. В оценке унии 1569 г. М. К. Любавский разошелся с польскими исследователями, которые рассматривали акт унии 1569 г. как реальное объединение Польши и Литвы в одно государство.

В своем труде Ст. Кутшеба подчеркивает, что во всех переговорах о заключении унии между Польшей и Литвой последняя всегда выступала на правах юридически самостоятельного государства. Академик Кутшеба отказался признать в Кревской унии 1386 г. акт инкорпорации, полагая, что в Креве была заключена только династическая уния. Равным образом, Ст. Кутшеба признает, что и после унии 1569 г. великое княжество Литовское продолжало сохранять отдельное государственно-правовое положение.

Польские исследователи, видимо, отнеслись отрицательно к оценке Ст. Кутшебой литовско-польских уний. В руководящем польском историческом журнале «Kwartalnik historyczny» его труд не удостоился критического разбора. В опровержение точек зрения Ст. Кутшебы проф.

---

[1] St. Kutrzeba. Les principes de l'autorité et de la liberté dans l'histoire des États de l'Europe depuis l'époque du Moyen Age jusqu'à l'époque contemporaine.

[2] St. Kutrzeba. Unia horodelska, Kraków, 1913.

[3] Unia Polska z Litwą, Kraków, 1914.

Оскар Галецкий опубликовал двухтомную работу «История унии Ягеллонской»,[1] в которой он защищал старо-польскую традицию о юридической сущности литовско-польской унии, явно расходящуюся с историческими фактами. Если признать точку зрения Ст. Кутшебы на литовско-польские унии правильной, то тогда следует считать так называемую Ягеллоновскую идею мифом. Неудивительно, что такой страстный защитник Ягеллоновской идеи, как проф. О. Галецкий (ныне оказавшийся в лагере «санацийных банкротов»), выступил в ее защиту.[2]

Споры об унии продолжались. В 1938 г. Генрих Пашкевич опубликовал труд «О генезисе и ценности Крево»,[3] в котором отрицал инкорпорационное содержание Кревского акта, поддерживая точку зрения Ст. Кутшебы. В то же время виленский проф. Генрих Ловмяньский в исследовании «Присоединение Литвы к Польше в 1386 г.» поддерживает традиционную точку зрения.[4] В свою очередь, рецензент обеих работ Ева Малечинская выступает против теории безоговорочной инкорпорации.[5]

Неутомимый исследователь, академик Кутшеба в 1925—1926 гг. выпускает двухтомную работу «История источников старо-польского права».[6] В этом ценном труде Ст. Кутшеба исследует источники собственно польского права, а затем источники прав отдельных земель, которые политически были связаны с Польшей. Ст. Кутшеба знакомит с источниками права: мазовецкого, силезского, прусского, литовского, армянского, еврейского, церковного, городского, сельского, а также со специальными правами: горным, военным, ленным, вексельным, бортным, авторским, ординацким и университетским. Третья часть второго тома посвящена архивам и библиотекам.

В 1927 г. академик Кутшеба опубликовал новый труд «Очерк старопольского судебного права» (право уголовное, судебный процесс),[7] в котором обобщил свои занятия польским уголовным правом и судебным процессом.

Восстановление польского государства дало академику Кутшебе новую тематику. В 1922 г. им была выпущена новая работа под заглавием «Возрожденная Польша» (1914—1921). Во втором издании изложение было продолжено до сентябрьского кризиса 1922 г.[8] Надо признать односторонность всей этой работы, с основными положениями

---

[1] O. Halecki. Dzieje unii Jagiellońskiej, t. I—II, Warszawa, 1922.

[2] O. Halecki. Idea Jagiellońska, «Kwart. hist.». Rocznik LI, zeszyt. 1—2, str. 486—510, Lwów, 1937.

[3] H. Paszkiewicz. O genezie i wartośec krewa, Warszawa, 1938.

[4] H. Łowmiański. Wcielenie Litwy do Polski w 1386 r., Ateneum Wileńskie, XII, Wilno, 1937.

[5] Ewa Maleczyńska. «Kwart. hist.», Rocznik LII, str. 239—245, Lwów, 1938.

[6] St. Kutrzeba. Hustorya źródet dawnego prawa polskiego, t. I—II, Lwów — Warszawa — Kraków, 1925—26.

[7] Его же. Dawne polskie prawo sądówe w zarysie, Lw.— Kr.— War., 1927.

[8] Polska odrodzona, 1914—1922, Wydanie drugie usupełnione, Kr., 1922.

которой нельзя согласиться. Из-за принятого им формально-юридического метода академик Кутшеба не мог ни оценить по существу германский акт 5 ноября 1916 г., ни понять политики оккупационных властей. Великая Октябрьская социалистическая революция как основной фактор, определивший независимость Польши, Ст. Кутшебой не учитывается. Помимо этой основной работы, Ст. Кутшеба опубликовал и ряд других работ на эту тему. К ним относятся: «Конгресс, трактат и Польша»,[1] «Трудности строительства Польши как единого государства»,[2] «Россия в отношении Польши во время великой войны»[3] и др.

Поскольку гданьская проблема была основной для возрожденного польского государства, академик Кутшеба в 1918 г. опубликовал под своей редакцией коллективную работу «Гданьск», в которой дана история города Гданьска, его современное положение, исследованы его искусство и литература.[4]

В этом коллективном труде имеются ценные исследовательские статьи самого Ст. Кутшебы. К ним принадлежат: «Торговля и промышленность до 1793 г.», «Вольный город с правовой точки зрения», «Вольный город с политической точки зрения».[5]

Академик Кутшеба принял также участие в написании Кембриджской коллективной истории Польши с конца XVII в. до 1926 г., составленной при участии польских и английских ученых.[6] В этом труде академику Кутшебе принадлежит раздел «Борьба за границы в 1919—1923 гг.». Следует признать, что в этой главе нет той научной объективности, которая вообще была присуща академику Кутшебе. Он поддался влиянию остальных шовинистически настроенных составителей Кембриджской истории Польши. Он выступает защитником открытой грабительской политики, проводившейся Пилсудским и его последышами. Кутшеба отрицает право на национально-политическое самоопределение Белоруссии и Литвы. Для него Белоруссия — только «Белая Рутения» (White Ruthenia), часть «этнографической Литвы». Что же касается литовцев, то за ними также отрицается право на самостоятельную государственность. Равным образом академик Кутшеба выступает против государственного единства Чехословакии. В вопросе о Тешинской Силезии Кутшеба поддерживает точку зрения обанкротившегося министра Бека. В то же время Ст. Кутшеба не находит ни одного резкого слова

---

[1] «Kongres, traktat i Polska», Kr., 1919.

[2] «Trud budowy Polski jako jedności państwowej, Kr., 1920.

[3] Rosja wobec Polski w czasie wielkiej wojny, Przeglad Warszawski, 1922.

[4] Gdańsk. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Stanisława Kutrzeby. Lw.— War.— Kr., 1928.

[5] «Handel i przemysł do roku 1793»; «Wolne Miasto pod względem prawnym»: «Wolne Miasto pod względem politycznym».

[6] «The Cambridge history of Poland», vol. II, from Augustus II to Pilsudski (1697—1935). Cambridge University Presse, 1941.

против политики западных соседей Польши — немцев, хотя они грабительски напали на Польшу. [1]

Надо, однако, заметить, что ход исторических событий заставил Ст. Кутшебу отойти от шовинистически настроенных лондонских эмигрантских кругов. Он принимал участие в московских переговорах о реорганизации польского демократического правительства на более широкой базе; порвав, таким образом, с «санацийным» лондонским эмигрантским правительством, Ст. Кутшеба вступил в ряды строителей демократической Польши.

Советские ученые всегда ценили Ст. Кутшебу как выдающегося польского историка-юриста, самостоятельного исследователя, не боявшегося высказывать суждения, идущие вразрез с господствовавшими в науке шовинистическими взглядами. Мы ценим в лице академика Кутшебы выдающегося представителя Краковской юридической позитивной школы, продолжателя научных традиций Калинки, Шуйского и Бобжиньского, и вместе со всей демократической Польшей мы разделяем печаль, охватившую Польшу по поводу смерти ее замечательного ученого.

---

[1] Подробная рецензия о Кембриджской истории Польши написана проф. И. С. Звавичем («Известия АН СССР». Серия истории и философии, т. I, № 4, М., 1945, стр. 187—190).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Н. В. УСТЮГОВ

ОЧЕРК ДРЕВНЕРУССКОЙ МЕТРОЛОГИИ

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение системы мер, употреблявшихся в том или ином государстве, имеет большое значение. Без отчетливого представления о мерах не может быть разрешен целый ряд экономических вопросов. От древней эпохи сохранилось небольшое количество источников, на основании которых можно получить представление о древнейших мерах. В большинстве случаев известно лишь наименование тех или иных мер, иногда отношение их между собою. Но часто бывает очень трудно установить их реальные размеры, т. е. установить их соответствие с современными мерами.

Метрологию того или иного народа нельзя изучать изолированно, отдельно от мер других народов. Некоторые меры являются самобытными, зародившимися в данной стране, другие — заимствованы от других народов в результате торговых связей.

При изучении метрологии приходится встречаться с официальными, государственными мерами и с мерами чисто бытовыми, не имеющими официального значения.

Меры находятся в полной зависимости от развития производительных сил и производственных отношений. Усложнение производственных отношений влечет за собой и усложнение в области мер.

Источники русской метрологии

Для разных эпох истории СССР имеется различное количество источников. От древнейшего периода сохранилось очень мало источников, откуда можно получить сведения о мерах. В подавляющем большинстве случаев это беглые упоминания о мерах в источниках общего содержания. Для более позднего времени положение меняется к лучшему. Во-первых, появляются специальные источники, посвященные характеристике мер, а во-вторых, наблюдается больше указаний на меры в общих источниках. Хотя официальные определения мер, данные в законодательном порядке, относятся к XVIII—XX вв., некоторые официально утвержденные меры можно наблюдать и в XVII в.

Источники метрологии можно разделить на общие и специальные.

Из источников общего содержания в первую очередь следует на-

звать древнерусские летописи. По всему их тексту встречаются указания на различные меры. Иногда дается только название той или иной меры, наименование предмета, ставшего впоследствии единицей измерения. Например, в Начальной летописи под 997 г. рассказывается о набеге печенегов на Белгород. Не рассчитывая силою одолеть врага, белгородцы прибегли к хитрости. Они приготовили «цеж», т. е. кисельный раствор, налили его в кадки, закопанные в землю по края, потом пригласили нескольких печенегов с целью убедить их, что продолжительная осада не страшна городу, который получает пищу прямо из земли. Летопись при этом отмечает: «И приведоша я к кладязю, идеже цежь, и почерпоша ведром».[1] Из этого текста летописи можно узнать, что в Белгороде в 997 г. употреблялись ведра. Но являлось ли ведро единицей измерения жидкости или только предметом бытового обихода,— остается неясным.

Несмотря на отрывочный характер метрологических сведений, летописи зачастую являются единственным источником, на основании которого можно судить о метрологии древнейшей эпохи.

Нет возможности, конечно, перечислить все те источники общего характера, которые содержат материалы по метрологии. Следует остановиться только на важнейших из них. Одним из таких источников являются таможенные книги. Таможенные головы, взимая пошлину с продаваемых и покупаемых товаров, записывали этот сбор в особые книги, называемые таможенными. В таможенные книги вносились не только суммы, взятые в качестве пошлины, но и количество и цена проданного или купленного товара. Следовательно, таможенные книги, дающие сведения о количестве товаров, являются ценнейшим источником для изучения мер в их повседневном применении. Особая ценность таможенных книг как источника для изучения метрологии заключается в том, что они позволяют проследить местное разнообразие в области мер, поскольку в Русском государстве до середины XVIII в. существовали не только внешние таможни, но и внутренние. Таможенные книги в подавляющем своем большинстве еще не изданы.

Наряду с таможенными книгами следует указать и такой источник, как таможенные уставные грамоты, представляющие законодательную норму для взимания таможенных пошлин. Ряд таможенных уставных грамот издан главным образом в т. I «Актов Археографической экспедиции».

Писцовые книги также являются источником для изучения метрологии. Они дают сведения о поземельных мерах и о мерах объема, так как указывают количество натурального оброка, взимаемого с населения.

Ценным источником для изучения метрологии являются разного рода приходо-расходные книги, содержащие записи продаваемых и покупаемых товаров, с указанием их количества.

[1] ПСРЛ, т. I, вып. 1. Л., 1926, стр. 128—129.

Это все источники экономического содержания. Памятники юридического характера тоже сообщают сведения по метрологии. Есть они и в нашем древнейшем юридическом памятнике — «Русской Правде». Большой материал для изучения русских мер содержится в Полном собрании законов Российской империи, охватывающем все законодательство с 1649 по 1913 г.

Попадаются метрологические сведения и в описаниях разного рода путешествий. Например, довольно значительное количество древнерусских мер упоминается в «Хождении игумена Даниила в Святую Землю» [1] — памятнике XII в.

Значительный метрологический материал можно извлечь из сказаний иностранцев о Московском государстве. Наиболее интересно в этом отношении сочинение И. Кильбургера о русской торговле. [2]

Разнообразная деловая переписка тоже может служить источником для изучения метрологии. В деловой переписке между центральными и местными учреждениями очень часто попадаются указания на меры.

Таким образом, круг общих источников метрологии достаточно широк.

Специальные источники метрологии — это источники, посвященные описанию тех или иных мер и выяснению их отношения друг к другу. Из этого рода источников в первую очередь следует указать так называемые «Торговые книги». Некоторые из них изданы. Так, в 1851 г. И. П. Сахаров издал «Торговую книгу», составленную на рубеже XVI и XVII вв. [3] Эта книга озаглавлена следующим образом: «Книжка описательная, как молодым людям торг вести и знати всему цену, и отчасти в ней описаны всяких земель товары различные, ихже привозят на Русь немцы и иных земель люди торговые». Как показывает заголовок, «Торговая книга» является руководством, при помощи которого молодой человек, готовящий себя к торговой деятельности, может научиться уменью вести торговлю. Торговый человек должен иметь отчетливое представление о мере и весе тех товаров, которые ему придется покупать и продавать. Поэтому составитель «Торговой книги» первый раздел своего труда и посвящает специальному вопросу о мерах и весе. Он дает подробное описание тех мер, которые в это время существовали на Руси, указывает не только названия мер, но и кратные отношения одних единиц измерения к другим. «Торговая книга», таким образом, представляет собой ценнейший источник для изучения метрологии.

Из других источников, специально рассматривающих вопросы метрологии, следует назвать арифметические руководства, которые стали появляться в Москве в конце XVII в., так называемые «Счетные мудро-

---

[1] И. П. Сахаров. Сказания русского народа, т. II, кн. 8, СПб., 1849.

[2] Русский перевод книги Кильбургера издан в Киеве в 1915 г.

[3] «Зап. Отд. русск. и слав. археол. Петерб. археол. об-ва», т. I, СПб., 1851, стр. 106—139.

сти». Одна из них издана в «Памятниках древней письменности».[1] Таким же руководством является и «Арифметика» Л. Ф. Магницкого, изданная в Москве в 1703 г.[2] Метрологические сведения, содержащиеся в таких руководствах, обычно охватывают все единицы мер и веса, иногда сравнивают русские меры с иностранными. В «Арифметике» Л. Ф. Магницкого даже содержится целый трактат о метрологии древних народов — евреев, греков и римлян, а затем дается подробное описание русских мер и веса.

Очень важным источником древнерусских поземельных мер, а отчасти и других, является «Книга сошного письма 7137 года» (1629).[3] «Книга сошного письма» представляет собой руководство для писцов, отправляемых для составления писцовых книг — древнерусских кадастров. Приступая к своей работе, писцы должны были знать существующие поземельные меры и уметь ими пользоваться на практике. Обзор существующих поземельных мер с указанием их практического применения и дает «Книга сошного письма». Подобное же руководство по описанию земель существует и для начала XVIII в. Это «Роспись полевой меры 1709 г.», изданная И. Д. Беляевым.[4] Такое же значение для метрологии имеют и межевые инструкции XVIII в., изданные в качестве руководства межевщикам в 1754 и 1766 гг. Обе они опубликованы в Полном собрании законов Российской империи.[5]

Ценным изданием для изучения мер длины является и так называемая «Книга Большого чертежу» — описание русской географической карты XVII в.[6] В «Книге большого чертежу» указаны расстояния между отдельными населенными пунктами. Следовательно, по этому источнику можно изучать древнерусскую версту.

В качестве специальных источников для изучения дореволюционной русской метрологии следует назвать два закона XIX в., уточнявших систему русских мер и веса. Это, во-первых, «Указ Сенату о системе российских мер и весов», изданный 11 октября 1835 г.,[7] и «Положение о мерах и весах», утвержденное 4 июня 1899 г.[8]

Литература по древнерусской метрологии

В дореволюционной исторической литературе почти нет работ, посвященных общим вопросам метрологии. Единственным исключением является курс С. К. Кузнецова — «Древнерусская метрология», прочитанный им в Московском археологическом институте в 1908/09 учебном

[1] «Памятники древн. письм.», вып. XLIII. СПб., 1879.
[2] Второе издание вышло в Москве в 1914 г.
[3] Издана Г. Трехлетовым — «Врем. Моск. об-ва ист. и древн. росс.», кн. 17, М., 1853, Смесь, стр. 35—65.
[4] Там же, стр. 66—90.
[5] ПСЗ, т. XIV, № 10237; т. XVII, № 12570.
[6] Издана Г. Спасским. М., 1846.
[7] ПСЗ, т. X, отд. II, № 8459.
[8] ПСЗ, т. XIX, № 17056.

году.[1] Курс С. К. Кузнецова — компиляция из статей П. Г. Буткова, А. И. Никитского и Д. И. Прозоровского, посвященных отдельным вопросам древнерусской метрологии. Никакого самостоятельного изучения вопросов метрологии С. К. Кузнецов не дал. Его работа — лишь общая сводка всех предшествующих исследований в области метрологии. Из других работ следует назвать статью проф. А. И. Никитского — «К вопросу о мерах древней Руси».[2] Это исследование, касающееся, правда, лишь мер вместимости и поземельных, содержит очень ценные наблюдения над древними мерами — новгородскими, псковскими и московскими — и является необходимым пособием при изучении древнерусской метрологии.

Одной из основных работ по русской метрологии следует признать книгу И. И. Кауфмана — «Русский вес, его развитие и происхождение» (СПб., 1906). Это капитальное исследование, посвященное вопросу о происхождении русского веса, насыщенное большим фактическим материалом.

Из старых работ по метрологии надо назвать небольшую статью П. Г. Буткова — «Объяснение русских старинных мер — линейной и путевой».[3] Статья П. Г. Буткова частично устарела, потому что после ее выхода в свет было опубликовано много новых материалов. Но тем не менее она до сих пор не утратила своего значения, так как заключает в себе очень ценные данные из древнерусских источников.

Вопросами метрологии очень много занимался Д. И. Прозоровский. Наиболее интересны из его работ две статьи: «Древнерусские меры жидкостей»[4] и «О старинных русских мерах протяжения».[5] Первая из них — по существу единственная работа на эту тему, так как, кроме Д. И. Прозоровского, мерами жидкостей никто не занимался, если не считать некоторых упоминаний о новгородских мерах жидкостей в статье А. И. Никитского. Эта работа Д. И. Прозоровского содержит ряд наблюдений, частично устаревших, иногда мало обоснованных, во всяком случае нуждающихся в некоторых поправках на основании материалов, приведенных в известность уже после опубликования этой работы. Вторая статья снабжена интересной таблицей, устанавливающей взаимоотношение между различными мерами длины в разные эпохи.

Вопросам метрологии и нумизматики посвящена большая работа Д. И. Прозоровского — «Монета и вес в России до конца XVIII столетия» (СПб., 1865). Книга написана главным образом на основании материалов, опубликованных в Полном собрании законов Российской империи. Этот труд значительно устарел. Появление новых работ, в частности названного исследования И. И. Кауфмана, позволяет испра-

[1] С. К. Кузнецов. Древнерусская метрология. Малмыж-на-Вятке, 1913.
[2] «Журн. Мин. нар. просв., 1894, № 4, стр. 373—420.
[3] «Журн. Мин. внутр. дел», 1844, ч. VIII, стр. 247—293.
[4] «Журн. Мин. нар. просв.», 1854, № 3, стр. 230—268.
[5] «Изв. Петерб. археол. об-ва», т. VIII, вып. 3, СПб., 1872, стр. 258—274.

вить многие из утверждений Д. И. Прозоровского. По изложению книга Д. И. Прозоровского мало доступна, порою его мысль трудно схватить. Кроме того, Д. И. Прозоровский не всегда верно разбирался в том материале, который он имел в своем распоряжении. В качестве примера можно привести его рассуждения о контаре. Он рассматривает контарь лишь как единицу веса. Действительно, такая весовая единица существовала и равнялась двум с половиной пудам. Были и гири этого веса. Но контарем называлась не только гиря, а и самое орудие взвешивания, весы. Контарь — род безмена с неподвижной точкой опоры и подвижной гирей. Этим он отличался от обыкновенного безмена, где гиря неподвижна, а точка опоры — подвижная. Прозоровский же считает контарь только гирей, вес которой колеблется от 6 до 30 пудов. Можно ли при взвешивании пользоваться гирей в 30, 20 или даже в 6 пудов? Ясно, что здесь недоразумение. Д. И. Прозоровский смешал вес гири с грузоподъемностью самых весов. Те источники, на которые он ссылается, говорят о контаре как о весах, имеющих определенную грузоподъемность, и не дают права рассматривать контарь в этой связи как гирю. [1]

Указанные недостатки работы Д. И. Прозоровского заставляют пользоваться ею с большой осторожностью. Ценным пособием по метрологии она не является.

В 1938 г. зав. кафедрой вспомогательных исторических дисциплин в Московском историко-архивном институте, покойный проф. А. Н. Сперанский предложил автору настоящей работы прочесть в Институте общий курс вспомогательных исторических дисциплин. В состав этого курса должна была войти и метрология. Впервые курс был прочитан мною в 1938/39 учебном году. В 1939 г. Историко-архивный институт издал мой курс стеклографическим путем на правах рукописи. [2] В своем курсе я использовал все до сих пор опубликованные работы по метрологии и дополнил эти данные материалами неопубликованных источников, главным образом по XVI—XVII вв.

В 1944 г. Л. В. Черепниным было выпущено учебное пособие по метрологии, [3] в котором дается общая сводка всех работ по метрологии. При составлении этого пособия автором был использован мой стеклографированный курс и опубликован ряд моих наблюдений и выводов.

Кроме того, из новых работ, посвященных вопросам метрологии, следует назвать статью И. И. Смирнова — «К вопросу о мерах в Московском государстве XVI в.». [4] Исследование И. И. Смирнова касается вопроса о поземельных мерах Московского государства в XVI в.

В настоящей работе мои прежние наблюдения и выводы дополнены

---

[1] Д. И. Прозоровский. Монета и вес, стр. 257.

[2] Н. В. Устюгов. Учебное пособие по вспомогательным историческим дисциплинам, ч. 2. Метрология, М., 1939.

[3] Л. В. Черепнин. Русская метрология, М., 1944.

[4] «Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, серия ист. наук, вып. 5, Л., 1939, стр. 16—37.

новыми материалами, позволившими некоторые вопросы поставить совершенно иначе.

II. МЕТРОЛОГИЯ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Основными источниками для изучения метрологии Киевского государства являются летописи, «Русская Правда», некоторые договорные грамоты, в частности новгородские, наконец описания путешествий. Кроме того, известную помощь при изучении метрологии оказывают переводные издания. С принятием христианства восточные славяне получили от греков ряд книг религиозного содержания, переведенных с греческого языка на славянский. В этих книгах встречаются метрологические понятия. При переводе книг на славянский язык, если переводчик встречал меры, не имеющие соответствующего им измерения в славянской практике, он оставлял эти меры без перевода, т. е. переносил в славянский текст те наименования, с какими встретился в греческом подлиннике. В других случаях, когда греческая мера соответствовала мере, употреблявшейся у славян, ее название переводилось на славянский язык. Например, греческая мера длины σταδιον перенесена в славянский текст в форме «стадия».[1] Другая мера длины — ὀργία переведена словом «сажень», так как по своему размеру соответствовала славянской сажени.[2]

Таким образом, переводные книги могут до некоторой степени послужить источником для уяснения мер Киевского государства путем сравнения их с соответствующими греческими мерами.

Меры длины

Одним из основных источников для изучения мер длины Киевского государства является «Хождение игумена Даниила в Святую землю». Игумен Даниил в начале XII в. отправился в Палестину и описал свое путешествие. Это описание сохранилось в нескольких списках, правда, не современных, а позднейших; самые древние из них относятся к XV в. Внимательный наблюдатель, игумен Даниил стремится дать своим читателям ясное представление обо всем, что он видел. В частности, он указывает расстояния между теми пунктами, которые ему удалось посетить, и тем самым сообщает ряд сведений о мерах длины, какими пользовались на Руси в его время.

Игумен Даниил упоминает следующие меры длины — локоть, пядь, сажень, верста, поприще. Иногда он прибегает к описательным выражениям, которые должны дать представление о расстояниях и, следовательно, о мерах длины: например, «вержение камня», т. е. расстояние, какое летит брошенный камень; «перестрел», т. е. расстояние, какое пролетает стрела, пущенная из лука, день пути и т. д.

[1] «Еванг. Луки», XXIV, ст. 13.

[2] «Деяния апостолов», XXVII, ст. 28.

Локоть принадлежит к числу древнейших мер длины, применявшихся у разных народов. Локтем называлось расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба. Размер локтя колебался от $10^1/_4$ до $10^2/_3$ позднейшего вершка, или от 42.5 до 47.5 сантиметров. Некоторое основание для выведения такого размера локтя содержится в «Хождении игумена Даниила». Описывая различные достопримечательности Палестины, игумен останавливается, в частности, на так называемом «гробе господнем» и дает его длину и ширину. По игумену Даниилу, длина его составляет 4 локтя, ширина — 2 локтя. [1]

В середине XVII в. московский патриарх Никон построил недалеко от Москвы, на реке Истре, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, причем за образец для главного монастырского храма был взят Иерусалимский Воскресенский храм. В Ново-Иерусалимском храме было сделано подобие «гроба господня» с точным воспроизведением его размеров. Длина этого гроба составляет 2 позднейших аршина и 9 вершков, ширина 1 аршин и 5 вершков. Если на основании этих данных попытаться определить размер локтя, упоминаемого игуменом Даниилом, то окажется, что этот локоть имеет протяжение от $10^1/_4$ до $10^1/_2$ позднейших вершков (2 арш. 8 верш. : $4 = 10^1/_4$ верш. и 1 арш. 5 верш. : $2 = 10^1/_2$ верш.). Следовательно, длина древнерусского локтя была около $10^1/_2$ вершков, или около 46.6 сантиметра.

Указание на локоть, как меру длины в Киевском государстве, имеется не только в «Хождении игумена Даниила», но и в «Русской Правде». Например, 91-я статья Троицкого списка указывает, что мостник, т. е. лицо, занимающееся постройкой мостов, получает плату за свою работу от 10 локтей, т. е. оплата производится сдельно, в зависимости от длины моста, причем эта длина измеряется локтями.

Для указания более мелких измерений длины игумен Даниил пользуется пядью. Пядь — расстояние между вытянутым большим и указательным пальцами руки. Описывая камень, в котором был укреплен крест в Иерусалиме, игумен Даниил говорит: «Посреди того камени наверху высечена есть скважина, яко локтя глубину, а шире пяди, кругло». [2]

Игумен Даниил не дает достаточно материала для определения размера пяди. Но здесь могут притти на помощь описания других путешествий, более поздних. Например, диакон Игнатий, путешествовавший в 1389 г. в Царьград и Иерусалим, тоже описывает «гроб господень» и дает его размеры, только не в локтях, а в пядях: длина 9 пядей, ширина 4 пяди. [3]

Сопоставление показаний этих двух источников позволяет притти к заключению, что размер пяди колеблется в пределах от $4^1/_2$ до $5^1/_4$ вершков. Иными словами — пядь равна почти половине локтя. Некото-

---

[1] И. П. Сахаров. Сказания русского народа, т. II. кн. 8, стр. 14.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 105.

рая разница в размерах объясняется тем обстоятельством, что оба путешественника давали лишь приблизительный размер гроба, и некоторая неточность в этом случае вполне понятна. Можно, таким образом, принять пядь равной половине локтя, т. е. около 23 сантиметров.

В документах киевской эпохи встречается упоминание и о сажени как мере длины. Древнейшее упоминание о сажени содержится в «Слове о зачале Киево-Печерского монастыря», приписываемом обычно летописцу Нестору. В «Слове» рассказывается об иноке Иларионе, который около 1017 г. «ископа себе печерку малу — дву сажен», т. е. выкопал себе небольшую пещеру в 2 сажени.[1]

Говорит о сажени и «Тмутараканский камень», т. е. надпись на камне, найденном в конце XVIII в. на Таманском полуострове около места древней Тмутаракани. На Тмутараканском камне имеется следующая надпись: «В лето 6576, индикта 6, Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Кърчева 10 000 и 4000 сажен». Таким образом, эта надпись рассказывает, что в 1068 г., по распоряжению Глеба, князя Тмутараканского, была измерена ширина Керченского пролива. Расстояние измерялось по льду, причем ширина пролива оказалась равной 14 000 сажен.

Если обратиться к «Хождению игумена Даниила», то и в нем можно встретить неоднократное упоминание о сажени. Например, описывая так называемый Мамврийский дуб, около которого, по преданию, жил патриарх Авраам, игумен Даниил говорит: «В толще ж есть дву сажен, моею рукою измерих около его».[3]

Каков размер древнерусской сажени? Есть основание предполагать, что древнейшая сажень была короче более поздней, которая дожила до замены старых русских мер метрическими.

Некоторую помощь при определении размера древнерусской сажени оказывает сравнение ее с мерами соседних народов. Например, у поляков была тоже сажень, равная трем локтям. Это значит, что польская сажень была короче позднейшей русской трехаршинной сажени. Повидимому, и древнерусская сажень равнялась трем локтям. Некоторое основание для такого заключения дает исследование надписи на Тмутараканском камне. Если считать сажень Тмутараканской надписи равной трем аршинам, то окажется, что Керченский пролив имеет ширину около 28 верст. Если же считать тмутараканскую сажень трехлокотной, то ширина пролива определится в 18 верст 333 сажени, т. е. около 20 километров. Эту ширину имеет Керченский пролив и в настоящее время.

Таким образом, указание Тмутараканского камня приводит к мысли, что древняя сажень была короче последующей; она равнялась трем локтям, или двум аршинам, т. е. 1 метру 42.23 сантиметра.

---

[1] П. Г. Бутков. Объяснение русских старинных мер — линейной и путевой «Журн. Мин. внутр. дел.», 1844, ч. 8, стр. 252.

[2] А. А. Спицын. Тмутараканский камень. II, 1915, табл. X и XI

[3] И. П. Сахаров. Указ. соч., стр. 23.

Мерой длины, более значительной по своим размерам, является верста. Игумен Даниил в своем «Хождении» постоянно пользуется верстой для определения расстояний между отдельными пунктами. Но если проверить длину верст, встречающихся у игумена Даниила, то окажется, что его верста не имеет определенных размеров, и колебание ее величины очень значительно. Повидимому, игумен Даниил зачастую определяет расстояние приблизительно, без точных измерений. Например, по игумену Даниилу, селение Вифания отстоит от Иерусалима «вдалее дву версты», т. е. более двух верст.[1] Старец Арсений Суханов, ездивший в Иерусалим в середине XVII в., определяет расстояние от Иерусалима до Вифании в 3 версты.[2] Показания обоих путешественников совпадают: один говорит — более 2 верст, другой — 3 версты. Это совпадает и с современными данными.

Но иногда расстояния, указанные игуменом Даниилом, не соответствуют современным. Это можно объяснить лишь тем, что игумен Даниил пользовался приблизительными определениями, не имея точных данных. Например, он описывает Геннисаретское озеро, или Галилейское море, и сообщает: «В длину есть море то 50 верст, а в ширину есть 20 верст».[3] В настоящее время длина Галилейского моря определяется в 21 километр, ширина в наиболее широкой его части — в 12 километров. Повидимому, игумен Даниил определял расстояние на-глаз и допустил значительную ошибку. Есть у игумена Даниила и другие определения расстояния, расходящиеся с современными. Так, он считает, что от горы Фавор до города Назарета 5 верст, причем даже подробно указывает, что 2 версты итти по полю, а 3 по горам.[4] В настоящее время от Фавора до Назарета считается 9 километров, т. е. около 8.5 верст,— почти вдвое больше, чем указал игумен Даниил.

Таким образом, вопрос о размере версты, упоминаемой игуменом Даниилом, остается открытым. Автор «Хождения» не указывает ни количества сажен в версте, ни размера сажени.

Иногда в источниках эпохи Киевского государства вместо версты употребляется наименование «поприще». Некоторые исследователи приравнивали поприще к древнегреческой стадии. Но это не верно. Стадия была в несколько раз меньше поприща. Стадия (στάδιον) делилась на 100 оргий (ὀργία). Оргия — единица измерения, близкая к древнерусской сажени. Основание для того, чтобы приравнивать греческую оргию к древнерусской сажени, можно найти в некоторых книгах религиозного содержания, переведенных с греческого на славянский язык, в частности в Библии. Например, в книге «Деяний апостольских» рассказывается о путешествии апостола Павла в Рим. Апостол Павел со своими спутниками плыл по Адриатическому морю. Поднялась буря. Корабельщики заметили, что они находятся недалеко

[1] Там же, стр. 17.
[2] Там же, стр. 211.
[3] Там же, стр. 29.
[4] Там же, стр. 31.

от берега, и начали измерять глубину. Сначала она оказалась 20 сажен, затем 15. В греческом подлиннике вместо слова «сажен» стоит ὀργίας.[1] Отсюда можно сделать вывод, что оргия по своим размерам была близка к сажени, иначе подобный перевод не был бы допущен. 100 оргий равнялось одной стадии. В поприще, на основании показаний различных источников, было от 6 до 7.5 стадий. В некоторых древнерусских рукописях, правда, относящихся к более позднему времени — к XV в., длина поприща определяется в 750 сажен.

Поприще в древнерусских памятниках употребляется в том же смысле, что и верста. Летописцы очень часто пользуются этими понятиями как равнозначащими. Например, в Воскресенском списке летописи под 1167 г. рассказывается о том, как жители Смоленска вышли встречать князя Ростислава за 300 поприщ.[2] По Ипатьевской летописи, которая тоже рассказывает об этом событии, смоляне встречали князя Ростислава за 300 верст.[3] Можно привести значительное количество других примеров, показывающих, что в разных текстах летописей одно и то же расстояние в одних случаях определяется поприщами, в других — верстами, причем количество тех и других в каждом случае совпадает. На основании этих данных можно притти к выводу, что поприще и верста — понятия тождественные. В поприще считалось 7.5 стадий (в стадии — 100 сажен), или 750 сажен, но сажен древнерусских, трехлокотных, т. е. равных двум аршинам каждая. 750 древних сажен равны 500 саженям позднейшим, трехаршинным. Следовательно, можно утверждать, что поприще (или верста) имело постоянную длину от древнейшей эпохи и до более позднего времени. В киевский период в версте считалось 750 трехлокотных сажен, в более позднее время — 500 трехаршинных.

Как уже указывалось, наряду с более или менее точными определениями расстояний, в источниках встречаются описательные выражения: «вержение камня», «перестрел», «день пути». Игумен Даниил довольно часто пользуется такими неточными выражениями. Например, описывая отдельные части Иерусалима, в частности столп Давида и дом Урии, на вдове которого женился Давид, он говорит: «близ бо бе и дом тот, яко довержет муж камением»,[4] т. е. дом так близко, что человек может добросить до него камнем. С. К. Кузнецов находит возможным считать расстояние, определяемое «вержением камня», равным 20 саженям, т. е. около 42.5 метра в среднем.[5]

Кроме «вержения камня», игумен Даниил употребляет и другое приблизительное определение расстояния — «перестрел». Так, описывая гору Елеонскую и небольшую церковь, расположенную на ее склоне, он указывает: «а оттуда до гроба Иосафатова вдалее, якоже человек

[1] «Деяния апостолов», XXVII, ст. 28.
[2] ПСРЛ, т. VII. СПб., 1856, стр. 79.
[3] ПСРЛ, т. II, СПб., 1908, стр. 528.
[4] И. П. Сахаров. Указ. соч., стр. 15.
[5] С. К. Кузнецов. Указ. соч., стр. 91.

дострелит», т. е. дальше, чем человек может дострелить.[1] Более значительные расстояния игумен Даниил считает несколькими «перестрелами». Отмечая, что река Иордан выходит двумя рукавами из Геннисаретского озера, он говорит, что эти рукава «яко три перестрела меж себя имать.[2] Иногда, при определении расстояния перестрелами, игумен Даниил подчеркивает, что стрелок должен быть достаточно опытным и умелым. Например, он следующим образом описывает высоту горы Фавор: «Может с нее... добрый стрелец четырежды встрелить, а, на земли стоя, горе осьмижды встрелит, коли доброй стрелец».[3] Другими словами — высота горы ниже, если считать от ее вершины, и выше, если считать от подножия. Здесь очень ярко подчеркнута неопределенность расстояния, измеряемого «перестрелами». Высота горы, конечно, не изменится от того, будет ли стрелок стоять на ее вершине или у ее подножия, а при измерении «перестрелами» получается разница, так как стрела, пущенная с горы вниз, пролетает большее расстояние.

На основании практики народов, еще не оставивших употребления лука и стрел, считается, что стрела, пущенная сильной рукой, может лететь до 100—105 метров. Для стрельбы в цель считается нормальным расстояние в 50—55 метров. В среднем «перестрел» можно признать равным 60—70 метрам.

Иногда расстояние определяется днями пути. Например, игумен Даниил указывает, что от Палестины до Вавилона 40 дней пути.[4] Счет расстояния днями пути очень распространен у кочевых народов, так как в степи нет населенных пунктов, позволяющих точно определять расстояние. Днями пути определяют расстояние и моряки. День пути — тоже величина неопределенная. Пеший день пути едва ли может дать расстояние более 25 километров, день конного пути — 50—75 километров.

Таким образом, для Киевского государства можно определить следующие меры длины:

1) верста или поприще — 750 сажен, несколько больше километра;
2) сажень — 3 локтя, около 1 метра 42 сантиметров;
3) локоть — 2 пяди, от 45.5 до 47.5 сантиметра.

Неопределенные меры:

1) вержение камня — около 42.5 метра;
2) перестрел — 60—70 метров;
3) день пути: пеший — 25, конный — 50—75 километров.

Меры поверхности

При изучении мер поверхности в Киевском государстве исследователь встречается с большой неопределенностью показаний источников.

---

[1] И. П. Сахаров. Указ. соч., стр. 17.
[2] Там же, стр. 28.
[3] Там же, стр. 30.
[4] Там же, стр. 24

На основании сведений, сообщаемых источниками киевской эпохи, можно установить, что земля измерялась и селами и плугами. Вопрос о том, равно ли село плугу или не равно, остается открытым. Во всяком случае, для киевской эпохи приходится пользоваться лишь отрывочными указаниями источников.

В ст. 58 «Русской Правды» по Карамзинскому списку имеются следующие данные: «а в селе сеяной ржи на 2 плуга 16 кадей ростовских».[1] Этот текст можно истолковать в том смысле, что село равно двум плугам. Но в то же время нет никакой гарантии, что село равно только двум плугам. Может быть, их было и больше. В этой статье плуг выступает как земельная мера. Вопрос же о его размерах тоже остается открытым. «Русская Правда» указывает, что на 2 плуга высевается 16 кадей ростовских. Отличалась ли ростовская кадь от кадей других городов, трудно сказать. Но кадь была общей мерой сыпучих тел в Киевском государстве. В XVI—XVII вв. считалось, что для засева полдесятины земли требуется четверть кади ржи, причем эта четверть была вдвое больше четверти киевской эпохи. В свете этих данных можно определить размер плуга в 8 десятин. (Если половина кади высевалась на полдесятины, то на десятину высевалась кадь. Всего посеяно 16 кадей, следовательно, засеяно 16 десятин. Это количество земли названо двумя плугами — отсюда плуг равен 8 десятинам.)

В том же тексте «Русской Правды» указывается и урожай, ожидаемый от этого посева,— 100 копен ржи.[2] Какие размеры имела копна в Киевском государстве, трудно сказать. В XVI—XVII вв. с десятины собиралось 10 копен сена. Если древняя копна была равна позднейшей, то вся площадь посева определяется в 10 десятин, и плуг будет равняться лишь 5 десятинам.

Сопоставление указаний источника о посеве 16 кадей ржи и урожая в 100 копен позволяет считать, что размер плуга колеблется между 5 и 8 десятинами. Более точных данных из источников не удается извлечь. Можно только констатировать факт, что в эпоху «Русской Правды» землю мерили селами и плугами.

Меры вместимости — меры сыпучих и жидких тел

Древнейшей мерой сыпучих тел, употреблявшейся в Киеве и других городах Киевского государства, была кадь. Кадь делилась, по системе двух, на два половника, на четыре четверти, на восемь осьмин. Упоминания о более мелких делениях кади в источниках киевской эпохи не встречаются.

Что кадь употребляется как мера сыпучих тел, видно из вышеприведенной статьи 58 «Русской Правды» по Карамзинскому списку, где речь идет о посеве 16 ростовских кадей ржи. В том же смысле упоминает о кади и игумен Даниил. Описывая плодородие палестинской

[1] «Правда Русская», изд. Инст. ист. АН СССР, т. I, М.— Л. 1940. стр. 353.
[2] Там же.

почвы, он говорит: «Родится пшеница и ячмень изрядно — одну кадь сеявши, паки вземлют 130 и 50 кадей».[1] Кадь здесь названа в качестве меры сыпучих тел.

«Русская Правда», кроме кади, упоминает и половник как меру сыпучих тел. Например, в статьях 61—62 Карамзинского списка урожай овса и ячменя измеряется половниками.[2]

На основании сопоставления показаний различных источников А. И. Никитский приходит к выводу, что древняя кадь вмещала в себя около 14 позднейших московских пудов ржи.[3]

В «Русской Правде» упоминаются и такие меры сыпучих тел, как уборок и лукно. Точный объем уборка не известен. Очевидно, уборок был мерой небольшой. Такое заключение позволяет сделать ст. 7 «Русской Правды» по Троицкому списку, указывающая размер содержания вирнику, т. е. лицу, взимавшему судебные штрафы; ему полагалось пшена и гороху по 7 уборков на неделю.[4]

Что касается лукна, то Д. И. Прозоровский попытался, на основании сопоставления отдельных статей «Русской Правды», определить его вместимость. Нет надобности входить в подробное рассмотрение рассуждений Д. И. Прозоровского, которые делают честь остроумию автора, но едва ли могут быть доказаны с математической точностью. В результате своего исследования Д. И. Прозоровский пришел к выводу, что лукно вмещало в себя 60 фунтов овса, т. е. около 24—25 килограммов.[5] Это определение вместимости лукна можно принять лишь как приблизительное. Для более точного определения нет достаточных оснований в источниках.

Таким образом, для киевского периода истории СССР можно указать следующие меры сыпучих тел:

Кадь = 2 половникам = 4 четвертям = 8 осьминам.

Половник = 2 четвертям = 4 осьминам.

Четверть = 2 осьминам.

Особо от кади и ее делений стоят уборок и лукно. Кадь и части ее употребляются и в период феодальной раздробленности. Уборок и лукно как меры позднее не встречаются. Но более позднее слово «лукошко», несомненно, происходит от древнего лукна. Лукошко — круглая мера, вмещающая до 16 килограммов ржи.

Меры жидких тел

Другим видом мер вместимости являются меры жидкостей. В источниках Киевской Руси встречаются упоминания о ведре. Иногда они

[1] И. П. Сахаров. Указ. соч., стр. 18.

[2] «Правда Русская», т. I, стр. 354.

[3] А. И. Никитский. К вопросу о мерах в древней Руси — «Журн. Мин. нар. просв.», 1894, № 4, стр. 376—378.

[4] «Правда Русская», т. I, стр. 105.

[5] Д. И. Прозоровский. Древнерусские меры жидкостей — «Журн. Мин. нар. просв.», 1854, № 3, стр. 233—234.

позволяют притти к заключению, что ведро употреблялось как мера вместимости. Например, в ст. 7 «Русской Правды», по Троицкому списку, определяется корм вирнику, причем указывается, что ему полагается по 7 ведер солода на неделю. [1] Ведро здесь рассматривается как определенная мера.

Вместимость древнерусского ведра неизвестна. Д. И. Прозоровский, путем сравнения различных упоминаний о ведре и лукне в «Русской Правде», пришел к выводу, что древнее ведро вмещало около 24 фунтов, т. е. 9—10 килограммов воды. [2] Но расчеты Д. И. Прозоровского являются очень приблизительными, целиком основанными на разного рода допущениях, и поэтому гораздо осторожнее сказать, что точный объем древнерусского ведра не известен. Известно, что ведро употреблялось как единица измерения жидких, а иногда и сыпучих тел.

Встречается в летописях и бочка — как мера жидких тел. Но бочка этой эпохи известна лишь по названию. Ее реальное содержание пока не поддается установлению.

Меры веса

Древнейшей весовой единицей, встречающейся в русских источниках, является гривна. Гривна была одновременно и весовой и денежной единицей. Такое отождествление понятно. К. Маркс, изучая вопрос о происхождении и функциях денег, отметил, что «как мера стоимостей и как масштаб цен, деньги выполняют две совершенно различные функции. Мерой стоимостей они являются как общественное воплощение человеческого труда, масштабом цен — как фиксированный вес металла... Для масштаба цен определенный вес золота (или другого металла.— *Н. У.*) должен быть фиксирован как единица измерения». [3]

Метролог интересуется денежными единицами как масштабом цен. С этой точки зрения монета является слитком металла удостоверенного веса.

При попытке установить происхождение древнерусской гривны как весовой единицы необходимо сравнить ее с мерами веса других народов, посмотреть, не является ли весовое содержание гривны заимствованным у других народов, а если это так, то у каких.

Древняя Русь имела оживленные торговые сношения с Востоком, главным образом с арабским Востоком. Арабскому весу и арабским монетам посвящено специальное исследование испанца Васкеза де Куэйпо: «Опыт о системах метрических и денежных от самых ранних исторических времен до конца Восточного калифата». Куэйпо, изучая арабские вес и меры, разыскал в г. Пальме на острове Майорке арабскую гирю, причем вес этой гири оказался 408 граммов. Куэйпо выяс-

---

[1] «Правда Русская», т. I, стр. 105.

[2] Д. И. Прозоровский. Указ. соч., стр. 232—236

[3] К. Маркс, Капитал, т. I — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 110.

нил, что весовой единицей, на основе которой арабы чеканили свою монету, был иракский ротль, или фунт. Этот ротль существовал в Малой Азии задолго до появления там арабов и чеканки арабской монеты. На основании изучения работ арабских писателей и взвешивания сохранившихся монет Куэйпо определил вес арабского золотого динара в 4.25 грамма. Из иракского ротля выходило 96 динаров весом по 96 гранов каждый.[1] 96 динаров по 4.25 грамма дают 408 граммов.

Из такого же ротля серебра арабы чеканили 144 серебряных монеты, называемых диргемами, весом по 64 грана каждая. Следовательно, вес диргема составлял $^{2}/_{3}$ веса динара.[2]

Какой же вывод можно сделать из этих данных по отношению к русскому весу, русской гривне? Сравнение русской гривны с иракским ротлем позволяет установить почти полное тождество их веса. Позднейшая вывеска русского фунта (древнерусской гривны) дает некоторую разницу — русский фунт весил 409.512 грамма, но столь ничтожную, что ее можно не принимать в расчет.

В древней Руси встречались гривны весом либо в 96, либо в 48 золотников, т. е. имели вес либо 409.512, либо 204.756 грамма. Таким образом, вес гривны является повторением веса иракского ротля на русской почве. В Москве в XVI в., как это видно из Торговой книги, еще очень хорошо помнили о восточном происхождении русского веса.[3]

Определение веса теснейшим образом связано с чеканкой монеты, так как монета, как уже упоминалось, является слитком металла удостоверенного веса. Обращение к древнерусским монетам помогает в известной степени уяснить и древнерусский вес. В домонгольской Руси чеканилась своя монета. Некоторые денежные знаки Владимира I и Ярослава I сохранились. Вес золотой монеты Владимира составляет в среднем $^{1}/_{96}$ часть позднейшего русского фунта. Иными словами, золотая монета Владимира повторяет вес арабского динара. Серебряные монеты Владимира и Ярослава весят $^{2}/_{3}$ веса золотых, т. е. являются повторением веса арабского диргема. Чеканка монет всегда производится на основе определенных весовых единиц металла. Значит, русские князья, повторяя в своих монетах вес арабских монет, исходили из той же весовой единицы. Заимствование такой весовой единицы, равной 96 золотым монетам или золотникам, именно с Востока устанавливается на основании этих данных довольно точно.

На Руси в качестве весовой единицы употреблялась либо гривна, равная по весу иракскому ротлю и состоявшая из 96 золотников, либо полугривна, весившая 48 золотников. Иногда такая полугривна называлась уменьшительным именем «гривенка». Упоминание гривенки как

---

[1] Гран происходит от латинского слова granum — зерно; гран употреблялся в римской метрологии как мелкая единица веса.

[2] Более подробно см. в названной работе И. И. Кауфмана, стр. 60—88.

[3] «Зап. Отд. русск. и слав. археол. Петерб. археол. об-ва», т. I. СПб., 1851, стр. 114

весовой единицы встречается, например, в Уставной грамоте Новгородского князя Всеволода Мстиславича церкви Ивана Предтечи на Опоках (1134—1135 гг.).[1]

Из других весовых единиц в древнерусских источниках упоминается золотник. Но не всегда удается установить, что это именно весовая единица, а не название золотой монеты.

Кроме гривны, гривенки и золотника, в источниках Киевского периода встречается упоминание о пуде. Так, в Уставе Владимира I о церковных судах отмечается обязанность епископов наблюдать за правильностью мер и веса: «Иже искони уставлено есть и поручено святым епископам городовыя и торговыя всячьская мерила и спуды и свесы и ставила».[2] В данном тексте упоминаются «спуды», но не ясно, обозначает ли это слово вес, единицу измерения, или же самый весовой снаряд, орудие взвешивания.

В другом, более позднем источнике — уже упоминавшейся Уставной грамоте Всеволода Мстиславича сказано: «Даю святому великому Ивану, от своего великоимения, на строение церкви и в векы вес вощаной, а в Торжку пуд вощаной», т. е. князь уступает взимание пошлин с продаваемого на вес воска.[3] Данный текст тоже не позволяет точно установить, разумеется ли здесь пуд как единица веса или как орудие взвешивания.

В договоре Александра Невского и новгородцев с немцами 1257—1259 гг. пуд упоминается как весовой снаряд. Договаривающиеся стороны устанавливают вес, каким они должны пользоваться при взаимных сношениях: «пуд отложихом, а скалви поставихом по своеи воли и по любви».[4] Скалы, или скальвы — чашки коромысленных весов. Указание на то, что пуд оставлен и заменен скальвами, свидетельствует о том, что пуд рассматривается как весовой снаряд, подобный, может быть, позднейшим безменам и контарям, так как он, очевидно, имел иной принцип устройства по сравнению с коромысленными весами, поскольку подчеркивается, что пуд заменен скальвами.

Но некоторые указания источников с несомненностью приводят к мысли, что пуд употреблялся не только как орудие взвешивания, но и как весовая единица. В Уставной грамоте Всеволода Мстиславича Всеволод дает распоряжение, какие дары дать после его смерти, в частности он указывает, что наместнику следует дать «20 пуд меду», дворецкому — «10 пуд меду», тиуну — «5 пуд меду».[5] На основании этого текста можно сделать заключение, что пуд употреблялся и как весовая единица.

---

[1] Г. Е. Кочин. Памятники истории Великого Новгорода и Пскова. Л.—М., 1935, стр. 41.

[2] М. Ф. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского права, вып. 1, изд. 3. Киев, 1885, стр. 214.

[3] Г. Е. Кочин. Указ. соч., стр. 40.

[4] Там же, стр. 109.

[5] Там же, стр. 42, примечание «н».

Употреблялся в качестве весовой единицы и берковец. В той же Уставной грамоте Всеволода вес воска исчислялся берковцами.

Древние источники не дают возможности выяснить точное соотношение между всеми этими весовыми единицами, т. е. гривной, гривенкой, пудом и берковцем.

В более позднее время пуд равнялся 40 большим или 80 малым гривенкам, а 10 пудов составляли берковец.

На этом можно закончить обзор метрологии эпохи Киевского государства. Недостаточность источников не позволяет представить сведения о мерах Киевского государства с необходимой полнотой. Более подробные данные имеются лишь о мерах длины. Что же касается других мер, то указания источников слишком кратки и не дают возможности изложить эти меры в определенной системе. Приходится ограничиваться лишь отдельными наблюдениями.

III. МЕТРОЛОГИЯ ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Основной особенностью, характеризующей метрологию периода феодальной раздробленности, является разнообразие мер в различных местах Русского государства. Вся страна в этот период разбилась на ряд небольших великих княжеств, из которых каждое было самостоятельным, если не считать общего подчинения всей Русской земли монголам, и устанавливало свои отношения с соседями, такими же великими княжествами, на основе взаимных договоров. Экономическая жизнь внутри каждого из таких княжеств развивалась до известной степени самостоятельно и имела свои особенности. Правда, эти особенности были невелики, но тем не менее некоторые различия в экономике того или иного княжества обусловили известные различия и в метрологии. Эти различия всего больше сказываются в области мер сыпучих тел. К сожалению, сохранилось очень мало источников XIII—XV вв., которые бы позволили изложить это метрологическое разнообразие с необходимой полнотой. Но в источниках периода централизованного Московского государства XVI—XVII вв. часто попадаются сведения о местных мерах, отличающихся от общегосударственных. Московское правительство с середины XVI в. ведет определенную политику в области метрологии, добиваясь установления единых мер и веса по всей стране. Но даже в XVII в. существуют местные меры, не совпадающие с общегосударственными. Появиться в период централизованного Московского государства эти меры не могли. Они, несомненно, являются пережитками периода феодальной раздробленности. Новгородская коробья, псковская зобница, двинский пуз, пермская сапца, вятская куница, тотемский и трубчевский четверики, отличающиеся от московских,— все это меры периода феодальной раздробленности.

Характеристика мер периода феодальной раздробленности будет излагаться по следующему плану: обзор мер, существование которых подтверждается источниками периода феодальной раздробленности,

дается в разделе, посвященном метрологии этого периода; характеристика же мер, сложившихся в период феодальной раздробленности, но продолжающих употребляться и в централизованном Московском государстве, перенесена в раздел, посвященный метрологии XVI—XVII вв.

Меры длины и поверхности

В области мер длины в период феодальной раздробленности не замечается никаких существенных изменений. Длина измеряется верстами, саженями, локтями, пядями. Нет оснований говорить и об изменении соотношений между этими измерительными единицами.

Что же касается мер поверхности, то в период феодальной раздробленности можно отметить появление новых метрологических единиц, в частности сохи. Более подробное их рассмотрение удобнее дать тогда, когда речь пойдет о метрологии централизованного Московского государства, потому что свое полное развитие меры поверхности получили лишь в московский период.

Для периода феодальной раздробленности имеется несколько указаний на меры поверхности, из которых не всегда удается установить, является ли то или иное понятие единицей измерения или же это только фискальная единица, т. е. единица обложения налогами. Такова, например, новгородская обжа. Определение обжи имеется во второй Софийской летописи. Великий князь Московский Иван III, намереваясь после победы над Новгородом заводить в Новгородской области московские порядки, пожелал узнать размер новгородской сохи. Летопись об этом рассказывает следующим образом: «и князь великий... велел въспросити, что их (новгородцев.— *Н. У.*) соха. И они сказали: три обжи соха, а обжа — один человек на одной лошади орет; а кто на трех лошадях и сам третей орет, ино то и соха».[1] Некоторые исследователи считали обжу мерой поверхности, равной 5 десятинам. Академик Б. Д. Греков в своем исследовании «Что такое обжа?»[2] доказал, что обжу нельзя считать поземельной мерой и что она представляет собой единицу обложения; ее площадь была различна в зависимости от качества облагаемых угодий.

Но в Новгороде была своя поземельная мера — коробья. Самое название «коробья» произошло оттого, что на определенную площадь земли высевалась коробья хлеба. Коробья была мерой сыпучих тел. Название хлебной меры переносится и на площадь, на которую высевалось это количество хлеба. Реальный размер коробьи легко устанавливается на основании источников XVI в. Один из них при описании монастырской пашни отмечает: «пашни паханые монастырской и крестьянской 102 коробьи с полукоробьею, а четвертные пашни 205 чети».[3]

---

[1] ПСРЛ, т. VI, Софийская вторая летопись. СПб, 1853, стр. 217.
[2] «Изв. АН СССР», 1926, № 10—11 и 13—14.
[3] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 411.

Данный пример показывает, что коробья была вдвое больше четверти. Четверть равнялась половине десятины; следовательно, коробья равна десятине.

Меры сыпучих тел

Для большей части территории Русского государства в период феодальной раздробленности основной мерой сыпучих тел, как и в киевскую эпоху, остается кадь с ее делением, по системе двух, на два половника, 4 четверти, 8 осьмин. Иногда эта кадь называется бочкой, иногда оковом. Название оков произошло оттого, что верх кади часто оковывался металлом — железом или медью, чтобы его нельзя было обрезать и тем самым уменьшить размер кади. Один хронограф начала XVII в. содержит следующее объяснение названия «оковы»: «Бочки или кадки и оковами зваху, оковаху бо по верху тоя кади железным обручем для того, чтобы нельзя ее урезати». [1]

Каков реальный объем кади в период феодальной раздробленности? Псковская летопись, рассказывая о голоде 1601—1602 гг. и о чрезвычайно высоких ценах на хлеб, производит сравнение мер начала XVII в. со старыми мерами: «Во 110-м году купили ржи четверть по 2 рубли... а четверть была старая невелика, против нынешней вдвое менши, полумера». [2] Московская четверть ржи, с которой сравниваются древние меры, весила 6 пудов, или 98.28 килограмма, около 1 центнера. Если древняя четверть была вдвое меньше московской, то ее вес равнялся 3 пудам. Отсюда вес кади, в которой было 4 четверти, определится в 12 пудов, или 196.56 килограмма.

Но этот расчет не совсем точен. Псковская летопись, упоминая в другом месте о дороговизне хлеба, говорит: «а четвертина мала была, мало болши осмака». [3] Если старая четверть была «мало болши осмака», т. е. несколько больше половины позднейшей четверти, то ее вес нельзя считать равным 3 пудам. А. И. Никитский определяет вес древней четверти в 3.5 пуда. Вес всей кади, по его расчетам, достигает 14 пудов, или 229.32 килограмма. [4]

Но кроме общерусских мер, на местах в период феодальной раздробленности появляются свои местные меры. Так, в новгородских документах середины XV в. встречается упоминание о мере сыпучих тел — коробье, причем эта коробья называется старой. [5] Коробья делилась на 4 четверки, или четки. Каждая четка в свою очередь делилась на 4 четверника. [6]

---

[1] «Русские достопамятности», т. I, М., 1815, стр. 177.

[2] ПСРЛ, т. IV, стр. 321.

[3] Там же, стр. 330.

[4] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 377—378.

[5] ААЭ, т. I, № 32. Грамота новгородцев великому князю Московскому Василию Васильевичу на черный бор по Новоторжским волостям: «а коневого корму 5 коробей овса в старую коробью».

[6] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 379—380.

Что же касается вместимости коробьи, то в более позднее время считалось, что на обсеменение одной десятины требуется коробья ржи. Некоторые источники московского периода позволяют произвести сравнение коробьи с московскими мерами и получить более точное представление о ее реальном размере. Так, в 1588 г. трое крестьян заняло у ключника Вяжицкого монастыря коробью овса в новую меру без роста. Новая мера — это единые меры, введенные московским правительством в середине XVI в. Один из заимщиков вскоре уплатил свою треть долга, причем на заемной кабале сделана отметка об уплате: «по сей кабалы Кузма свою треть овса заплатил осмину с третником».[1] Следовательно, $1/3$ коробьи равняется осьмине с третником. Умножение осьмины с третником на 3 дает 4 осьмины. Таким образом, 4 осьмины равны 1 коробье. 4 осьмины — это 2 четверти, следовательно одна коробья равна двум московским четвертям. Если коробья равна двум четвертям, т. е. половине кади, то легко определить и ее вес. Если кадь вмещала 14 пудов ржи, то коробья — 7 пудов.

Кроме Новгорода, можно отметить наличие особых мер сыпучих тел и на Двине. В двинских источниках уже с XIV в. встречается пуз, как мера сыпучих тел, которою измеряется и зерно и соль.[2] Объем пуза устанавливается на основании более поздних источников. Так, в духовной Максима Акинфиева Рыкован Коняшева 1654 г. содержится распоряжение заплатить его кредитору Никите Артемьеву «четверть овса да 2 пуза овса». На обороте этого документа имеется расписка кредитора в получении долга: «Никита Артемьев у Ульяны, Терентьевы дочери, а у покойного Максима Акинфиева жены, 6 пузов овса взял».[3] Максим Акинфиев завещал уплатить четверть и 2 пуза овса, а его жена уплатила 6 пузов. Отсюда 4 пуза равны четверти, следовательно 1 пуз равен $1/4$ четверти, или полуосьмине. Если четверть в Московском государстве весила 6 пудов ржи, то ее четвертая часть, или пуз, составит $1\frac{1}{2}$ пуда ржи. Удельный вес соли вдвое больше, чем ржи. Следовательно, пуз соли будет весить 3 пуда.

Были свои меры сыпучих тел и в Пскове. Основной мерой являлась зобница, делившаяся на 2 позобенья, или на 4 четвертки.

Что четвертка действительно составляла четвертую часть зобницы, легко видеть из сравнения дешевых цен на хлеб в 1466 и 1476 гг., которое дано Псковской летописью.[4] В одном случае указывается цена целой зобницы — 18 денег, в другом — цена четверки — 4.5 деньги. Соотношение совершенно правильное — 4.5 является четвертой частью 18-ти. Из правильного соотношения цен можно сделать вывод и о правильном соотношении объемов.

Сведения о зобнице идут с самого начала XIV в. В середине XV в.

---

[1] АЮ, № 251.

[2] ААЭ, т. I, № 13. Уставная Двинская грамота вел. князя Василия Дмитриевича, 1398 г.

[3] АЮ, № 426.

[4] ПСРЛ, т. IV, стр. 250.

в Пскове произошло некоторое изменение мер. Название меры сохранилось, но объем ее был увеличен («прибавиша псковичи зобницы»). Отношение старой зобницы к новой показано А. И. Никитским. По его исследованию, зобница второй половины XV в. больше старой зобницы на $^1/_3$. Эта разница устанавливается путем сравнения дешевых цен на хлеб в первой и во второй половине века. В 1434 г. в Пскове зобница ржи стоила 9 денег. Для второй половины века имеются сведения о 1464, 1467 и 1476 гг. При сходных условиях, т. е. при большом урожае, зобница ржи ценилась в 17—18 денег. Если взять цены 1434 г.— 9 денег и 1476 г.— 18 денег, то отношение старой зобницы к новой будет 1 : 2. Новая зобница больше старой вдвое. Но едва ли такое заключение будет правильным. Летопись, рассказывая о дешевых ценах на хлеб в 1434 г., подчеркивает исключительно благоприятные условия этого года и отмечает, что хлеб был дешев, и его было много. Такого подчеркивания для второй половины века в летописи нет. Поэтому будет осторожнее взять средние дешевые цены на хлеб в Пскове в первой половине XV в. и сравнить их со средними дешевыми ценами второй половины века. Эти расчеты и делает А. И. Никитский. Для 1427 г. имеется указание на дешевизну хлеба: «по 7 зобниц на полтину». В 1434 г. зобница ржи продавалась по 9 денег. Псковские деньги были тождественны с новгородскими. В новгородском рубле было 216 денег; в полтине, следовательно, 108 денег. Цена 7 зобниц на полтину дает на одну зобницу 15.5 деньги. Дешевая цена на хлеб в Пскове в первой половине XV в. колебалась между 9 и 15.5 деньги. А. И. Никитский принимает для первой половины XV в. среднюю дешевую цену зобницы ржи — 12 денег. Для второй половины века он определяет среднюю цену в 18 денег. Сопоставление этих данных приводит к заключению, что старая зобница составляет $^2/_3$ новой.[1]

Какова же вместимость зобницы? Понятие о вместимости новой зобницы ржи дает сравнение цен новгородской коробьи и псковской зобницы ржи во второй половине XV в. В это время новгородская коробья ржи ценилась в 10 новгородских денег. В Пскове в том же году, для которого известна цена новгородской коробьи, зобница ржи продавалась по 20 псковских денег. Как уже упоминалось, новгородские и псковские деньги тождественны. Следовательно, зобница ценилась вдвое дороже коробьи. При прочих равных условиях можно сделать заключение, что зобница вдвое больше коробьи. Объем коробьи был уже определен выше — 7 пудов ржи. Таким образом, зобница вмещала 14 пудов ржи.[2] Другими словами новая псковская зобница совпадает с общерусской кадью, является ее псковским названием. На основе этих данных можно определить объем и старой зобницы. Равная $^2/_3$ новой зобницы, она вмещала $9^1/_3$ пудов ржи.

---

[1] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 387—389.

[2] Там же, стр. 389.

Меры жидких тел

Сохранившиеся источники не дают представления о большом разнообразии мер жидкостей в период феодальной раздробленности. Едва ли это объясняется отсутствием такого разнообразия. Скорее всего это зависит от недостатка дошедших до нас источников. Можно сделать некоторые наблюдения в отношении мер жидкостей Новгорода и Пскова. Среди новгородских мер жидкостей упоминаются бочка, насадка, ведро. В Пскове жидкости измерялись бочками, ведрами, корцами.

Новгородские писцовые книги XV – начала XVI в. позволяют установить отношения между бочкой, насадкой и ведром. Так, одна бочка и 20 ведер пива уравнены с тремя бочками. Отсюда легко сделать вывод, что одна новгородская бочка содержала 10 ведер. Тот же источник дает материал и для установления отношения между бочкой и насадкой, насадкой и ведром. 19 бочек, 1 насадка и 15.5 ведра пива уравниваются с 20 бочками и 8 ведрами. Таким образом, дается уравнение: 19 бочек + 1 насадка + 15.5 ведра = 20 бочкам + 8 ведрам. Решение этого уравнения принимает следующий вид:

1 насадка + 15.5 ведра — 8 ведра = 20 бочкам — 19 бочек;
1 насадка + 7.5 ведра = 1 бочке, или 10 ведрам.

Отсюда насадка = 2.5 ведра.[1] Следовательно, в бочке 4 насадки. Система новгородских мер жидкостей, таким образом, принимает следующий вид:

Бочка = 4 насадкам = 10 ведрам.
Насадка = 2.5 ведра.

Что касается объема ведра, то для более раннего времени нет точных данных для его определения. В Москве в XVII в. вышина ведра считалась 8 вершков. В восьмивершковое ведро при диаметре в 5 вершков могло вместиться около 30—33 фунтов воды.

Встречаются в источниках упоминания и о псковских мерах жидкостей, но без указания отношения между отдельными мерами. Так, в ст. 115 Псковской судной грамоты содержится запрещение княжеским мужам держать корчмы в Пскове и его пригородах и «ни в ведро, ни в корец, ни бочкою меду не продавати».[2]

Меры веса

В период феодальной раздробленности не наблюдается никаких серьезных изменений в тех весовых единицах, которые сложились в более раннее время. Правда, можно назвать одну весовую единицу — почку, которая как будто не встречается в памятниках Киевской Руси. Например, в «Хождении тверского купца Афанасия Никитина за три моря» — памятнике середины XV в. (1468 г.) — рассказывается, что в

[1] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 403.
[2] Г. Е. Кочин. Указ. соч., стр. 160.

Индии добывались алмазы и продавались «по пяти рублев почка алмазу».[1]

На основании более поздних источников, в частности Торговой книги, удается установить, что почка составляла $^1/_{25}$ часть золотника. Почка — очень мелкая весовая единица и употреблялась главным образом при определении веса монет во время их чеканки. В переводе на современный вес почка равняется 0.17 грамма.

Кроме того, употреблялась еще более мелкая единица — пирог, равный $^1/_4$ почки, или около 0.04 грамма. К концу XV в. такая мелкая весовая единица почти выходит из употребления. Торговая книга о пироге не упоминает. Тем не менее пирог встречается в некоторых источниках даже середины XVII в.

От XIII в. сохранилось упоминание еще об одной весовой единице — капи. В договоре Великого Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 г., имеется такое условие: «весы и гири для серебра и для другого товара, который на весах весится, должно держать ровно и правильно. Капь должна заключать в себе весу 8 ливонских фунтов».[2] Ливонский фунт, или лисфунт,— величина достаточно определенная. В некоторых русских источниках лисфунт называется пудком и принимается равным половине русского пуда. Отсюда капь, равная 8 ливонским фунтам, весит 4 пуда, или 65.52 килограмма.

IV. МЕТРОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

В централизованном Русском государстве наметились тенденции к единообразию в области мер и веса. Если в период феодальной раздробленности можно было наблюдать различие в местных мерах, то в Московском государстве правительство стремится создать единые общегосударственные меры, обязательные к употреблению по всей стране. Это мероприятие диктовалось общей политикой Ивана IV. Вместо удельных княжеств создалось единое централизованное государство. Центральная власть настойчиво и последовательно борется с пережитками феодальной раздробленности. Местное метрологическое разнообразие — один из таких пережитков, нетерпимый в централизованном государстве. Такова политическая тенденция метрологической политики московского правительства. Необходимость введения единых мер и веса диктовалась и экономическими соображениями. Именно с середины XVI в. начинает складываться всероссийский рынок. Торговые люди, разъезжая по разным городам государства со своими торгами, испытывали значительные неудобства от местного метрологического разнообразия. Устранение этих неудобств было очередной задачей государства, и правительство Ивана IV становится на путь введения единых мер и веса. Сохранилась грамота Ивана IV на Двину от 21 де-

---

[1] И. П. Сахаров. Сказания Русского народа, т. II, кн. 8, стр. 176.

[2] Г. Е. Кочин. Указ. соч., стр. 114.

кабря 1550 г. об отправке двинским старостам, сотским и целовальникам новой медной меры. Текст грамоты позволяет установить, что была послана медная осьмина. С этой новой меры нужно было сделать деревянные спуски, т. е. копии, запятнать их, т. е. поставить печать, и пустить в употребление. Присланная медная мера должна была оставаться у старост для контроля. С присылкой новой все старые меры, не совпадавшие с ней, изымались. За пользование старыми мерами назначался штраф. Грамота подчеркивает, что введение новых мер является общегосударственным мероприятием: «А таковы есми меры послал во все городы ровны». [1]

Названная грамота говорит лишь о мерах сыпучих тел. Несомненно, что аналогичные образцы и других видов мер тоже рассылались на места. Неоднократные упоминания источников второй половины XVI и первой половины XVII в. о печатных, заорленых, казенных саженях и аршинах, о ведрах, о клейменых гирях определенно свидетельствуют о единстве метрологической политики московского правительства. В этом отношении любопытно свидетельство немца-опричника Генриха Штадена. Подводя итог своей характеристике Московского государства при Иване IV, Штаден говорит: «нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей его державе — одна вера, один вес, одна мера». [2]

Указы из Москвы на места о введении единых мер, сопровождавшиеся присылкой образцов казенных мер, не устраняли целиком и полностью местного метрологического разнообразия. Время от времени московское правительство вновь рассылает образцы мер, общих для всего государства. Новые меры рассылаются в определенные, если можно так выразиться, поворотные моменты политики Московского государства — и общей и экономической. Не последнюю роль в этом случае играли и интересы фиска, интересы обеспечения исправного поступления разного рода сборов — и денежных и натуральных.

Так, в 20-х годах XVII в., после возвращения из Польши патриарха Филарета, по его непосредственному указанию, проводится «обновление земли письмом» — производится новое описание всей территории Московского государства с целью выяснения платежеспособности населения и получения нового основания для обложения его налогами. В это же время рассылаются на места и новые меры. В 1624 г. состоялось решение «во всех городех Московского государства учинити меры медены, ровно против нынешние московские меры, какова мера ныне на Москве сделана под гребло». [3]

В силу этого решения, на места были разосланы соответствующие грамоты. Сохранившаяся грамота новоторжскому воеводе П. Г. Мусину

---

[1] ДАИ, т. I, № 45.

[2] Г. Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника, перев. И. И. Полосина. М., 1925, стр. 113.

[3] ААЭ, т. III, № 151.

от марта 1624 г. позволяет судить о том, что в качестве такой единой меры вновь рассылается медная осьмина, снабженная железным гребло́м. По этому образцу на местах следовало сделать деревянные осьмины, полуосьмины и четверики под гребло. По верхнему краю этих деревянных мер нужно было набить железные обручи, чтобы от прикосновения гребла не обивались края. Каждая из таких мер должна была иметь железное гребло. С введением новых мер старые изымались из употребления. За пользование старыми мерами назначался штраф [1].

Третье такое же общее распоряжение о метрологическом единообразии можно отметить в Уложении царя Алексея Михайловича 1649 г. Теперь правительственное распоряжение касается мер длины. Уложение утверждает в законодательном порядке размер сажени, равной трем аршинам [2].

Общее распоряжение о введении единообразия в области всех видов мер содержится и в Таможенном Уставе 1653 г. [3]

Наконец, пятое общее распоряжение о введении единых мер было отдано правительством Федора Алексеевича в 1679 г. Время Федора ознаменовалось крупной реформой в области прямого обложения. Мелкие четвертные доходы упраздняются и заменяются едиными стрелецкими деньгами. В это же время принимается решение и об упорядочении сбора стрелецкого хлеба. В связи с этим в 1679 г. правительство нашло необходимым разослать на места новые меры. На этот раз рассылаются не осьмины, а медные четверики. Эти четверики должны явиться контрольными мерами, а для практического употребления с них нужно было сделать деревянные спуски и заорлить, т. е. поставить на них государственную печать. Переменять эти меры категорически воспрещается под угрозой смертной казни. Одновременно с этим отдается распоряжение и о пользовании единой мерой жидкости — заорленым ведром. [4]

Таким образом, московское правительство с середины XVI в. и в течение всего XVII в. ведет определенную метрологическую политику, политику единых мер для всей территории страны. Но местные меры оказались очень живучими, и в течение всего XVII в., а порою даже и в XVIII в. в источниках приходится встречать метрологическое разнообразие. Эти местные особенности будут отмечены при характеристике отдельных видов мер.

Кроме стремления к единообразию в области мер и веса, для времени централизованного Русского государства можно отметить ряд изменений для всех видов мер. Иногда эти изменения касаются лишь размеров той или иной метрологической единицы при сохранении преж-

---

[1] Там же.
[2] «Уложение», гл. XVI, ст. 46.
[3] ААЭ. т. IV, № 64, стр. 101—102.
[4] Там же, № 240. Царская грамота на Вологду от января 1680 г.

него названия, а иногда старые меры постепенно выходят из употребления, заменяясь новыми. Все виды мер получают более полное развитие именно в московский период, и система русских мер, дожившая до введения метрической системы в СССР, сложилась в основных своих чертах к концу XVII в.

Меры длины

Локоть, древняя простейшая мера длины, продолжает употребляться и в Московском государстве в том же самом значении и такого же размера, как в Киевском государстве и в период феодальной раздробленности. Торговая книга определяет длину локтя в $10^2/_3$ вершка. Не оставлено употребление и пяди. Например, крестьянин дер. Липовой Дубровы, Соликамского уезда, Шестак Леонтьев Поспелов обязался в 1631 г. нарубить 100 сажен дров для соликамских варниц Троице-Сергиева монастыря, причем поленья должны были иметь длину по 6 пядей. [1]

Но локоть и пядь постепенно вытесняются новой мерой — аршином и его делениями.

Сведения об аршине идут с XVI в., так что эта мера довольно поздняя. Происхождение аршина, повидимому, восточное, потому что в Турции, в Иране, в Закавказье употреблялись меры длины, имеющие точно такое же название — аршин. Наиболее близко по своим размерам к русскому аршину подходит турецкий большой локоть, называемый в турецких источниках иногда халеби, иногда аршин. Размер турецкого аршина не совсем совпадает с размером русского аршина — турецкий несколько короче. Он составляет 0,966 русского аршина. [2]

Русский аршин в переводе на метрическую систему равняется 71.12 сантиметра. Аршин делился по системе четырех на 4 четверти. Каждая четверть, в свою очередь, делилась на 4 вершка. Следовательно, в аршине было 4 четверти, или 16 вершков. Имеется любопытное свидетельство о русской четверти XVII в., сообщенное шведом Иоганном Кильбургером, членом свиты шведского посольства в Москву 1674 г. В своей книге, посвященной русской торговле, Кильбургер говорит и о русских мерах, причем дает не только описание мер, но и прилагает размер русской четверти [3]. Измерение размера русской четверти, сообщенного Кильбургером, дает ее длину — 17.77 сантиметра. На основании этих данных можно утверждать, что аршин XVII в. в точности соответствовал позднейшему русскому аршину.

Два аршина приравнивались трем локтям.

Вышеуказанный размер, т. е. 71.12 сантиметра, имел казенный

[1] ЦГАДА (в дальнейшем наименование архива опускается, так как почти все фонды, на которые делаются ссылки, находятся в ЦГАДА; указывается лишь название фонда), Грам. колл. экономии по Соликамску, № 11261/129, л. 6 об.

[2] П. Г. Бутков. Указ. соч., стр. 249; Ф. Петрушевский. Общая метрология. СПб., 1849, стр. 141, 187.

[3] И. Кильбургер. Краткое известие о русской торговле. Киев, 1915, стр. 156.

аршин. Это была официальная мера. В практике иногда встречались отступления от этого размера, хотя порою это были злоупотребления.

Следующей, более крупной мерой длины является сажень, равная 3 аршинам. Этот размер сажени официально утвержден Уложением 1649 г.,[1] причем в одной из статей трехаршинная сажень названа новой[2]. Эти статьи Уложения дали основание и некоторым исследователям, и практическим работникам XVIII в. считать, что трехаршинная сажень введена Уложением. Например, в «Журнальной записке» комиссии о весах и мерах, созданной правительством Анны Ивановны в 1735 г., под 13 декабря 1737 г. записано: «По 7157 (1649) год была сажень полтретья ($2^1/_2$) аршина, ...а в 157 году определено быть в 3 аршина, о чем в Уложенье в шестой на десять главы в 46 пункте напечатано».[3] Между тем это неверно. Казенная трехаршинная сажень употреблялась задолго до Уложения. Так, в 1610 г. братья Андрей и Петр Семеновичи Строгановы производили раздел варниц и дворовых мест на посаде у Соли Вычегодской. При этом Петру Семеновичу досталось «двора мерою от речки до ворот, что против Гулыни (улица в Соли Вычегодской.— *Н. У.*), в длину 24 сажени печатных трехаршинных». Андрею Семеновичу досталось двора «мерою в длину... 40 сажен печатных трехаршинных».[4]

В этом документе речь идет об употреблении казенной трехаршинной сажени. Повидимому, введение этой сажени следует отнести ко второй половине XVI в., к тому времени, когда правительство Ивана IV ввело единые меры для всей страны. Таким образом, казенная или печатная сажень равняется трем аршинам. В переводе на метрическую систему это составит 2 метра 13.35 сантиметра.

Но, несмотря на наличие казенной сажени, в памятниках XVI—XVII вв. встречается сажень, отличающаяся по своим размерам от казенной. В рукописи конца XVI — начала XVII в., озаглавленной «Роспись, как зачать делать новая труба на новом месте» и посвященной описанию устройства прибора для извлечения соляного рассола из подземных соляных ключей, упоминается так называемая «трубная» сажень, длину которой этот источник определяет в «полтретья аршина 2 вершка», т. е в $2^1/_2$ аршина плюс 2 вершка, а всего 42 вершка. Таким образом, трубная сажень на 6 вершков короче казенной сажени, в которой было 48 вершков. На этой же рукописи имеется более поздняя (1690 г.) приписка, дающая несколько иное протяжение трубной сажени: 3 аршина без четверти, т. е. 44 вершка. В конце века употреблялась трубная сажень на 2 вершка длиннее, чем в начале века.[5]

---

[1] Гл. XVI, ст. 46.

[2] Гл. XIX, ст. 6.

[3] Фонд Сената, кн. № 1655, ч. 1, л. 85.

[4] «Фонд Строгановых», новая опись, карт. 1, № 18 (20), л. 1.

[5] Д. И. Прозоровский. Описание древнерусского солеваренного склада, «Изв. Петерб. археол. об-ва, т. VI, отд. I, вып. 3. СПб., 1868, стр. 233—255.

Кроме казенной, или печатной сажени в быту употреблялось еще два вида сажени — сажень маховая и сажень косая. Маховая сажень — расстояние между средними пальцами горизонтально вытянутых рук. Ее протяжение определялось приблизительно в 2.5 аршина, т. е. в 40 вершков. Косая сажень — расстояние от большого пальца левой ноги, широко отставленной от правой, до среднего пальца правой руки, вытянутой вверх. Размер косой сажени колебался между 41 и 42 вершками. Ни маховая, ни косая сажень не могут считаться точными единицами измерения, потому что их длина колеблется в зависимости от человеческого роста.

Более крупной единицей измерения длины в Московском государстве продолжает оставаться верста. В основном длина московской версты оставалась прежней. Но различалось две версты — путевая и межевая. Первая из них равнялась старой версте, в которой было 750 старых сажен. Протяжение этой версты осталось без изменения. Но поскольку московская сажень увеличилась до 3 аршин,[1] постольку количество сажен в версте уменьшилось. В московской путевой версте считалось 500 сажен, или 1,067 километров. Межевая верста была вдвое больше — в ней считалось 1000 сажен. В Уложении 1649 г. дано точное определение межевой версты при указании земель, отводимых под выгон около города Москвы: «а выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного города, ото рву по 2 версты, а отмерити те выгоны новою саженью, которая по государеву указу сделана в 3 аршина, а в версте учинити по 1000 сажен».[2] В переводе на метрическую систему межевая верста равняется 2,134 километрам. Путевой верстой измерялись расстояния между населенными пунктами. Межевая верста употреблялась для измерения крупных земельных площадей, главным образом лесов, и отчасти выгонов.

Таким образом, система мер длины, сложившаяся в Московском государстве к концу XVII в., представляется в следующем виде:

Верста межевая = 2 путевым верстам = 1000 сажен.
Верста путевая = 500 сажен.
Сажень = 3 аршинам = 12 четвертям = 48 вершкам.
Аршин = 4 четвертям = 16 вершкам.
Четверть = 4 вершкам.

Меры поверхности

При изучении мер поверхности в Московском государстве исследователь неизбежно встречается с так называемым «сошным письмом», т. е. с переписью населения и его земельных угодий с целью обложения налогами. Когда появилось сошное письмо, точно не известно. Некоторые ученые связывают происхождение сошного письма с теми перепи-

[1] Старая сажень равнялась 3 локтям, или 2 аршинам.
[2] «Уложение», гл. XIX, ст. 6.

сями населения, которые производились монголами во время их владычества для выяснения количества налогоспособного населения. Во всяком случае в документах конца XV в. система сошного письма выступает как вполне сложившаяся. Более точные сведения о системе сошного письма имеются только для второй половины XVI и для XVII в. В терминологии сошного письма следует различать два вида понятий: с одной стороны, в ней встречаются наименования фискальных единиц, т. е. единиц обложения, с другой — в сошной терминологии имеются и названия земельных мер, на которых основываются фискальные единицы. Необходимо сначала отдельно рассмотреть земельные меры, а затем обратиться к сошному письму, основанному на этих мерах.

Наиболее крупной земельной мерой была десятина. Официальный размер казенной десятины был определен в 2400 кв. сажен —80 сажен длины и 30 сажен ширины. Например, в «Книге сошного письма 7137 (1629) года» дается следующее определение десятины: «в десятине 80 сажен длинник, а поперечник 30 сажен, а дробных (т. е. квадратных.—*Н. У.*) сажен в десятине 2400».[1] Наряду с казенной десятиной, на частновладельческих землях встречалась десятина и большей площади — 80 сажен длины и 40 ширины, т. е. 3200 кв. сажен. Попадалась десятина и в 2500 кв. сажен, длина и ширина которой была по 50 сажен. Наиболее распространенным был официальный размер казенной десятины — 80 × 30, но встречалась казенная десятина длиной в 60 и шириной в 40 сажен. Иногда упоминается «круглая» десятина, стороны которой были по 55 сажен, а площадь составляла 3025 кв. сажен. «Книга сошного письма 7137 года» следующим образом говорит о круглой десятине: «десятина вдлину 80 сажен, а поперег 30 сажен, итого 110 сажен, и ты раздели надвое пополам по 55 сажен, длиннику и поперег равно, и то станет круглая десятина».[2] В переводе на метрическую систему, казенная десятина равнялась 10 925 кв. метрам, или 1 гектару и 925 кв метрам.

Десятина — единица счетная. Она довольно редко упоминается в документах. Гораздо чаще встречается другая земельная мера — четверть или четь. Предполагают, что четверть как земельная мера получила свое наименование оттого, что на такую земельную площадь высевалась четверть хлеба. Мера сыпучих тел дала название земельной площади. Четверть, или четь, равнялась половине десятины. Ее площадь была 1200 или 1600 кв. сажен, в зависимости от того, как определялась площадь десятины — в 2400 или в 3200 кв. сажен, но в десятине всегда считалось 2 четверти.

Четверть делилась на более мелкие части либо по системе двух, либо по системе трех. По системе двух четверть делилась на 2 осьмины. Происхождение названия «осьмина» опять ведет к мерам сыпучих тел. Осьминой называлась земельная площадь, на которую высевалась осьмина хлеба. Осьмина делилась на 2 полосьмины, или на 4 четвери-

[1] «Врем. Об-ва ист. и древн. росс.» кн. 17. М., 1853. Смесь, стр. 56.
[2] Там же, стр. 56—57.

ка. В полосьмине было 2 четверика. На более мелкие части делился и четверик. В нем было 2 полчетверика, 4 пол-полчетверика, 8 пол-пол-полчетверика и т. д. Кроме того, четверть делилась по системе трех на 3 третника, 6 полтретников, 12 пол-полтретников и т. д.

Следует обратить внимание на два понятия: «малый третник» и «малый четверик», смысл которых выяснен А. И. Никитским. Ссылаясь на один документ 1678 г. о сборе стрелецкого хлеба, А. И. Никитский обращает внимание на то, что в этом документе осьмина, четверик и полосьмина без малого третника уравнены с четвертью без полосьмины и с полтретником. Таким образом, получается уравнение: 1 осьмина + 1 четверик + 1 полосьмина — 1 малый третник = 1 четверти — 1 полосьмина + 1 пол-полтретник. Приведя все эти понятия, кроме малого третника, к одному виду — четверику, А. И. Никитский получает уравнение: 4 чк. + 1 чк. + 2 чк. — 1 мал. третн. = 8 чк. — 2 чк. + ⅔ чк., или: 7 чк. — 1 мал. третн. = 6⅔ чк. Отсюда 1 малый третник равен $1/3$ четверика, или $1/24$ четверти, поскольку в четверти 8 четвериков. Аналогичным образом А. И. Никитский выводит размер и малого четверика, или $1/64$ четверти.[1]

Как уже упоминалось, реальной поземельной мерой являлась четверть. Например, поместное жалованье служилым людям всегда исчислялось в четвертях. По Уложению 1649 г., определившему поместный оклад служилых людей, должно быть земли «за бояры по 200 четвертей за человеком, за окольничьи, за думными дьяки по 150 четвертей за человеком» и т. д.[2] В Московском государстве господствовала трехпольная система полеводства. Количество четвертей поместного оклада, указанное в Уложении, определено только для одного поля. В трех полях земли было втрое больше. Боярский оклад в трех полях будет равен 600 четвертям, или 300 десятинам. Таким образом, система поземельных мер Московского государства представляется в следующем виде:

Десятина = 2 четвертям = 4 осьминам = 8 полосьминам = 16 четверикам.
Четверть = 2 осьминам = 4 полосьминам = 8 четверикам = 3 третникам.
Осьмина = 2 полосьминам = 4 четверикам.

Далее идут более мелкие деления путем присоединения «пол» либо к третнику, либо к четверику.

Этими поземельными мерами измерялась пашня. Количество сенокосных угодий измерялось копнами сена, которое можно снять с той или иной площади. Обычно считалось, что с десятины собирается 10 копен сена. Повидимому, для русских людей XVI—XVII вв. копна было такое привычное понятие, что они не находили нужным на нем подробно останавливаться. Определение размера копны встречается в источниках очень редко. Так, 28 ноября 1644 г. Федор Петрович Строганов в своей

[1] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 395—397.
[2] «Уложение», гл. XVI, ст. 1.

челобитной о вызове к суду приказчиков Чусовской вотчины его двоюродного брата Дмитрия Андреевича, вспоминая о разделе земли между своим отцом и дядей, писал: «и по розделу досталось отцу моему Петру и мне... сена ставить на Симакину лугу по вся годы по сту копен. А копнам мера — вверх через копну 2 сажени с аршином, а кругом 3 сажени». [1]

Сошное письмо

Основной единицей обложения в Московском государстве XVI—XVII вв. была соха. В соху полагалось определенное количество четвертей земли. Следует сказать, что в Московском государстве различались три основные категории земель: во-первых, частновладельческие служилые земли, т. е. земли, принадлежавшие служилым людям,— вотчины и поместья; во-вторых, тоже частновладельческие земли, но принадлежавшие духовным лицам и корпорациям,— земли церковные, монастырские, принадлежавшие отдельным епископским и митрополичьим кафедрам, патриарху; и, наконец, в-третьих, земли дворцовые и черные.

Каждая из этих категорий земель имела свой размер сохи. Земля по своему качеству разделялась на добрую, середнюю и худую. Для служилых земель в соху полагалось 800 четвертей доброй (т. е. хорошей, плодородной) земли в поле. В трех полях это составляло 2400 четвертей, или 1200 десятин. Середней земли в соху полагалось на служилых землях 1000 четвертей в поле, худой — по 1200 четвертей в поле. В трех полях середней земли считалось 3000 и худой 3600 четвертей, или 1500 и 1800 десятин.

Для земель монастырских, церковных, епископских и т. д. в соху в одном поле полагалось 600 четвертей доброй земли, 700 середней, 800 худой и 900 «добре худой». «Книга сошного письма 7137 года» о последном виде земель говорит: «а которая земля добре худа, бесплодна — 9000 четвертей». [2]

На черных землях соха имела иной размер — еще меньший. Доброй земли полагалось 500, середней 600, худой 700 четвертей в поле.

В основе неравенства сохи лежит классовое неравенство, осложненное борьбой внутри класса феодалов. Борьба служилого класса, в первую очередь дворянства, с ростом церковного и монастырского землевладения отразилась и на размерах сохи. Служилые люди, т. е. правящий класс, имеют наиболее легкое обложение, среднее место занимает монастырское землевладение, а наиболее тяжелым является обложение черных земель.

На служилых землях применялось еще так называемое «одабривание», т. е. приравнивание середней и худой земли к доброй путем увеличения количества середней и худой земли на соху. Середней земли в соху полагалось 1000 четвертей. Но писец имел право при производстве обло-

[1] «Фонд Строгановых», старая опись, карт. 3, д. 1640 г., л. 77.

[2] «Врем. Об-ва ист. и древн. росс.», кн. 17, Смесь, стр. 35.

жения, т. е. при определении количества сох, накинуть на каждые 100 четвертей середней земли еще по 25 четвертей такой же земли, или на всю соху 250 четвертей. Тогда он мог эту соху, увеличенную до 1250 четвертей в поле, посчитать за 800 четвертей доброй земли. Точно такое же одабриванье производилось и на худых землях, только наддача, или прибавка в этом случае была больше: на каждые 100 четвертей прибавлялось по 50 четвертей, а на всю соху худой земли, состоявшую из 1200 четвертей, наддача составляла 600 четвертей, и в сохе считалось 1800 четвертей, равных 800 четвертям доброй земли. Такое одабривание производилось только на служилых землях, т. е. известное преимущество оказывалось только правящему классу. Ни монастырские, ни черные земли «не добрились».

Соха, как и четверть, делилась на части по системе двух и трех. Она равнялась 2 полсохам, 4 четвертям сохи, 8 полчетвертям сохи, 16 пол-полчетвертям и т. д. По системе трех соха делилась на 3 трети, 6 полтретей, 12 пол-полтретей и т. д.

Но соха не всегда имела размер в 800 четвертей доброй земли в поле. Этот размер сложился на рубеже XVI и XVII вв. В более ранний период можно встретить иной размер сохи. Например, в Новгороде в XV—XVI вв. употреблялись фискальные единицы — обжа и сошка. Последняя иногда называлась малой сохой. Новгородская сошка, или малая соха, равнялась трем обжам. Среднее количество земли, входившее в обжу, составляло около 10 четвертей в поле, т. е. около 5 десятин, следовательно в малой сошке было 15 десятин, или 30 четвертей в поле. Когда в Новгородской области стали заводить московские порядки, московскую соху считали равной 10 новгородским сошкам, т. е. в конце XV в. московская соха считалась равной 300 четвертям в поле. Она была значительно меньше позднейшей московской сохи. Следует отметить, что даже в начале XVII в. московская большая соха не была повсеместной. Яренские писцы и дозорщики 1608 г. Василий Ларионов и подьячий Андрей Горохов положили в соху в Яренском уезде или по 125 четвертей в поле середней земли, или по 150 худой. [1]

В бывших новгородских землях, которые затем вошли в состав Московского государства, в частности на русском Севере, встречается другая, более мелкая единица — выть. Выть встречается главным образом на черных землях. По «Книге сошного письма 7137 года», в выть полагается 12 четвертей доброй земли в поле, 14 четвертей середней и 16 четвертей худой. Выть, как и соха, делилась на части по системе двух и трех: полвыти, четверть выти и т. д.; треть выти, полтрети выти и т. д. На Севере иногда встречается фискальная единица — плуг, употребляемая в том же значении, что и выть. Плуг также делился на части по системе двух и трех.

---

[1] А. М. Гневушев. Акты времени правления царя Василия Шуйского. М., 1915, стр. 291.

Московское правительство в течение XVII в. стремится привести все многообразие фискальных единиц к одной определенной единице обложения. Такой общей единицей была признана большая московская соха в 800 четвертей доброй земли в поле. В течение XVII в. делаются попытки распространить эту большую соху на все категории земель.

Сошному письму и обложению на его основе подлежало не только сельское население, но и посадские люди, т. е. городское население. В документах XVII в. встречается упоминание о так называемой «подворной» сохе, которая применялась главным образом при обложении посадских людей. Посадское население занималось и земледелием, но основными его занятиями официально признавались ремесла и торговля. По своему экономическому положению посадские люди делились на лучших, середних, молодших и худых (иногда на самых молодших и самых худых). Единообразия в этой терминологии не было. Писцы, производя обложение посада налогами, считали в сохе определенное количество посадских дворов, причем для лучших посадских людей это количество было меньше, для беднейшей части посада количество дворов в сохе увеличивалось. Например, устюжские писцы 1623—1626 гг. Никита Васильевич Вышеславцев и подьячий Аггей Федоров положили в Устюге Великом на посаде в соху или по 13 дворов лучших людей, или по 30 дворов середних, или по 70 дворов молодших, или по 100 дворов худых людей [1]. Сольвычегодские писцы Парфений Никифорович Мансуров и подьячий Василий Архипов положили в соху по 20 дворов лучших людей, по 30 середних и по 114 молодших [2].

Когда население одновременно занималось и земледелием и торговлей, писцы комбинировали поземельную соху с подворной. Так, уже упоминавшиеся яренские писцы 1608 г. В. Ларионов и А. Горохов в Плесовской волости по р. Вычегде положили в соху по 125 четвертей середней земли и по 150 худой, и, кроме того, «из середних дворов положено в сошное письмо 5 дворов (из общего количества 67.— *Н. У.*), а достальные середние и молотчих людей дворы (250 дворов. — *Н. У.)* в сошное письмо не положены, потому что у них торговых людей нет, а положено в сошное письмо пашня». [3]

С сохи взималась определенная сумма, раскладка которой между плательщиками производилась самим посадским или волостным миром в соответствии с экономическим положением каждого плательщика.

Меры вместимости. Меры сыпучих тел

Для XVI—XVII вв. имеется достаточное количество источников, на основании которых можно составить вполне четкое представление о мерах сыпучих тел. В частности, Торговая книга говорит об этом виде

[1] «Писц. кн.», № 506.

[2] «Писц. кн.», № 446.

[3] А. М. Гневушев. Указ. соч., стр. 308.

мер следующим образом: «Коли меряют хлеб, ино меряти оковами и четвертями. В окове 4 четверти; в четверти 2 осьмины или 8 мер; в полчетверти 4 меры: на ино (т. е. иначе — *Н. У.*), в четверти 2 осьмины, а четвериков, или мер, в осьмине — 4 четверика».[1] Это те же самые меры сыпучих тел, которые можно наблюдать и в период феодальной раздробленности. Новой мерой является только четверик, или четвертая часть осьмины, который не встречается в более ранних источниках. В одном из хронографов начала XVII в. появление четверика как хлебной меры связывается с голодом 1601 г. Дороговизна хлеба лишала возможности отдельных покупателей приобретать большое количество хлеба и вызвала стремление к уменьшению меры. [2]

В XVII в. оков, или кадь, как мера сыпучих тел выходит из употребления. Наиболее крупной хлебной мерой становится четверть. Не трудно заметить, что четверть делилась, по системе двух, на 2 осьмины, 4 полосьмины, 8 четвериков. 16 полчетвериков и т. д. Кроме того, четверть делилась и по системе трех — на 3 трети, 6 полтретей, 12 полполтретей и т. д.

По исследованию А. И. Никитского, московская четверть была больше древней четверти. Четверть московского периода вмещала до 6 пудов ржи. Для муки вес был несколько меньше — четверть ржаной муки весила 5 пудов. [3]

Такой объем имела та новая мера, которая была установлена в 1624 г. и разослана на места. [4] Размер четверти XVI в. был меньше, и подтверждается это документами XVII в. В XVII в., даже во второй его половине, иногда обнаруживалось, что на местах население продолжает еще пользоваться старыми мерами. Так, 30 апреля 1664 г. каргопольский таможенный голова Семен Егупьев обратился в Приказ новгородской четверти с просьбой о выдаче ему новой заорленой меры — медного четверика. При этом таможенный голова указал, что мера, которою пользуются в Каргополе, прислана еще в царствование Федора Ивановича, т. е. в конце XVI в. «И та мера, — писал голова, — мала, против московской и иных мер не сходитца гораздо — у чети полосьмины нет, против московские торговые меры и иных городов». Население жалуется на такую неравномерность, и голова просил указа о замене меры; сам он без царского указа не смеет этого сделать. Просьба С. Егупьева была удовлетворена, и в Каргополь отправлен новый медный заорленый четверик. [5].

---

[1] «Зап. Отд. русск. и слав. археол. Петерб. археол. об-ва, т. I, СПб., 1851. стр. 115.

[2] «И от того времени начаша на Москве и во всех городех руськых всякое жито четвериками покупати, а четверик имянуется осмая доля четверти, а четвертая доля осмины, теми же четвериками торговати и мерити навыкоша». («Русские достопамятности», т. I, стр. 176—177).

[3] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 373—420.

[4] ААЭ, т. III, № 151.

[5] «Прик. дела ст. лет», 1664 г., д. 105, лл. 1—2.

Четверть — основная единица хлебной меры — была только счетной единицей. Вмещавшая в себя 6 пудов ржи, она была слишком велика и не могла служить фактической мерой. В XVI в., когда объем четверти был меньше, в качестве фактической меры рассылалась осьмина. С увеличением объема четверти в первой половине XVII в., на места тоже были посланы осьмины, но тут же рекомендовалось сделать более мелкие меры — полосьмины и четверики — для фактического употребления. Присланной медной осьмине присваивалось значение лишь контрольной меры.[1] В качестве фактической меры она тоже была велика. В хозяйственной практике применялись главным образом полосьмины и четверики.[2] А во второй половине века из Москвы рассылаются уже четверики.[3]

Тот объем четверти, который был указан, т. е. 6 пудов ржи, имела таможенная, или торговая четверть. Московская хозяйственная практика различала еще казенную приимочную и казенную раздаточную, или отдаточную, меру. Приимочная мера — та, которой измерялся хлеб, поступавший в казну в порядке разного рода натуральных сборов; раздаточная — та, которой выдавалось хлебное жалованье служилым людям по прибору. Объем таможенной и казенной приимочной меры, как правило, совпадал. Что же касается раздаточной меры, то она была меньше. Источники XVII в. позволяют утверждать, что отношение между приимочной и раздаточной мерой не было строго определенным. Обычно считалось, что раздаточная мера вдвое меньше приимочной. Это подтверждается и соответствующими документами.[4] Но иногда раздаточная мера была меньше половины торговой или казенной приимочной меры, достигая только 0,43 или даже 0,37 торговой меры. В 50-х годах

---

[1] ААЭ, т. III, № 151.

[2] В июле 1658 г. двинский воевода кн. П. С. Прозоровский принимал солод, присланный из Вологды «в вологоцкую таможенную полосьмины» («Прик. дела ст. лет», 1654, д. 107, ч. 1, л. 226).

[3] «Прик. дела ст. лет», 1664 г., д. 105, лл. 1—2; ААЭ, т. IV, № 240. В росписном списке соликамского воеводы кн. М. Ф. Шейдякова, принявшего город у воеводы Н. П. Мельницкого 16 февраля 1686 г., среди дел 193 (1684—1685) г. имеется «Челобитье Соли Камской таможенного и кружечных дворов головы Федора Шелковникова с товарыщи на усольца на Емельку Красильникова, что де он, Емелька, их, голову с товарыщи, огласил напрасно, будто они, стакався с торговыми людьми и с уездными крестьяны, хлебную меру спустили менши медного заорленого четверика», («Город. кн. по Соли Камской», № 14, лл. 108 об.— 109.)

[4] В 1624—1625 гг. новгородский воевода кн. Г. П. Ромодановский собирал хлеб с подведомственного ему края вместо данных денег. Всего за год было собрано «1909 четвертей бес пол-полтретника ржи и ярицы, четверть с осьминою и по лучетвериком пшеницы, 156 чети с полуосьминою и полчетверика и пол-полчетверика ячменю, 168 чети и пол-полчетверика овса в приимошную меру. А в отдаточную меру того хлеба 3818 четвертей бес полтретника ржи и ярицы, 3 четверти с четвериком пшеницы, 312 чети с осьминою и с четвериком и пол-полчетверика ячменю, 336 четвертей и с получетвериком овса» (Гор. книги по Новгороду Великому, № 13, лл. 48—48 об.). Из сравнения этих цифр можно легко убедиться, что раздаточная четверть вдвое меньше приимочной.

XVII в. в Новгороде казенная раздаточная четверть равнялась только 3.5 четверикам торговой меры, т. е. составляла 43%. В 1659 г. новгородский воевода кн. Г. С. Куракин отдал распоряжение об увеличении торговой четверти. После проведения этого мероприятия казенная раздаточная четверть стала равняться только трем четверикам, или 37% торговой четверти.[1] Так было в Новгороде. А в Кольском остроге отношение между приимочной и раздаточной четвертью было иным: раздаточная четверть составляла 0,75 приимочной. Здесь раздаточная четверть была больше [2]. Быть может, это объясняется тем обстоятельством, что в Кольском остроге своего хлеба не сеяли, а доставка его из Архангельска была сопряжена со значительными трудностями.

Получая хлебное жалованье в такую уменьшенную меру, служилые люди по прибору, в частности стрельцы, очень ревниво следили за тем, чтобы мера не уменьшалась в силу чисто случайных причин. В этом отношении очень любопытна челобитная, поданная стрельцами Кольского острога в Приказ новгородской четверти 15 сентября 1664 г. Стрельцы просили о присылке новой раздаточной меры, так как старая от продолжительного употребления стала, по их мнению, меньше, чем она была раньше. Стрельцы сообщают вес этой меры — не хлеба, который в нее входил, а самой тары. Медная мера, присланная в Кольский острог еще в 7138 (1629—1630) г., весила 1 пуд 16 фунтов. Эта мера к 1664 г., по мнению стрельцов, пришла в негодность: «та медная заорленая раздаточная мера сысподи побилась и со сторон помялась, а сверху стерлось до колец, и згребать нельзя. А ныне, государь, та мера стала весом в пуд 12 фунт меди. А утерлось, государь, тое меди 4 фунта». Думный дьяк Приказа новгородской четверти Алмаз Иванов не признал основательность жалобы и отказался переменить меру, порекомендовав стрельцам обойтись собственными средствами. Отметив, что такие же меры разосланы по всем городам, и ниоткуда нет жалоб, он вынес свое решение: «Медные меры переменять не доведетца... А что помялось, и те места выправить мочно». [3]

Полного единообразия в отношении мер все же на местах не было. Иногда население пыталось проверять меры объема весом. Порою на такую же точку зрения становилось и московское правительство. Это особенно следует сказать об отпуске хлебных запасов в Сибирь. Так, 11 февраля 1637 г. чердынский воевода Б. М. Камынин получил определенное предписание из Приказа новгородской четверти сообщить в Москву,

---

[1] «Прик. дела ст. лет», 1660 г., д. 15, л. 11.

[2] В сентябре 1657 г. Кольский воевода Б. Г. Благово сообщал в Новгородскую четверть о получении с Двины 4485 четвертей с осьминою ржи и о приеме этого хлеба в раздаточную меру: «И у того, государь, двинского присыльного хлеба сверх вологоцкие таможенные присыльные меры в кольскую в раздаточную в стрелецку медяную меру примеру у трех четвертей четверть, итого 1495 четвертей с четвериком и с получетвериком ржи». («Прик. дела ст. лет», 1652 г., д. 107, ч. 1, л. 202).

[3] «Прик. дела ст. лет», 1664 г., д. 213, ч. 1, лл. 225—227.

«какова мера, в которую рожь купят, весом».[1] А в грамоте от 14 ноября 1641 г. другому чердынскому воеводе Г. А. Загряжскому дается и точное отношение между мерой и весом: «На Верхотурье поморские сошные хлебные запасы таможенные головы в наши житницы приимают и в Тоболеск отпускают в вес — четверть муки ржаные по 5 пуд с четью, а ржи четверть по шти пуд с четвертью, и с мехами», т. е. в этот вес входила и тара — мешки.[2] Вес четверти ржаной муки без тары принимался равным 5 пудам.[3]

Но иногда центральное правительство относилось отрицательно к таким попыткам контролировать хлебные меры весом. Например, в апреле 1661 г. в Приказ новогородской четверти поступила челобитная из Кольского острога от земского старосты Семена Нечаева и всех посадских людей о необходимости устранить несоответствие между отдельными мерами. Осенью 1660 г. в Кольский острог было привезено с Двины 4485 четвертей с осьминою ржи на хлебное жалованье кольским стрельцам. Вместе с хлебом была прислана «полмера», очевидно полосьмины. Кольские приимочные целовальники, т. е. лица, избранные посадским миром для приема присланного хлеба, — Данило Киприянов и Потап Федоров, установили, что «присыльная двинская полмера с прежними двинскими присыльными мерами не сойдетца — меньши треми фунты». Сообщая об этом несоответствии мер, Кольский посадский мир запрашивал указаний, как в таком случае поступить. Ответ приказа был краток и вразумителен. В помете думного дьяка Приказа новогородской четверти Алмаза Иванова содержится следующее решение: «Какова мера прислана, в такову меру и принять. А весом хлеба против меры знать не мошно: хлеб хлеба сущи — сырой хлеб тяжеле, а сухой лехче».[4]

Несмотря на определенную объединительную метрологическую политику московского правительства, в течение всего XVII в. на местах продолжают жить свои местные меры, главным образом меры сыпучих тел. Иногда их отличие от общегосударственных простиралось так далеко, что на местах были свои меры — иные и по названию, и по содержанию. Порою при одинаковом названии меры имели разный объем. Иногда кратные отношения между отдельными видами мер были иными. Например, четверть содержала иное количество четвериков по сравнению с московской казенной мерой.

Нет возможности дать исчерпывающий перечень всех местных мер. По существу этот материал еще не собран. Можно ограничиться только некоторыми примерами.

---

[1] АИ, т. III, № 197.

[2] Там же, № 219.

[3] Там же, № 93, Царская грамота верхотурским воеводам И. И. Пушкину и Д. И. Зубову от 10 января 1621 г. о хлебных запасах для сибирского архиепископа Киприана.

[4] «Прик. дела ст. лет», 1660 г., л. 129, лл. 538—539.

Так, на Вятке была своя мера сыпучих тел, называвшаяся куницей. В 1662 г., во время голода в Москве, было решено купить хлеб в Вятской земле. Хлеб был доставлен из разных вятских городов и при получении вновь перемерен. При этом оказалось, что в Котельниче было куплено «ржи 442 куницы 2 четверика, да примерено сверх покупки 6 куниц, обоего ржи и с примером 448 куниц 2 четверика». Одновременно с проверкой количества хлеба был сделан и перевод с вятских мер на московские. 448 куниц 2 четверика в переводе на московские меры дают 1345 четвертей и 1 осьмину. В Котельниче вместе с рожью был куплен и овес. Овса привезли 460 куниц 3 четверика. В переводе на московские меры это дает 1382 четверти с полосьминою. На основании этих данных можно установить взаимоотношение между московскими и вятскими мерами. Если предположить, что в вятской кунице 4 вятских четверика, то 448 куниц 2 четверика можно представить в виде 448,5 куниц. Точно так же и 1345 четвертей и 1 осьмину можно представить в виде 1345,5 четвертей. Деление 1345,5 на 448,5 дает в частном 3. Следовательно, вятская куница равна трем московским четвертям. Тот же результат получается и при проверке другого примера.

Тот же источник дает возможность установить совершенно точное отношение между вятской куницей и вятским четвериком В другом из вятских городов — Слободском — было куплено 500 куниц 3 четверика овса. Когда в Москве стали проверять этот хлеб, то оказалось лишнего овса 3 куницы 2 четверика. Если сложить эти цифры, то в итоге будет 503 куницы 5 четвериков. Источник дает свой итог: «Обоего овса и с примером — 504 куницы с четвериком».[1] Из сопоставления этих данных легко убедиться, что в вятской кунице было 4 вятских четверика.[2]

Таким образом, вятская куница делилась на 4 вятских четверика и была втрое больше московской четверти. Вятский четверик был равен 6 московским четверикам ($8 \times 3 = 24$; $24 : 4 = 6$).

Отношение вятской куницы к московской четверти как 1 : 3 официально принималось, но тем не менее оно было не вполне точным. 3 июня 1663 г. верный голова вятской хлебной покупки 1662 г. Иван Матвеев и целовальники объясняли в Приказе тайных дел недомер, получившийся при проверке хлеба, доставленного с Вятки в Москву, несоответствием между вятскими и московскими мерами и неточностью перевода с одних мер на другие: «недомер в московскую таможенную меру учинился для того, что отпущен с нами покупной хлеб в вятцкую меру, а в той вятцкой мере кладено ис куницы по три четверти московских; а в той кунице трех четвертей не будет». Одновременно голова и целовальники указывали, что с ними «прислана вятцкой меры четвертая доля, называетца четвериком, заорленая и за железным кружалом. И против тое вятцкие меры вятцкой покупной хлеб сойдетца». Для

[1] «Прик. дела ст. лет», 1662, д. 118, лл. 1—5.

[2] 500 куниц 3 чк. + 3 кун. 2 чк. = 503 кун. 5 чк. = 504 кун. 1 чк.

устранения этого недоразумения голова Иван Матвеев подал челобитную о том, чтобы «тое вятцкую меру с московскою таможенною четвертью примерить». Просьба была удовлетворена, и 11 июня 1663 г. голова Московской померной избы, находившейся в ведении Приказа большого приходу, Иван Смолин сообщил результат проверки: «в вятцкой кунице московских таможенных две чети пять четвериков с получетвериком с верхи в торговую меру в восемь четвериков». [1]

Вятский воевода Иванис Михайлович Кайсаров в своей отписке, полученной в Приказе новгородской четверти 28 декабря 1662 г., давал несколько иное отношение между вятской и московской мерой: «а из вятцкие куницы будет московских полтретьи четверти». [2] Другой вятский воевода, кн. Григорий Афанасьевич Козловский, весной 1664 г. давал новое соотношение между вятскими и московскими мерами: «и я, холоп твой, велел при себе тот московской медной заорленой четверик с вятцкою куницею против гороху рожью и овсом припустить. И по припуску, государь, из вятцкой куницы три четверти московских без дву четвериков». [3]

Таким образом, получается уже три различных соотношения между вятскими и московскими мерами: вятская куница равна 2 четвертям 5 с половиной четверикам, либо 2 четвертям и 4 четверикам, либо 2 четвертям 6 четверикам. Коломенские и московские приказные люди, принимавшие вятский хлеб, считали в вятской кунице три московских четверти и были правы. Вятская куница равна 2 четвертям 5 с половиной четверикам московским «с верхи», а обычно хлеб принимался «под гребло». Мера «под гребло» как раз и даст это соотношение, потому что при перемерке хлеба, купленного «с верхи», в меру «под гребло» «примеру», т. е. излишка, оказывалось полуосьмина на каждую четверть. [4]

Поэтому можно принять отношение между вятской куницей и московской четвертью, как 1 : 3, хотя осторожнее будет сказать, что вятская куница содержала в себе несколько меньше трех московских четвертей.

Были свои меры сыпучих тел и в Пермском крае. Источники XVI—XVII вв. позволяют установить, что основной мерой сыпучих тел в Соли Камской и ее уезде являлась сапца. Так, 1 ноября 1593 г. была написана мировая запись между посадскими людьми Соли Камской и Преображенским Пыскорским монастырем о совместном владении мельницей на р. Талице. При этом договаривавшиеся стороны заключили соглашение о плате, взимаемой за размол зерна. В качестве меры, которой измерялся хлеб, поступавший на мельницу, названа сапца. В мировой записи

---

[1] «Прик. дела ст. лет», 1662 г., д. 118, лл. 282—283, 285.
[2] Там же, л. 289.
[3] Там же, 1652 г., д. 107, ч. 2, л. 383.
[4] Там же, лл. 287—289.

подчеркнуто, что сапца делится на четыре более мелкие части.[1] В документах XVII в., особенно в первой половине века, часто встречается упоминание о сапце как о хлебной мере.[2]

Но сапца не только хлебная мера, ею измерялась и соль. 8 ноября 1636 г. Иван Максимович Строганов и сын его Данило Иванович запродали гостю Григорию Леонтьеву Никитникову 12 000 сапец соли.[3] Но соль измеряется не только сапцой. Очень часты упоминания источников о продаже соли на вес. Тот же И. М. Строганов 14 июля 1635 г. запродал гостиной сотни торговым людям В. Г. Шорину и Я. С. Патокину 14 000 пудов соли выварки своих Яйвинских варниц и 12 000 пудов Чусовских варниц.[4] А в источниках второй половины XVII в. дается совершенно точное отношение сапцы к основной весовой единице — пуду. Так, в приходо-расходной книге Пыскорского монастыря за 197 (1688—1689) г. следующим образом указывается годовая выварка соли в монастырских соляных варницах: «Во 197 году в Пыскорском Преображенском Спаском монастыре в соляных в Рожественском и Березовском промыслах в 10 варницах выварено соли во весь год 41 868 сапец, а во всякой сапце по шти пуд».[5]

Таким образом, сапца соли по весу равнялась шести пудам. Это дает возможность установить реальный объем сапцы и как хлебной меры. Если удельный вес соли вдвое больше удельного веса ржи, то в сапцу должно помещаться 3 пуда ржи. Как уже было установлено, московская четверть ржи весила 6 пудов, вес сапцы — вес половины четверти, т. е. осьмины. Следовательно, сапца как хлебная мера равна осьмине. В пермских источниках второй половины XVII и начала XVIII в. сапца как хлебная мера не встречается; она заменяется общегосударственными мерами. Но здесь можно отметить одно любопытное явление. При покупке

---

[1] «А от молотья имати с сапцы со пшеницы по 10 денег, с ядрец по 10 денег, с ячмени по осьми денег, со ржи и с ярицы на мелкое молоть — по 5 денег, а с хлебново по 4 деньги, со ржи с солоду 3 деньги. А сапца розделити в меру на четверо» («Грамоты колл. экон. по Соликамску», № 11146/14, л. 2).

[2] Так, 23 июня 1623 г. крестьянин д. Городище, Соликамского уезда, Аверкий Данилов Кырнаев дал Соликамскому Вознесенскому монастырю землю под мельницу на берегу реки Усолки. За этот вклад старцы обязались после постройки мельницы бесплатно молоть А. Кырнаеву «по 30 сапец на год» — 5 сапец ярового, а полтретьятцать (т. е. 25.— *Н. У.*) сапец ржи». («Грамоты колл. экон. по Соликамску», № 11216/84, л. 1).

[3] «Фонд Строгановых», новая опись, карт. 1, № 41 (45), лл. 1—4.

[4] «Фонд Строгановых», старая опись, карт. 3, д. 1636 г., лл. 37—42.

[5] «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, л. 1. Те же сведения даются и в других источниках. Например, 15 мая 1687 г. Соликамский соляной промышленник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, соборный старец Марк Щербаков занял у яранского посадского человека Василия Федорова Захаровых 524 руб. 32 алт. 2 д. денег. За этот долг старец обязался поставить кредитору «монастырской своей вывороншой соли 1500 сапец белые, сухие без песку и безо всякого подмесу. Весить ту соль — всякая сопца против шти пуд». (Моск. Обл. музей, Архив Воскрес. монастыря на р. Истре, д. 491, Соликамские соляные промыслы Воскрес. монастыря, разд. II, л. 73).

хлеба на соликамском рынке крупными покупателями, например Пыскорским монастырем, или при продаже хлеба приезжими продавцами из других уездов, счет продаваемого и покупаемого хлеба ведется в четвертях. Но если продавцом является житель Соликамского уезда, хлеб считается осьминами вне зависимости от его количества. Например, по данным Соликамской таможенной книги 1707 г., 20 декабря этого года «продали кунгурцы Василей Ерохов с товарыщи привозного хлеба своей пахоты 8 четей пшеницы, 4 чети муки овсяной, 4 чети ячмени, 2 чети толокна».[1] В тот же день «продал обвенец (т. е. житель Обвенского поречья, Соликамского уезда.— *Н. У.*) Тимофей Конев привозного хлеба своей пахоты 8 осьмин ячменя».[2] Количество подобных примеров можно значительно увеличить. Ими наполнены записи соликамских таможенных книг начала XVIII в. Если продается не хлеб, а другой сыпучий товар, например поташ, счет тоже ведется в осьминах, даже для продавцов, прибывших не из Соликамского уезда.[3] Отсюда можно сделать вывод, что, привыкнув к сапце как к мере сыпучих тел, население продолжает пользоваться ею и после официальной отмены местных мер, хотя и под новым названием.

Каковы были деления сапцы на части? Уже цитированная мировая запись 1593 г. посада Соли Камской с Пыскорским монастырем содержит указание: «сапца розделити в меру на четверо».[4] Это как раз совпадает с делением московской осьмины, которая содержала в себе 4 четверика. Но в источниках конца XVI в. встречается указание и на другое деление сапцы. В духовной соликамца Ивана Дмитриева Волынцева от 30 мая 1600 г. при перечислении остающегося после завещателя имущества указано: «да сияно пшеницы — сапца без шти позмогов».[5] Вопрос о количестве позмогов, содержавшихся в сапце, остается открытым. Священник И. Словцов в своей статье, посвященной пермским мерам,[6] приходит к мысли, что поэмог составлял $^1/_{24}$ часть сапцы. Нет надобности подробно останавливаться на его рассуждениях, так как они целиком основаны на предположениях. Никаких фактических данных для подтверждения своей мысли автор не приводит. Доказанным можно считать только то, что позмог составлял какую-то часть сапцы.

Вышедшая из употребления как мера сыпучих тел во второй половине XVII в. и замененная московской осьминой, сапца продолжает жить в Пермском крае как весовая единица, более крупная, чем пуд.

---

1 «Сибирский приказ», кн. № 1477, л. 86 об.

2 Там же, л. 92.

3 Например, 5 октября 1707 г. «продал новоусолец Максим Мысов привозного своей работы 50 полшесты осьмины пепелу» (там же, л. 45); 25 декабря 1707 г. продал кунгурец Василий Сартаков 12 осьмин пепелу» (там же, л. 122 об.).

4 «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11146/14, л. 2.

5 Там же, № 11153/21, л. 2.

6 «Пермский сборник», кн. 1. М., 1859, стр. 124—129.— И. Словцов. Сапца и позмог, две древние единицы веса сыпучих тел, существовавших в Соликамском крае.

Всего чаще сапца употребляется при взвешивании соли. В уже цитированной приходо-расходной книге Пыскорского монастыря за 1688—1689 гг. сообщены сведения о продаже и об остатке соли, причем эти цифры с несомненностью свидетельствуют, что сапца и пуд — весовые единицы, кратные по отношению друг к другу: «И всего по вышеписанным разным статьям соли продано 40 784 сапцы 4 пуда... А в статках тое соли осталось налицо за продажею ко 198 году 1083 сапцы 2 пуда».[1] Итог продажи и остатка дает сумму в 41 868 сапец, т. е. как раз общую сумму годовой выварки соли в данном году.[2]

Но сапца является весовой единицей не только при операциях с солью. Сапцой пользуются при определении количества и других товаров, приобретаемых на вес. Так, в течение 7205 (1696—1697) г. Пыскорским монастырем для его Рождественского (Дедюхинского) соляного промысла «куплено с Редийского городища у Федьки Роганова мочал 109 сапец».[3] Сапца как единица измерения мочала могла быть только весовой единицей. Такие товары, как мочало, пенька, покупались в Московском государстве только на вес. Если в отношении соли сапцу еще можно в какой-то мере рассматривать как меру сыпучих тел, то в отношении мочала такой подход совершенно исключается. Можно сделать вывод, что к концу XVII в. сапца из меры сыпучих тел превратилась в меру веса.

Была своя мера сыпучих тел и на Двине — пуз. Ее реальное содержание выяснено в предыдущем разделе, когда речь шла о мерах сыпучих тел периода феодальной раздробленности. Пуз как мера сыпучих тел — хлеба и соли, встречался на Двине и в период централизованного Московского государства. Как уже указывалось, пуз по своему объему соответствовал московской полуосьмине и вмещал в себя 1.5 пуда ржи или 3 пуда соли.

Вятские, пермские и двинские меры сыпучих тел имеют и названия и содержание, отличные от основных московских мер. Иногда при тождестве названий меры не совпадали в объеме. Московские власти это отлично знали, и когда казенный хлеб пересылался из одного города в другой, то обычно вместе с хлебом посылалась и мера, которой покупался хлеб. Эта мера помещалась в мешок, а на завязку ставилась печать, чтобы нельзя было дорогой меру подменить. Если бы четверти везде были одинаковы, не было бы надобности в такой посылке мер. Да есть и прямые свидетельства источников о несовпадении даже официальных образцов мер в разных городах. Так, в июне 1663 г. двинский воевода кн. О. И. Щербатов и дьяк А. Богданов принимали хлебные запасы, присланные для Кольского острога из Вологды и с Вятки. Вместе с хлебом были присланы и спуски, т. е. копии мер. Прежде чем принять хлеб, лица двинского воеводского управления ре-

[1] «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, лл. 3—3 об.
[2] Там же, л. 1.
[3] Там же, л. 489.

шили проверить меры. При этом оказалось, что вологодская мера совпала с двинской таможенной медной заорленой осьминой. Вятская же мера оказалась меньше, и пришлось досыпать две пивные кружки.[1]

Здесь налицо неточность спусков с казенных мер. Но имеются сведения и о различии в разных местах самих четвертей. Неоднократно уже упоминавшийся швед Иоганн Кильбургер в своей книге о русской торговле говорит и о мерах сыпучих тел. При этом он сравнивает московскую меру с мерами других городов. Кильбургер считает, что три московских четверти равны двум новгородским, псковская четверть немного больше новгородской, а четверть на Печоре, в свою очередь, больше псковской.[2] Таким образом, Кильбургер дает четыре размера четверти для разных районов Московского государства. А. И. Никитский оспаривает это утверждение Кильбургера и считает, что оно сделано без достаточного количества фактических наблюдений. Неосновательность мнения Кильбургера он доказывает ссылкой на документы, свидетельствующие о том, что новгородским стрельцам хлебное жалованье выдавалось в московскую таможенную меру.[3] Соображения А. И. Никитского мало убедительны. Приведенные им документы свидетельствуют лишь о том, что казенная мера рассылалась по разным городам, в том числе и в Новгород, и была обязательна к употреблению в этих городах. Это положение можно считать доказанным на основании многочисленных свидетельств различных источников. Но, как уже отмечалось, старые меры были живучи на местах и нередко существовали наряду с казенными. Сведения, сообщаемые Кильбургером, ценны в том отношении, что они отражают разнообразие мер в различных местностях. Возможно, что соотношения, указываемые Кильбургером, не точны. Но на точности сообщения Кильбургера можно и не настаивать. Для нас важно, что Кильбургер не сочинил это разнообразие мер, что это разнообразие он имел возможность наблюдать в современной ему русской действительности.

Некоторые документы XVII в. как раз и подтверждают эти наблюдения Кильбургера. Так, по свидетельству псковского воеводы кн. Ф. Ромодановского, относящемуся к марту 1665 г., в Пскове торговая четверть равнялась 16 четверикам и была вчетверо больше казенной раздаточной четверти.[4] Еще больше была четверть в Романове. Но в отличие от псковской, она делилась не на 16, а на 8 четвериков, из которых каждый равнялся московской осьмине. Эти сведения сообщили романовские земские старосты Федор Ефимов Ласкин и Григорий Данилов Трусов в апреле 1666 г. сыну боярскому Григорию Федорову Айгустову, приехавшему в Романов править таможенный и кабацкий недобор на откупщике Федоре Сидорове.[5]

[1] «Прик. дела ст. лет», 1652 г., д. 107, ч. 2, лл. 286—287.
[2] И. Кильбургер. Указ. соч., стр. 150.
[3] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 393—394.
[4] «Прик. дела ст. лет», 1665 г., д. 25, л. 194.
[5] Там же, д. 62, л. 93.

Таким образом, псковская торговая мера была вчетверо больше казенной раздаточной меры и вдвое больше приимочной, поскольку раздаточная равнялась, как правило, половине приимочной. Она отличалась от московской приимочной меры и своими делениями — в ней было 16 четвериков. Псковский четверик равнялся московскому. Романовская четверть, как и московская, делилась на 8 четвериков, но романовский четверик равнялся московской осьмине, следовательно был вчетверо больше московского четверика, и четверть, состоявшая из восьми таких четвериков, была вчетверо больше московской.

В некоторых местностях можно наблюдать различные соотношения между четвертью и ее частями. Московская четверть, как уже было указано, делилась на 2 осьмины, или 4 полуосьмины, или 8 четвериков. Но не везде четверть была равна 8 четверикам. Так, в тотемской четверти было только 4 четверика. Это обнаружилось, например, в 1674 г. во время отчета головы (т. е. управляющего) тотемского казенного соляного промысла Василия Кожина. Когда голова представил в Приказ устюжской четверти отчетные документы — свои приходо-расходные книги и ценовную (оценочную) роспись, по которой он сдавал казенное имущество своему преемнику, то обнаружилось несоответствие в цифрах. При промысле велось и сельское хозяйство — была приписана полудеревня Федотовская, где сеялся хлеб. Когда проверялись данные об урожае ржи, то оказалось, что по приходо-расходным книгам головы урожай, за вычетом семян, составлял 19 четвертей без четверика, а в ценовной росписи было указано 18 четвертей 3 четверика. В приказе отметили это несоответствие. Приказ считал, что, по сведениям ценовной росписи, нехватает осьмины, так как, по его мнению, в четверти должно быть 8 четвериков. По этому поводу был допрошен голова Василий Кожин. В записной книге Приказа устюжской четверти об этом рассказывается следующим образом: «А голова Васька Кожин сказал: на Тотьме де у них пишут, и он, Васька, в книгах писал по тотемской мере по 4 четверика в четь, а московской меры в тотемском четверике 2 четверика, потому де по счетной выписке и не объявилось осьмины. И будет, по скаске головы Васьки Кожина, мера той ржи положить по 4 четверика в четь, и по ценовной ржи мера против книг Васьки Кожина сойдетца».[1] Таким образом, 19 четвертей без четверика равно 18 четвертям 3 четверикам, так как тотемский четверик являлся четвертой частью четверти, а не осьмины, как московский.

Был свой особый четверик и в Трубчевске. Во время подготовки к русско-польской войне 1632—1634 гг. московское правительство проверяло наличие войска, вооружения и продовольствия в городах, расположенных в местности, прилегающей к польской границе. В частности, в Трубчевском уезде было «сыскано всякого хлеба 1200 четвериков в трубчевскую меру. А по допросу на Москве трубчан Данилка Тегине-

[1] «Гор. кн. по Устюгу Великому», № 204, лл. 151 об.— 152.

ва да Непоспелка Григорьева, трубческой четверик против московской меры осьмина».[1] Таким образом, трубчевский четверик по своему объему равнялся половине московской четверти. Возможно, что трубчевский четверик является четвертой частью другой, более крупной меры, может быть заимствованной из соседней Литвы, так как объем литовской бочки составлял около полутора московских четвертей. А может быть, это четвертая часть древней кади, которая, по исследованию А. И. Никитского, вмещала около 14 пудов ржи. Во всяком случае, для 30-х годов XVII в. в Трубчевске отмечается наличие своей особой меры, не сходной с московской.

Четвертью и ее частями измерялся главным образом хлеб — зерно и мука. В XVII в., особенно при отправке хлебных запасов в Сибирь, делаются попытки проверять хлебные меры весом. Это в более позднее время, в XVIII—XIX вв., приводит к исчезновению специально хлебных мер в Зауралье и в Сибири и замене их весовыми единицами. Что же касается других районов государства, то зерно обычно измеряется мерами сыпучих тел, а для муки допускается вес. Так, во время голода 1662—1663 гг. кольский воевода стольник Я. М. Стрешнев вынужден был занимать хлеб у окрестного населения на жалованье кольским стрельцам. В росписи его кредиторов количество зерна указано в четвертях, а количество муки — в пудах.[2]

Для других видов сыпучих тел, в частности для соли, были свои меры. О сапце как соляной мере Пермского края, объемной и весовой, а также о двинском пузе говорилось уже достаточно подробно. Собственно соляную меру можно отметить для Старой Руссы — это луб. Объем луба легко устанавливается из одного дела Приказа устюжской четверти, возникшего в 1638—1639 гг. по челобитью тотемских солеваров гостиной сотни торговых людей И. П. Харламова с братьями. Братья Харламовы жаловались, что в Тотьме с них берут лишние пошлины. Приказ устюжской четверти решил собрать сведения о том, как взимается соляная пошлина во всех тех городах, где есть солеварни. Между прочим, 16 февраля 1639 г. из Приказа новгородской четверти, в ведении которого находилась Старая Русса, поступило сообщение, что старорусские солевары платят лубничную пошлину «с луба по 2 деньги, сколько в которой варнице лубов сваритца. А в лубе соли весом 5 пуд».[3] Таким образом, луб — соляная мера, вмещающая 5 пудов соли.

А. И. Никитский в своем исследовании о мерах древней Руси назвал ряд соляных мер — рогожу, или рогозину, мех и пошев. Последняя из этих мер тоже относится к Старой Руссе. Недостаток источников не позволил А. И. Никитскому установить ее точный размер. На

[1] «Книги разрядные по официальным спискам», т. II. СПб., 1855, стр. 465.

[2] Например: «Каргопольцу Офоньке Пометяеву 116 четвертей с осьминою ржи в роздаточную меру, 109 пуд муки ржаные». («Прик. дела ст. лет.», 1652 г., д. 107, ч. 2, л. 335).

[3] «Прик. дела ст. лет», 1639 г., д. 12, л. 155.

основании косвенных указаний документов, говорящих об измерении пошевами такого товара, как икра, он приходит к выводу, что пошев соли весил около 15 пудов. Что же касается рогожи, или рогозины, то на основании источников, указывающих одновременно и количество рогож и их вес, А. И. Никитский пришел к выводу, что вес рогожи колебался от 24 до 18 пудов. Идя таким же путем, он определил вес меха в 7 пудов.[1]

Эти выводы А. И. Никитского представляются мало убедительными. Едва ли рогожу можно рассматривать как меру соли — слишком велико колебание ее веса. Не была ли рогожа просто тарой, рогожным кулем, в котором перевозилась соль? Ведь в тех источниках, на которые ссылается А. И. Никитский, следом за указанием количества рогож идет вес соли. Если бы рогожа была точной мерой соли, подобной, скажем, пузу, то указания на вес не потребовалось бы. Думается, что будет правильнее признать рогожу, или рогозину, только тарой.

То же следует сказать и о мехе. А. И. Никитский путем соответствующих вычислений пришел к мысли, что мех соли весил 7 пудов. Можно указать источники, дающие вес меха соли, вчетверо превосходящий тот, который нашел А. И. Никитский. Во время Соловецкого восстания 1668—1676 гг. московское правительство конфисковало соляные промыслы Соловецкого монастыря на южном и юго-западном побережье Белого моря. Вместе с тем был конфискован и вологодский соляной двор Соловецкого монастыря, куда привозилась соль для продажи на вологодском рынке. Правительство организовало работу промыслов под наблюдением своих представителей, а продажу вываренной соли поручило вологодским выборным целовальникам. Книги соляной продажи этих целовальников сохранились и дают возможность установить, что учет соли велся и в мехах и на вес. Сопоставление цифр, записанных в книги целовальника 179 (1670—1671) г., вологодского посадского человека Бориса Оконичникова, позволяет определить вес меха соли в 28—29 пудов.[2] Таким образом, мех — тоже только тара. Косвенным подтверждением этого служат материалы приходо-расходных книг соляных промыслов Пыскорского монастыря. Учитывая вываренную и продаваемую соль в сапцах и пудах, монастырь ежегодно расходует определенные суммы для приобретения холста на соляные мешки.[3]

Но в XVII в. местные соляные меры постепенно выходят из употребления — соль продается на вес.

[1] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 383—385.

[2] «Да с Колмогор в привозе на шти дощаниках в 178 году в продажу ко 179 году 3032 меха, а по отписке с Колмогор, тое соли по колмогорскому весу 85 047 пуд 24 фунта... А в продаже тое соли по его ж Борисовым книгам Оконичникова 3339 мехов, весом 97 018 пуд». («Гор. кн. по Новгороду Великому», № 86, лл. 37—37 об.).

[3] Так, в 7205 (1696—1697) г. для Рождественского (Дедюхинского) промысла «куплено холста на соляные мешки к варницам 1610 аршин по 5 денег аршин, итого 40 рублев, 8 алт. 2 д.» («Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, л. 485 об.).

Приведенные данные о местных мерах сыпучих тел, конечно, не исчерпывают всего их многообразия. В источниках постоянно встречаются местные отклонения от общегосударственных мер. Необходимо проделать еще очень большую работу по собиранию этих конкретных данных, которые должны представить все метрологическое разнообразие отдельных местностей Московского государства. Эта работа должна вылиться в форму метрологического справочника, создание которого является одной из очередных задач.

Меры жидких тел

Основной мерой жидких тел в Московском государстве, как и в предшествующие периоды, было ведро. Точный объем его неизвестен. Хорошо известна только его вышина — 8 вершков. Указания на восьмивершковое, или полуаршинное, ведро встречаются почти в каждом документе, говорящем о казенной продаже вина.

Архидиакон Павел Алеппский, сын антиохийского патриарха Макария, приезжавший в Москву вместе со своим отцом в 1655—1656 гг. и описавший свое путешествие, дает между прочим и объем московского ведра. По его словам, «ведро содержит около 8 стамбульских ок».[1] В других местах своего «Путешествия» Павел Алеппский устанавливает взаимоотношение между основной русской весовой единицей — пудом и константинопольским оком: в пуде 13 ок.[2] Константинопольское око обычно принимается равным $3^1/_8$ русским фунтам. Отсюда вес жидкости, вмещающейся в русское ведро, определяется в 25 фунтов. Но это тоже объем приблизительный, и Павел Алеппский отмечает это обстоятельство.

А. И. Никитский предполагает, что восьмивершковое ведро должно иметь диаметр в 5 вершков. На этом основании он определяет вес воды, входящей в такое ведро, в 33 фунта 66 золотников, т. е. от 33 до 34 фунтов.[3] Конечно, это объем недостаточно точный, это лишь предположение, основанное на допущении, что диаметр восьмивершкового ведра равен 5 вершкам.

Что же касается более крупных мер жидкостей — бочек и насадок, то в документах московского периода упоминание о них встречается редко. В XVII в. бочка как мера жидкостей, повидимому, выходит из употребления. Это доказывается подрядами на поставку крупных партий вина. В этих документах вино всегда указывается в ведрах, вне зависимости от его количества.[4] Довольно часто в документах XVII в.

---

[1] Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, перев. с арабского Г. А. Муркоса, вып. IV. М., 1898 («Чтения в Об-ве ист. и древн. росс.», 1898, кн. IV), стр. 13.

[2] Там же, стр. 56—57; вып. III («Чтения», 1898, кн. 3), стр. 70.

[3] А. И. Никитский. Указ. соч., стр. 405—406.

[4] Так, в 1630 г. московский торговый человек тяглец Дмитровской сотни Иван Андреев Рубец порядился в Новгородской четверти на поставку 2500 ведер вина на

встречается упоминание о бочках, но не как о мерах жидкостей, а как о таре. Например, тотемский таможенный и кружечных дворов голова 7168 (1659—1660) г. Анисим Нератов жаловался на своего предшественника — таможенного голову 7167 года Степана Малевинского, что последний при сдаче дел своему преемнику утаил бочку в 27 с половиною ведер.[1]. Едва ли такая бочка служила мерой жидкостей, скорее всего это была только тара. Эта мысль еще убедительнее доказывается другим примером. Кружечные дворы Кольского острога очень часто получали готовое вино, привозимое в Колу из Архангельска. Летом 1659 г. двинский воевода И. Б. Милославский отправил в Кольский острог 2000 ведер вина в 57 бочках.[2] Аналогичная посылка вина произошла и в следующем году. Осенью 1660 г. подьячий Кольской съезжей избы Гавриил Иванов уведомлял Приказ новгородской четверти о получении 2000 ведер, доставленных в 60 бочках.[3] Если одно и то же количество вина помещается в разном числе бочек, то бочка не является точной единицей измерения. Она не мера жидкости, а только тара.

Основной мерой жидкостей, как уже было сказано, являлось ведро. Ведро делилось на более мелкие части — кружки, ковши, чарки. Соотношение между отдельными частями ведра не было одинаковым в течение всего XVII в. Например, для 1621 г. имеется указание, что в ведре было 12 кружек. В этом году сибирскому архиепископу было дано царское жалованье — 100 ведер вина ежегодно. При этом на Верхотурье для выдачи этого вина был отправлен спуск с дворцового ведра «в 12 кружек, заорлен сверху в трех местах, да внизу в ведре орел».[4]

Для второй половины XVII в. источники позволяют установить другое количество кружек в ведре — 10. В 1673 г. киевский воевода кн. Ю. П. Трубецкой давал на праздники кормы киевским служилым людям по прибору — драгунам, стрельцам и т. д. В состав кормов, между прочим, входил ковардак — особый вид черного пива. В отписке, которую кн. Трубецкой отправил в Москву, было указано 7 случаев выдачи кормов. В первый раз было дано ковардака 65 ведер 4 кружки, во второй — 63 ведра 7 кружек, в третий — 63 ведра 8 кружек, в четвертый — 63 ведра 2 кружки, в пятый — 59 ведер 4 кружки, в шестой — 56 ведер 2 кружки, в седьмой — 55 ведер ровно. Если сложить все эти количества, то получится 424 ведра 27 кружек. Источник указывает свой итог: 426 ведер 7 кружек. Отсюда — в ведре 10 кружек, так как 27 кружек превращено в 2 ведра и 7 кружек.[5]

Кроме деления на кружки, ведро делилось еще на чарки. Та же

двинские кабаки («Прик. дела ст. лет», 1630 г. д. 64, л. 1). В 1652 г. тяглец Казенной слободы Федор Федоров Ростовец порядился в Посольском приказе на поставку 2000 ведер вина в Касимов (там же, 1652 г., д. 92, лл. 59—60).

[1] «Прик. дела ст. лет», 1660 г., д. 28, лл. 27—31.

[2] Там же, 1652 г., д. 107, ч. 1, л. 273.

[3] Там же, л. 328.

[4] АИ, т. III, № 96.

[5] «Синбирский сборник», т. I, М., 1844, стр. 70.

отписка кн. Ю. П. Трубецкого дает материал и для решения вопроса о количестве чарок, входивших в состав кружки. Кроме пива, в кормы служилых людей входило и вино, которое исчислялось ведрами, кружками и чарками. Сопоставление разовых дач и общего итога приводит к заключению, что в каждой кружке было по 10 чарок,[1] следовательно в ведре — 100 чарок.

Вопрос о том, было ли количество чарок в кружке постоянным на протяжении всего XVII в., остается открытым. Имеются положительные данные, указывающие на то, что размер чарки менялся. 11 августа 1652 г. был издан указ, упразднявший старые кабаки и вводивший вместо них кружечные дворы. Вместе с тем указ изменил и порядок продажи вина. Продавать вино в старые чарки было запрещено, а велено сделать «чарки в три чарки», т. е. увеличить размер чарки втрое. Эта увеличенная чарка называется в то же время и ковшом. «Вино указал государь продавать в ковши, что по 3 чарки, и в кружки».[2]

Нужно попробовать разобраться в том, какие чарки — старые или новые — упоминаются в приведенной выше отписке кн. Ю. П. Трубецкого. Поскольку отписка датирована 1670 г., есть все основания полагать, что речь идет о новых чарках. Следовательно, новых чарок в ведре — 100. По указу 1652 г., новая чарка была сделана втрое больше старой. Отсюда вполне возможен вывод, что старых чарок в ведро входило 300, поскольку объем ведра в 1652 г. не был изменен. Старое ведро, по данным 20-х годов XVII в., делилось на 12 кружек. Таким образом, старое деление ведра представляется в следующем виде:

Ведро = 12 кружкам = 300 чаркам.
Кружка = 25 чаркам (300 : 12 = 25).

Новое деление ведра будет иным. В основе его лежит десятичный принцип:

Ведро = 10 кружкам = 100 чаркам, или ковшам.
Кружка = 10 чаркам, или ковшам.

Наряду с делением ведра на кружки и чарки, в источниках встречается деление ведра и по системе двух и трех — на 2 полведра, 4 четверти, 8 получетвертей и т. д.; на 3 трети, 6 полтретей и т. д.

Следует отметить, что деление ведра на кружки и чарки употреблялось главным образом при продаже вина и пива. При продаже других жидких товаров, например, смолы, дегтя, сала ворванья, в качестве меры пользовались либо целым ведром, либо его делениями по системе двух.[3]

---

[1] Там же.

[2] ААЭ, т. IV, № 59, 1; № 63; «Прик. дела ст. лет», 1656 г., д. 32, лл. 7—8, 56.

[3] Например, «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, лл. 389 об., 488 об.— 489.

Меры веса

О мерах веса Московского государства имеются очень подробные сведения в Торговой книге. Основной весовой единицей, с которой сравниваются все другие, по Торговой книге, является пуд. Более крупными единицами служат ласт, равный 72 пудам, вощаная четверть, равная 12 пудам, и берковец, равный 10 пудам. Следует сказать, что обе эти крупные единицы употребляются довольно редко. Вощаная четверть — весовая единица специального назначения, употребляемая для взвешивания воска. Берковец чаще всего употребляется при взвешивании пеньки. Но основной весовой единицей, как уже было сказано, является пуд.

Вес железа и соли, как правило, определяется в пудах, вне зависимости от их количества.

Сохраняются в XVI—XVII вв. и старые весовые единицы — гривенка и золотник. Торговая книга различает большую гривенку, равную 96 золотникам, и малую, или скаловую, гривенку в 48 золотников. В пуде было 40 больших гривенок, или 80 малых. Как особая весовая единица, в Торговой книге называется полугривенка малая, равная 24 золотникам. Вместе с тем Торговая книга называет и другие весовые единицы, заимствованные у соседних народов; таков, например, ансырь, или фунт: «Ансырь досюда был бухарский, весил полтретьи гривенки малых и 8 золотников, а всего в ансыре 128 золотников».[1] Но тут же Торговая книга добавляет, что этот ансырь почти оставлен и заменен нынешним ансырем в 96 золотников. Легко видеть, что нынешний ансырь есть не что иное, как большая гривенка. Упоминает Торговая книга и фунт, который равен 96 золотникам, или большой гривенке. Золотник делился на 25 почек.

Наконец, Торговая книга называет еще одну весовую единицу — безмен, равный $2^1/_2$ фунтам. В других источниках попадается упоминание о такой весовой единице, как контарь. Ее вес определяется в $2^1/_2$ пуда.

Таким образом, система русского веса, сложившаяся в основных своих чертах к концу XVI в., представляется в следующем виде:

Ласт = 72 пудам. Берковец = 10 пудам.
Вощаная четверть = 12 пудам. Контарь = 2.5 пудам.
Пуд = 40 большим гривенкам, или фунтам, = 80 малым гривенкам = 16 безменам.
Большая гривенка = 2 малым гривенкам = 4 полугривенкам малым = = 96 золотникам.
Гривенка малая = 2 полугривенкам малым = 48 золотникам.
Полугривенка малая = 24 золотникам.
Золотник = 25 почкам.

Основными весовыми единицами являлись: для более крупного веса — пуд, для более мелкого — фунт, или большая гривенка. В пере-

[1] «Зап. Отд. русск. и слав. археол. Петерб. археол. об-ва», т. I, стр. 114.

воде на метрическую систему пуд весил 16.38 килограмма, фунт — 409.512 грамма.

В документах XVI—XVII вв. очень часто встречается деление пуда и фунта по системе двух и трех, т. е. полпуда, четверть пуда, полчетверти пуда и т. д.; треть пуда, полтрети пуда и т. д.; полгривенки, четверть гривенки и т. д.; треть гривенки, полтрети гривенки и т. д.

В течение XVII в. можно наблюдать некоторое изменение в весовых единицах — не в их содержании, а в номенклатуре. По свидетельству памятников конца XVI в., наиболее распространенной весовой единицей для мелкого веса служит большая гривенка, иногда малая. Например, в расходной книге Казенного двора 1584—1585 гг. отпуск ладана различным церквам учитывается в больших гривенках,[1] изредка вес ладана указывается в фунтах.[2] В первой половине XVII в. большая гривенка встречается довольно часто, но с середины XVII в. большая гривенка начинает заменяться фунтом. А в уставной таможенной грамоте 1653 г. прямо подчеркнута необходимость «учинити бы вес против фунтов».[3] И действительно, в документах второй половины века фунт встречается гораздо чаще, чем гривенка, а к концу века он совершенно заменяет гривенку. Такую замену можно наблюдать и в Москве, и в делах Архангельской таможни, и на пограничном с Сибирью Соликамском рынке, и в далеком Кольском остроге.[4]

Выходят из употребления и такие крупные весовые единицы, как ласт и вощаная четверть. Упоминания о ласте встречаются очень редко, главным образом только в торговых сделках на западной границе. Вощаная четверть почти не встречается; вес крупных партий воска обычно выражается в пудах. Так, по записям Архангельской таможни за 7171 (1662—1663) г. сольвычегодец Владимир Александров Гробов «явил именитого человека Дмитрея Строганова вещего товару 100 пуд 3 фунта воску обышнего».[5]

Для драгоценных металлов, когда требуется небольшой, но точный вес, наиболее распространенной весовой единицей служит золотник. Иногда при расходе серебра, превышающем по весу 96 золотников, т. е. фунт, количество серебра все же указывается в золотниках. Так, в 7205 (1696—1697) г. в Пыскорском монастыре делали новые серебряные оклады и венцы на иконы. На эту работу израсходовано серебра «489 золотников с полузолотником».[6]

---

[1] ДАИ, т. I, № 131, стр. 200, 208 и др.

[2] Там же, стр. 208.

[3] ААЭ, т. IV, № 64, стр. 102.

[4] «Прик. дела ст. лет», 1654 г., д. 76, лл. 1, 34 и др.; «Фонд Строгановых», старая опись, карт. 6, д. 4, 1671 г., лл. 3—4; «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, лл. 148 об.— 149; «Прик. дела ст. лет», 1652 г., д. 107, ч. 2, лл. 335—336.

[5] «Фонд Строгановых», старая опись, карт. 6, 1671 г., д. 4, лл. 3—4.

[6] «Грамоты Колл. экон. по Соликамску», № 11440/308, л. 364.

Орудия взвешивания

В качестве орудий взвешивания в источниках XVI—XVII вв. встречаются терези, контарь и безмен. Контарем и безменом, таким образом, назывались не только весовые единицы, но и самые весы. Грузоподъемность всех этих орудий взвешивания была различной. Терези — коромысленные весы, контарь — весы с неподвижной точкой опоры и подвижной гирей, безмен — весы с подвижной точкой опоры и неподвижной гирей. Принцип его устройства, таким образом, обратен принципу устройства контаря. Для взвешивания на всех этих весах пользовались гирями разного веса. Терези и контари употреблялись и для крупного и для мелкого веса. Поэтому источники различают терези большие и терези малые, контарь большой и контарь малый. Безмен употреблялся только для мелкого веса при покупке и продаже в розницу.

В качестве конкретного примера употребления различных орудий взвешивания можно привести дело о замене старых весов в Устюжне Железнопольской. 1 января 1645 г. устюженский таможенный голова Никита Семенов Быков прислал в Приказ устюжской четверти отписку с жалобой на неисправность таможенных весов в Устюжне. «На Устюжне,— писал голова,— таможенные контари большой и меньшой ветхи, и в весу они не сойдутца: большой контарь гораздо скуп, а меньшой сыт», т. е. при взвешивании на большом контаре получается значительный недовес, малый же контарь показывает больше действительного веса. Кроме того, на Устюжне не было ни терезей, ни гирь, «и в разновес соли по пуду и по полупуду весить нечем». Сознавая неудобство такого положения, голова просил о замене старых весов новыми. Приказ Устюжской четверти решил заменить контари. Но таможенный голова не сообщил, какой грузоподъемности ему нужны новые контари. На соответствующий запрос Приказа голова ответил: «Старые, государь, контари — большой контарь весом подымает 40 пуд, а новый большой контарь надобен столь же велик — в 40 пуд. А меньшой, государь, старой контарь весом подымает 6 пуд, а новой меньшой контарь надобен в 10 пуд. А терези, государь, на Устюжну надобны малые для соляные мелкие продажи в разновес весить по пуду и по полупуда, для того что на Устюжне твоих государевых орленых безменов нет. И гирь, государь, надобно для припуску весом одна гиря — пуд, другая гиря — весом полпуда, а третья — четверть пуда, а четвертая 5 гривенок».

Просьба таможенного головы была удовлетворена. Был «зделан контарь большой — в голове весу 10 пуд, а во всем контаре 41 пуд 3 четверти, а в гире полпуда. А в меньшом контаре в голове весу 3 пуда, а во всем 12 пудов 3 четверти, а в гире весу четверть пуда. Да терези деревянные малые, да врозне зделана гиря — пуд, гиря — полпуда, гиря — четверть пуда, гиря — 5 гривенок». Мастера, делавшие весы, не сумели добиться заказанной грузоподъемности, которая у новых кон-

тарей оказалась несколько больше, чем требовалось. Беды в этом не было, и контари отправили на Устюжну.[1]

На основании этого дела можно установить наличие весов разной грузоподъемности: большой контарь, поднимающий 40 пудов, малые контари с грузоподъемностью в 6, 10, 12 пудов, малые терези — весы для мелкого веса с гирями в пуд, полпуда, четверть пуда и в 5 гривенок, или фунтов, наконец безмен — орудие взвешивания при малом весе.

В данном случае весы были заменены по требованию выборного должностного лица — таможенного головы. Иногда такие требования исходили от торговых людей, непосредственно заинтересованных в правильности веса. Так, 11 марта 1665 г. торговые люди — москвичи и вологжане жаловались в Приказе новгородской четверти на то, что у товаров, взвешенных на вологодском контаре и отправленных в Москву, «чинитца увесу много, потому, государь, что тот вологодцкой контарь перед московским контарем гораздо меньши...» и «от того лехкого вологодцкого контаря чинятца изъяны и убытки великии». Торговые люди просили дать новый контарь на Вологду, а старый взять к Москве. Правительство удовлетворило и эту просьбу, но с одной любопытной подробностью. В Устюжне замены орудий взвешивания требовал таможенный голова, и эта замена была произведена за счет казны. От вологодского таможенного головы такого требования не поступало, и потому стоимость нового контаря должны были оплатить челобитчики. На их челобитной думный дьяк Новгородской четверти сделал следующую помету: «Послать память о контаре в Большой Приход (т. е. Приказ Большого Прихода.— *Н. У.*), чтоб, по челобитью, контарь и гири прислали и о цене описали. И те деньги возьмут на челобитчиках и пришлют» (т. е. пришлют из Новгородской четверти в Приказ Большого Прихода).[2]

Встречаются в источниках и другие сведения о рассылке весов и гирь из Москвы на места. Так, 3 июля 1654 г. думный дьяк Приказа новгородской четверти Алмаз Иванов записал царский указ о том, чтобы «послать к Архангельскому городу 50 пуд гирь железных — пудовых и двупудовых, а взять те гири в Приказе Большие Казны заорленых. И те гири у города (т. е. в Архангельске.— *Н. У.*) с старыми гирями изверить — которые старые гири легче или тяжеле, и те отставить, или, буде мошно, против тех московских гирь, изровнять».[3]

Этот документ — лишнее свидетельство об определенном направлении метрологической политики московского правительства. Правительство следит за состоянием мер и веса на местах и время от времени рассылает по городам заорленые, т. е. заклейменные государственной печатью, меры и орудия взвешивания. Присланные из Москвы гири должны не только служить для взвешивания товаров, но и явиться кон-

---

[1] «Прик. дела ст. лет», 1644 г., д. 17, лл. 435—444

[2] «Прик. дела ст. лет.», 1665 г., д. 25, лл. 211—211 об.

[3] «Прик. дела ст. лет», 1656 г., д. 65, ч. II, л. 359.

трольными гирями, средством проверки тех гирь, какие есть на местах.

Такая рассылка весов и гирь была совершенно необходима, так как иногда на местах обнаруживалось совершенное отсутствие орудий взвешивания, и местные представители центральной власти были лишены возможности ответить на вопрос о весе тех или иных предметов. Например, в описи городов 1678 г. отмечено, что в Лихвине на башне был вестовой колокол, «а сколько весом пудов, того неведомо, весить нечим, потому что в Лихвине контаря и терезей нет».[1]

* * *

В заключение следует отметить, что в метрологии Московского государства наблюдается дальнейшее развитие тех русских мер и веса, которые наметились в более раннюю эпоху. Часть из них восходит к Киевскому государству, часть — к периоду феодальной раздробленности. Но в Московском государстве эти единицы измерения получили и более полное развитие, и большее количественное разнообразие. Быть может, это количественное разнообразие объясняется тем, что от периода Московского государства как более позднего времени сохранилось больше источников. Но несомненно то, что система русских мер, дожившая до XX в., до замены старых мер десятичными, в основных своих чертах сложилась к концу XVII в.

Созданию этой системы содействовала определенная и последовательная метрологическая политика Московского правительства, политика ликвидации местного метрологического разнообразия и установления единых мер и веса для всей страны. Эта политика диктовалась ростом и укреплением централизованного государства и, вместе с тем, ростом и расширением всероссийского рынка. Всероссийский рынок требовал единообразия в области мер и веса, и метрологическая политика Московского правительства являлась ответом на это требование.

Но, несмотря на эту объединительную политику, на местах продолжали существовать свои особые меры, отличные от московских как по своему названию, так и по реальному содержанию. Это особенно нужно сказать о мерах сыпучих тел. Введение единообразия в области русских мер и веса произошло лишь в середине XVIII в., после отмены внутренних таможен, по указу 20 декабря 1753 г. Но тогда уже начался процесс упрощения всей системы мер, приведший к отказу от некоторых групп мер в определенных районах страны. Так, в XIX в. в Зауралье и Сибири уже не пользовались мерами сыпучих тел. Хлеб продавался и покупался исключительно на вес.

[1] ДАИ. т. IX, № 89, стр. 247.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ СССР

Г. Н. Бибиков. Опыт военной реформы 1609—1610 гг. . . . 3
Т. К. Крылова. Дипломатическая подготовка вступления русской армии в Померанию в 1711 г. 17
К. В. Сивков. Подпольная политическая литература в России в последней трети XVIII века 63

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

В. Д. Вейс. К вопросу о природе фогтства в Германии X—XII вв. 102
В. Д. Королюк. О последнем периоде правления Болеслава Храброго 142
М. М. Смирин. О крепостном состоянии крестьянства и характере крестьянских повинностей в юго-западной Германии в XV и начале XVI в. . . 149
А. Л. Нарочницкий. Англия, Китай и Япония накануне японо-китайской войны 1894—1895 гг. 189

ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Л. В. Черепнин. Происхождение собрания договорных грамот Новгорода с князьями XIII—XV вв. 215
С. С. Гадзяцкий Шведские писцовые книги Ижорской земли 1618—1623 гг. . . . 234

Е. И. Заозерская. Список мануфактур, возникших при Петре I 256

В. И. Пичета. Академик Станислав Кутшеба 284

ПРИЛОЖЕНИЕ

Н. В. УСТЮГОВ. Очерк древнерусской метрологии . . . 294

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР*

*

Технический редактор *О. Залышкина*
Корректор *Н. Н. Морозов*

*

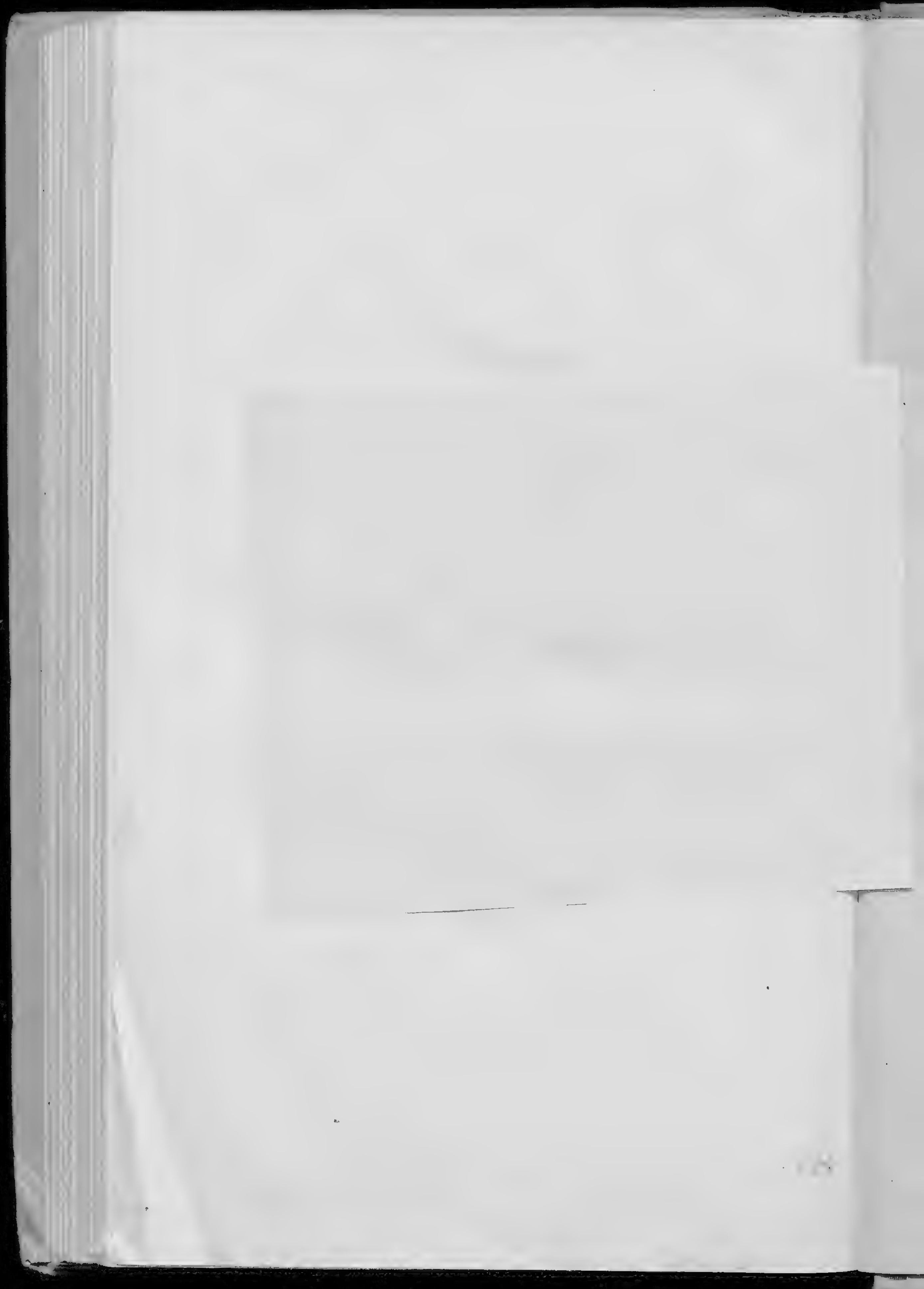
РИСО АН СССР № 2492. А 09739. Издат. № 857
Тип. заказ № 594. Под. к печ. 12/VIII 1946 г.
Формат бум. 70 × 108/16 Печ. л. 22. Уч.-издат. 29.
Тираж 10.000.
2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
78	3 св.	безумие	безумие
114	8 сн.	Сноски 1 и 2 к этой строке помещены на стран. 115.	
150	14 сн.	геллеров	геллеров [4]
190	16 сн.	1895 г., [1]	1895 г., [3]
258	21 сн.	со времени	со временем
281	17 сн.	заведен	заведен [2]
302	15 св.	сажен».	сажен». [2]
321	2 сн.	склада	снаряда

В т. XVIII в статье В. М. Хвостова на стран. 201, стр. 1 св., вместо «австро-франко-германской войны» следует читать: «австро-франко-итальянской войны».

Зак. 594.



Цена 25 руб.